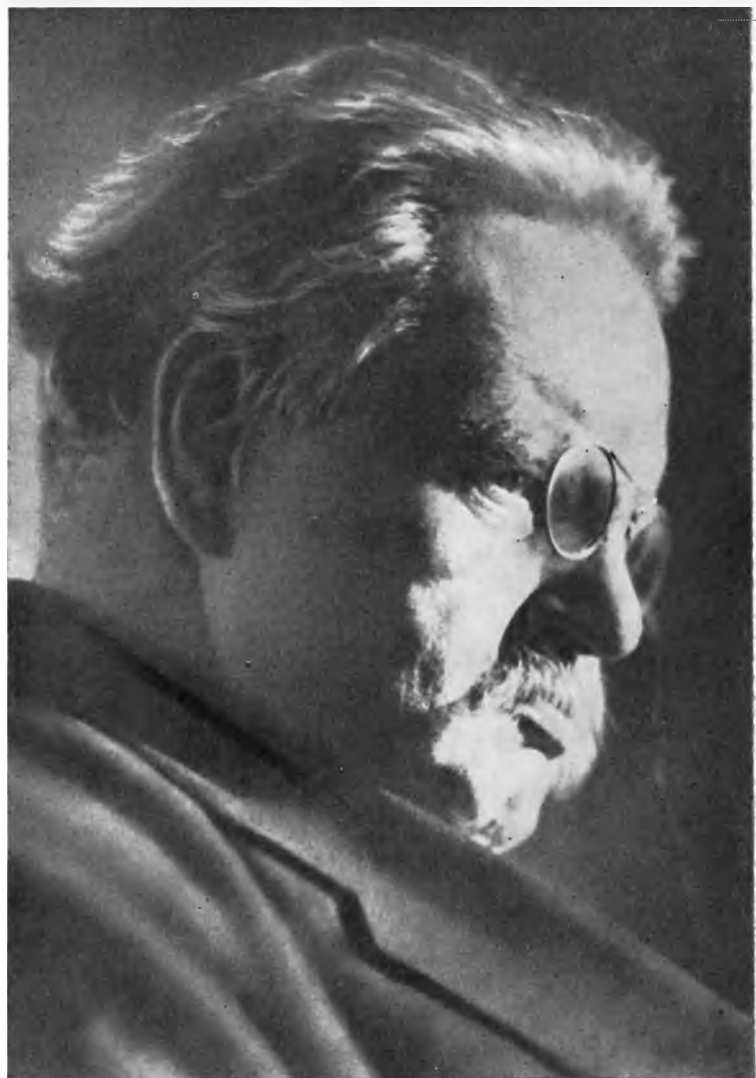


Г.К.ЧЕСТЕРТОН • Рассказы





Г. К. ЧЕСТЕРТОН



рассказы



Перевод с английского



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1975

И (Англ)
Ч 51

Составление

Н. ТРАУБЕРГ

Послесловие

А. ЕЛИСТРАТОВОЙ

Художник

Е. ШУКАЕВ

© Перевод рассказов, отмеченных знаком *.
Издательство «Художественная литература», 1975 г.

Ч $\frac{70304-332}{028(01)-75}$ 177-74

Из сборника
«НЕВЕДЕНИЕ ОТЦА БРАУНА»



САПФИРОВЫЙ КРЕСТ

Между серебряной лентой утреннего неба и зеленой блестящей лентой моря пароход причалил к берегу Англии и выпустил на сушу темный рой людей. Тот, за кем мы последуем, не выделялся из них — он и не хотел выделяться. Ничто в нем не привлекало внимания; разве что праздничное щегольство костюма не совсем вязалось с деловой озабоченностью взгляда. Легкий серый сюртук, белый жилет и серебряная соломенная шляпа с серо-голубой лентой подчеркивали смуглый цвет его лица и черноту эспаньолки, которой больше бы пристали брыжжи елизаветинских времен. Приезжий курил сигару с серьезностью бездельника. Никто бы не подумал, что под серым сюртуком — заряженный револьвер, под белым жилетом — удостоверение сыщика, а под соломенной шляпой — умнейшая голова Европы. Это был сам Валантэн, глава парижского сыска, величайший детектив мира. А приехал он из Брюсселя, чтобы изловить величайшего преступника эпохи.

Фламбó был в Англии. Полиция трех стран наконец выследила его, от Гента до Брюсселя, от Брюсселя до Хук ван Холланда¹, и решила, что он поедет в Лондон, — туда съехались в те дни католические священники, и легче было затеряться в сутолоке приезжих. Валантэн не знал еще, кем он прикинется — мелкой церковной сошкой или секретарем епископа; никто ничего не знал, когда дело касалось Фламбо.

Прошло много лет с тех пор, как этот гений воровства перестал будоражить мир и, как говорили после смерти Роланда, на земле воцарилась тишина. Но в лучшие (то есть в худшие) дни Фламбо был из-

¹ Хук ван Холланд — аванпорт голландского города Роттердама, связанный с ним каналом.

вестен не меньше, чем кайзер. Чуть не каждое утро газеты сообщали, что он избежал расплаты за преступление, совершив новое, еще похлеще. Он был гасконец, очень высокий, сильный и смелый. О его великаньих шутках рассказывали легенды: однажды он поставил на голову следователя, чтобы «прочистить ему мозги»; другой раз пробежал по Рю де Риволи с двумя полицейскими под мышкой. К его чести, он пользовался своей силой только для таких бескровных, хотя и унижающих жертву дел. Он никогда не убивал — он только крал, изобретательно и с размахом. Каждую из его краж можно было счесть новым грехом и сделать темой рассказа. Это он основал в Лондоне знаменитую фирму «Тирольское молоко», у которой не было ни коров, ни доярок, ни бидонов, ни молока, зато были тысячи клиентов; обслуживал он их очень просто: переставлял к их дверям чужие бидоны. Большой частью аферы его были обезоруживающе просты. Говорят, он перекрасил ночью номера домов на целой улице, чтобы заманить кого-то в ловушку. Именно он изобрел портативный почтовый ящик, который вешал в тихих предместьях, надеясь, что кто-нибудь забредет туда и бросит в ящик посылку или деньги. Он был великолепным акробатом; несмотря на свой рост, он прыгал, как кузнечик, и лазал по деревьям не хуже обезьяны. Вот почему, выйдя в погоню за ним, Валантэн прекрасно понимал, что в данном случае найти преступника — еще далеко не все.

Но как его хотя бы найти? Об этом и думал теперь прославленный сыщик.

Фламбо маскировался ловко, но одного он скрыть не мог — своего огромного роста. Если бы меткий взгляд Валантэна остановился на высокой зеленщице, бравом гренадере или даже статной герцогине, он задержал бы их немедленно. Но все, кто попадался ему на пути, походило на переодетого Фламбо не больше, чем кошка — на переодетую жирафу. На пароходе он всех изучил; в поезде же с ним ехали только шестеро: коренастый путеец, направлявшийся в Лондон; три невысоких огородника, севших на третьей станции; миниатюрная вдова из эссекского местечка и совсем низенький священник из эссекской деревни. Дойдя до него, сыщик махнул рукой и чуть

не рассмеялся. Маленький священник воплощал самую суть этих скучных мест: глаза его были бесцветны, как Северное море, а при взгляде на его лицо вспоминалось, что жителей Норфолка зовут клецками. Он никак не мог управиться с какими-то пакетами. Конечно, церковный съезд пробудил от сельской спячки немало священников, слепых и беспомощных, как выманенный из земли крот. Валантэн, истый француз, был суровый скептик и не любил попов. Однако он их жалел, а этого пожалел бы всякий. Его большой старый зонтик то и дело падал; он явно не знал, что делать с билетом, и простодушно до глупости объяснял всем и каждому, что должен держать ухо востро, потому что везет «настоящую серебряную вещь с синими камушками». Забавная смесь деревенской бесцветности со святой простотой потешала сыщика всю дорогу; когда же священник с грехом пополам собрал пакеты, вышел и тут же вернулся за зонтиком, Валантэн от души посоветовал ему помолчать о серебре, если он хочет его уберечь. Но с кем бы Валантэн ни говорил, он искал взглядом другого человека — в бедном ли платье, в богатом ли, в женском или мужском, только не ниже шести футов. В знаменитом преступнике было шесть футов четыре дюйма¹.

Как бы то ни было, вступая на Ливерпул-стрит, он был уверен, что не упустил вора. Он зашел в Скотланд-Ярд, назвал свое имя и договорился о помощи, если она ему понадобится, потом закурил новую сигару и отправился бродить по Лондону. Плутая по улочкам и площадям к северу от станции Виктория, он вдруг остановился. Площадь — небольшая и чистая — поражала внезапной тишиной; есть в Лондоне такие укромные уголки. Строгие дома, окружавшие ее, дышали достатком, но казалось, что в них никто не живет; а в центре — одиноко, словно остров в Тихом океане, — зеленел усаженный кустами газон. С одной стороны дома были выше, словно помост в конце зала, и ровный их ряд, внезапно и очень по-лондонски, разбивала витрина ресторана. Этот ресторан как будто бы забрел сюда из Сохо; все привлекало в нем — и деревья в кадках, и белые в

¹ Шесть футов четыре дюйма — 1 м 93 см.

лимонную полоску шторы. Дом был по-лондонски узкий, вход находился очень высоко, и ступеньки поднимались круто, словно пожарная лестница. Валантэн остановился, закурил и долго глядел на полосатые шторы.

Самое странное в чудесах то, что они случаются. Облачка собираются вместе в неповторимый рисунок человеческого глаза. Дерево изгибается вопросительным знаком как раз тогда, когда вы не знаете, как вам быть. И то и другое я видел на днях. Нельсон гибнет в миг победы, а некий Уильямс убивает случайно Уильямсона (похоже на сыноубийство!). Коротче говоря, в жизни, как и в сказках, бывают совпадения, но прозаические люди не принимают их в расчет. Как заметил некогда Эдгар По, мудрость должна полагаться на непредвиденное.

Аристид Валантэн был истый француз, а французский ум — это ум, и ничего больше. Он не был «мыслящей машиной»; ведь эти слова — неумное порождение нашего бескрылого фатализма: машина потому и машина, что не умеет мыслить. Он был мыслящим человеком, и мыслил он здраво и трезво. Своими похожими на колдовство победами он был обязан тяжелому труду, простой и ясной французской мысли. Французы будоражат мир не парадоксами, а общими местами. Они облакают прописные истины в плоть и кровь — вспомним их революцию. Валантэн знал, что такое разум, и потому знал границы разума. Только тот, кто ничего не смыслит в машинах, попытается ехать без бензина; только тот, кто ничего не смыслит в разуме, попытается размышлять без твердой, неоспоримой основы. Сейчас основы не было. Он упустил Фламбо в Норвиче, а здесь, в Лондоне, тот мог принять любую личину и оказаться кем угодно, от верзилы-оборванца в Уимблдоне до атлета-кутилы в отеле «Метрополь».

Когда Валантэн ничего не знал, он применял свой метод. Он полагался на непредвиденное. Если он не мог идти разумным путем, он тщательно и скрупулезно действовал вопреки разуму. Он шел не туда, куда следует, — не в банки, полицейские участки, значные места, а туда, куда не следует: стучался в пустые дома, сворачивал в тупики, лез в переулки через горы мусора, огибал любую площадь, петлял.

Свои безумные поступки он объяснял весьма разумно. Если у вас есть ключ, говорил он, этого делать не стоит; но если ключа нет — делайте только так. Любая странность, зацепившая внимание сыщика, могла зацепить и внимание преступника. С чего-то надо начать: почему же не начать там, где мог остановиться другой? В крутизне ступенек, в тихом уюте ресторана было что-то необычное. Романтическим нюхом сыщика Валантэн почуял, что тут стоит остановиться. Он взбежал по ступенькам, сел у окна и спросил черного кофе.

Было позднее утро, а он еще не завтракал. Остатки чужой еды на столиках напомнили ему, что он проголодался; он заказал яйцо всмятку и рассеяно положил в кофе сахар, думая о Фламбо. Он вспомнил, как тот использовал для побега то ножницы, то пожар, то доплатное письмо без марки, а однажды собрал толпу к телескопу, чтоб смотреть на мнимую комету. Валантэн считал себя не глупее Фламбо и был прав. Но он прекрасно понимал невыгоды своего положения. «Преступник — творец, сыщик — критик», — сказал он, кисло улыбнулся, поднес чашку к губам и быстро опустил. Кофе был соленый.

Он посмотрел на вазочку, из которой брал соль. Это была сахарница, предназначенная для сахара, точно так же, как бутылка предназначена для вина. Он удивился, что здесь держат в сахарницах соль, и посмотрел, нет ли где солонки. На столе стояли две, полные доверху. Может, и с ними не все в порядке? Он попробовал; в них был сахар. Тогда он окинул вспыхнувшим взглядом другие столики — не проявился ли в чем-нибудь и там изысканный вкус шутника, переменившего местами соль и сахар? Все было опрятно и приветливо, если не считать темного пятна на светлых обоях. Валантэн кликнул лакея.

Растрепанный и сонный лакей подошел к столику, и сыщик (ценивший простую, незамысловатую шутку) предложил ему попробовать сахар и сказать, соответствует ли он репутации заведения. Лакей попробовал, охнул и проснулся.

— Вы всегда шутите так тонко? — спросил Валантэн. — Вам не приелся этот розыгрыш?

Когда ирония дошла до лакея, тот, сильно запинаясь, заверил, что ни у него, ни у хозяина и в мыслях не было ничего подобного. Вероятно, они просто ошиблись. Он взял сахарницу и осмотрел ее; взял солонку и осмотрел ее, удивляясь все больше и больше. Наконец он быстро извинился, убежал и привел хозяина. Тот тоже обследовал сахарницу и солонку и тоже удивился.

Вдруг лакей захлебнулся словами.

— Я вот что думаю,— затараторил он.— Я думаю, это те священники.

— Какие священники?

— Те, двое,— пояснил лакей.— Которые стену супом облили.

— Облили стену супом? — переспросил Валантэн, думая, что это итальянская поговорка.

— Вот, вот,— волновался лакей, указывая на темное пятно.— Взяли и плеснули.

Валантэн взглянул на хозяина, и тот дал более подробный отчет.

— Да, сэр,— сказал он.— Так оно и было, только сахар и соль тут, наверно, ни при чем. Совсем рано, мы только шторы подняли, сюда зашли два священника и заказали бульон. Люди вроде бы тихие, приличные. Высокий расплатился и ушел, а другой собирал свертки, он какой-то был неповоротливый. Потом он тоже пошел к дверям и вдруг схватил чашку и вылил суп на стену. Я был в задней комнате. Выбегаю — смотрю: пятно, а священника нет. Убыток небольшой, но ведь какая наглость! Я побежал за ним, да не догнал, они свернули на Карстейрстрит.

Валантэн уже вскочил, надел шляпу и стиснул трость. Он понял: во тьме неведения надо идти туда, куда направляет вас первый указатель, каким бы странным он ни был. Еще не упали на стол монеты, еще не хлопнула стеклянная дверь, а сыщик уже свернул за угол и побежал по улице.

К счастью, даже в такие отчаянные минуты он не терял холодной зоркости. Пробегая мимо какой-то лавки, он заметил в ней что-то странное и вернулся. Лавка оказалась зеленой; на открытой витрине были разложены овощи и фрукты, а над ними торчали ярлычки с ценами. В самых больших ячейках виселась

груда орехов и пирамида мандаринов. Надпись над орехами — синие крупные буквы на картонном поле — гласила: «Лучшие мандарины. Две штуки за пенни»; надпись над мандаринами: «Лучшие бразильские орехи. Четыре пенса фунт». Валантэн прочитал и подумал, что совсем недавно встречался с подобным юмором. Обратившись к краснолицему зеленщику, который довольно угрюмо смотрел вдаль, он привлек его внимание к прискорбной ошибке. Зеленщик не ответил, но тут же переставил ярлычки. Сыщик, небрежно опираясь на трость, продолжал разглядывать витрину. Наконец он спросил:

— Простите за нескромность, сэр, нельзя ли задать вам вопрос из области экспериментальной психологии и ассоциации идей?

Багровый лавочник грозно взглянул на него, но Валантэн продолжал, весело помахивая тростью:

— Почему переставленные ярлычки на витрине зеленщика напоминают нам о священнике, прибывшем на праздники в Лондон? Или — если я выражаюсь недостаточно ясно — почему орехи, поименованные мандаринами, таинственно связаны с двумя духовными лицами, повыше ростом и пониже?

Глаза зеленщика полезли на лоб, как глаза улитки; казалось, он вот-вот кинется на нахала. Но он сердито проворчал:

— А ваше какое дело? Может, вы с ними заодно? Так вы им прямо скажите: попы они там или кто, а рассыпят мне опять яблоки — кости переломаю!

— Правда? — посочувствовал сыщик. — Они рассыпали ваши яблоки?

— Это все тот, коротенький, — разволновался зеленщик. — Прямо по улице покатались. Пока я их подбирал, он и ушел.

— Куда? — спросил Валантэн.

— Налево, за второй угол. Там площадь, — быстро сообщил зеленщик.

— Спасибо, — сказал Валантэн и упорхнул, как фея.

За вторым углом налево он пересек площадь и бросил полисмену:

— Срочное дело, констебль. Не видели двух патеров?

Полисмен засмеялся басом.

— Видел, — сказал он. — Если хотите знать, сэр, один был пьяный. Он стал посреди дороги и...

— Куда они пошли? — резко спросил сыщик.

— Сели в омнибус, — ответил полицейский. — Из этих, желтых, которые идут в Хэмстед.

Валантэн вынул карточку, быстро сказал: «Пришлите двоих, пусть идут за мной!» — и ринулся вперед так стремительно, что могучий полисмен волея-неволей поспешил выполнить его приказ. Через минуту, когда сыщик стоял на другой стороне площади, к нему присоединился инспектор и человек в штатском.

— Итак, сэр, — важно улыбаясь, начал инспектор, — чем мы можем...

Валантэн выбросил вперед трость.

— Я отвечу вам на импернале вон того омнибуса, — сказал он и нырнул в гущу машин и экипажей.

Когда все трое, тяжело дыша, уселись на верхушке желтого омнибуса, инспектор сказал:

— В такси мы бы доехали в четыре раза быстрее.

— Конечно, — согласился предводитель. — Если бы мы знали, куда едем.

— А куда мы едем? — ошарашенно спросил инспектор.

Валантэн задумчиво курил; потом, вынув изо рта сигару, произнес:

— Когда вы знаете, что делает преступник, забегайте вперед. Но если вы только гадаете — идите за ним. Блуждайте там, где он; останавливайтесь, где он; не обгоняйте его. Тогда вы увидите то, что он видел, и сделаете то, что он сделал. Нам остается одно: подмечать все странное.

— В каком именно роде? — спросил инспектор.

— В любом, — ответил Валантэн и надолго замолчал.

Желтый омнибус полз по северной части Лондона. Казалось, что прошли часы; великий сыщик ничего не объяснял, помощники его молчали, и в них росло сомнение. Быть может, рос в них и голод — давно миновала пора второго завтрака, а длинные улицы северных кварталов вытягивались одна за другой, словно колена какой-то жуткой подзорной трубы.

Все мы помним такие поездки — вот-вот покажется край света, но показывается только Тефнел-парк. Лондон исчезал, рассыпался на грязные лачуги, кабачки и хилые пустыри и снова возникал в огнях широких улиц и фешенебельных отелей. Казалось, едешь сквозь тринадцать городов. Впереди сгущался холодный сумрак, но сыщик молчал и не двигался, пристально вглядываясь в мелькающие мимо улицы. Когда Кэмден-таун остался позади, полицейские уже клевали носом. Вдруг они очнулись: Валантэн вскочил, схватил их за плечи и крикнул кучеру, чтобы тот остановился.

В полном недоумении они скатились по ступенькам и, оглядевшись, увидели, что Валантэн победно указывает на большое окно по левую руку от них. Окно это украшало сверкающий фасад большого, как дворец, отеля; здесь был обеденный зал ресторана, о чем и сообщала вывеска. Все окна в доме были из матового узорного стекла; но в середине этого окна, словно звезда во льду, зияла дырка.

— Наконец! — воскликнул Валантэн, потрясая тростью.— Разбитое окно! Вот он, ключ!

— Какое окно? Какой ключ? — рассердился полицейский.— Чем вы докажете, что это связано с ними?

От злости Валантэн чуть не сломал бамбуковую трость.

— Чем докажу! — вскричал он.— О, господи! Он ищет доказательств! Скорей всего, это никак не связано. Но что ж нам еще делать? Неужели вы не поняли, что нам надо хвататься за любую, самую невероятную случайность или идти спать?

Он ворвался в ресторан; за ним вошли и полисмены. Все трое уселись за столик и принялись за поздний завтрак, поглядывая то и дело на звезду в стекле. Надо сказать, и сейчас она мало что объясняла.

— Вижу, у вас окно разбито, — сказал Валантэн лакею, расплачиваясь.

— Да, сэр, — ответил лакей, озабоченно подсчитывая деньги. Чаевые были немалые, и, выпрямившись, он явно оживился.— Вот именно, сэр, — сказал он.— Ну и дела, сэр!

— А что такое? — небрежно спросил сыщик.

— Пришли к нам тут двое, священники, — поведал лакей. — Сейчас их много понаехало. Ну, позавтракали они, один заплатил и пошел. Другой чего-то возится. Смотрю — завтрак-то был дешевый, а заплатили чуть не вчетверо. Я говорю: «Вы лишнее дали», — а он остановился на пороге и так это спокойно говорит: «Правда?» Взял я счет, хотел ему показать и чуть не свалился.

— Почему? — спросил сыщик.

— Я бы чем хотите поклялся, в счете было четыре шиллинга. А тут смотрю — четырнадцать, хоть ты тресни.

— Так! — вскричал Валантэн, медленно поднимаясь на ноги. Глаза его горели. — И что же?

— А он стоит себе в дверях и говорит: «Простите, перепутал. Ну, это будет за окно». — «Какое такое окно?» — говорю. «Которое я разобью», — и трах зонтиком!

Слушатели вскрикнули, а инспектор тихо спросил:

— Мы что, гонимся за сумасшедшим?

Лакей продолжал, смакуя смешную историю:

— Я так и сел, ничего не понимаю. А он догнал того, высокого, свернули они за угол — и как побегут по Баллок-стрит! Я за ними со всех ног, да куда там — ушли!

— Баллок-стрит! — крикнул сыщик и понесся по улице так же стремительно, как таинственная пара, за которой он гнался.

Теперь преследователи быстро шли меж голых кирпичных стен, как по туннелю. Здесь было мало фонарей и освещенных окон; казалось, что все на свете повернулось к ним спиной. Сгущались сумерки, и даже лондонскому полицмену нелегко было понять, куда они спешат. Инспектор, однако, не сомневался, что рано или поздно они выйдут к Хэмстедскому Лугу. Вдруг в синем сумраке, словно иллюминатор, сверкнуло выпуклое освещенное окно, и Валантэн остановился за шаг до лавочки, где торговали сладостями. Поколебавшись секунду, он нырнул в разноцветный мирок кондитерской, подошел к прилавку и со всей серьезностью отобрал тринадцать шоколадных сигар. Он обдумывал, как перейти к делу, но это ему не понадобилось.

Костлявая женщина — старообразная, хотя и нестарая — смотрела с тупым удивлением на эlegantного прищельца; но, увидев в дверях синюю форму инспектора, очнулась и заговорила.

— Вы, наверно, за пакетом? — спросила она. — Я его отослала.

— За пакетом?! — повторил Валантэн; пришел черед и ему удивляться.

— Ну, который тот мужчина оставил, — священник, что ли.

— Ради бога! — воскликнул Валантэн и подался вперед; его пылкое нетерпение прорвалось наконец наружу. — Ради бога, расскажите подробно!

— Ну, — не совсем уверенно начала женщина, — зашли сюда священники, это уж будет с полчаса. Купили мятных лепешек, поговорили про то про се и пошли к Лугу. Вдруг один бежит: «Я пакета не оставял?» Я туда, куда — нигде нету. А он говорит: «Ладно. Найдете — пошлите вот по такому адресу». И дал мне этот адрес и еще шиллинг за труды. Вроде бы все обшарила, а ушел он, — глядь! — пакет лежит. Ну, я его и послала, не помню уж куда, где-то в Вестминстере. А сейчас я и подумала: наверное, в этом пакете что-то важное, вот полиция за ним и пришла.

— Так и есть, — быстро сказал Валантэн. — Ближе тут Луг?

— Прямо идти минут пятнадцать, — сказала женщина. — К самым воротам выйдете.

Валантэн выскочил из лавки и понесся вперед. Полисмены неохотно трусили за ним.

Узкие улицы предместья лежали в тени домов, и, вынырнув на большой пустырь, под открытое небо, преследователи удивились, что сумерки еще так прозрачны и светлы. Круглый купол синевато-зеленого неба отвечивал золотом меж черных стволов и в темно-лиловой дали. Зеленый светящийся сумрак быстро сгущался, и на небе проступали редкие кристаллики звезд. Последний луч солнца мерцал, как золото, на вершинах холмов, венчавших излюбленное лондонцами место, что зовется Долиной Здоровья. Праздные горожане еще не совсем разбрелись — на скамейках темнели расплывчатые силуэты пар, а где-то вдалеке вскрикивали на качелях девицы. Ве-

личие небес осеняло густеющей синью величие человеческой пошлости. И, глядя сверху на Луг, Валантэн увидел наконец то, что искал.

Вдалеке чернели и расставались пары; одна из них была чернее всех и держалась вместе. Два человека в черных сутанах уходили вдаль. Они были не крупнее жуков; но Валантэн увидел, что один много ниже другого. Высокий шел смиренно и чинно, как подобает ученому клирику, но было видно, что в нем больше шести футов. Валантэн сжал зубы и ринулся вниз, рьяно вращая тростью. Когда расстояние сократилось и двое в черном стали видны четко, как в микроскоп, он заметил еще одну странность, которая и удивила его и не удивила. Кем бы ни был высокий, маленького Валантэн узнал: то был его попутчик по купе, неуклюжий священник из Эссекса, которому он посоветовал смотреть получше за своими свертками.

Пока что все сходилось. Сыщику сказали, что некий Браун из Эссекса везет в Лондон серебряный, украшенный сапфирами крест, — драгоценную реликвию, которую покажут иностранному клиру. Это и была, конечно, «серебряная вещь с камушками», а Браун, без сомнения, был тот растяпа из поезда. То, что узнал Валантэн, прекрасно мог узнать и Фламбо — Фламбо обо всем узнавал. Конечно, пронюхав про крест, Фламбо захотел украсть его — это проще простого. И уж совсем естественно, что Фламбо легко обвел вокруг пальца священника со свертками и зонтиком. Такую овцу кто угодно мог бы затащить хоть на Северный полюс, так что Фламбо — блестящему актеру — ничего не стоило затащить его на этот Луг. Покуда все было ясно. Сыщик пожалел беспомощного патера и чуть не презирал Фламбо, опустившегося до такой доверчивой жертвы. Но что означали странные события, приведшие к победе его самого? Как ни думал он, как ни бился — смысла в них не было. Где связь между кражей креста и пятном супа на обоях? Перепутанными ярлычками? Платой вперед за разбитое окно? Он пришел к концу пути, но упустил середину. Иногда, хотя и редко, Валантэн упустил преступника; но ключ находил всегда. Сейчас он настиг преступника, но ключа у него не было.

Священники ползли по зеленому склону холма, как черные мухи. Судя по всему, они беседовали и не замечали, куда идут; но шли они в самый дикий и тихий угол Луга. Преследователям пришлось принимать те недостойные позы, которые принимает охотник, выслеживающий дичь: они перебегали от дерева к дереву, крались и даже ползли по густой траве. Благодаря этим неуклюжим маневрам, охотники подошли совсем близко к дичи и слышали уже голоса, но слов не разбирали, кроме слова «разум», которое повторял то и дело высокий детский голос. Вдруг путь им преградили заросли над обрывом; сыщики потеряли след и плутали минут десять, пока, обогнув гребень круглого, как купол, холма, не увидели в лучах заката прелестную и тихую картину. Под деревом стояла ветхая скамья; на ней сидели, серьезно беседуя, священники. Зелень и золото еще сверкали у темнеющего горизонта, сине-зеленый купол неба становился зелено-синим, и звезды сверкали ярко, как крупные бриллианты. Валантэн сделал знак своим помощникам, подкрался к большому ветвистому дереву и, стоя там в полной тишине, услышал наконец, о чем говорили странные священнослужители.

Он слушал минуту-другую, и бес сомнения обуял его. А что, если он зря затащил английских полисменов в дальний угол темнеющего парка? Священники беседовали именно так, как должны беседовать священники, — благочестиво, степенно, учено о самых бестелесных тайнах богословия. Маленький патер из Эссекса говорил проще, обратив круглое лицо к разгорающимся звездам. Высокий сидел, опустив голову, словно считал, что недостойн на них взглянуть. Беседа их была невинней невинного; ничего более возвышенного не услышишь в белой итальянской обители или в черном испанском соборе.

Первым донесся конец фразы отца Брауна:

— ...то, что имели в виду средневековые схоласты, когда говорили о несокрушимости небес.

Высокий священник кивнул склоненной головой.

— Да, — сказал он, — безбожники взывают теперь к разуму. Но кто, глядя на эти мириады миров,

не почувствует, что там, над нами, могут быть Вселенные, где разум неразумен?

— Нет, — сказал отец Браун, — разум разумен везде.

Высокий поднял суровое лицо к усеянному звездами небу.

— Кто может знать, есть ли в безграничной Вселенной... — снова начал он.

— У нее нет пространственных границ, — сказал маленький и резко повернулся к нему, — но за границы нравственных законов она не выходит.

Валантэн сидел за деревом и молча грыз ногти. Ему казалось, что английские сыщики хихикают над ним — ведь это он затащил их в такую даль, чтобы послушать философскую чушь двух тихих пожилых священников. От злости он пропустил ответ высокого и услышал только отца Брауна.

— Истина и разум царят на самой далекой, самой пустынной звезде. Посмотрите на звезды. Правда, они как алмазы и сапфиры? Так вот, представьте себе любые растения и камни. Представьте алмазные леса — бриллиантовыми листьями. Представьте, что луна — синяя, сплошной огромный сапфир. Но не думайте, что все это хоть на йоту изменит закон разума и справедливости. На опаловых равнинах, среди жемчужных утесов вы найдете все ту же заповедь: «Не укради».

Валантэн собрался было встать — у него затекло все тело — и уйти потише; в первый раз за свою жизнь он сморозил такую глупость. Но высокий молчал как-то странно, и сыщик прислушался. Наконец тот сказал совсем просто, еще ниже опустив голову и сложив руки на коленях:

— А все же я думаю, что другие миры могут подняться выше нашего разума. Неисповедима тайна небес, и я склоняю голову. — И, не поднимая головы, не меняя интонации, прибавил: — Давайте-ка сюда этот крест. Мы тут одни, и я вас могу распотрошить, как чучело.

Оттого что он не менял ни позы, ни тона, эти слова прозвучали еще страшнее. Но хранитель святыни почти не шевельнулся; его глуповатое лицо было обращено к звездам. Может быть, он не понял или окаменел от страха.

— Да, — все так же тихо сказал высокий, — да, я Фламбо. — Помолчал и прибавил: — Ну, отдадите вы крест?

— Нет, — сказал Браун, и односложное это слово странно прозвенело в тишине.

И тут с Фламбо слетело напускное смирение. Великий вор откинулся на спинку скамьи и засмеялся негромко, но грубо.

— Не отдадите! — сказал он. — Еще бы вы отдали! Еще бы вы мне его отдали, простак-холостяк! А знаете почему? Потому что он у меня в кармане.

Маленький сельский священник повернул к нему лицо — даже в сумерках было видно, как он растерян, — и спросил взволнованно и робко, словно подчиненный:

— Вы... вы уверены?

Фламбо взвыл от восторга.

— Ну, с вами театра не надо! — закричал он. — Да, достопочтенная брюква, уверен! Я догадался сделать фальшивый пакет. Так что теперь у вас бумага, а у меня — камешки. Старый прием, отец Браун, очень старый прием.

— Да, — сказал отец Браун и все так же странно, несмело пригладил волосы, — я о нем слышал.

Король преступников наклонился к нему с внезапным интересом.

— Кто? Вы? — спросил он. — От кого ж это вы могли слышать?

— Я не вправе назвать вам его имя, — просто сказал Браун. — Понимаете, он каялся. Он жил этим лет двадцать — подменивал свертки и пакеты. И вот, когда я вас заподозрил, я вспомнил про него, беднягу.

— Заподозрили? — повторил преступник. — Вы что, действительно догадались, что я вас не зря тащу в такую глушь?

— Ну да, — виновато сказал Браун. — Я вас сразу заподозрил. Понимаете, у вас запястье изуродовано, это от наручников.

— А, черт! — заорал Фламбо. — Вы-то откуда знаете про наручники?

— От прихожан, — ответил Браун, кротко поднимая брови. — Когда я служил в Хартлпуле, там

у двоих были такие руки. Вот я вас и заподозрил и решил, понимаете, спасти крест. Вы уж простите, я за вами следил. В конце концов я заметил, что вы подменили пакет. Ну, а я подменил его снова и настоящий отослал.

— Отослали? — повторил Фламбо, и в первый раз его голос звучал не только победой.

— Да, отослал,— спокойно продолжал священник.— Я вернулся в лавку и спросил, не оставял ли я пакета. И дал им адрес, куда его послать, если он найдется. Конечно, сначала я его не оставял, а потом оставил. А она не побежала за мной и послала его прямо в Вестминстер, моему другу. Этому я тоже научился от того бедняги. Он так делал с сумками, которые крал на вокзалах. Сейчас он в монастыре. Знаете, в жизни многому научишься,— закончил он, виновато почесывая за ухом.— Что ж нам, священникам, делать? Приходят, рассказывают...

Фламбо уже выхватил пакет из внутреннего кармана и рвал его в клочья. Там не было ничего, кроме бумаги и кусочков свинца. Потом он вскочил, взмахнув огромной рукой, и заорал:

— Не верю! Я не верю, что такая тыква может все это обстригать! Крест у вас! Не дадите — отберу. Мы одни.

— Нет,— просто сказал отец Браун и тоже встал.— Вы его не отберете. Во-первых, его действительно нет. А во-вторых, мы не одни.

Фламбо замер на месте.

— За этим деревом,— сказал отец Браун,— два сильных полисмена и лучший в мире сыщик. Вы спросите, зачем они сюда пришли? Я их привел. Как? Что ж, я скажу, если хотите. Господи, когда работаешь в трущобах, приходится знать много таких штук! Понимаете, я не был уверен, что вы вор, и не хотел оскорблять своего брата священника. Вот я и стал вас испытывать. Когда человеку дадут соленый кофе, он обычно сердится. Если же он стерпит, значит, он боится себя выдать. Я насыпал в сахарницу соль, а в солонку — сахар, и вы стерпели. Когда счет гораздо больше, чем надо, это, конечно, вызывает недоумение. Если человек по нему платит, значит, он хочет избежать скандала. Я приписал единицу, и вы заплатили.

Казалось, Фламбо вот-вот кинется на него, словно тигр. Но вор стоял как зачарованный — он хотел понять.

— Ну вот, — с тяжеловесной дотошностью объяснял отец Браун. — Вы не оставляли следов — кому-то надо же было их оставлять. Всюду, куда мы заходили, я делал что-нибудь такое, чтобы о нас толковали весь день. Я не причинял большого вреда — облил супом стену, рассыпал яблоки, разбил окно, — но крест я спас. Сейчас он в Вестминстере. Странно, что вы не пустили в ход ослиный свисток.

— Чего я не сделал?

— Как хорошо, что вы о нем не слышали! — прошептал священник. — Это плохая штука. Я знал, что вы не опуститесь так низко. Тут бы мне не помогли даже пятна — я слабоват в коленках.

— Что вы несете? — спросил Фламбо.

— Ну уж про пятна-то, я думал, вы знаете! — обрадовался Браун. — Значит, вы еще не очень испорчены.

— А вы-то откуда знаете всю эту гадость? — воскликнул Фламбо.

— Наверное, потому, что я простак-холостяк, — сказал Браун. — Вы никогда не думали, что человек, который все время слушает о грехах, должен хоть немного знать мирское зло? Правда, не только практика, но и теория моего дела помогла мне понять, что вы не священник.

— Какая еще теория? — спросил изнемогающий Фламбо.

— Вы нападали на разум, — ответил Браун. — У священников это не принято.

Он повернулся, чтобы взять свои вещи, и три человека вышли в сумерках из-за деревьев. Фламбо был талантлив и знал законы игры: он отступил назад и низко поклонился Валантэну.

— Не мне кланяйтесь, *mon ami*¹, — сказал Валантэн серебристо-звонким голосом. — Поклонимся оба тому, кто нас превзошел.

И они стояли, обнажив головы, пока маленький сельский священник шарил в темноте, пытаясь найти зонтик.

¹ Мой друг (франц.).

СТРАННЫЕ ШАГИ

Если вы встретите члена привилегированного клуба «Двенадцать верных рыболовов», входящего в Вернон-отель на свой ежегодный обед, то, когда он снимет пальто, вы заметите, что на нем не черный, а зеленый фрак. Предположим, у вас хватит дерзости обратиться к нему и вы спросите его, чем вызвана эта причуда. Тогда, возможно, он ответит вам, что одевается так, чтобы его не приняли за лакея. Вы отойдете уничтоженный, оставляя неразгаданной тайну, достойную того, чтобы о ней рассказать.

Если (продолжая наши неправдоподобные предположения) вам случится встретить скромного труженика, маленького священника, по имени Браун, и вы спросите, что он считает величайшей удачей своей жизни, он, по всей вероятности, ответит вам, что самым удачным был случай в Вернон-отеле, где он предотвратил преступление, а возможно, и спас грешную душу только тем, что прислушался к шагам в коридоре. Может быть, он даже слегка гордится своей удивительной догадливостью и, скорее всего, сошлется именно на нее. Но так как вам, конечно, не удастся достигнуть такого положения в высшем свете, чтобы встретиться с кем-либо из «Двенадцати верных рыболовов» или опуститься до мира трущоб и преступлений, чтобы встретить там отца Брауна, то боюсь, вы никогда не услышите этой истории, если я вам ее не расскажу.

Вернон-отель, в котором «Двенадцать верных рыболовов» обычно устраивали свои ежегодные обеды, принадлежал к тем заведениям, которые могут существовать лишь в олигархическом обществе, где здравый смысл заменен требованиями хорошего тона. Он был — как это ни абсурдно — «единственным в своем роде», то есть давал прибыль, не привлекая, а, скорее, отпугивая публику. В обществе, подпавшем под власть богачей, торгаши проявили должную смекалку и перехитрили свою клиентуру. Они создали множество препонов, чтобы богатые и пресыщенные завсегдатаи могли тратить деньги и время на их преодоление. Если бы существовал в Лондоне такой фешенебельный отель, куда не впускали бы ни одного человека ростом ниже шести футов, высшее общество

стало бы покорнѣ устраивать там обеды, собирая на них исключительно великанов. Если бы существовал дорогой ресторан, который, по капризу своего хозяина, был бы открыт только во вторник вечером, каждый вторник он ломился бы от посетителей. Вернон-отель незаметно притулился на углу площади в Бельгравии¹. Он был не велик и не очень комфортабелен, но самое его неудобство рассматривалось как достоинство, ограждающее избранных посетителей. Из всех неудобств особенно ценилось одно: в отеле одновременно могло обедать не более двадцати четырех человек. Единственный обеденный стол стоял под открытым небом, на веранде, выходящей в один из красивейших старых садов Лондона. Таким образом, даже этими двадцатью четырьмя местами можно было пользоваться только в хорошую погоду, что, еще более затрудняя получение удовольствия, делало его тем более желанным. Владелец отеля, по имени Левер, заработал почти миллион именно тем, что сделал доступ в него крайне затруднительным. Понятно, он умело соединил недоступность своего заведения с самой тщательной заботой о его изысканности. Вина и кухня были поистине европейскими, а прислуга была вышколена в точном соответствии с требованиями английского высшего света. Хозяин знал лакеев как свои пять пальцев. Их было всего пятнадцать. Гораздо легче было стать членом парламента, чем лакеем в этом отеле. Каждый из них прошел курс молчания и исполнительности и был вышколен не хуже, чем личный камердинер истого джентльмена. Обычно на каждого обедающего приходилось по одному лакею.

Клуб «Двенадцать верных рыболовов» не согласился бы обедать ни в каком другом месте, так как он требовал полного уединения, и все его члены были бы крайне взволнованы при одной мысли, что другой клуб в тот же день обедает в том же здании. Во время своего ежегодного обеда рыболовы привыкли выставлять все свои сокровища, словно они обедали в частном доме; особенно выделялся знаменитый прибор из рыбных ножей и вилок, своего рода реликвия клуба. Серебряные ножи и вилки были отлиты в форме рыб,

¹ Б е л ь г р а в и я — аристократическая часть Лондона.

и ручки их украшали массивные жемчужины. Прибор этот подавали к рыбной перемене, а рыбное блюдо было самым торжественным моментом торжественного пира. Общество соблюдало целый ряд церемоний и ритуалов, но не имело ни цели, ни истории, в чем и заключалась высшая степень его аристократизма. Для того чтобы стать одним из двенадцати рыболовов, особых заслуг не требовалось; но если человек не принадлежал к определенному кругу, он никогда и не услышал бы об этом клубе. Клуб существовал уже целых двенадцать лет. Президентом его был мистер Одли. Вице-президентом — герцог Честерский.

Если я хоть отчасти сумел передать атмосферу неприступного отеля, читатель, естественно, может поинтересоваться, откуда же я знаю все это и каким образом такая заурядная личность, как мой друг — отец Браун, оказалась в столь избранной компании. Ответ мой будет прост и даже банален. В мире есть очень древний мятежник и демагог, который врывается в самые сокровенные убежища с ужасным сообщением, что все люди братья, и где бы ни появился этот всадник на коне бледном, дело отца Брауна — следовать за ним. Одного из лакеев, итальянца, хватил паралич в самый день обеда, и хозяин, исполняя волю умирающего, велел послать за католическим священником. Умирающий просил исполнить свою последнюю волю: озаботиться немедленной отправкой письма, которое заключало, должно быть, какое-то признание или заглаживало причиненное кому-то зло. Как бы то ни было, отец Браун — с кроткой настойчивостью, которую, впрочем, он проявил бы и в самом Букингемском дворце, — попросил, чтобы ему отвели комнату и дали письменные принадлежности. Мистер Левер раздирался надвое. Он был мягок, но обладал и оборотной стороной этого качества — терпеть не мог всяких сцен и затруднений. А в тот вечер присутствие постороннего было подобно грязному пятну на только что отполированном серебре. В Вернон-отеле не было ни смежных, ни запасных помещений, ни ожидающих в холле посетителей или случайных клиентов. Было пятнадцать лакеев. И двенадцать гостей. Встретить в тот вечер чужого было бы не менее потрясающе, чем познакомиться за семейным завтраком со своим собст-

венным братом. К тому же наружность у священника была слишком заурядна, одежда слишком потрепана; один вид его, просто мимолетный взгляд на него, мог привести отель к полному краху. Наконец мистер Левер нашел выход, который если и не уничтожил, то, по крайней мере, прикрывал позор. Если вы проникнете в Вернон-отель (что, впрочем, вам никогда не удастся), сперва вам придется пройти короткий коридор, увешанный потемневшими, но, надо полагать, ценными картинами, затем — главный вестибюль, откуда один проход ведет направо, в гостиные, а другой — налево, в контору и кухню. Тут же, у левой стены вестибюля, стоит углом большая стеклянная будка, как бы дом в доме: вероятно, раньше в ней находился бар. Теперь тут контора, где сидит помощник Левера (в этом отеле никто никогда не попадает на глаза без особой нужды); а позади, по дороге к помещению прислуги, находится мужская гардеробная, последняя граница господских владений. Но между конторой и гардеробной есть еще одна маленькая комнатка, без выхода в коридор, которой хозяин иногда пользуется для щекотливых и важных дел, — например, дает в долг какому-нибудь герцогу тысячу фунтов или отказывается одолжить ему шесть пенсов. Мистер Левер выказал высшую терпимость, позволив простому священнику осквернить это священное место и написать там письмо. То, что писал отец Браун, было, вероятно, много интереснее моего рассказа, но никогда не увидит света. Я могу лишь отметить, что тот рассказ был не короче моего и что две-три последние страницы были, очевидно, скучнее прочих.

Дойдя до них, отец Браун позволил своим мыслям отвлечься от работы, а своим чувствам (обычно достаточно острым) пробудиться от оцепенения. Смеркалось. Близилось время обеда. В уединенной комнатке почти стемнело, и, возможно, сгущавшаяся тьма до чрезвычайности обострила его слух. Когда отец Браун дописывал последнюю страницу, он поймал себя на том, что пишет в такт доносившимся из коридора звукам, как иногда в поезде думаешь под стук колес. Когда он понял это и прислушался, он убедился, что шаги — самые обыкновенные, просто кто-то ходит мимо двери, как нередко бывает в гости-

ницах. Тем не менее он уставился в темнеющий потолок и прислушался снова. Через несколько секунд он поднялся и стал вслушиваться еще внимательней, слегка склонив голову набок. Потом снова сел и, подперев голову, слушал и размышлял.

Шаги в коридоре отеля — дело обычное, но эти шаги казались в высшей степени странными. Больше ничего не было слышно, дом был на редкость тихий — немногочисленные гости немедленно расходились по своим комнатам, а тренированные лакеи были невидимы и неслышимы, пока их не вызывали. В этом отеле меньше всего можно было ожидать чего-нибудь необычного. Однако эти шаги казались настолько странными, что слова «обычный» и «необычный» не подходили к ним. Отец Браун как бы следовал за ними, постукивая пальцами по краю стола, словно пианист, разучивающий фортепьянную пьесу.

Сперва слышались быстрые мелкие шажки, не переходившие, однако, в бег, — так мог бы идти участник состязания по ходьбе. Вдруг они прерывались и становились мерными, степенными, раза в четыре медленнее предыдущих. Едва затихал последний медленный шаг, как снова слышалась частая тропливая дробь и затем опять замедленный шаг грузной походки. Шагал, безусловно, один и тот же человек — и при медленной ходьбе, и при быстрой одинаково поскрипывала обувь. Отец Браун был не из тех, кто постоянно задает себе вопросы, но от этого, казалось бы, простого вопроса у него чуть не лопалась голова. Он видел, как разбегаются, чтобы прыгнуть; он видел, как разбегаются, чтобы прокатиться по льду. Но зачем разбегаться, чтобы перейти на медленный шаг? Для чего идти, чтобы потом разбежаться? И в то же время именно это продельвали невидимые ноги. Их обладатель очень быстро пробегал половину коридора, чтобы медленно проследовать по другой половине; медленно доходил до половины коридора, с тем чтобы доставить себе удовольствие быстро пробежать другую половину. Оба предположения не имели ни малейшего смысла. В голове отца Брауна, как и в комнате, становилось все темнее и темнее.

Однако, когда он сосредоточился, сама темнота каморки словно окрылила его мысль. Фантастические ноги, шагавшие по коридору, стали представ-

латься ему в самых неестественных или символических положениях. Может быть, это языческий ритуальный танец? Или новое гимнастическое упражнение? Отец Браун упорно обдумывал, что бы могли означать эти шаги. Медленные шаги, безусловно, не принадлежали хозяину. Люди его склада ходят быстро и деловито или не трогаются с места. Это не мог быть также ни лакей, ни посыльный, ожидающий распоряжений. В олигархическом обществе неимущие ходят иной раз вразвалку — особенно когда выпьют, но много чаще, особенно в таких местах, они стоят или сидят в напряженной позе. Нет, тяжелый и в то же время упругий шаг, не особенно громкий, но и не считающийся с тем, какой шум он производит, мог принадлежать лишь одному обитателю земного шара: так ходит западноевропейский джентльмен, который, по всей вероятности, никогда не зарабатывал себе на жизнь.

Как раз когда отец Браун пришел к этому важному заключению, шаг снова изменился и кто-то торопливо, по-крысиному, пробежал мимо двери. Однако, хотя шаги стали гораздо быстрее, шума почти не было, точно человек бежал на цыпочках. Но отцу Брауну не почудилось, что тот хочет скрыть свое присутствие, — для него звуки связывались с чем-то другим, чего он не мог припомнить. Эти воспоминания, от которых можно было сойти с ума, наконец вывели его из равновесия. Он был уверен, что слышал где-то эту странную, быструю походку, — и не мог припомнить, где именно. Вдруг у него мелькнула новая мысль; он вскочил и подошел к двери. Комната его не сообщалась непосредственно с коридором: одна дверь вела в застекленную контору, другая — в гардеробную. Дверь в контору была заперта. Он посмотрел в окно, светлевшее во мраке резко очерченным четырехугольником, полным сине-багровых облаков, озаренных зловещим светом заката, и на мгновение ему показалось, что он чует зло, как собака чует крысу.

Разумное (не знаю, благоразумное ли) начало победило. Он вспомнил, что хозяин запер дверь, обещав прийти попозже и выпустить его. Он убеждал себя, что двадцать разных причин, которые не пришли ему в голову, могут объяснить эти странные шаги в коридоре. Он напомнил себе о недоконченной ра-

боте и о том, что едва успеет дописать письмо засветло. Пересев к окну, поближе к угасавшему свету мятежного заката, он снова углубился в работу. Он писал минут двадцать, все ниже склоняясь к бумаге, по мере того как становилось темнее, потом внезапно выпрямился. Снова послышались странные шаги. На этот раз прибавилась третья особенность. Раньше незнакомец ходил, ходил легко и удивительно быстро, но все же ходил. Теперь он бегал. По коридору слышались частые, быстрые, скачущие шаги, словно прыжки мягких лап пантеры. Чувствовалось, что бегущий — сильный, энергичный человек, взволнованный, однако сдерживающий себя. Но едва лишь, прошелестев, словно смерч, он добежал до конторы, снова послышался медленный, размеренный шаг.

Отец Браун отбросил письмо и, зная, что дверь в контору закрыта, прошел в гардеробную, по другую сторону комнаты. Служитель временно отлучился, должно быть, потому, что все гости уже собрались, давно сидели за столом и его присутствие не требовалось. Пробравшись сквозь серый лес пальто, священник заметил, что полутемную гардеробную отделяет от ярко освещенного коридора барьер, вроде прилавка, через который обычно передают пальто и получают номерки. Как раз над аркой этой двери горела лампа. Отец Браун был едва освещен ею и темным силуэтом вырисовывался на фоне озаренного закатом окна. Зато весь свет падал на человека, стоявшего в коридоре.

Это был элегантный мужчина, в изысканно простом вечернем костюме, высокий, но хорошо сложенный и гибкий; казалось, там, где он проскользнул бы как тень, люди меньшего роста были бы заметнее его. Ярко освещенное лицо его было смугло и оживленно, как у иностранца-южанина. Держался он хорошо, непринужденно и уверенно. Строгий критик мог бы отметить разве только, что его фрак не вполне соответствовал стройной фигуре и светским манерам, был несколько мешковат и как-то странно топорщился. Едва увидев на фоне окна черный силуэт отца Брауна, он бросил на прилавок номерок и с дружелюбной снисходительностью сказал:

— Пожалуйста, шляпу и пальто. Я уйду.

Отец Браун молча взял номерок и пошел отыски-

вать пальто. Найдя, он принес его и положил на прилавок; незнакомец порылся в карманах и сказал, улыбаясь:

— У меня нет серебра. Возьмите вот это,— и, бросив золотой полусоверен, он взялся за пальто.

Отец Браун неподвижно стоял в темноте, и вдруг он потерял голову. С ним это случалось; правда, глупей от этого он не становился, скорее наоборот. В такие моменты, сложив два и два, он получал четыре миллиона. Католическая церковь (согласная со здравым смыслом) не всегда одобряла это. Он сам не всегда это одобрял. Но порой на него находило истинное вдохновение, необходимое в отчаянные минуты: ведь потерявший голову свою да обретет ее.

— Мне кажется, сэръ,— сказал он вежливо,— в кармане у вас все же есть серебро.

Высокий джентльмен уставился на него.

— Что за чушь! — воскликнул он.— Я даю вам золото, чем же вы недовольны?

— Иной раз серебро дороже золота,— скромно сказал священник.— Я хочу сказать— когда его много.

Незнакомец внимательно посмотрел на него. Потом еще внимательней глянул вдоль коридора. Снова перевел глаза на отца Брауна и с минуту смотрел на светлевшее позади него окно. Наконец решившись, он взялся рукой за барьер, перескочил через него с легкостью акробата и, нагнувшись к крохотному Брауну, огромной рукой сгреб его за воротник.

— Тихо! — сказал он отрывистым шепотом.— Я не хочу вам грозить, но...

— А я буду грозить вам,— перебил его отец Браун внезапно окрепшим голосом.— Грозить червем неумирающим и огнем неугасающим.

— Чудак! Вам не место здесь,— сказал незнакомец.

— Я священник, мосье Фламбо,— сказал Браун,— и готов выслушать вашу исповедь.

Высокий человек задохнулся, на мгновение замер и тяжело опустился на стул.

Первые две перемены обеда «Двенадцати верных рыболовов» следовали одна за другой без всяких помех и задержек. Копии меню у меня нет, но если бы

она и была, все равно бы вы ничего не поняли. Меню было составлено на ультрафранцузском языке поваров, непонятном для самих французов. По традиции клуба, закуски были разнообразны и сложны до безумия. К ним отнеслись вполне серьезно, потому что они были бесполезным придатком, как и весь обед, как и самый клуб. По той же традиции суп подали легкий и простой — все это было лишь введением к предстоящему рыбному пиру. За обедом шел тот странный, порхающий разговор, который предрешает судьбы Британской империи, столь полный намеков, что рядовой англичанин едва ли понял бы его, даже если бы и подслушал. Министров величали по именам, упоминая их с какой-то вялой благосклонностью. Радикального министра финансов, которого вся партия тори, по слухам, ругала за вымогательство, здесь хвалили за слабые стишки или за посадку в седле на псовой охоте. Вождь тори, которого всем либералам полагалось ненавидеть, как тирана, подвергался легкой критике, но о нем отзывались одобрительно, как будто речь шла о либерале. Каким-то образом выходило, что политики — люди значительные, но значительно в них все, что угодно, кроме их политики. Президентом клуба был добродушный пожилой мистер Одли, все еще носивший старомодные воротнички времен Гладстона ¹. Он казался символом этого призрачного и в то же время устойчивого общественного уклада. За всю свою жизнь он ровно ничего не сделал — ни хорошего, ни даже дурного; не был ни расточителем, ни особенно богат. Он просто всегда был «в курсе дела». Ни одна партия не могла обойти его, и если бы он вздумал стать членом кабинета, его, безусловно, туда ввели бы. Вице-президент, герцог Честерский, был еще молод и подавал большие надежды. Иными словами, это был приятный молодой человек с прилизанными русыми волосами и веснушчатым лицом. Он обладал средними способностями и несметным состоянием. Его публичные выступления были всегда успешны, хотя секрет их был крайне прост. Если ему в голову приходила шутка, он высказывал ее, и его называли остроумным. Если же шутки

¹ Гладстон Уильям Юарт (1809—1898) — английский политический и государственный деятель.

не подвертывалось, он говорил, что теперь не время шутить, и его называли глубокомысленным. В частной жизни, в клубе, в своем кругу он был радушен, откровенен и наивен, как школьник. Мистер Одли, никогда не занимавшийся политикой, относился к ней несравненно серьезнее. Иногда он даже смущал общество, намекая на то, что существует некоторая разница между либералом и консерватором. Сам он был консерватором даже в частной жизни. Его длинные седые кудри скрывали на затылке старомодный воротничок, точь-в-точь как у бывлых государственных мужей, и со спины он выглядел человеком, на которого может положиться империя. А спереди он казался тихим, любящим комфорт холостяком, из тех, что снимают комнаты в Олбэни ¹, — таким он и был на самом деле.

Как мы уже упоминали, за столом на веранде было двадцать четыре места, но сидело всего двенадцать членов клуба. Все они весьма удобно разместились по одну сторону стола, и перед ними открывался вид на весь сад, краски которого все еще были яркими, хотя вечер и кончался несколько хмуро для этого времени года. Президент сидел у середины стола, а вице-президент — у правого конца. Когда двенадцать рыболовов подходили к столу, все пятнадцать лакеев должны были (согласно неписаному клубному закону) чинно выстраиваться вдоль стены, как солдаты, встречающие короля. Толстый хозяин должен был стоять тут же, сияя от приятного удивления, и кланяться членам клуба, словно он раньше никогда не слыхивал о них. Но при первом же стуке ножей и вилок вся эта наемная армия исчезала, оставляя одного или двух лакеев, бесшумно скользивших вокруг стола и незаметно убиравших тарелки. Мистер Левер тоже скрывался, весь извиваясь в конвульсиях вежливых поклонов. Было бы не только преувеличением, но даже прямой клеветой сказать, что он может появиться снова. Но когда подавалось главное, рыбное блюдо, тогда, — как бы мне выразить это получше? — тогда казалось, что где-то парит ожившая тень или отражение хозяина.

¹ О л б э н и — тихий квартал, примыкающий с востока к Риджент-парку.

Священное рыбное блюдо было (конечно, для непосвященного взгляда) огромным пудингом, размером и формой напоминавшим свадебный пирог, в котором несметное количество разных видов рыбы вконец потеряло свои естественные свойства. «Двенадцать верных рыболовов» вооружались знаменитыми ножами и вилами и приступали к пудингу с таким благоговением, словно каждый кусочек стоил столько же, сколько серебро, которым его ели. И, судя по тому, что мне известно, так оно и было. С этим блюдом расправлялись молча, жадно и с полным сознанием важности момента. Лишь когда тарелка его опустела, молодой герцог сделал обычное замечание:

— Только здесь умеют как следует готовить это блюдо.

— Только здесь, — отозвался мистер Одли, поворачиваясь к нему и покачивая своей почтенной головой. — Только здесь — и нигде больше. Правда, мне говорили, что в кафе «Англэ»... — Тут он был прерван и на мгновение даже озадачен исчезновением своей тарелки, принятой лакеем. Однако он успел вовремя поймать нить своих ценных мыслей. — Мне говорили, — продолжал он, — что это блюдо могли бы приготовить и в кафе «Англэ». Но не верьте этому, сэр. — Он безжалостно закачал головой, как судья, отказывающий в помиловании осужденному на смерть преступнику. — Нет, не верьте этому, сэр.

— Преувеличенная репутация, — процедил некий полковник Паунд с таким видом, словно он открыл рот впервые за несколько месяцев.

— Ну что вы! — возразил герцог Честерский, по натуре оптимист. — В некоторых отношениях это премилое местечко. Например, нельзя отказать им...

В комнату быстро вошел лакей и вдруг остановился, словно окаменев. Сделал он это совершенно бесшумно, но вялые и благодушные джентльмены привыкли к тому, что невидимая машина, обслуживавшая их и поддерживавшая их существование, работает безукоризненно, и неожиданно остановившийся лакей испугал их, словно фальшивая нота в оркестре. Они чувствовали то же, что почувствовали бы мы с вами, если бы неодушевленный мир проявил непослушание: если бы, например, стул вдруг бросился убегать от нашей руки.

Несколько секунд лакей простоял неподвижно, и каждого из присутствующих постепенно охватывала странная неловкость, типичная для нашего времени, когда повсюду твердят о гуманности, а пропасть между богатыми и бедными стала еще глубже. Настоящий родовитый аристократ, наверное, принялся бы швырять в лакея чем попало, начав с пустых бутылок и, весьма вероятно, кончив деньгами. Настоящий демократ спросил бы его чисто товарищеским тоном, какого черта он стоит тут как истукан. Но эти новейшие плутократы не могли переносить возле себя неимущего — ни как раба, ни как товарища. Тот факт, что с лакеем случилось нечто странное, был для них просто скучной и досадной помехой. Быть грубыми они не хотели, а в то же время страшились проявить хоть какую-то человечность. Они желали одного: чтобы все это поскорее кончилось. Лакей простоял неподвижно несколько секунд, словно в столбняке, вдруг повернулся и опрометью выбежал с веранды.

Вскоре он снова появился на веранде или, вернее, в дверях в сопровождении другого лакея, что-то шепча ему и жестикулируя с чисто итальянской живостью. Затем первый лакей снова ушел, оставив в дверях второго, и опять появился, уже с третьим. Когда и четвертый лакей присоединился к этому сборищу, мистер Одли почувствовал, что во имя такта необходимо нарушить молчание. За неимением председательского молотка он громко кашлянул и сказал:

— А ведь молодой Мучер прекрасно работает в Бирме. Какая нация в мире могла бы...

Пятый лакей стрелой подлетел к нему и зашептал на ухо:

— Простите, сэр. Важное дело. Может ли хозяин поговорить с вами?

Президент растерянно повернулся и увидел мистера Левра, приближавшегося к нему своей обычной ныряющей походкой. Но лицо почтенного хозяина никто не назвал бы обычным. Всегда сияющее и медно-красное, оно окрасилось болезненной желтизной.

— Простите меня, мистер Одли, — проговорил он, задыхаясь, — случилась страшная неприятность. Скажите, ваши тарелки убрали вместе с вилками и ножами?

— Надеюсь,— несколько раздраженно протянул президент.

— Вы видели его? — продолжал хозяин.— Видели вы лакея, который убрал их? Узнали бы вы его?

— Узнать лакея? — негодуяще переспросил мистер Одли.— Конечно, нет.

Мистер Левер в отчаянии развел руками.

— Я не посылал его,— простонал он.— Я не знаю, откуда и зачем он явился. А когда я послал своего лакея убрать тарелки, он увидел, что их уже нет.

Решительно, мистер Одли чересчур растерялся для человека, на которого может положиться вся империя. Да и никто другой из присутствующих не нашелся, за исключением грубоватого полковника Паунда, внезапно воспрянувшего к жизни. Он поднялся с места и, вставив в глаз монокль, проговорил сипло, словно отвык пользоваться голосом:

— Вы хотите сказать, что кто-то украл наш серебряный рыбный прибор?

Хозяин снова развел руками, и в ту же секунду все присутствующие вскочили на ноги.

— Где лакей? — низким глухим голосом спросил полковник.— Они все тут?

— Да, все, я это заметил,— воскликнул молодой герцог, протискиваясь в центр группы.— Всегда считаю их, когда вхожу. Они так забавно выстраиваются вдоль стены.

— Да, но трудно сказать с уверенностью... — в тяжелом сомнении начал было мистер Одли.

— Говорю вам, я прекрасно помню,— возбужденно повторил герцог,— здесь никогда не было больше пятнадцати лакеев, и ровно столько же было и сегодня. Ни больше, ни меньше.

Хозяин повернулся к нему, дрожа всем телом.

— Вы говорите... вы говорите... — заикался он,— что видели пятнадцать лакеев?

— Как всегда,— подтвердил герцог,— что ж в этом особенного?

— Ничего,— сказал Левер,— только всех вы не могли видеть. Один из них умер и лежит наверху.

На секунду в комнате воцарилась тягостная тишина. Быть может (так сверхъестественно слово «смерть»), каждый из этих праздных людей заглянул в это мгновение в свою душу и увидел, что она

маленькая, как сморщенная горошина. Кто-то, кажется, герцог, сказал с идиотским состраданием богача:

— Не можем ли мы быть чем-нибудь полезны?

— У него был священник, — ответил расстроенный хозяин.

И — словно прозвучала труба Страшного суда — они подумали о таинственном посещении. Несколько весьма неприятных секунд присутствующим казалось, что пятнадцатым лакеем был призрак мертвеца. Неприятно им стало потому, что призраки были для них такой же помехой, как и нищие. Но мысль о серебре вывела их из оцепенения. Полковник отбросил ногою стул и направился к двери.

— Если здесь был пятнадцатый лакей, друзья мои, — сказал он, — значит, этот пятнадцатый и был вором. Немедленно закрыть парадный и черный ходы. Тогда мы и поговорим. Двадцать четыре жемчужины клуба стоят того, чтобы из-за них похлопотать.

Мистер Одли снова как будто заколебался, пристойно ли джентльмену проявлять торопливость. Но, видя, как герцог кинулся вниз по лестнице с энтузиазмом молодости, он последовал за ним, хотя и с большей солидностью.

В эту минуту на веранду вбежал шестой лакей и заявил, что он нашел грудку тарелок от рыбы без всяких следов серебра. Вся толпа гостей и прислуги гурьбой скатилась по лестнице и разделилась на два отряда. Большинство рыболовов последовало за хозяином в вестибюль. Полковник Паунд с президентом, вице-президентом и двумя-тремя членами клуба кинулись в коридор, который вел к лакейской, — вероятнее всего, вор бежал именно так. Проходя мимо полутемной гардеробной, они увидели в глубине ее низенькую черную фигурку, стоявшую в тени.

— Эй, послушайте, — крикнул герцог, — здесь проходил кто-нибудь?

Низенький человек не ответил прямо, но просто сказал:

— Может быть, у меня есть то, что вы ищете, джентльмены?

Они остановились, колеблясь и удивляясь, а он скрылся во мраке гардеробной и появился снова, держа в обеих руках грудку блестящего серебра, ко-

торое и выложил на прилавок спокойно, как приказчик, показывающий образцы. Серебро оказалось дюжиной ножей и вилок странной формы.

— Вы... Вы...— начал окончательно сбитый с толку полковник. Потом, освоившись с полумраком, он заметил две вещи: во-первых, низенький человек был в черной сутане и мало походил на слугу и, во-вторых, окно гардеробной было разбито, точно кто-то поспешно из него выскочил.

— Слишком ценная вещь, чтобы хранить ее в гардеробной,— заметил священник.

— Так вы... вы... значит, это вы украли серебро?— запинаясь, спросил мистер Одли, с недоумением глядя на священника.

— Если я и украд, то, как видите, я его возвращаю,— вежливо ответил отец Браун.

— Но украли не вы? — заметил полковник, вглядываясь в разбитое окно.

— По правде сказать, я не крал его,— сказал священник несколько юмористическим тоном и спокойно уселся на стул.

— Но вы знаете, кто это сделал? — спросил полковник.

— Настоящего его имени я не знаю,— невозмутимо ответил священник.— Но я знаю кое-что о его силе и очень много о его душевных сомнениях. Силу его я ощутил на себе, когда он пытался меня задушить, а об его моральных качествах я узнал, когда он раскаялся.

— Скажите пожалуйста, раскаялся!— с надменным смехом воскликнул герцог Честерский.

Отец Браун поднялся и заложил руки за спину.

— Не правда ли, странно, на ваш взгляд,— сказал он,— что вор и бродяга раскаялся, тогда как много богатых людей закоснели в мирской суе и никому от них нет прока? Если вы сомневаетесь в практической пользе раскаяния, вот вам ваши ножи и вилки. Вы «Двенадцать верных рыболовов», и вот ваши серебряные рыбы. Видите, вы все же выловили их. А я— *ловец человек*.

— Так вы поймали вора? — хмурясь, спросил полковник.

Отец Браун в упор посмотрел на его недовольное, суровое лицо.

— Да, я поймал его, — сказал он, — поймал невидимым крючком на невидимой леске, такой длинной, что он может уйти на край света и все же вернется, как только я потяну.

Они помолчали. Потом джентльмены удалились обратно на веранду, унося серебро и обсуждая с хозяином странное происшествие. Но суровый полковник по-прежнему сидел боком на барьере, раскачивая длинными ногами и покусывая кончики темных усов. Наконец он спокойно сказал священнику:

— Вор был не глупый малый, но, думается, я знаю человека поумнее.

— Он умный человек, — ответил отец Браун, — но я не знаю, кого вы считаете умнее.

— Вас, — сказал полковник и коротко рассмеялся. — Будьте спокойны, я не собираюсь сажать вора в тюрьму. Но я дал бы гору серебряных вилок за то, чтобы толком узнать, как вы-то замешались во всю эту кашу и как вам удалось отнять у него серебро. Думается мне, что вы большой хитрец и проведете любого.

Священнику, по-видимому, понравилась грубоватая прямота военного.

— Конечно, полковник, — сказал он, улыбаясь, — я ничего не могу сообщить вам об этом человеке и его частных делах. Но я не вижу причин скрывать от вас внешний ход дела, насколько я сам его понял.

С неожиданной для него легкостью он перепрыгнул через барьер, сел рядом с полковником Паундом и, в свою очередь, заболтал короткими ножками, словно мальчишка на заборе. Рассказ свой он начал так непринужденно, как если бы беседовал со старым другом у рождественского камелька.

— Видите ли, полковник, — начал он, — меня заперли в той маленькой каморке, и я писал письмо, когда услышал, что пара ног отплясывает по этому коридору такой танец, какого не спляшешь и на виселице. Сперва слышались забавные мелкие шажки, словно кто-то ходил на цыпочках; за ними следовали шаги медленные, уверенные — словом, шаги солидного человека, разгуливающего с сигарой во рту. Но шагали одни и те же ноги, в этом я готов был поклясться: легко, потом тяжело, потом опять легко. Сперва я прислушивался от нечего делать, а потом чуть с ума не сошел, стараясь понять, для чего пона-

добилось одному человеку ходить двумя походками. Одну походку я знал, она была вроде вашей, полковник. Это была походка плотно пообедавшего человека, джентльмена, который расхаживает не потому, что взволнован, а, скорее, потому, что вообще подвижен. Другая походка тоже казалась мне знакомой, только я никак не мог припомнить, где я ее слышал и где раньше встречал странное существо, носящееся на цыпочках подобным образом. Скоро до меня донесся стук тарелок, и ответ представился до глупости очевидным: это была походка лакея, когда, склонившись вперед, опустив глаза, загребая носками сапог, он несется подавать к столу. Затем я поразмыслил с минуту. И мне показалось, что я понял замысел преступления так же ясно, как если бы сам собирался его совершить.

Полковник внимательно посмотрел на священника, но кроткие серые глаза были безмятежно устремлены в потолок.

— Преступление, — продолжал он медленно, — то же произведение искусства. Не удивляйтесь: преступление далеко не единственное произведение искусства, выходящее из мастерских преисподней. Но каждое подлинное произведение искусства, будь оно небесного или дьявольского происхождения, имеет одну неприменную особенность: основа его всегда проста, как бы сложно ни было выполнение. Так, например, в «Гамлете» фигуры могильщиков, цветы сумасшедшей девушки, загробное обаяние Озрика, бледность духа и усмешка черепа — все сплетено венком для мрачного человека в черном. И то, что я вам рассказываю, — добавил он, улыбаясь и медленно слезая с барьера, — тоже незамысловатая трагедия человека в черном. — Да, — продолжал он, видя, что полковник смотрит на него с удивлением, — вся эта история сводится к черному костюму. В ней, как и в «Гамлете», немало всевозможных наслоений, вроде вашего клуба, например. Есть мертвый лакей, который был там, где быть не мог; есть невидимая рука, собравшая с вашего стола серебро и растаявшая в воздухе. Но каждое умно задуманное преступление основано в конце концов на чем-нибудь вполне заурядном, ничуть не загадочном. Тайнственность появляется позже, чтобы увести нас в сторону по лож-

ному следу. Сегодняшнее дело — крупное, тонко задуманное и (на взгляд заурядного вора) весьма выгодное. Оно было построено на том общеизвестном факте, что вечерний костюм джентльмена как две капли воды похож на костюм лакея, — оба носят черный фрак. Все остальное была игра, и притом удивительно тонкая.

— И все же, — заметил полковник, слезая с барьера и хмуро разглядывая свои ботинки, — все же я не вполне уверен, что понял вас.

— Полковник, — сказал отец Браун, — вы еще больше удивитесь, когда я скажу вам, что демон наглости, укравший ваши вилки, все время разгуливал у вас на глазах. Он прошел по коридору раз двадцать взад и вперед — и это при полном освещении и на виду у всех. Он не прятался по углам, где его могли бы заподозрить. Напротив, он беспрестанно двигался и, где бы он ни был, везде, казалось, находился по праву. Не спрашивайте меня, как он выглядел, потому что вы сами видели его сегодня шесть или семь раз. Вы вместе с другими высокородными господами дожидались обеда в гостиной, в конце прохода, возле самой веранды. И вот, когда он проходил среди вас, джентльменов, он был лакеем, с опущенной головой, болтающейся салфеткой и развевающимися фалдами. Он вылетал на веранду, поправлял скатерть, переставлял что-нибудь на столе и мчался обратно по направлению к конторе и лакейской. Но едва он попадал в поле зрения конторского клерка и прислуги, как — и видом и манерами, с головы до ног, — становился другим человеком. Он бродил среди слуг с той рассеянной небрежностью, которую они так привыкли видеть у своих патронов. Их не должно было удивлять, что гость разгуливает по всему дому, словно зверь, снующий по клетке в зоологическом саду. Они знали: ничто так не выделяет людей высшего круга, как именно привычка расхаживать всюду, где им вздумается. Когда он пресыщался прогулкой по коридору, он поворачивал и снова проходил мимо конторы. В тени гардеробной ниши он, как по мановению жезла, разом менял свой облик и снова услужливым лакеем мчался к «Двенадцати верным рыболовам». Не пристало джентльменам обращать внимание на какого-то лакея. Как может прислуга

заподозрить прогуливающегося джентльмена?.. Раз он выкинул фокус еще почище. У конторы он величественно потребовал сифон содовой воды, сказав, что хочет пить. Он добавил непринужденно, что возьмет сифон с собой. Он так и сделал — быстро и ловко пронес его среди всех вас, джентльменов, лакеем, выполняющим обычное поручение. Конечно, это не могло длиться до бесконечности, но ему ведь нужно было дождаться лишь конца рыбной перемены. Самым опасным для него было начало обеда, когда все лакеи выстраивались в ряд, но и тут ему удалось прислониться к стене как раз за углом, так что лакеи и тут приняли его за джентльмена, а джентльмены — за лакея. Дальше все шло как по маслу. Лакей принимал его за скучающего аристократа, и наоборот. За две минуты до того, как рыбная перемена была закончена, он снова обратился в проворного слугу и быстро собрал тарелки. Посуду он оставил на полке, серебро засунул в боковой карман, отчего тот оттопырился, и, как заяц, помчался по коридору, пока не добрался до гардеробной. Тут он снова стал джентльменом, внезапно вызванным по делу. Ему оставалось лишь сдать свой номерок гардеробщику и выйти так же непринужденно, как пришел. Только случилось так, что гардеробщиком был я.

— Что вы сделали с ним? — воскликнул полковник с необычным для него жаром.— И что он вам сказал?

— Простите,— невозмутимо ответил отец Браун,— тут мой рассказ кончается.

— И начинается самое интересное,— пробормотал Паунд.— Его профессиональные приемы я еще понимаю. Но как-то не могу понять ваши.

— Мне пора уходить,— проговорил отец Браун.

Вместе они дошли до передней, где увидели свежее веснушчатое лицо герцога Честерского, с веселым видом бежавшего искать их.

— Скорее, скорее, Паунд! — запыхавшись, кричал он.— Скорее идите к нам! Я всюду искал вас. Обед продолжается как ни в чем не бывало, и старый Одли сейчас скажет спич в честь спасенных вилок. Видите ли, мы предполагаем создать новую церемонию, чтобы увековечить это событие. Серебро снова у нас. Можете вы что-нибудь предложить?

— Ну что ж, — не без сарказма согласился полковник, оглядывая его. — Я предлагаю, чтобы отныне мы носили зеленые фраки вместо черных. Мало ли что может случиться, когда ты одет так же, как лакей.

— Глупости, — сказал герцог, — джентльмен никогда не выглядит лакеем.

— А лакей не может выглядеть джентльменом? — так же беззвучно смеясь, отозвался полковник Паунд. — В таком случае и ловок же ваш приятель, — сказал он, обращаясь к Брауну, — если он сумел сойти за джентльмена.

Отец Браун наглухо застегнул свое скромное пальто — ночь была холодная и ветреная — и взял в руки свой скромный зонт.

— Да, — сказал он, — должно быть, очень трудно быть джентльменом. Но, знаете ли, я не раз думал, что почти так же трудно быть лакеем.

И, промолвив «добрый вечер», он толкнул тяжелую дверь дворца наслаждений. Золотые ворота тотчас же захлопнулись за ним, и он быстро зашагал по мокрому темным улицам в поисках омнибуса.

ЛЕТУЧИЕ ЗВЕЗДЫ

«**М**ое самое красивое преступление, — любил рассказывать Фламбо в годы своей добродетельной старости, — было также, по странному стечению обстоятельств, моим последним преступлением. Я совершил его на рождество. Как настоящий артист своего дела, я всегда старался, чтобы преступление гармонировало с определенным временем года или с пейзажем, и подыскивал для него, словно для скульптурной группы, подходящий сад или обрыв. Так, например, английских сквайров уместнее всего надувать в длинных комнатах, где стены обшиты дубовыми панелями, а богатых евреев, наоборот, лучше оставлять без гроша среди огней и пышных драпировок кафе «Риш». Если, например, в Англии у меня возникало желание избавить настоятеля собора от бремени земного имущества (что не так-то просто сделать, как кажется), мне хотелось видеть свою жертву обрамленной, если

можно так сказать, зелеными газонами и серыми колокольнями старинного городка. Точно так же во Франции, изымая некоторую сумму у богатого и жадного крестьянина (что сделать почти невозможно), я испытывал удовлетворение, если видел его негодующую физиономию на фоне серого ряда аккуратно подстриженных тополей или величавых галльских равнин, которые так прекрасно живописал великий Милле ¹.

Так вот, моим последним преступлением было рождественское преступление, веселое, уютное английское преступление среднего достатка — преступление в духе Чарльза Диккенса. Я совершил его в одном хорошем старинном доме близ Путни, в доме с полукруглым подъездом для экипажей, в доме с конюшней, в доме с названием, которое значилось на обоих воротах, в доме с неизменной араукарией... Впрочем, довольно, — вы уже, вероятно, представляете себе, что это был за дом. Ей-богу, я тогда очень смело и вполне литературно воспроизвел диккенсовский стиль. Даже жалко, что в тот самый вечер я раскаялся и решил покончить с прежней жизнью».

И Фламбо начинал рассказывать всю эту историю изнутри, если можно так выразиться, с точки зрения одного из ее героев, но даже с этой точки зрения она казалась по меньшей мере странной. С точки же зрения стороннего наблюдателя история эта представлялась просто непостижимой, а именно с этой точки зрения и должен ознакомиться с нею читатель.

Это произошло на второй день рождества. Началом всех событий можно считать тот момент, когда двери дома отворились и молоденькая девушка с куском хлеба в руках вышла в сад, где росла араукария, покормить птиц. У девушки было хорошенькое личико и решительные карие глаза; о фигуре ее судить не представлялось возможности — с ног до головы она была так укутана в коричневый мех, что трудно было сказать, где кончается лохматый воротник и начинаются пушистые волосы. Если б не милое личико, ее можно было бы принять за маленького неуклюжего медвежонка.

¹ М и л л е Ж а н - Ф р а н с у а (1814—1875) — французский художник.

Освещение зимнего дня приобретало все более красноватый оттенок по мере того, как близился вечер, и рубиновые отсветы на обнаженных клумбах в саду казались призраками увядших роз. С одной стороны к дому примыкала конюшня, с другой начиналась аллея, вернее, галерея из сплетающихся вверху лавровых деревьев, которая уводила в большой сад за домом. Юная девушка накрошила птицам хлеб (в четвертый или пятый раз за день, потому что его съедала собака) и, чтобы не мешать птичьему пиршеству, пошла по лавровой аллее в сад, где мерцали листья вечнозеленых деревьев. Здесь она вскрикнула от изумления — искреннего или притворного, неизвестно, — ибо, подняв глаза, увидела, что на высоком заборе, словно наездник на коне, в фантастической позиции сидит некая фантастическая фигура.

— Ой, только не прыгайте, мистер Крук, — воскликнула девушка в тревоге, — здесь очень высоко!

Человек, оседлавший забор, точно крылатого коня, был долговязым, угловатым юношей с темными, «ежиком», волосами, с лицом умным и интеллигентным, но совсем не по-английски бледным, даже бескровным. Бледность его особенно подчеркивал красный галстук вызывающе яркого оттенка — единственная явно обдуманная деталь его костюма. Быть может, это был своего рода символ? Он не внял мольбе девушки и, рискуя переломать себе ноги, спрыгнул на землю с легкостью кузнечика.

— По-моему, судьбе угодно было, чтобы я стал вором и лазил в чужие дома и сады, — спокойно объявил он, очутившись рядом с нею. — И так бы, без сомнения, и случилось, не родился я в этом милом доме по соседству с вами. Впрочем, ничего дурного я в этом не вижу.

— Как вы можете так говорить? — с укором воскликнула девушка.

— Понимаете ли, если родился не по ту сторону забора, где тебе требуется, по-моему, ты вправе через него перелезть.

— Вот уж никогда не знаешь, что вы сейчас скажете или сделаете.

— Я и сам частенько не знаю, — ответил мистер Крук. — Во всяком случае, сейчас я как раз по ту сторону забора, где мне и следует быть.

— А по какую сторону забора вам следует быть? — с улыбкой спросила юная девица.

— По ту, где вы, — ответил молодой человек по фамилии Крук.

И они пошли назад по лавровой аллее. Вдруг трижды протрубил, приближаясь, автомобильный гудок: эlegantный автомобиль светло-зеленого цвета, словно птица, подлетел к подъезду и, весь трепеща, остановился.

— Ого, — сказал молодой человек в красном галстуке, — вот уж кто родился с той стороны, где следует. Я не знал, мисс Адамс, что у вашей семьи столь новомодный Дед Мороз.

— Это мой крестный отец, сэр Леопольд Фишер. Он всегда приезжает к нам на рождество.

И после невольной паузы, выдававшей определенный недостаток воодушевления, Руби Адамс добавила:

— Он очень добрый.

Журналист Джон Крук был наслышан о крупном дельце из Сити, сэре Леопольде Фишере, и если сей крупный делец не был наслышан о Джоне Круке, то уж, во всяком случае, не по вине последнего, ибо тот неоднократно и весьма непримиримо отзывался о сэре Леопольде на страницах «Призыва» и «Нового века». Впрочем, сейчас мистер Крук не говорил ни слова и с мрачным видом наблюдал за разгрузкой автомобиля, — а это была длительная процедура. Сначала открылась передняя дверца, и из машины вылез высокий эlegantный шофер в зеленом, затем открылась задняя дверца, и из машины вылез низенький эlegantный слуга в сером, затем они вдвоем извлекли сэра Леопольда и, взгромоздив его на крыльцо, стали распаковывать, словно ценный, тщательно увязанный узел. Под пледами, столь многочисленными, что их хватило бы на целый магазин, под шкурами всех лесных зверей и шарфами всех цветов радуги обнаружилось наконец нечто, напоминающее человеческую фигуру, нечто, оказавшееся довольно приветливым, хотя и смахивающим на иностранца, старым джентльменом с седой козлиной бородкой и сияющей улыбкой, который стал потирать руки в огромных меховых рукавицах.

Но еще задолго до конца этой процедуры двери дома открылись и на крыльцо вышел полковник Адамс (отец молодой леди в шубке), чтобы встретить и ввести в дом почетного гостя. Это был высокий смуглый и очень молчаливый человек в красном колпаке, напоминающем феску и придававшем ему сходство с английским сардаром или египетским пашой. Вместе с ним вышел его шурин, молодой фермер, недавно приехавший из Канады, — крупный и шумливый мужчина со светлой бородкой, по имени Джеймс Блаунт. Их обоих сопровождала еще одна, весьма скромная личность — католический священник из соседнего прихода. Покойная жена полковника была католичкой, и дети, как это принято в таких случаях, воспитывались в католичестве. Священник этот был ничем не примечателен, даже фамилия у него была заурядная — Браун. Однако полковник находил его общество приятным и часто приглашал к себе.

В просторном холле было довольно места даже для сэра Леопольда и его многочисленных оболочек. Холл этот, непомерно большой для такого дома, представлял собой огромное помещение, в одном конце которого находилась наружная дверь с крыльцом, а в другом — лестница на второй этаж. Здесь, перед камином с висящей над ним шпагой полковника, процедура раздевания нового гостя была завершена и все присутствующие, в том числе и мрачный Крук, были представлены сэру Леопольду Фишеру. Однако почтенный финансист все еще продолжал сражаться со своим безукоризненно сшитым одеянием. Он долго рылся во внутреннем кармане фрака и наконец, весь светясь от удовольствия, извлек оттуда черный овальный футляр, заключавший, как он пояснил, рождественский подарок для его крестницы. С нескрываемым и потому обезоруживающим тщеславием он высоко поднял футляр, так чтобы все могли его видеть, затем слегка нажал пружину — крышка откинулась, и все замерли, ослепленные: фонтан кристаллизованного света вдруг забил у них перед глазами. На оранжевом бархате, в углублении, словно три яйца в гнезде, лежали три чистых сверкающих бриллианта, и казалось, даже воздух вокруг загорелся от их огня. Фишер стоял, расплывшись в

благожелательной улыбке, упиваясь изумлением и восторгом девушки, сдержанным восхищением и немногословной благодарностью полковника, удивленными возгласами остальных.

— Пока что я положу их обратно, милочка,— сказал Фишер, засовывая футляр в задний карман своего фрака.— Мне пришлось вести себя очень осторожно, когда я ехал сюда. Имейте в виду, что это — три знаменитых африканских бриллианта, которые называются «летучими звездами», потому что их уже неоднократно похищали. Все крупные преступники охотятся за ними, но и простые люди на улице и в гостинице, разумеется, рады были бы заполучить их. У меня могли украсть бриллианты по дороге сюда. Это было вполне возможно.

— Я бы сказал, вполне естественно,— сердито заметил молодой человек в красном галстуке.— И я бы лично никого не стал винить за это. Когда люди просят хлеба, а вы не даете им даже камня, я думаю, они имеют право сами взять себе этот камень.

— Не смейте так говорить! — с непонятной запальчивостью воскликнула девушка.— Вы говорите так только с тех пор, как стали этим ужасным... ну, как это называется? Как называют человека, который готов обниматься с трубочистом?

— Святым,— сказал отец Браун.

— Я полагаю,— возразил сэр Леопольд со снисходительной усмешкой,— что Руби имеет в виду социалистов.

— Радикал — это не тот, кто извлекает корни,— заметил Крук с некоторым раздражением,— а консерватор вовсе не консервирует фрукты. Смеею вас уверить, что и социалисты совершенно не жаждут якшаться с трубочистами. Социалист — это человек, который хочет, чтобы все трубы были прочищены и чтобы всем трубочистам платили за работу.

— Но который считает,— тихо добавил священник,— что ваша собственная сажа вам не принадлежит.

Крук взглянул на него с интересом и даже с уважением.

— Кому может понадобиться собственная сажа? — спросил он.

— Кое-кому, может, и понадобится,— ответил Браун серьезно.— Говорят, например, что ею поль-

зуются садовники. А сам я однажды на рождество доставил немало радости шестерым ребятишкам, которые ожидали Деда Мороза, — исключительно с помощью сажи, примененной как наружное средство.

— Ах, как интересно! — вскричала Руби. — Вот бы вы повторили это сегодня для нас!

Энергичный канадец мистер Блаунт возвысил свой и без того громкий голос, присоединяясь к предложению племянницы; удивленный финансист тоже возвысил голос, выражая решительное неодобрение, но в это время кто-то постучал в парадную дверь. Священник распахнул ее, и глазам присутствующих вновь представился сад с араукарией и вечнозелеными деревьями, теперь уже темнеющими на фоне великолепного фиолетового заката. Этот вид, как бы вставленный в раму раскрытой двери, был настолько красив и необычен, что казался театральной декорацией. Несколько мгновений никто не обращал внимания на человека, остановившегося на пороге. Это был, видимо, обыкновенный посыльный в запыленном поношенном пальто.

— Кто из вас мистер Блаунт, джентльмены? — спросил он, протягивая письмо. Мистер Блаунт вздрогнул и осекся, не окончив своего одобрительного возгласа. С недоуменным выражением он надорвал конверт и стал читать письмо; при этом лицо его сначала омрачилось, затем посветлело, и он повернулся к своему зятю и хозяину.

— Мне очень неприятно причинять вам столько беспокойства, полковник, — начал он с веселой церемонностью Нового Света, — но не злоупотреблю ли я вашим гостеприимством, если вечером ко мне зайдет сюда по делу один мой старый приятель? Впрочем, вы, наверно, слышали о нем — это Флориан, знаменитый французский акробат и комик. Я с ним познакомился много лет назад на Дальнем Западе (он по рождению канадец). А теперь у него ко мне какое-то дело, хотя убей не знаю какое.

— Полноте, полноте, дорогой мой, — любезно ответил полковник. — Вы можете приглашать кого угодно. К тому же он, без сомнения, будет как раз кстати.

— Он вымажет себе лицо сажей, если вы это имеете в виду, — смеясь, воскликнул Блаунт, — и всем наставит фонарей под глазами. Я лично не возра-

жаю, я человек простой и люблю веселую старую пантомиму, в которой герой садится на свой цилиндр.

— Только не на мой, пожалуйста,— с достоинством произнес сэр Леопольд Фишер.

— Ну, ладно, ладно,— весело вступился Крук,— не будем ссориться. Человек на цилиндре — это еще не самая низкопробная шутка!

Неприязнь к молодому человеку в красном галстуке, вызванная его грабительскими убеждениями и его очевидным ухаживанием за хорошенькой крестницей Фишера, побудила последнего заметить саркастически-повелительным тоном:

— Не сомневаюсь, что вам известны и более грубые шутки. Не приведете ли вы нам в пример хоть одну?

— Извольте: цилиндр на человеке,— отвечал социалист.

— Ну, ну, ну! — воскликнул канадец с благодушием истинного варвара. — Не надо портить праздник. Давайте-ка повеселим сегодня общество. Не будем мазать лица сажей и садиться на шляпы, если вам это не по душе, но придумаем что-нибудь в том же духе. Почему бы нам не разыграть настоящую старую английскую пантомиму — с клоуном, Коломбиной и всем прочим? Я видел такое представление перед отъездом из Англии, когда мне было лет двенадцать, и у меня осталось о нем воспоминание яркое, как костер. А когда я в прошлом году вернулся, оказалось, что пантомим больше не играют. Ставят одни только плаксивые волшебные сказки. Я хочу видеть хорошую потасовку, раскаленную кочергу, полисмена, которого разделяют на котлеты, а мне преподнесут принцесс, разглагольствующих при лунном свете, синих птиц и тому подобную ерунду. Синяя Борода — это по мне, да и тот нравится мне больше всего в виде Панталоне.

— Я всей душой поддерживаю предложение разделять полисменов на котлеты,— сказал Джон Крук. — Это гораздо более удачное определение социализма, чем то, которое здесь недавно приводилось. Но спектакль — дело, конечно, слишком сложное.

— Да что вы! — в увлечении закричал на него мистер Блаунт. — Устроить арлекинаду? Ничего нет проще! Во-первых, можно нести любую отсебятину,

а во-вторых, на реквизит и декорации сгодится всякая домашняя утварь — столы, вешалки, бельевые корзины и так далее.

— Да, это верно.— Крук оживился и стал расхаживать по комнате.— Только вот боюсь, что мне не удастся раздобыть полицейский мундир. Давно уж не убивал я полисменов.

Блаунт на мгновение задумался и вдруг хлопнул себя по ляжке.

— Достанем! — воскликнул он.— Тут в письме есть телефон Флориана, а он знает всех костюмеров в Лондоне. Я позвоню ему и велю захватить с собой костюм полисмена.

И он кинулся к телефону.

— Ах, как чудесно, крестный,— Руби была готова заплясать от радости,— я буду Коломбиной, а вы — Панталоне.

Миллионер выпрямился и замер в величественной позе языческого божества.

— Я полагаю, моя милая,— сухо проговорил он,— что вам лучше поискать кого-нибудь другого для роли Панталоне.

— Я могу быть Панталоне, если хочешь,— в первый и последний раз вмешался в разговор полковник Адамс, вынув изо рта сигару.

— Вам за это нужно памятник поставить,— воскликнул канадец, с сияющим лицом вернувшийся от телефона.— Ну вот, значит, все устроено. Мистер Крук будет клоуном — он журналист и, следовательно, знает все устаревшие шутки. Я могу быть Арлекином — для этого нужны только длинные ноги и умение прыгать. Мой друг Флориан сказал мне сейчас, что достанет по дороге костюм полисмена и переоденется. Представление можно устроить здесь, в этом холле, а публику мы посадим на ступеньки лестницы. Входные двери будут задником, если их закрыть, у нас получится внутренность английского дома, а открыть — освещенный луною сад. Ей-богу, все устраивается точно по волшебству.

И, выхватив из кармана кусок мела, унесенный из биллиардной, он провел на полу черту, отделив воображаемую сцену.

Как им удалось подготовить в такой короткий срок даже это дурацкое представление — остается загад-

кой. Но они принялись за дело с тем безрассудным рвением, которое возникает, когда в доме живет юность. А в тот вечер в доме жила юность, хотя не все, вероятно, догадались, в чьих глазах и в чьих сердцах она горела. Как всегда бывает в таких случаях, затея становилась все безумнее при всей буржуазной благонаправности ее происхождения. Коломбина была очаровательна в своей широкой торчащей юбке, до странности напоминавшей большой абажур из гостиной. Клоун и Панталоне набелили себе лица мукой, добытой у повара, и покрасили щеки румянами, тоже позаимствованными у кого-то из домашних, пожелавшего (как и подобает истинному благодетелю-христианину) остаться неизвестным. Арлекина, уже нарядившегося в костюм из серебряной бумаги, извлеченной из сигарных ящиков, с большим трудом удалось остановить в тот момент, когда он собирался разбить старинную хрустальную люстру, чтобы украсить ее сверкающими подвесками. Он бы наверняка осуществил свой замысел, если бы Руби не откопала для него где-то поддельные драгоценности, украшавшие когда-то на маскараде ее костюм бубновой дамы. Кстати сказать, ее дядюшка Джеймс Блаунт до того разошелся, что с ним никакого сладу не было; он вел себя, как озорной школьник. Он нахлобучил на отца Брауна бумажную ослиную голову, а тот терпеливо снес это и к тому же изобрел какой-то способ шевелить ее ушами. Блаунт сделал даже попытку прицепить ослиный хвост к фалдам сэра Леопольда Фишера, но на сей раз его выходка была принята куда менее благосклонно.

— Дядя Джеймс слишком уж развеселился, — сказала Руби, с серьезным видом вешая Круку на шею гирляндю сосисок. — Что это он?

— Он Арлекин, а вы Коломбина, — ответил Крук. — Ну а я только клоун, который повторяет устарелые шутки.

— Лучше бы вы были Арлекином, — сказала она, и сосиски, раскачиваясь, повисли у него на шее.

Хотя отцу Брауну, успевшему уже вызвать аплодисменты искусным превращением подушки в младенца, было отлично известно все происходившее за кулисами, он тем не менее присоединился к зрителям и уселся среди них с выражением торжественного

ожидания на лице, словно ребенок, впервые попавший в театр.

Зрителей было немного — родственники, кое-кто из соседей и слуги. Сэр Леопольд занял лучшее место, и его массивная фигура почти совсем загородила сцену от маленького священника, сидевшего позади него; но много ли при этом потерял священник, театральная критика не знает. Пантомима являла собой нечто совершенно хаотическое, но все-таки она была не лишена известной прелести, — ее оживляла и пронизывала искрометная импровизация клоуна Крука. В обычных условиях Крук был просто умным человеком, но в тот вечер он чувствовал себя всеведущим и всемогущим — неразумное чувство, мудрое чувство, которое приходит к молодому человеку, когда он на какой-то миг уловит на некоем лице некое выражение. Считалось, что он исполняет роль клоуна, на самом деле он был еще автором (насколько тут вообще мог быть автор), суфлером, декоратором, рабочим сцены и в довершение всего оркестром. Во время коротких перерывов в этом безумном представлении он в своих клоунских доспехах кидался к роялю и барабанил на нем отрывки из популярных песенок, настолько же неуместных, насколько и подходящих к случаю.

Кульминационным пунктом спектакля, а также и всех событий, было мгновение, когда двери на заднем плане сцены вдруг распахнулись, и зрителям открылся сад, залитый лунным светом, на фоне которого отчетливо вырисовывалась фигура знаменитого Флориана в костюме полисмена. Клоун забарабанил хор полицейских из оперетты «Пираты из Пензанса», но звуки рояля потонули в оглушительной овации: великий комик удивительно точно и почти совсем естественно воспроизводил жесты и осанку полисмена. Арлекин подпрыгнул к нему и ударил его по каске, пианист заиграл «Где ты раздобыл такую шляпу?» — а он только озирался вокруг, с потрясающим мастерством изображая изумление; Арлекин подпрыгнул еще и опять ударил его; а пианист сыграл несколько тактов из песенки «А затем еще разок...». Потом Арлекин бросился прямо в объятия полисмена и под грохот аплодисментов повалил его на пол. Тогда-то французский комик и показал свой

знаменитый номер «Мертвец на полу», память о котором и по сей день живет в окрестностях Пути. Невозможно было поверить, что это живой человек. Здоровяк Арлекин раскачивал его, как мешок, из стороны в сторону, подбрасывал и крутил, как резиновую дубинку,— и все это под уморительные звуки дурацких песенок в исполнении Крука. Когда Арлекин с натугой оторвал от пола тело комика-констебля, шут за роялем заиграл «Я восстал ото сна, мне снилась ты», когда он взвалил его себе на спину, послышалось «С котомкой за плечами», а когда, наконец, Арлекин с весьма убедительным стуком опустил свою ношу на пол, пианист, вне себя от восторга, заиграл бойкий мотивчик на такие — как полагают по сей день — слова: «Письмо я милой написал и бросил по дороге».

Приблизительно в то же время — в момент, когда безумство на импровизированной сцене достигло апогея, — отец Браун совсем перестал видеть актеров, ибо прямо перед ним почтенный магнат из Сити встал во весь рост и принялся ошалело шарить у себя по карманам. Потом он в волнении уселся, все еще роясь в карманах, потом опять встал и вознамерился было перешагнуть через рампу на сцену, однако ограничился тем, что бросил свирепый взгляд на клоуна за роялем и, не говоря ни слова, пулей вылетел из зала.

В течение нескольких последующих минут священник имел полную возможность следить за дикой, но не лишенной известного изящества пляской любителя Арлекина над артистически бесчувственным телом его врага. С подлинным, хотя и грубоватым искусством Арлекин танцевал теперь в распахнутых дверях, потом стал уходить все дальше и дальше в глубь сада, наполненного тишиной и лунным светом. Его наскоро склеенное из бумаги одеяние, слишком уж сверкавшее в огнях ramпы, становилось волшебнo-серебристым по мере того, как он удалялся, танцуя в лунном сиянии. Зрители с громом аплодисментов повскакали с мест и бросились к сцене, но в это время отец Браун почувствовал, что кто-то тронул его за рукав и шепотом попросил пройти в кабинет полковника.

Он последовал за слугой со все возрастающим чувством беспокойства, которое отнюдь не уменьшилось

при виде торжественно-комической сцены, представившейся ему, когда он вошел в кабинет. Полковник Адамс, все еще наряженный в костюм Панталоне, сидел, понуро кивая рогом из китового уса, и в старых его глазах была печаль, которая могла бы отрезать вакханалию. Опершись о камин и тяжело дыша, стоял сэр Леопольд Фишер; вид у него был перекупанный и важный.

— Произошла очень неприятная история, отец Браун,— сказал Адамс.— Дело в том, что бриллианты, которые мы сегодня видели, исчезли у моего друга из заднего кармана. А так как вы...

— А так как я,— продолжал отец Браун, простодушно улыбнувшись,— сидел позади него...

— Ничего подобного,— с нажимом сказал полковник Адамс, в упор глядя на Фишера, из чего можно было заключить, что нечто подобное уже было высказано.— Я только прошу вас, как джентльмена, оказать мне помощь.

— То есть вывернуть свои карманы,— закончил отец Браун и поспешил это сделать, вытащив на свет божий семь шиллингов шесть пенсов, обратный билет в Лондон, маленькое серебряное распятие, маленький трепник и плитку шоколада.

Полковник некоторое время молча глядел на него, а затем сказал:

— Признаться, содержимое вашей головы интересует меня гораздо больше, чем содержимое ваших карманов. Ведь моя дочь — ваша воспитанница. Так вот, в последнее время она... — Он не договорил.

— В последнее время,— выкрикнул почтенный Фишер,— она открыла двери отцовского дома головорезу социалисту, и этот малый открыто заявляет, что всегда готов обокрасть богатого человека. Вот к чему это привело. Перед вами богатый человек, которого обокрали!

— Если вас интересует содержимое моей головы, то я могу вас с ним познакомить,— бесстрастно сказал отец Браун.— Чего оно стоит, судите сами. Вот что я нахожу в этом старейшем из моих карманов: люди, намеревающиеся украсть бриллианты, не провозглашают социалистических идей. Скорее уж,— добавил он кротко,— они станут осуждать социализм.

Оба его собеседника быстро переглянулись, а священник продолжал:

— Видите ли, ведь мы знаем этих людей. Социалист, о котором идет речь, так же не способен украть бриллианты, как и египетскую пирамиду. Нам сейчас следует заняться другим человеком, тем, который нам незнаком. Тем, кто играет полисмена. Хотелось бы мне знать, где именно он находится в данную минуту.

Панталоне вскочил с места и большими шагами вышел из комнаты. Вслед за этим последовала интерлюдия, во время которой миллионер смотрел на священника, а священник смотрел в свой трюбник. Панталоне вернулся и отрывисто сказал:

— Полисмен все еще лежит на сцене. Занавес поднимали шесть раз, а он все еще лежит.

Отец Браун выронил книгу, встал и остолбенел, глядя перед собой, словно пораженный внезапным умственным расстройством. Но мало-помалу его серые глаза оживились, и тогда он спросил, казалось бы, без всякой связи с происходящим:

— Простите, полковник, когда умерла ваша жена?

— Жена? — удивленно переспросил старый воин. — Два месяца тому назад. Ее брат Джеймс опоздал как раз на неделю и не застал ее в живых.

Маленький священник подпрыгнул, как подстреленный кролик.

— Живее! — воскликнул он с необычайной для себя горячностью. — Живее! Нужно пойти взглянуть на полисмена!

Они нырнули под занавес, чуть не сбив с ног Коломбину и клоуна (которые мирно шептались в полутьме), и отец Браун нагнулся над распростертым комиком-полисменом.

— Хлороформ, — сказал он, выпрямляясь. — И как я раньше не догадался!

Все молчали в недоумении. Потом полковник медленно произнес:

— Пожалуйста, объясните толком, что все это значит?

Отец Браун вдруг громко расхохотался, потом сдержался и проговорил, задыхаясь и с трудом подавляя приступы смеха:

— Джентльмены, сейчас не до разговоров. Мне нужно догнать преступника. Но этот великий французский актер, который играл полисмена, этот гениальный мертвец, с которым вальсировал Арлекин, которого он подбрасывал и швырял во все стороны, — это... — Он не договорил и заторопился прочь.

— Это — кто? — крикнул ему вдогонку Фишер.

— Настоящий полисмен, — ответил отец Браун и скрылся в темноте.

В дальнем конце сада сверкающие листвою купы лавровых и других вечнозеленых деревьев даже в эту зимнюю ночь создавали на фоне сапфирового неба и серебряной луны впечатление южного пейзажа. Яркие-зеленые колышущиеся лавры, глубокая, отливающая пурпуром синева небес, луна, как огромный волшебный кристалл, — это была картина, полная легкомысленной романтики. А сверху, по веткам деревьев, карабкается какая-то странная фигура, имеющая вид не столько романтический, сколько неправдоподобный. Человек этот весь искрится, как будто облаченный в костюм из десяти миллионов лун; при каждом его движении свет настоящей луны загорается на нем новыми вспышками голубого пламени. Но, сверкающий и дерзкий, он ловко перебирается с маленького деревца в этом саду на высокое развесистое дерево в соседнем и задерживается там только потому, что чья-то тень скользнула в это время под маленькое дерево и чей-то голос окликнул его снизу.

— Ну, что ж, Фламбо, — произносит голос, — вы действительно похожи на летучую звезду, но ведь звезда летучая в конце концов всегда становится падучей звездой.

Наверху в ветвях лавра искрящаяся серебром фигура наклоняется вперед и, чувствуя себя в безопасности, прислушивается к словам маленького человека.

— Это — самая виртуозная из всех ваших проделок, Фламбо. Приехать из Канады (с билетом из Парижа, надо полагать) через неделю после смерти миссис Адамс, когда никто не расположен задавать вопросы, — ничего не скажешь, ловко придумано. Еще того ловчей вы сумели выследить «летучие звезды» и разведать день приезда Фишера. Но в том, что за этим последовало, чувствуется уже не ловкость,

а подлинный гений. Выкрасть камни для вас, конечно, не составляло труда. При вашей ловкости рук вы могли бы и не привешивать ослиный хвост к фалдам фишеровского фрака. Но в остальном вы затмили самого себя.

Серебристая фигура в зеленой листве медлит, точно загнипнотизированная, хотя путь к бегству открыт; человек на дереве внимательно смотрит на человека внизу.

— Да, да, — говорит человек внизу, — я знаю все. Я знаю, что вы не просто навязали всем эту пантомиму, но сумели извлечь из нее двойную пользу. Сначала вы собирались украсть эти камни без лишнего шума, но тут один из сообщников известил вас о том, что вас выследили и опытный сыщик должен сегодня застать вас на месте преступления. Заурядный вор сказал бы спасибо за предупреждение и скрылся. Но вы — поэт. Вам тотчас же пришла в голову остроумная мысль спрятать бриллианты среди блеска бутафорских драгоценностей. И вы решили, что если на вас будет блестящий наряд Арлекина, то появление полисмена покажется вполне естественным. Достойный сыщик вышел из полицейского участка в Путни, намереваясь поймать вас, и сам угодил в ловушку, хитрее которой еще никто не придумывал. Когда отворились двери дома, он вошел и попал прямо на сцену, где разыгрывалась рождественская пантомима и где пляшущий Арлекин мог его толкать, колотить ногами, кулаками и дубинкой, оглушить и усыпить под дружный хохот самых респектабельных жителей Путни. Да, лучше этого вам никогда ничего не придумать. А сейчас, кстати говоря, вы можете отдать мне эти бриллианты.

Зеленая ветка, на которой покачивается сверкающая фигура, шелестит, словно от изумления, но голос продолжает:

— Я хочу, чтобы вы их отдали, Фламбо, и я хочу, чтобы вы покончили с такой жизнью. У вас еще есть молодость, и честь, и юмор, но при вашей профессии надолго их неостанет. Можно держаться на одном и том же уровне добра, но никому никогда не удавалось удержаться на одном уровне зла. Этот путь ведет под гору. Добрый человек пьет и становится жестоким; правдивый человек убивает и потом должен

лгать. Много я знал людей, которые начинали, как вы, благородными разбойниками, веселыми грабителями богатых и кончали в мерзости и грязи. Морис Блюм начинал как анархист по убеждению, отец бедняков, а кончил грязным шпионом и доносчиком, которого обе стороны эксплуатировали и презирали. Гарри Бэрк, организатор движения «Деньги для всех», был искренне увлечен своей идеей, — теперь он живет на содержании полуголодной сестры и пропивает ее последние гроши. Лорд Эмбер первоначально очутился на дне в роли эдакого странствующего рыцаря, теперь же самые подлые лондонские подонки шантажируют его, и он им платит. А капитан Барийон, некогда знаменитый джентльмен-апаш, умер в сумасшедшем доме, помешавшись от страха перед сыщиками и скупщиками краденого, которые его предали и затравили.

— Я знаю, у вас за спиной вольный лес, и он очень заманчив, Фламбо. Я знаю, что в одно мгновение вы можете исчезнуть там, как обезьяна. Но когда-нибудь вы станете старой седой обезьяной, Фламбо. Вы будете сидеть в вашем вольном лесу, и на душе у вас будет холод, и смерть ваша будет близко, и верхушки деревьев будут совсем голыми.

Наверху было по-прежнему тихо; казалось, маленький человек под деревом держит своего собеседника на длинной невидимой привязи. И он продолжал:

— Вы уже сделали первые шаги под гору. Раньше вы хвастались, что никогда не поступаете низко, но сегодня вы совершили низкий поступок. Из-за вас подозрение пало на честного юношу, против которого и без того восстановлены все эти люди. Вы разлучаете его с девушкой, которую он любит и которая любит его. Но вы еще не такие низости совершите, прежде чем умереть.

Три сверкающих бриллианта упали с дерева на землю. Маленький человек нагнулся, чтобы подобрать их, а когда он снова глянул наверх — зеленая древесная клетка была пуста: серебряная птица упорхнула.

Бурным ликованием было встречено известие о том, что бриллианты случайно подобраны в саду. И подумать, что на них наткнулся именно отец Браун. А сэр Леопольд с высоты своего благоволения даже

сказал священнику, что, хотя сам он и придерживается более широких взглядов, но готов уважать тех, кому убеждения предписывают затворничество и неведение дел мирских.

НЕВИДИМКА

В холодной вечерней синеве кондитерская на углу двух крутых улиц в Кемден-тауне сверкала в темноте, как кончик раскуриваемой сигары. Вернее сказать, даже как целый фейерверк, потому что бесчисленные огни всех цветов радуги дробились в бесчисленных зеркалах и плясали на бесчисленных тортах и конфетах, сиявших позолоченными и многоцветными фантиками. Эту ослепительную витрину облепили уличные мальчишки — шоколадки были в тех блестящих золотых, красных и зеленых обертках, которые едва ли не соблазнительней самого шоколада, а громадный белоснежный свадебный торт в витрине был недоступен и заманчив, как будто весь Северный полюс превратился в громадный лакомый кус. Понятно, что столь радужные соблазны не могли не привлечь к себе всю окрестную детвору в возрасте до десяти, а то и двенадцати лет. Но эта угловая лавка не лишена была привлекательности и для коекого постарше: от витрины не отрывался молодой человек, по крайней мере, лет двадцати четырех от роду. Лавка эта была и для него ослепительным чудом, но манили его не только шоколадки, хотя, к слову сказать, их он тоже не прочь был бы отведать.

Это был рослый, крепкий юноша с рыжими волосами и решительным, но каким-то безучастным лицом. Под мышкой он держал папку с рисунками, которые запродавал по сходной цене издателям после того, как дядя (который был адмиралом) лишил его наследства за сочувствие социализму, тогда как на самом деле он выступил с докладом против этой экономической теории. Прозывался юноша Джон Тэрнбул Энгус.

Войдя наконец в лавку, он направился к двери за стойкой, через которую попал в своего рода кафе-кондитерскую и едва приподнял шляпу, здороваясь

с молоденькой официанткой. Это была смуглая, тонкая, расторопная девушка в черном платье, на лице ее играл румянец, а глаза ярко блестели; выждав сколько положено, она подошла к молодому человеку принять заказ.

Заказ, по-видимому, не изменялся день ото дня.

— Прошу вас, дайте булочку за полпенса и чашку черного кофе, — деловито попросил он. Но не успела девушка отойти, как он добавил: — И еще прошу вашей руки.

Смуглолицая красавица бросила на него высокомерный взгляд.

— Не люблю таких шуток!

Рыжеволосый юноша с неожиданной серьезностью посмотрел на нее.

— Клянусь вам, я не шучу, — сказал он, — это так же несомненно... так же несомненно, как вот эта булочка за полпенса. Это отнюдь не дешевле булочки: за это надо расплачиваться. Это так же вредно, как булочка. От этого пищеварение расстраивается.

Смуглая красавица долго не сводила с него темных глаз, мучительно силясь его понять. Наконец на ее лице мелькнуло какое-то подобие улыбки, и она опустилась на стул.

— Вам не кажется, — непринужденно рассуждал Энгус, — что поесть эти булочки, когда они стоят всего полпенса, поистине жестоко. Ведь они могли бы дорасти до пенса. Я брошу эту варварскую забаву, как только мы поженимся.

Девушка встала со стула и подошла к окну, — видно было, что она глубоко задумалась, но не испытывала к юноше никакой неприязни. А когда наконец она решительно обернулась, то с изумлением увидела, что Энгус уже опустошил витрину и раскладывает на столе свою добычу. Тут были и пирамида конфет в ярких фантиках, и несколько блюд с бутербродами, и два графина, наполненные теми таинственными напитками — портвейном и хересом, которые незаменимы в кондитерском деле. Старательно разместив все это, он водрузил в центре белоснежный обливной торт, служивший главным украшением витрины.

— Что это вы делаете? — спросила она.

— То, что положено, дорогая Лаура... — начал он.

— Ах, ради бога, погодите минутку! — воскликнула она. — И не разговаривайте со мной в таком тоне. Я спрашиваю, что это такое?

— Торжественный ужин, мисс Хоуп.

— А это что? — спросила она, нетерпеливо указывая на белоснежную обсахаренную гору.

— Свадебный торт, миссис Энгус.

Девушка подошла к столу, схватила торт и отнесла на место, в витрину; затем вернулась и, изящно опершись локтями о стол, взглянула на молодого человека не без благосклонности, но с изрядной досадой.

— Вы даже не даете мне подумать, — сказала она.

— Я не так глуп, — ответил он. — У меня свои понятия о христианском смирении.

Она не сводила с него глаз, но, несмотря на улыбку, лицо ее становилось все серьезнее.

— Мистер Энгус, — спокойно произнесла она, — прежде чем вы снова приметесь за свои глупости, я должна вкратце рассказать вам о себе.

— Я польщен, — отвечал Энгус серьезно. — Но уж если так, расскажите заодно и обо мне тоже.

— Да помолчите, выслушайте меня, — сказала она. — Мне нечего стыдиться и даже сожалеть не о чем. Но что вы запоете, если узнаете, что со мной приключилась история, которая меня ничуть не трогает, но преследует, как кошмар.

— Ну, если на то пошло, — серьезно ответил он, — стало быть, надо принести торт обратно.

— Нет, вы сперва послушайте, — настаивала Лаура. — Начнем с того, что мой отец держал гостиницу под названием «Золотая рыбка» в Ладбери, а я работала за стойкой бара.

— А я-то гадаю, — ввернул он, — отчего именно в этой кондитерской царит столь благочестивый, христианский дух¹.

— Ладбери — это сонная, захолустная, поросшая бурьяном дыра в одном из восточных графств, и «Золотую рыбку» посещали только заезжие коммивояжеры да еще — самая неприятная публика, какую только можно вообразить, хотя вы этого и вообра-

¹ Рыба — священный знак в ранней христианской символике.

зять не можете. Я говорю о мелких, ничтожных людишках, у которых покамест еще хватает денег, чтобы бездельничать да околачиваться по барам или играть на скачках, причем все они одеты с вызывающей бедностью, хотя последний бедняк несравненно достойнее их всех. Но даже эти юные шалопаи редко удостоивали нас посещения, а те двое, что заходили чаще прочих, были не лучше, а хуже остальных завсегдатаев решительно во всех отношениях. У обоих водились деньги, и меня злил их вечно праздный вид и безвкусная манера одеваться. Но я все-таки жалела их — мне почему-то казалось, что они пристрастились к нашему маленькому, почти никем не посещаемому бару оттого, что каждый из них страдал физическим пороком — из тех, над которыми любит насмеяться всякая деревенщина. Это были даже не пороки, а скорее особенности. Один из них был удивительно мал ростом, почти карлик, во всяком случае, не выше любого жокея. Впрочем, с жокеем он не имел ничего общего: круглая, черноволосая голова, аккуратно подстриженная бородка, блестящие, зоркие, как у птицы, глаза; он позванивал деньгами в карманах, позвякивал массивной золотой цепью от часов и всегда слишком старался одеваться, как джентльмен, чтобы сойти за истого джентльмена, — но меж тем глупцом этого шалопаю тоже не назовешь: он был редкостный мастак на всякие пустые затеи, — например, то показывал ни с того ни с сего фокусы, то устраивал настоящий фейерверк из пятнадцати спичек, которые зажигались подряд одна от другой, то вырезал из банана танцующих человечков. Прозывался он Айседор Смайс, и я как сейчас вижу его маленькую чернявую физиономию, — вот он подходит к стойке и мастерит из пяти сигар скачущего кенгуру.

Второй больше молчал и был попроще, но почему-то беспокоил меня куда сильнее, чем бедный малютка Смайс. Рослый, сухопарый, нос с горбинкой — я даже назвала бы его красивым, хоть он и смахивал на привидение, но он был невообразимо косоглаз, ничего подобного я в жизни своей не видывала. Бывало, как глянет, места себе не находишь, а уж куда он глядит, и вовсе непонятно. Похоже на то, что это уродство ожесточило беднягу, и, в отличие от Смайса,

всегда готового выкинуть какой-нибудь трюк, Джеймс Уэлкин (так звали этого косоглазого малого) только потягивал вино в нашем баре да бродил в одиночестве по плоской, унылой округе. Думается мне, Смайс тоже страдал из-за своего маленького роста, хотя держался молодцом. И вот однажды они удивили, напугали и глубоко огорчили меня — оба чуть ли не в один день попросили моей руки.

Теперь-то я понимаю, что поступила тогда довольно глупо. Но ведь в конце концов эти пугала были в некотором роде моими друзьями, и я боялась, как бы они не догадались, что я отказываю им из-за их отталкивающего уродства. И тогда для отвода глаз я сказала, что выйду только за человека, который сам себе пробил дорогу в жизни. Такие уж у меня взгляды, сказала я, не могу жить на деньги, которые просто-напросто достались им по наследству. Я сказала это с самыми благими намерениями, а два дня спустя начались все злоключения. Сперва я узнала, что они отправились искать счастья, будто в какой-то глупой детской сказке.

И вот с тех самых пор и по сей день я не видела ни того, ни другого. Правда, я получила два письма от малютки Смайса — и письма эти были прелюбопытные.

— А о втором вы что-нибудь слышали? — спросил Энгус.

— Нет, он мне так и не написал ни разу, — ответила девушка, слегка поколебавшись. — В первом письме Смайс сообщил только, что отправился с Уэлкином пешком в Лондон, но Уэлкин оказался отличным ходок, малыш Смайс никак не поспевал за ним и присел отдохнуть у дороги. По счастливой случайности, его подобрал бродячий цирк, — и отчасти потому, что он был почти карлик, отчасти же потому, что он в самом деле был ловкий малый, ему вскоре удалось обратить на себя внимание и его взяли в «Аквариум» показывать какие-то фокусы, не упомяну уж какие. Об этом он сообщил в первом письме. Второе оказалось еще удивительнее — я получила его на прошлой неделе.

Известный нам юноша по фамилии Энгус допил кофе и поглядел на девушку с кротким терпением. А она продолжала свой рассказ, слегка скривив губы в невеселой улыбке.

— Вы, наверное, видели на заборах крикливую рекламу: «Бессловесная прислуга фирмы Смайс»? Если нет, то вы, должно быть, единственный, кто ее не видел. Право, в таких делах я мало что смыслю, но это какие-то заводные машины, которые выполняют любую домашнюю работу. Ну, сами понимаете: «Нажмите кнопку — и вот вам Непьющий Дворецкий», «Поверните рычажок — и перед вами десять Благодетельных Горничных». Да вы наверняка видели рекламу. Так вот, какими бы эти самые машины ни были, но это золотое дно, и огребают все шустрый малютка, которого я знала в Ладбери. Я, конечно, рада, что бедняге так повезло, но вместе с тем мне очень страшно: ведь в любую минуту он может заявиться сюда и сказать, что пробил себе дорогу, и это будет сущая правда.

— А что же второй? — со спокойной настойчивостью повторил Энгус.

Лаура Хоуп внезапно встала.

— Друг мой, — сказала она. — Кажется, вы настоящий колдун и видите меня насквозь. Что ж, ваша правда. Да, от второго я не получила ни строчки и представления не имею, где он и что с ним. Но его-то я и боюсь. Он-то и преследует меня. Он-то и сводит меня с ума. Мне даже кажется, что уже свел: он повсюду мерещится мне, хотя никак не может быть рядом, его голос слышится мне, хотя он никак не может со мной разговаривать.

— Ну, милочка, — весело сказал молодой человек. — Да будь это хоть сам сатана, ему все равно крыть нечем, раз уж вы рассказали о нем. С ума сходят только в одиночку. А когда именно вам померещился или послышался наш косоглазый приятель?

— Я слышала смех Джеймса Уэлкина так же ясно, как слышу сейчас вас, — спокойно ответила девушка. — Именно его, потому что рядом никого не было, я стояла на углу, у дверей кондитерской, и могла видеть разом обе улицы. Я уже позабыла, как он смеется, хотя смех у него не менее своеобразный, чем его косоглазие. Почти год я не вспоминала о нем. И клянусь всем святым — не прошло и минуты, как я получила первое письмо от его соперника.

— А удалось вам вытянуть из этого призрака хоть слово или возглас? — любопытно спросил Энгус.

Лаура содрогнулась, но совладала с собой и ответила спокойно:

— Да. Как только я дочитала второе письмо Айседора Смайса, где он сообщал, что добился успеха, в ту самую минуту я услышала слова Уэлкина: «Все равно вы ему не достанетесь». Он произнес это так отчетливо, словно был рядом, в комнате. Вот ужас! Наверное, я сошла с ума.

— Если бы вы и в самом деле сошли с ума, — сказал молодой человек, — вы никогда не признали бы этого. Впрочем, в истории с этой невидимой личностью действительно есть нечто странное. Но одна голова — хорошо, а две — лучше, я не говорю уже о прочих частях тела, дабы пощадить вашу скромность, и, право, если вы позволите мне, человеку верному и практичному, опять принести из витрины свадебный торт...

Не успел он договорить, как с улицы донесся металлический скрежет, и у дверей кондитерской резко затормозил подлетевший на бешеной скорости крохотный автомобиль. В тот же миг маленький человек в блестящем цилиндре уже стоял на пороге и в нетерпении переминался с ноги на ногу.

До сих пор Энгус не хотел портить себе нервы и держался беспечно, но теперь ему не удалось скрыть волнения — он встал и шагнул из задней комнаты навстречу незваному гостю. Одного взгляда оказалось достаточно, чтобы оправдать худшие подозрения влюбленного. Шикарная одежда и крохотный рост, задиристо выставленная вперед борода, умные, живые глаза, холеные, дрожащие от волнения руки, — конечно же, это был тот самый человек, о котором только что говорила девушка, — не кто иной, как Айседор Смайс, некогда мастеровивший игрушки из банановой кожуры и спичечных коробков, Айседор Смайс, ныне наживавший миллионы на металлических непьющих дворецких и благонравных горничных. В мгновение ока оба чутьем угадали ревность, обуревавшую каждого из них, и минуту смотрели друг на друга с той особой холодной снисходительностью, которая ярче всего выражает самый дух соперничества.

Мистер Смайс, однако, и словом не обмолвился об истинной причине их вражды, а только произнес с горечью:

— Мисс Хоуп видала, что там прилеплено на витрине?

— На витрине? — удивленно переспросил Энгус.

— С вами мы объяснимся позже, а сейчас мне недосуг, — резко бросил коротышка-миллионер. — Здесь заварилась какая-то дурацкая каша, которую надо расхлебать.

Он ткнул полированной тростью в сторону витрины, недавно опустошенной матримониальными приготовлениями мистера Энгуса, и тот с удивлением заметил, что на стекле со стороны улицы приклеена длинная полоса бумаги, которой наверняка не было совсем недавно, когда он эту витрину созерцал. Он вышел на улицу вслед за уверенно шагавшим Смайсом и увидел, что к стеклу аккуратно прилеплена полоса гербовой бумаги в добрых полтора ярда длиной, а на ней размашистая надпись: «Если Вы выйдете за Смайса, ему не жить».

— Лаура, — сказал Энгус, просунув рыжую голову в кондитерскую, — успокойтесь, вы в здравом уме.

— Сразу видать руку этого негодяя Уэлкина, — буркнул Смайс. — Я не встречался с ним вот уже несколько лет, но он всячески мне докучает. За последние две недели он пять раз подбрасывал в мою квартиру письма с угрозами, и я даже не могу выяснить, кто же их туда приносит, разве что сам Уэлкин. Швейцар божится, что не видал никаких подозрительных личностей, и вот теперь этот тип приклеивает к витрине чуть ли не некролог, а вы сидите себе здесь в кондитерской...

— Вот именно, — скромно ввернул Энгус. — Мы сидим себе здесь в кондитерской и преспокойно пьем чай. Что ж, сэр, я высоко ценю здравый смысл, с которым вы перешли прямо к сути дела. Обо всем остальном мы поговорим после. Этот тип не мог далеко уйти: когда я в последний раз глядел на витрину, а это было минут десять — пятнадцать назад, никакой бумаги там не было, смею заверить. Но догнать его нам не удастся — мы даже не знаем, в какую сторону он скрылся. Послушайте моего совета, мистер Смайс, и немедленно поручите это дело какому-нибудь энергичному сыщику — лучше всего частному. Я знаю одного толкового малого — на вашей машине мы до-

едем до его конторы минут за пять. Его фамилия Фламбо, и хотя молодость его прошла несколько бурно, теперь он безупречно честен, а голова у него просто золотая. Он живет на улице Лакнау-Мэншенс, в Хэмстеде.

— Поразительное совпадение, — сказал маленький человек, подняв черные брови. — Я живу рядом, за углом, на Гималайя-Мэншенс. Вы не откажетесь поехать со мной? Я найду к себе и соберу эти дурацкие письма от Уэлкина, а вы тем временем сбегайте за вашим другом сыщиком.

— Это очень любезно с вашей стороны, — вежливо заметил Энгус. — Что ж, чем скорее мы возьмемся за дело, тем лучше.

В порыве необычайного великодушия оба вдруг церемонно расклапаялись и вскочили в быстроходный автомобильчик. Как только Смайс включил скорость и машина свернула за угол, Энгус с улыбкой взглянул на гигантский плакат фирмы «Бессловесная прислуга Смайса» — там была изображена огромная железная кукла без головы, с кастрюлей в руках, а пониже красовалась надпись: «Кухарка, которая никогда не ворчит».

— Я сам пользуюсь ими у себя дома, — сказал чернобородый человек, усмехнувшись, — отчасти для рекламы, а отчасти и впрямь для удобства. Верьте слову, мои заводные куклы действительно растапливают камин и подают вино или расписание поездов куда проворнее, чем любой слуга из плоти и крови, с которым мне приходилось иметь дело. Нужно только не путать кнопки. Но, не скрою, у этой прислуги есть свои недостатки.

— Да что вы? — сказал Энгус. — Разве они не все могут делать?

— Нет, не все, — ответил Смайс невозмутимо. — Они не могут расказать мне, кто подбрасывает в мою квартиру эти письма.

Его автомобиль, такой же маленький и быстрый, как он сам, тоже был собственным его изобретением наравне с металлической прислужгой. Даже если этот человек был ловкач, который умел делать себе рекламу, все равно сам он свято верил в свой товар. Ощущение миниатюрности и стремительности возрастало по мере того, как они мчались по крутой,

застроенной белыми домами улице, преодолевая бесчисленные повороты при мертвенном, но все еще прозрачном предвечернем свете. Вскоре повороты стали еще круче и головокружительней: они возносились по спирали, как любят выражаться теперь приверженцы мистических учений. И в самом деле, машина очутилась в той возвышенной части Лондона, где улицы крутизной почти не уступают Эдинбургу и, пожалуй, могут даже соперничать с ним в красоте. Уступ вздымался над уступом, а величественный дом, куда они направлялись, высился над ними, словно египетская пирамида, позолоченная косыми лучами заката. Когда они свернули за угол и въехали на изогнутую полумесяцем улицу, известную под названием Гималайя-Мэншенс, картина изменилась так резко, словно перед ними внезапно распахнули широкое окно: многоэтажная громада господствовала над Лондоном, а там, внизу, как морские волны, горбились зеленые черепичные крыши. Напротив дома, по другую сторону вымощенной гравием и изогнутой полумесяцем дороги виднелся кустарник, больше похожий на живую изгородь, чем на садовую ограду; а пониже блестела полоска воды — что-то вроде искусственного канала, напоминавшего оборонительный ров вокруг этой неприступной крепости. Промчавшись по дуге, автомобиль миновал разносчика с лотком, торговавшего каштанами на углу, а подальше, у другого конца дуги, Энгус смутно разглядел синеватый силуэт полисмена, прохаживавшегося взад и вперед. Кроме них, на этой безлюдной окраине не было ни души; но Энгусу почему-то показалось, что люди эти олицетворяют собой безмятежную поэзию Лондона. И у него появилось ощущение, будто они — герои какого-то рассказа.

Автомобильчик подлетел к дому, и тотчас из распахнувшейся дверцы пулей вылетел хозяин. Первым делом он опросил рослого швейцара в сверкающих галунах и низенького дворника в жилетке, не искал ли кто его квартиру. Его заверили, что здесь не было ни души с тех пор, как он расспрашивал в последний раз; после этого вместе с несколько озадаченным Энгусом он ракетой взлетел в лифте на самый верхний этаж.

— Зайдите ненадолго,— сказал запыхавшийся Смайс.— Я хочу показать вам письма Уэлкина. А потом бегите за угол и ведите своего приятеля.

Он нажал в стене потайную кнопку, и дверь сама собой отворилась.

За дверью оказалась длинная, просторная передняя, единственной достопримечательностью которой были ряды высоких механических болванов, отдаленно напоминавших людей,— они стояли по обеим сторонам, словно манекены в портняжной мастерской. Как и у манекенов, у них не было голов; как и у манекенов, у них были непомерно могучие плечи и грудь колесом; но если не считать этого, в них было не больше человеческого, чем в любом вокзальном автомате высотой в человеческий рост. Вместо рук у них было по два больших крюка, чтоб держать подносы, а дабы они отличались друг от друга, их выкрасили в гороховый, алый или черный цвет; во всем остальном это были обыкновенные автоматы, на которые вообще долго смотреть не стоит, а в данном случае и подавно — меж двумя рядами манекенов лежало нечто поинтереснее всех механизмов в мире. Там оказался клочок белой бумаги, на котором красными чернилами было что-то нацарапано,— хитроумный изобретатель вцепился в него, едва отворилась дверь. Без единого слова он протянул листок Энгусу. Красные чернила еще не успели просохнуть. Записка гласила: «Если Вы виделись с ней сегодня, я вас убью».

Наступило короткое молчание, потом Айседор Смайс тихо промолвил:

— Хотите, я велю подать виски? Для меня это сейчас далеко не лишнее.

— Спасибо, я предпочел бы поскорее подать сюда Фламбо,— мрачно ответил Энгус.— Сдается мне, что дело принимает серьезный оборот. Я сейчас же иду за ним.

— Ваша правда,— сказал Смайс с восхитительной беспечностью.— Ведите его сюда.

Затворяя за собой дверь, Энгус увидел, как Смайс нажал кнопку; один из механических истуканов сдвинулся с места и заскользил по желобу в полу, держа в руках поднос с графинчиком и сифоном. Энгусу стало немного не по себе при мысли, что он

оставляет маленького человечка среди неживых слуг, воскресающих, как только закрывается дверь.

Шестью ступеньками ниже площадки, на которой жил Смайс, дворник в жилете возился с каким-то ведром. Энгус задержался, чтобы взять с него слово, посулив щедрые чаевые, что тот с места не сойдет, пока Энгус не вернется вместе с сыщиком, и проследит за всяким незнакомцем, который поднимется по лестнице. Потом он сбежал вниз, приказав глядеть в оба стоявшему у подъезда швейцару, который сообщил ему, что в доме нет черного хода, а это значительно упростило дело. Мало того, он поймал полисмена, который прохаживался тут же, и уговорил его последить за парадной дверью; наконец, он задержался еще на минуту, купил на пенни каштанов и спросил у лоточника, сколько времени он здесь пробудет. Сей почтенный коммерсант в пальто с поднятым воротником сообщил, что вскоре намерен уйти, потому что вот-вот повалит снег. В самом деле, становилось все темнее, все холоднее, но Энгус пустил в ход свое красноречие и уломал продавца повременить немного.

— Грейтесь у жаровни с каштанами, — серьезно сказал он. — Можете съесть все, что у вас осталось, расходы за мой счет. Получите соверен, если дождетесь меня, а когда я вернусь, скажете, не вошел ли кто-нибудь вон в тот дом, где стоит швейцар, — будь то мужчина, женщина или ребенок — все равно.

С этими словами он заспешил прочь, бросив последний взгляд на осажденную крепость.

— Ну, теперь его квартира обложена со всех сторон, — сказал он. — Не могут же все четверо окататься сообщниками мистера Уэлкина.

Улица Лакнау-Мэншенс лежала, так сказать, в предгорьях той гряды домов, вершиной которой можно считать Гималайя-Мэншенс. Частная контора мистера Фламбо располагалась на первом этаже и во всех отношениях являла собой полную противоположность по-американски механизированной и погостиничному роскошной и неуютной квартире владельца «Бессловесной прислуги». Своего приятеля Фламбо Энгус нашел в помещавшемся позади приемной кабинете, пышно обставленном в стиле рококо. Кабинет украшали сабли, аркебузы, всякие восточные диковины, бутылки с итальянским вином, перво-

бытые глиняные горшки, пушистый персидский кот и невзрачный, запылившийся католический священник, который в такой обстановке выглядел совсем уж чужаком.

— Это мой друг — отец Браун, — сказал Фламбо. — Я давно хотел вас познакомиться. Прекрасная сегодня погода, только для меня, южанина, немного холодновато.

— Да, похоже, что в ближайшие дни небо будет безоблачным, — отозвался Энгус, присаживаясь на восточную, всю в лиловых полосах, оттоманку.

— Нет, — тихо возразил священник, — с неба уже сыплет снег.

И в самом деле, как и предсказал продавец каштанов, за потемневшими окнами кружили первые хлопья.

— Ну ладно, — мрачно сказал Энгус, — я, к сожалению, пришел по делу, и притом по очень скверному делу. Видите ли, Фламбо, тут, неподалеку от вас, живет человек, которому позарез нужна ваша помощь. Его все время преследует и запугивает невидимый враг — негодяй, которого никто и в глаза не видал.

Тут Энгус подробно изложил историю Смайса и Уэлкина, причем начал с признания Лауры, а под конец присовокупил от себя рассказ о смеющемся привидении на углу двух безлюдных улиц и о странных словах, отчетливо прозвучавших в пустой комнате. И чем дальше, тем с большим вниманием слушал его Фламбо, а священник с безразличным видом сидел в стороне, словно его это вовсе не касалось. Когда дело дошло до записки, приклеенной к витрине, Фламбо встал, и от его широких плеч в комнате стало тесно.

— Думается мне, — сказал он, — что лучше вам досказать остальное по дороге. Пожалуй, нам не стоит терять времени.

— Прекрасно, — сказал Энгус и тоже встал. — Правда, покамест он в относительной безопасности. За единственным входом в его убежище следят четверо.

Они вышли на улицу; священник семенил за ними, как послушная собачонка. Он лишь сказал бодро, словно продолжая разговор:

— Как много намело снега.

Шагая по крутым улицам, уже запорошенным серебристым снежком, Энгус закончил свой рассказ. Когда они подошли к изогнутой полумесяцем улице, застроенной многоэтажными домами, он уже успел опросить своих наблюдателей. Продавец каштанов — как до, так и после получения соверена — клялся всеми святыми, что не спускал глаз с двери, но никого не видел. Полисмен высказался еще определенной. Он заявил, что ему приходилось иметь дело с разными жуликами, и в шелковых цилиндрах, и в грязных лохмотьях; он стреляный воробей и знает, что не всякий подозрительный тип подозрительно выглядит; если бы кто-нибудь тут проходил, он заметил бы непременно: ведь он глядел в оба, но, видит бог, никого здесь не было. А когда все трое подошли к швейцару в золотых галунах, который все с той же улыбкой стоял у подъезда, то услышали самый решительный ответ.

— Мне дано право спросить любого, что ему нужно в этом доме, будь то герцог или мусорщик, — сказал добродушный великан, сверкая золотыми галунами. — И клянусь, что с тех пор, как этот джентльмен ушел, спросить было решительно некого.

Тут скромнейший отец Браун, который стоял позади, застенчиво потупив взгляд, отважился спросить с кротостью:

— Стало быть, никто не проходил по этой лестнице с тех пор, как пошел снег? Он начал падать, когда все мы сидели у Фламбо.

— Никто не входил и не выходил, сэр, будьте благонадежны, — уверенно отвечал швейцар, сияя снисходительной улыбкой.

— В таком случае, любопытно бы знать: а вот это откуда? — спросил священник, глядя на землю тусклыми рыбьими глазами.

Все проследили за его взглядом, и Фламбо крепко выругался, размахивая руками, как истый француз. Видно было совершенно отчетливо: по самой середине ступенек, охраняемых здоровенным швейцаром в золотых галунах, прямо меж его важно расставленных ног, тянулись по белому снегу грязновато-серые отпечатки следов.

— Вот черт! — вырвалось у Энгуса. — Невидимка!

Не вымолвив больше ни слова, он повернулся и припустил вверх по ступенькам, и Фламбо следом за ним; а отец Браун остался внизу, на заснеженной улице. Он стоял, озираясь по сторонам, как будто ответ на его вопрос уже не представлял для него решительно никакого интереса.

Фламбо хотел было сгоряча высадить дверь могучим своим плечом, но шотландец Энгус с присущим ему благоразумием обшарил стену подле двери, нащупал потайную кнопку, и дверь медленно отворилась.

Перед ними была, казалось, та же прихожая, с теми же шеренгами манекенов, с той только разницей, что в ней стало темнее, хотя кое-где мерцали запоздалые блики заката; некоторые из безголовых манекенов зачем-то были сдвинуты с места и тускло отсвечивали в сумерках. В полумраке яркость их красных и золотых торсов как-то скрадывалась, и темноватые силуэты еще более походили на человеческие. А посреди них, на том самом месте, где еще недавно валялся исписанный красными чернилами клочок бумаги, виднелось что-то очень похожее на красные чернила, пролитые из пузырька. Но то были не чернила.

Проявив чисто французское сочетание быстроты и практичности, Фламбо произнес одно лишь слово: «Убийство!» — ворвался в квартиру и за какие-нибудь пять минут обшарил все углы и чуланы. Но если у него была надежда найти труп, он ошибался. Айседора Смайса в квартире не было — ни живого ни мертвого. Перевернув все вверх дном, Энгус и Фламбо снова сошлись вместе и ошалело уставились друг на друга, утирая пот.

— Друг мой, — сказал Фламбо, переходя от волнения на французский, — этот убийца не только сам невидимка, он еще ухитряется превратить в невидимку и убитого.

Энгус оглядел полутемную переднюю, заставленную манекенами, и в каком-то кельтском уголке его шотландской души шевельнулся ужас. Один из огромных манекенов стоял прямо над кровавым пятном, — быть может, Смайс подозвал его за мгновение до того, как упал мертвым. Железный крюк, торчавший из высокого плеча и заменявший

руку, был слегка приподнят, и Энгус вдруг с ужасом представил себе, как бедный Смайс погибает от удара своего собственного стального дегтища. Бунт вещей—машины убивают своего хозяина. Но даже если так, то куда они его дели?

«Сожрали?» — мелькнула у него кошмарная мысль, и ему на секунду стало дурно, когда он подумал о растерзанных останках, перемолотых и поглощенных этими безголовыми механизмами.

Нечеловеческим усилием Энгус заставил себя успокоиться.

— Ну вот, — обратился он к Фламбо, — бедняга растаял, как облачко, осталась только красная лужа на полу. Это, право же, сверхъестественно.

— Остается только одно, — сказал Фламбо, — естественно это или сверхъестественно, а я должен пойти вниз и поговорить со своим другом.

Они спустились по лестнице, миновали дворника с ведром, который еще раз клятвенно заверил, что мимо него не проходил ни один незнакомец; швейцар у подъезда и вертевшийся тут же лоточник еще раз побожились, что не спускали с этого подъезда глаз. Но когда Энгус стал искать четвертого стража и не нашел его, он спросил с некоторым беспокойством:

— А где же полисмен?

— Простите великодушно, — сказал отец Браун, — это моя вина. Только что я попросил его спуститься вниз по улице и кое-что выяснить, — мне пришла в голову некая мысль.

— Ладно, только пускай он скорей возвращается, — резко сказал Энгус. — Там, наверху, не только убили, но и бесследно уничтожили этого несчастного человека.

— Каким образом? — осведомился священник.

— Досточтимый отец, — сказал Фламбо, помолчав немного, — провалиться мне на месте, но я убежден, что это скорей по вашему ведомству, нежели по моему. Ни один друг или враг в этот дом не входил, а Смайс исчез, словно его похитил нечистый. И если тут обошлось без вмешательства сверхъестественных сил...

Их разговор был прерван поразительным событием: из-за угла вынырнул рослый полисмен в голубой форме. Он подбежал прямо к отцу Брауну.

— Вы правы, сэр, — произнес он сдавленным голосом. — Труп мистера Смайса только что нашли в канале, возле дороги.

Энгус спросил, в ужасе схватившись за голову:

— Он что — побежал туда и утопился?

— Готов поклясться, что он не выходил из дома, — сказал полисмен, — и, уж во всяком случае, он не утопился, а умер от удара ножом в сердце.

— Но ведь вы стояли здесь и за это время в дом никто не входил? — сурово спросил Фламбо.

— Давайте спустимся к каналу, — предложил священник.

Когда они дошли до поворота, он вдруг воскликнул:

— Какую же я сделал глупость! Совершенно позабыл задать полисмену один важный вопрос. Любопытно знать, нашли они светло-коричневый мешок или нет?

— Какой еще светло-коричневый мешок? — изумился Энгус.

— Если окажется, что мешок иного цвета, все придется начать сызнова, — сказал отец Браун, — но если мешок светло-коричневый, что ж, тогда делу конец.

— Рад это слышать, — не скрывая иронии буркнул Энгус. — А я-то думал, дело еще и не началось.

— Вы должны рассказать нам все, — со странным ребяческим простодушием произнес Фламбо.

Невольно ускоряя шаги, они шли вниз по длинной дугообразной улице. Впереди быстро шагал отец Браун, храня гробовое молчание.

Наконец он сказал с почти трогательной застенчивостью:

— Боюсь, все это покажется вам слишком прозаическим. Мы всегда начинаем с абстрактных умозаключений, а в этой истории можно исходить только из них.

Вы наверно замечали, что люди никогда не отвечают именно на тот вопрос, который им задают? Они отвечают на тот вопрос, который услышали или ожидают услышать. Предположим, одна леди гостит в усадьбе у другой и спрашивает: «Кто-нибудь сейчас живет здесь?» На это хозяйка никогда не отве-

тит: «Да, конечно,— дворецкий, три лакея, горничная»,—ну и все прочее, хотя горничная может хлопотать тут же в комнате, а дворецкий стоять за ее креслом. Она ответит: «Нет, никто»,— имея в виду тех, кто мог бы вас интересовать. Зато если врач во время эпидемии спросит ее: «Кто живет в вашем доме?» — она не забудет ни дворецкого, ни горничную, ни всех остальных. Так уж люди разговаривают: вам никогда не ответят на вопрос по существу, даже если отвечают сущую правду. Эти четверо честнейших людей утверждали, что ни один человек не входил в дом; но они вовсе не имели в виду, что туда и в самом деле не входил ни один человек. Они хотели сказать — ни один из тех, кто, по их мнению, мог бы вас заинтересовать. А между тем человек и вошел в дом и вышел, но они его не заметили.

— Так что же он — невидимка? — спросил Энгус, приподняв рыжие брови.

— Да, психологически он ухитрился стать невидимкой,— сказал отец Браун.

Через несколько минут он продолжал все тем же бесстрастным тоном, будто размышляя вслух:

— Разумеется, вы никогда не заподозрите такого человека, пока не задумаетесь о нем всерьез. На это он и рассчитывает. Но меня натолкнули на мысль о нем две-три мелкие подробности в рассказе мистера Энгуса. Во-первых, Уэлкин умел без усталости ходить пешком. А во-вторых — эта длинная лента гербовой бумаги на стекле витрины. Но самое главное — два обстоятельства, о которых упоминала девушка,— невозможно допустить, чтобы в них заключалась правда. Не сердитесь,— поспешно добавил он, заметив, что шотландец укоризненно покачал головой,— она-то была уверена, что говорит правду. Но никто не может оставаться на улице в одиночестве за секунду до получения письма. Никто не может оставаться на улице в полном одиночестве, когда начинает читать только что полученное письмо. Кто-то, несомненно, должен стоять рядом, просто он психологически ухитрился стать невидимкой.

— А почему кто-то непременно должен был стоять рядом? — спросил Энгус.

— Так ведь не почтовый же голубь принес ей это письмо! — ответил отец Браун.

— Уж не хотите ли вы сказать, — решительно вмешался Фламбо, — что Уэлкин приносил девушке письма своего соперника?

— Да, — сказал священник, — Уэлкин приносил девушке письма своего соперника. Обязан был принести.

— Ну, с меня довольно! — взорвался Фламбо. — Кто этот тип? Каков он из себя? Как обычно одеты эти психологические невидимки?

— Он одет очень красиво — в красное и голубое с золотом, — быстро и точно отвечал священник. — И в этом ярком, даже кричащем костюме он заявляется сюда на глазах у четырех человек, хладнокровно убивает Смайса и вновь выходит на улицу, неся в руках труп...

— Отец Браун! — вскричал Энгус, остановившись как вкопанный, — кто из нас сошел с ума — вы или я?

— Нет, вы не сошли с ума, — сказал отец Браун. — Просто вы не слишком наблюдательны. Вы не заметили, например, такого человека, как этот.

Он быстро сделал три шага вперед и положил руку на плечо обыкновенного почтальона, который прощмыгнул мимо них в тени деревьев.

— Почему-то никто никогда не замечает почтальонов, — задумчиво произнес он. — А ведь их обуревают те же страсти, что и всех остальных людей, а кроме того, они носят почту в просторных мешках, где легко поместится труп карлика.

Вместо того чтобы просто обернуться, почтальон отпрянул в сторону и налетел на садовую изгородь. Это был сухопарый, светлородый мужчина самой заурядной наружности, но, когда он повернул к ним испуганное лицо, всех троих поразило его чудовищное косоглазие.

Фламбо вернулся к своим саблям, пурпурным коврам и персидскому коту — у него были дела. Джон Тэрбул Энгус вернулся в кондитерскую к девушке, с которой этот беспечный молодой человек ухитрялся недурно проводить время. А отец Браун долгие часы бродил под звездами по заснеженным крутым улицам с убийцей, но о чем они говорили — этого никто никогда не узнает.

СЛОМАННАЯ ШПАГА

Тысячи рук леса были серыми, а миллионы его пальцев — серебряными. В сине-зеленом сланцевом небе, как осколки льда, холодным светом мерцали звезды. Весь этот лесистый и пустынный край был скован жестоким морозом. Черные промежутки между стволами деревьев зияли бездонными черными пещерами неумолимого скандинавского ада — ада безмерного холода ¹. Даже прямоугольная каменная башня церкви была обращена на север, как языческие постройки, и походила на вышку, сложенную первобытными племенами в прибрежных скалах Исландии. Ничто не располагало в такую ночь к осмотру кладбища. И все-таки, пожалуй, его стоило осмотреть.

Кладбище лежало на холме, который вздымался над пепельными пустынями леса наподобие горба или плеча, покрытого серым при звездном свете дерном. Большинство могил расположено было по склону; тропа, избегавшая к церкви, крутизною напоминала лестницу. На приплюснутой вершине холма, в самом заметном месте, стоял памятник, который прославил всю округу. Он резко выделялся среди неприметных могил, ибо создал его один из величайших скульпторов современной Европы; однако слава художника померкла в блеске славы того, чей образ он воссоздал.

Звездный свет очерчивал своим серебряным карандашом массивную металлическую фигуру простертого на земле солдата; сильные руки были сложены в вечной мольбе, а большая голова покоилась на ружье. Исполненное достоинства лицо обрамляла борода, вернее, бакенбарды в старомодном, тяжеловесном вкусе служаки-полковника. Мундир, намеченный несколькими скупыми деталями, был обычной формой современных войск. Справа лежала шпага

¹ По скандинавским поверьям, ад — место, где царствует холод.

с отломанным концом, слева — Библия. В солнечные летние дни сюда наезжали в переполненных лимузинах американцы и просвещенные местные жители, чтобы осмотреть памятник. Но даже и в такие дни их угнетала необычайная тишина одинокого круглого холма, заброшенного кладбища и церкви, возвышавшихся над чащами.

В эту темную морозную ночь, казалось, каждый бы мог ожидать, что останется наедине со звездами. Но вот в тишине застывших лесов скрипнула деревянная калитка: по тропинке к памятнику солдата поднимались две смутно чернеющие фигуры. При тусклом холодном свете звезд видно было только, что оба путника в черных одеждах и что один из них непомерно велик, а другой (возможно, по контрасту) удивительно мал. Они подошли к надгробью знаменитого воина и несколько минут разглядывали его. Вокруг не было ни единого живого существа; человек с болезненно-мрачной фантазией мог бы даже усомниться, смертен ли он сам. Начало их разговора, во всяком случае, было весьма странным. После минутного молчания маленький путник сказал большому:

— Где умный человек прячет камешек?

И большой тихо ответил:

— На морском берегу.

Маленький кивнул головой и, немного помолчав, снова спросил:

— А где умный человек прячет лист?

И большой ответил:

— В лесу.

Опять наступила тишина, затем большой заговорил снова:

— А когда умному человеку понадобилось спрятать настоящий алмаз, он спрятал его среди поддельных, — вы намекаете на это, не правда ли?

— Нет, нет, — смеясь, возразил маленький, — не будем поминать старое.

Он потопал замерзшими ногами и продолжал:

— Я думаю не об этом, о другом, — о совсем необычном. А ну-ка, зажгите спичку.

Большой порылся в кармане, вскоре чиркнула спичка, и пламя ее окрасило желтым светом плоскую грань памятника. На ней черными буквами были

высечены хорошо известные слова, с благоговением прочитанные толпами американцев:

В священную память
ГЕНЕРАЛА СЭРА АРТУРА СЕНТ-КЛЭРА,
героя и мученика, всегда побеждавшего своих
врагов и всегда щадившего их, но предательски
сраженного ими. Да вознаградит его господь,
на которого он уповал, и да отмстит за его по-
гибель.

Спичка обожгла большому пальцы, почернела и упала. Он хотел зажечь еще одну, но товарищ оставил его:

— Не надо, Фламбо: я видел все, что хотел. Точнее сказать, не видел того, чего не хотел. А теперь нам предстоит пройти полторы мили до ближайшей гостиницы; там я расскажу вам обо всем. Видит бог: только за кружкой эля у камелька осмелишься рассказать такую историю.

Они спустились по обрывистой тропе, заперли ветхую калитку и, звонко топая, зашагали по мерзлой лесной дороге. Они прошли не меньше четверти мили, прежде чем маленький заговорил снова.

— Умный человек прячет камешек на морском берегу, — сказал он. — Но что ему делать, если берега нет? Знаете ли вы что-нибудь о несчастье, постигшем прославленного Сент-Клэра?

— Об английских генералах я ничего не знаю, отец Браун, — рассмеявшись, ответил большой, — только немного знаком с английскими полицейскими. Зато я отлично знаю, какую уйму времени потратил, таскаясь с вами по всем местам, связанным с именем этого молодца, кто бы он ни был. Можно подумать, его похоронили в шести разных могилах. В Вестминстерском аббатстве я видел памятник генералу Сент-Клэру. На набережной Темзы — статую генерала Сент-Клэра на вздыбленном коне. Один барельеф генерала Сент-Клэра я видел на улице, где он жил, другой — на улице, где он родился, а теперь, в глухую полночь, вы притащили меня на это сельское кладбище. Эта блистательная особа начинает мне чуточку надоедать, тем более что я понятия не имею, кто он такой... Что вы так упорно разыскиваете среди всех этих склепов и изваяний?

— Я ищу одно слово,— сказал отец Браун,— слово, которого здесь нет.

— Может быть, вы что-нибудь расскажете? — спросил Фламбо.

— Свой рассказ мне придется разделить на две части,— заметил священник,— первая часть — это то, что знают все; вторая — то, что знаю только я. Первую можно изложить коротко и ясно. Но она далека от истины.

— Прекрасно,— весело сказал большой человек, которого звали Фламбо.— Давайте начнем с того, что знают все,— с неправды.

— Если это и не совсем ложно, то, во всяком случае, мало соответствует истине,— продолжал отец Браун.— В сущности, все, что известно широкой публике, сводится к следующему... Ей известно, что Артур Сент-Клэр был выдающимся английским генералом. Известно, что после ряда блестящих, хотя и достаточно осторожных кампаний в Индии и в Африке он был назначен командующим войсками, сражавшимися против бразильцев, когда Оливье, великий бразильский патриот, предъявил свой ультиматум. Известно, что Сент-Клэр незначительными силами атаковал Оливье, у которого были превосходящие силы, и после героического сопротивления был захвачен в плен. Известно также, что после своего пленения генерал, к негодованию всего цивилизованного человечества, был повешен на ближайшем дереве. После ухода бразильцев его нашли в петле, на шее у него висела поломанная шпага.

— И эта версия неверна? — поинтересовался Фламбо.

— Нет,— спокойно сказал его приятель,— все, что я успел рассказать, верно.

— Мне кажется, вы успели рассказать довольно много,— сказал Фламбо.— Если это верно, то в чем же тайна?

Они миновали много сотен серых, похожих на призраки деревьев, прежде чем священник ответил. Задумчиво покусывая палец, он сказал:

— Тайна тут — в психологии, вернее сказать, в двух психологиях. В этом бразильском деле двое знаменитейших людей современности действовали вопреки своему характеру. Заметьте, оба они, Оливье

и Сент-Клэр, были героями — в этом не приходится сомневаться. Это был поединок между Ахиллом и Гектором. Что бы вы сказали о схватке, в которой Ахилл оказался бы нерешительным, а Гектор предателем?

— Продолжайте, — нетерпеливо промолвил Фламбо, когда рассказчик снова начал покусывать палец.

— Сэр Артур Сент-Клэр был солдатом старого религиозного склада, одним из тех, кто спас нас во время Большого бунта ¹, — продолжал Браун. — Превыше всего для него был долг, а не показная храбрость. При всей своей личной отваге он был, безусловно, осторожным военачальником и особенно недогадывал, узнавая о бесполезных потерях живой силы. Однако в этой последней битве он предпринял действия, нелепость которых очевидна даже ребенку. Не надо быть стратегом, чтобы понять всю безрассудность его затей, как не надо быть стратегом, чтобы не попасть под автобус. Вот первая тайна: что случилось с разумом английского генерала? Вторая загадка: что случилось с сердцем бразильского генерала? Президента Оливье можно называть мечтателем или опасным фанатиком, но даже его враги признавали, что он великодушен, как странствующий рыцарь. Он отпускал на свободу почти всех, кто когда-либо попадал к нему в плен, а многих даже осыпал знаками своей милости. Люди, которые причинили ему бесспорное зло, уходили, тронутые его простотой и добросердечием. Зачем же, черт возьми, решился он впервые в своей жизни на такую дьявольскую месть, да еще за нападение, которое не могло ему повредить? Вот в чем тайна. Один из разумнейших людей на свете без всякого основания поступил как идиот. Один из великодушнейших людей на свете без всякого основания поступил как изверг. Вот и все. Об остальном, мой друг, вы можете догадаться сами.

— Э, нет, — ответил его спутник, фыркнув. — Я предоставляю это вам. Расскажите-ка мне обо всем.

— Тогда слушайте, — начал отец Браун. — Было бы несправедливо утверждать, будто все сведения

¹ Имеется в виду индийское национальное восстание 1857—1859 гг.

исчерпываются тем, что я рассказал, и обойти молчанием два сравнительно недавних события. Нельзя сказать, чтобы они пролили свет на это дело, ибо никто не может уяснить себе их значения. Но, если так можно выразиться, они еще более затемнили его; обнаружались новые, покрытые мраком обстоятельства. Первое событие. Врач Сент-Клэр рассорился с этим семейством и начал публиковать целую серию резких статей, в которых доказывает, что покойный генерал был религиозным маньяком; впрочем, поскольку можно судить по его собственным словам, это означает лишь чрезмерную религиозность. Как бы то ни было, его нападки кончились ничем. Разумеется, все и так знали, что Сент-Клэр был излишне строг в своем пуританском благочестии. Второе происшествие заслуживает большего внимания: в злосчастном, лишенном поддержки полку, который бросился в отчаянную атаку у Черной реки, служил некий капитан Кейт; в то время он был помолвлен с дочерью генерала и впоследствии на ней женился. Он был среди тех, кто попал в плен к Оливье; надо думать, что с ним, как и со всеми остальными, кроме генерала, обошлись великодушно и вскоре отпустили на свободу. Около двадцати лет спустя Кейт — теперь уже полковник — выпустил в свет нечто вроде автобиографии, озаглавленной «Британский офицер в Бирме и Бразилии». В том месте книги, где читатель жадно ищет сведений о причинах поражения Сент-Клэра, он находит следующие слова: «Везде в своей книге я описывал события точно так, как они происходили в действительности, придерживаясь того устарелого взгляда, что слава Англии не нуждается в прикрасах. Исключение из этого правила я делаю только для поражения при Черной реке. Для этого у меня есть основания, хотя и личные, но вполне добропорядочные и чрезвычайно веские. Однако, чтобы отдать должное памяти двух выдающихся людей, я добавлю несколько слов. Генерала Сент-Клэра обвиняли в бездарности, которую он якобы проявил в этом сражении: могу засвидетельствовать, что его действия — если только их правильно понимать — едва ли не самые талантливые и дальновидные в его жизни. По тем же источникам президент Оливье обвиняется в чудовищной не-

справедливости. Считаю своим долгом восстановить честь врага, заявив, что в данном случае он проявил даже больше добросердечия, чем обычно. Изъясняясь понятнее, хочу заверить своих соотечественников в том, что Сент-Клэр вовсе не был таким глупцом, а Оливье таким злодеем, какими их изображают. Вот все, что я могу сообщить, и никакие земные побуждения не заставят меня прибавить ни слова».

Большая замерзшая луна, похожая на блестящий снежный ком, проглядывала сквозь путаницу ветвей, и при ее свете рассказчик, чтобы освежить память, заглянул в клочок бумаги, вырванный из книги капитана Кейта. Когда он сложил и убрал его в карман, Фламбо вскинул руку — жест, свойственный экспансивным французам.

— Минутку, обождите минутку! — закричал он возбужденно — Мне кажется, я догадываюсь.

Он шел большими шагами, тяжело дыша, вытянув вперед бычью шею, как спортсмен, участвующий в состязаниях по ходьбе. Священник — повеселевший и заинтересованный — семенил сбоку, едва поспевая за ним. Деревья расступились. Дорога сбегала вниз по залитой лунным светом поляне и, точно кролик, ныряла в стоявший сплошной стеной лес. Издали вход в этот лес казался маленьким и круглым, как черная дыра железнодорожного туннеля. Но когда Фламбо заговорил снова, отверстие было всего в нескольких сотнях ярдов от путников и зияло, как пещера.

— Понял! — вскричал он, ударяя ручищей по бедру. — Четыре минуты размышлений — и теперь я сам могу изложить все происшедшее.

— Отлично, — согласился его друг, — рассказывайте.

Фламбо поднял голову, но понизил голос.

— Генерал Артур Сент-Клэр, — сказал он, — происходил из семьи, страдавшей наследственным сумасшествием. Он во что бы то ни стало хотел скрыть это от своей дочери и даже, если возможно, от будущего зятя. Верно или нет, но он думал, что наступает час полного затмения рассудка, и потому решил покончить с собой. Обычное самоубийство привело бы к огласке, которой он так страшился. Когда начались военные действия, разум его помутился, и в приступе

безумия он пожертвовал общественным долгом ради своей личной чести. Генерал стремительно бросился в битву, рассчитывая пасть от первого же выстрела. Но когда он обнаружил, что не добился ничего, кроме позора и плена, безумие, как взрыв бомбы, поразило его сознание, он сломал собственную шпагу и повесился.

Фламбо усталился на серую стену леса с единственным черным отверстием, похожим на могильную яму,— туда ныряла их тропа. Должно быть, в том, что дорогу проглатывал лес, было что-то жуткое; он еще ярче представил себе трагедию и вздрогнул.

— Страшная история,— проговорил он.

— Страшная история,— наклонив голову, подтвердил священник.— Но на самом деле произошло совсем другое.— В отчаянии откинув голову, он воскликнул: — О, если бы все было так, как вы описали!

Фламбо повернулся и посмотрел на него с удивлением.

— В том, что вы рассказали, нет ничего дурного,— глубоко взволнованный, заметил отец Браун.— Это рассказ о хорошем, честном, бескорыстном человеке,— светлый и ясный, как эта луна. Сумасшествие и отчаяние заслуживают снисхождения. Все значительно хуже.

Фламбо бросил испуганный взгляд на луну, которую отец Браун только что упомянул в своем сравнении,— ее пересекал изогнутый черный сук, похожий на рог дьявола.

— Как! — с порывистым жестом вскричал Фламбо и быстрее зашагал вперед.— Еще хуже?

— Еще хуже,— как эхо, мрачно откликнулся священник.

И они вступили в черную галерею леса, словно задернутую по бокам дымчатым гобеленом стволов,— такие темные проходы могут привидеться разве что в кошмаре.

Вскоре они достигли самых потаенных недр леса; здесь ветвей уже не было видно, путники только чувствовали их прикосновение. И снова раздался голос священника:

— Где умный человек прячет лист? В лесу. Но что ему делать, если леса нет?

— Да, да, — отозвался Фламбо раздраженно, — что ему делать?

— Он сажает лес, чтобы спрятать лист, — сказал священник приглушенным голосом. — Страшный грех!

— Послушайте! — воскликнул его товарищ нетерпеливо, так как темный лес и темные недомолвки стали действовать ему на нервы. — Расскажите вы эту историю или нет? Что вы еще знаете?

— У меня имеются три свидетельских показания, — начал его собеседник, — которые я отыскал с немалым трудом. Я расскажу о них скорее в логической, чем в хронологической последовательности. Прежде всего, о ходе и результате битвы сообщается в донесениях самого Оливье, которые достаточно ясны. Он вместе с двумя-тремя полками окопался на высотах у Черной реки, оба берега которой заболочены. На противоположном берегу, где местность поднималась более отлого, располагался первый английский аванпост. Основные части находились в тылу, на значительном от него расстоянии. Британские войска во много раз превосходили по численности бразильские, но этот передовой полк настолько сторвался от базы, что Оливье уже обдумывал план переправы через реку, чтобы отрезать его. Однако к вечеру он решил остаться на прежней позиции, исключительно выгодной. На рассвете следующего дня он был ошеломлен, увидев, что отбившаяся, лишенная поддержки с тыла горсточка англичан переправляется через реку — частично по мосту, частично вброд — и группируется на болотистом берегу, чуть ниже того места, где находились его войска.

То, что англичане с такими силами решились на атаку, было само по себе невероятным, но Оливье увидел нечто еще более поразительное. Солдаты сумасшедшего полка, своей безрассудной переправой через реку отрезавшие себе путь к отступлению, даже не пытались выбраться на твердую почву: они бездействовали, завязнув в болоте, как мухи в патоке. Не стоит и говорить, что бразильцы пробили своей артиллерией большие бреши в рядах врагов; англичане могли противопоставить ей лишь оживленный, но слабеющий ружейный огонь. И все-таки они

не дрогнули; краткий рапорт Оливье заканчивается горячим восхищением загадочной отвагой этих безумцев. «Затем мы стали продвигаться вперед развернутым строем,— пишет Оливье,— и загнали их в реку; мы взяли в плен самого генерала Сент-Клэра и нескольких других офицеров. Полковник и майор — оба пали в этом сражении. Не могу удержаться, чтобы не отметить, что история видела не много таких прекрасных зрелищ, как последний бой этого доблестного полка; раненые офицеры подбирали ружья убитых солдат, сам генерал сражался на коне, с непокрытой головой, шпага его была сломана». О том, что случилось с генералом позднее, Оливье умалчивает, как и капитан Кейт.

— А теперь,— проворчал Фламбо,— расскажите мне о следующем показании.

— Чтобы разыскать его,— сказал отец Браун,— мне пришлось потратить много времени, но рассказ о нем будет короток. В одной из линкольнширских богаделен мне удалось найти старого солдата, который был не только ранен у Черной реки, но стоял на коленях перед командиром части, когда тот умирал. Этот последний, некий полковник Кланси, здоровеннейший ирландец, надо думать, умер не столько от ран, сколько от ярости. Он-то, во всяком случае, не несет ответственности за нелепую вылазку,— вероятно, она была навязана ему генералом. Солдат передал мне предсмертные слова полковника: «Вон едет проклятый старый осел. Жаль, что он сломал шпагу, а не голову». Обратите внимание, все замечают эту шпагу, хотя большинство людей выражается о ней более почтительно, чем покойный полковник Кланси. Перехожу к последнему показанию...

Тропа, идущая сквозь лесную чащу, стала подниматься вверх, и священник остановился, чтобы передохнуть, прежде чем возобновить рассказ.

Затем он продолжал тем же деловым тоном:

— Всего один или два месяца назад в Англии скончался высокопоставленный бразильский чиновник. Поссорившись с Оливье, он уехал из родной страны. Это была хорошо известная личность как здесь, так и на континенте,— испанец по фамилии Эспадо, желтолицый крючконосый щеголь; я был с ним лично знаком. По некоторым причинам частного порядка

я добился разрешения просмотреть оставшиеся после него бумаги. Разумеется, он был католиком, и я находился с ним до самой кончины. Среди его бумаг не нашлось ничего, что могло бы осветить темные места сент-клэрвовского дела, за исключением пяти-шести школьных тетрадей, оказавшихся дневником какого-то английского солдата. Я могу только предположить, что он был найден бразильцами на одном из убитых. К сожалению, записи обрываются накануне стычки.

Но описание последнего дня в жизни этого бедного малого, несомненно, стоит прочесть. Оно при мне, но сейчас так темно, что ничего не разобрать. Перескажу его вкратце. Первая часть наполнена шуточками, которые, как видно, были в ходу у солдат, по адресу одного человека, прозванного Стервятником. Кто он, сказать трудно, по-видимому, он не принадлежал к их рядам и даже не был англичанином. Не говорят о нем и как о враге. Скорее всего, это был какой-то нейтральный посредник из местных жителей, возможно, проводник или журналист. Он о чем-то совещался наедине со старым полковником Кланси, но значительно чаще видел, как он беседует с майором. Этот майор занимает видное место в повествовании моего солдата. По описанию, это был худощавый темноволосый человек по фамилии Меррей, пуританин, родом из Северной Ирландии. Во многих остротах суровость этого олстерца противопоставляется общительности полковника Кланси. Встречаются также словечки, высмеивающие яркую и пеструю одежду Стервятника.

Но все это легкомыслие рассеивается при первых признаках тревоги. Позади английского лагеря, почти параллельно реке, проходила одна из немногочисленных больших дорог. На западе она сворачивала к реке, пересекая ее по мосту. К востоку дорога снова углублялась в дикие лесные заросли, а двумя милями дальше стоял следующий английский аванпост. В тот вечер солдаты заметили в этом направлении блеск оружия и услышали топот легкой кавалерии; даже неискушенный автор дневника догадался, что едет генерал со своим штабом. Он восседал на большом белом коне, которого мы часто видели в иллюстрированных газетах и на ака-

демических полотнах. Можете не сомневаться, что приветствие, которым его встретили солдаты, было не пустой церемонией. Сам он между тем не тратил времени на церемонии: соскочив с седла, он присоединился к группе офицеров и принялся оживленно и конфиденциально беседовать с ними. Наш друг, автор дневника, заметил, что генерал охотнее всего обсуждает дела с майором Мерреем, но такое предпочтение, пока оно не стало подчеркнутым, казалось вполне естественным. Эти люди были словно созданы для взаимного понимания: оба они, как говорится, «читали свои Библии», оба были офицерами старого евангелического толка. Во всяком случае, достоверно, что когда генерал снова садился в седло, он продолжал серьезный разговор с Мерреем, а когда пустил лошадь медленным шагом по дороге, высокий олстерец все еще шел у повода коня, поглощенный беседой. Солдаты наблюдали за ними, пока они не скрылись в небольшой рожице, где дорога поворачивала к реке. Полковник Кланси возвратился к себе в палатку, солдаты отправились на посты, автор дневника задержался еще на несколько минут и увидел изумительное зрелище.

Прямо по направлению к лагерю неся большой белый конь, который только что, словно на параде, медленно выступал по дороге. Он летел стрелой, точно приближаясь на скачках к финишу. Сперва солдаты подумали, что он сбросил седока, но скоро увидели, что это сам генерал — превосходный наездник — гнал его во весь опор. Конь и всадник вихрем подлетели к солдатам; круто осадив скакуна, генерал повернул к ним лицо, от которого, казалось, исходило пламя, и голосом, подобным звукам трубы в день Страшного суда, потребовал к себе полковника.

Замечу, кстати, что в головах таких людей, как наш солдат, потрясающие события этой катастрофы громоздятся друг на друга, словно груда бревен. Не успев опомниться после сна, солдаты становятся, едва не падая, в строй и узнают, что должны немедленно переправиться через реку и начать атаку. Им сообщают: генерал и майор обнаружили что-то у моста, и теперь для спасения жизни остается одно: незамедлительно напасть на врага. Майор срочно

отправился в тыл вызвать резервы, стоящие у до-роги. Однако сомнительно, чтобы подкрепления по-дошли вовремя, даже несмотря на спешку. Ночью полк должен форсировать реку и к утру овладеть высотами. Этой тревожной и волнующей картиной ро-мантического ночного марша дневник внезапно за-канчивается...

Лесная тропа делалась все уже, круче и извилист-тей, пока не стала походить на винтовую лестницу. Отец Браун шел впереди, и теперь его голос доно-сился сверху.

— Там упоминается еще об одной небольшой, но очень важной подробности. Когда генерал призывал их к атаке, он наполовину вытащил шпагу из ножен, но потом, устыдившись своего мелодраматического порыва, вдвинул ее обратно. Как видите, опять эта шпага!

Слабый полусвет прорывался сквозь сплетение сучьев над головами путников и отбрасывал к их ногам призрачную сеть: они снова приближались к тусклому свету открытого неба. Истина окутывала Фламбо, как воздух, но он не мог выразить ее. Он от-ветил в замешательстве:

— Что же тут особенного? Офицеры обычно носят шпаги, не так ли?

— В современной войне о них не часто упоми-нают,— бесстрастно произнес рассказчик,— но в этом деле повсюду натыкаешься на проклятую шпагу.

— Ну и что же из этого? — пробурчал Фламбо.— Дешевая сенсация: шпага старого воина ломается в его последней битве. Готов побиться об заклад, что газеты прямо-таки набросились на этот случай. На всех этих гробницах и тому подобных штуках шпагу генерала всегда изображают с отломанным концом. Надеюсь, вы потащили меня в эту полярную экспеди-цию не только из-за того, что два романтически настр-оенных человека видели сломанную шпагу Сент-Клэра?

— Нет! — Голос отца Брауна прозвучал резко, как револьверный выстрел.— Но кто видел шпагу целой?

— Что вы хотите сказать? — воскликнул его спутник и остановился как вкопанный.

Они не заметили, как вышли из серых ворот леса на открытое место.

— Я спрашиваю: кто видел его шпагу целой? — настойчиво повторил отец Браун.— Только не тот, кто писал дневник: генерал вовремя убрал ее в ножны.

Освещенный лунным сиянием, Фламбо огляделся вокруг невидящим взглядом — так человек, пораженный слепотой, смотрит на солнце,— а его товарищ, в голосе которого впервые зазвучали страстные нотки, продолжал:

— Даже обыскав все эти могилы, Фламбо, я ничего не могу доказать. Но я уверен в своей правоте. Разрешите мне добавить к своему рассказу одну небольшую подробность, которая переворачивает все вверх дном. По странной случайности одним из первых пуля поразила полковника. Он был ранен задолго до того, как войска вошли в непосредственное соприкосновение. Но он видел уже сломанную шпагу Сент-Клэра. Почему она была сломана? Как она была сломана? Мой друг, она сломалась еще до сражения!

— О,— заметил его товарищ с напускной веселостью.— А где же отломанный кусок?

— Могу вам ответить,— быстро сказал священник,— в северо-восточном углу кладбища при протестантском соборе в Белфасте.

— В самом деле? — переспросил его собеседник.— Вы уже искали его там?

— Это невозможно,— с искренним сожалением ответил Браун.— Над ним находится большой мраморный памятник — памятник майору Меррею, который пал смертью храбрых в знаменитой битве при Черной реке.

Казалось, по телу Фламбо пробежал гальванический ток.

— Вы хотите сказать,— сиплым голосом воскликнул он,— что генерал Сент-Клэр ненавидел Меррея и убил его на поле сражения, потому что...

— Вы все еще полны чистых, благородных предположений,— сказал священник.— Все было гораздо хуже.

— В таком случае,— сказал большой человек,— запас моего дурного воображения истощился.

Священник, видимо, раздумывал, с чего начать, и наконец сказал:

— Где умный человек прячет лист? В лесу.

Фламбо молчал.

— Если нет леса, он его сажает. И, если ему надо спрятать мертвый лист, он сажает мертвый лес.

Ответа опять не последовало, и священник добавил еще мягче и тише:

— А если ему надо спрятать мертвое тело, он прячет его под грудой мертвых тел.

Фламбо шагал вперед так, словно малейшая задержка во времени или пространстве была ему ненавистна, но отец Браун продолжал говорить, развивая свою последнюю мысль:

— Сэр Артур Сент-Клэр, как я уже упоминал, был одним из тех, кто «читает свою библию». Этим сказано все. Когда наконец люди поймут, что бесполезно читать только свою библию и не читать при этом библии других людей? Наборщик читает свою библию, чтобы найти опечатки; мормон читает свою библию и находит многобрачие; последователь «христианской науки» читает свою библию и обнаруживает, что наши руки и ноги — только видимость. Сент-Клэр был старым англо-индийским солдатом протестантского склада. Подумайте, что это может означать, и, ради всего святого, отбросьте ханжество! Это может означать, что он был распущенным человеком, жил под тропическим солнцем среди отбросов восточного общества и, никем духовно не руководимый, без всякого разбора впитывал в себя поучения Восточной книги. Без сомнения, он читал Ветхий завет охотнее, чем Новый. Без сомнения, он находил в Ветхом завете все, что хотел найти: похоть, насилие, измену. Осмелюсь сказать, что он был честен в общепринятом смысле слова. Но что толку, если человек честен в своем поклонении бесчестности?

В каждой из таинственных знойных стран, где довелось побывать этому человеку, он заводил гарем, пытал свидетелей, накапливал грязное золото. Конечно, он сказал бы с открытым взором, что делает это во славу господа. Я выражу свои сокровенные убеждения, если спрошу: какого господа? Каждый такой поступок открывает новые двери, ведущие из круга в круг по аду. Не в том беда, что преступник

становится необузданней и необузданней, а в том, что он делается подлее и подлее. Вскоре Сент-Клэр запутался во взяточничестве и шантаже, ему требовалось все больше и больше золота. Ко времени битвы у Черной реки он пал уже так низко, что место ему было лишь в последнем кругу Данте.

— Что вы хотите сказать? — спросил его друг.

— А вот что, — решительно вымолвил священник и вдруг указал на лужицу, затянутую ледком, поблескивающим под лунным светом. — Вы помните, кого Данте поместил в последнем, ледяном кругу ада?

— Предателей, — сказал Фламбо и невольно вздрогнул. Он обвел взглядом безжизненные, дразняще-бесстыдные деревья и на миг вообразил себя Данте, а священника с журчащим, как ручеек, голосом — Вергилием, своим проводником в краю вековых грехов.

Голос продолжал:

— Как известно, Оливье отличался донкихотством: он запретил секретную службу и шпионаж. Однако запрещение, как это часто бывает, обходили за его спиной. И нарушителем был не кто иной, как наш старый друг Эспадо, тот самый пестро одетый хлыщ, которого прозвали Стервятником за его крючковатый нос. Напялив на себя маску благотворителя, он прощупывал солдат английской армии, пока не натолкнулся на единственного продажного человека. И, о боже, он оказался тем, кто стоял на самом верху! Генералу Сент-Клэру позарез требовались деньги — целые горы денег. Незадачливый врач Сент-Клэров уже тогда угрожал теми необычайными разоблачениями, с которыми выступил впоследствии, но почему-то они были внезапно прекращены; носились слухи о чудовищных злодеяниях, совершенных некогда английским евангелистом на Парк-Лейн¹, — преступлениях ничуть не менее гнусных, чем человеческие жертвоприношения или продажа людей в рабство. К тому же деньги нужны были на приданое дочери: слава, которая сопутствует богатству, была ему так же дорога, как само богатство. Порвав последнюю нить, он шепнул слово бразильцам — и зо-

¹ Парк-Лейн — фешенебельная улица в Лондоне.

лото потекло к нему от врагов Англии. Но не только он, еще один человек говорил с Эспадо-Стервятником. Каким-то образом угрюмый молодой майор из Олстера сумел догадаться об этой отвратительной сделке, и, когда они не спеша двигались по дороге к мосту, Меррей заявил генералу, что тот должен немедленно выйти в отставку, иначе он будет судим военно-полевым судом и расстрелян.

Генерал оттягивал решительный ответ, пока они не подошли к тропической роще у моста. И здесь, на берегу журчащей реки, у залитых солнцем пальм, — я отчетливо вижу это, — генерал выхватил шпагу и заколол майора...

Лютый мороз сковал зимнюю дорогу, окаймленную зловецами черными кустами и деревьями. Путники приближались к тому месту, где дорога переваливала через гребень холма, и Фламбо увидел далеко впереди неясный ореол, возникший не от лунного или звездного света, а от огня, зажженного человеческой рукой. Рассказ уже близился к концу, а он все не мог оторвать взгляд от далекого огонька.

— Сент-Клэр был исчадием ада, сущим исчадием ада. Никогда — я готов в этом поклясться! — не проявил он такой ясности ума и такой силы воли, как в ту минуту, когда бездыханное тело бедного Меррея лежало у его ног. Никогда ни в одном из своих триумфов, как правильно отметил капитан Кейт, не был так прозорлив этот одареннейший человек, как в последнем позорном сражении. Он хладнокровно осмотрел свое оружие, чтобы убедиться, что на нем не осталось следов крови, и увидел, что конец шпаги, которой он заколол Меррея, отломался и остался в теле жертвы. Спокойно — так, словно он глядел на происходящее из окна клуба, — Сент-Клэр обдумал все возможные последствия. Он понял, что рано или поздно люди найдут подозрительный труп, привлекут подозрительный обломок, заметят подозрительную сломанную шпагу. Он убил, но не заставил замолчать. Его могучий разум восстал против этого непредвиденного затруднения; оставался еще один выход: сделать труп менее подозрительным, скрыть его под горою трупов! Через двадцать минут восьмисот английских солдат двинулись навстречу гибели...

Теплый свет, мерцающий за черным зимним лесом, стал сильнее и ярче, и Фламбо зашагал быстрее. Отец Браун также ускорил шаг, но казалось, он целиком поглощен своим рассказом.

— Таково было мужество этих английских солдат и таков гений их командира, что, если бы они без промедления атаковали холм, сумасшедший бросок мог бы увенчаться успехом. Но у злой воли, которая играла ими, как пешками, была совсем другая цель. Они должны были торчать в топях у моста до тех пор, пока трупы британских солдат не станут привычным зрелищем. Потом — величественная заключительная сцена: седовласый солдат, непорочный, как святой, отдает свою сломанную шпагу, чтобы прекратить дальнейшее кровопролитие. О, для экспромта это было недурно выполнено! Но я предполагаю — не могу этого доказать, — я предполагаю, что, пока они сидели в кровавой трясине, у кого-то зародились сомнения и кто-то угадал правду... — Он замолчал, а потом добавил: — Внутренний голос подсказывает мне, что это был жених его дочери, ее будущий муж.

— Но почему же тогда Оливье повесил Сент-Клэра? — спросил Фламбо.

— Отчасти из рыцарства, отчасти из политических соображений Оливье редко обременял свои войска пленными, — объяснил рассказчик. — В большинстве случаев он всех отпускал. И в тот раз он отпустил всех.

— Всех, кроме генерала, — поправил высокий человек.

— Всех, — повторил священник.

Фламбо нахмурил черные брови.

— Я не совсем понимаю вас, — сказал он.

— А теперь я нарисую вам другую картину, Фламбо, — таинственным полупшепотом начал Браун. — Я ничего не могу доказать, но — и это важнее! — я вижу все. Представьте себе военный лагерь, который снимается поутру с голых, выжженных зноем холмов, и мундиры бразильцев, выстроенных в походные колонны. На ветру развеваются красная рубаха и длинная черная борода Оливье, в руке он держит широкополую шляпу. Он прощается со своим врагом и отпускает его на свободу — простого анг-

лийского ветерана с белой, как снег, головой, который благодарит его от имени своих солдат. Оставшиеся в живых англичане стоят навтытяжку позади генерала, рядом — запасы провианта и повозки для отступления. Рокочут барабаны — бразильцы трогаются в путь, англичане стоят как изваяния. Они не шевелятся до того момента, пока бразильцы не скрываются за тропическим горизонтом и не затихает топот их ног. Тогда, встрепенувшись, они сразу ломают строй; к генералу обращаются пятьдесят лиц — лиц, которые нельзя забыть.

Фламбо подскочил от возбуждения.

— О! — воскликнул он. — Неужели?..

— Да, — сказал отец Браун глубоким взволнованным голосом. — Это рука англичанина накинута петлю на шею Сент-Клэра, — думаю, та же рука, которая надела кольцо на палец его дочери. Это руки англичан подтащили его к древу позора, руки тех самых людей, которые преклонялись перед ним и шли за ним, веря в победу. Это глаза англичан — да простит и укрепит нас господь — смотрели на него, когда он висел в лучах чужеземного солнца на зеленой виселице-пальме! И это англичане молились о том, чтобы душа его провалилась прямо в ад.

Как только путники достигли гребня холма, на встречу им хлынул яркий свет, пробивавшийся сквозь красные занавески гостиничных окон. Гостиница стояла у обочины дороги, маня прохожих своим гостеприимством. Три ее двери были приветливо раскрыты, и даже с того места, где стояли отец Браун и Фламбо, слышались говор и смех людей, которым посчастливилось найти приют в такую ночь.

— Вряд ли нужно рассказывать о том, что случилось дальше, — сказал отец Браун. — Они судили его и там же, на месте, казнили; потом, ради славы Англии и доброго имени его дочери, поклялись молчать о набитом кошельке изменника и сломанной шпаге убийцы. Должно быть — помоги им в этом небо! — они попытались обо всем забыть. Попытаемся забыть и мы. А вот и гостиница.

— Забыть? С удовольствием! — сказал Фламбо. Он уже стоял перед входом в шумный, ярко освещенный бар, как вдруг попятился и чуть не упал. — Посмотрите-ка, что за чертовщина! — закричал он,

указывая на прямоугольную деревянную вывеску над входом. На ней красовалась грубо намалеванная шпага с укороченным лезвием и псевдоархаичными буквами было начертано: «Сломанная шпага».

— Что ж тут такого? — пожал плечами отец Браун. — Он — кумир всей округи; добрая половина гостиниц, парков и улиц названа в честь генерала и его подвигов.

— А я-то думал, мы покончили с этим прокаженным! — вскричал Фламбо и сплюнул на дорогу.

— В Англии с ним никогда не покончат, — ответил священник, — до тех пор, пока тверда бронза и не рассыпался камень. Столетиями его мраморные статуи будут вдохновлять души гордых наивных юношей, а его сельская могила станет символом верности, подобно цветку лилии. Миллионы людей, никогда не знавших его, будут, как родного отца, любить этого человека, с которым поступили как с дерьмом те, кто его знал. Его будут почитать как святого и никто не узнает правды — так я решил. В разглашении тайны много и плохих и хороших сторон, — правильность своего решения я проверю на опыте. Все эти газеты исчезнут, антибразильская шумиха уже кончилась, к Оливье повсюду относятся с уважением. Но я дал себе слово: если хоть где-нибудь появится надпись — на металле или на мраморе, долговечном, как пирамиды, — несправедливо обвиняющая в смерти генерала полковника Кланси, капитана Кейта, президента Оливье или другого невинного человека, тогда я заговорю. А если все ограничится незаслуженным восхвалением Сент-Клэра, я буду молчать. И я сдержу свое слово!

Они вошли в таверну, которая оказалась не только уютной, но даже роскошной. На одном из столов стояла серебряная копия памятника с могилы Сент-Клэра — серебряная голова склонена, серебряная шпага сломана. Стены таверны были увешаны цветными фотографиями: одни изображали все ту же гробницу, другие — экипажи, в которых приезжали осматривать ее туристы. Отец Браун и Фламбо уселись в удобные мягкие кресла.

— Ну и холод! — воскликнул отец Браун. — Выпьем вина или пива?

— Лучше бренди, — сказал Фламбо.

ТРИ ОРУДИЯ СМЕРТИ

По роду своей деятельности, а также и по убеждениям отец Браун лучше, чем большинство из нас, знал, что всякого человека удостаивают почестей и всяческого внимания, когда человек этот мертв. Но даже он был потрясен дикой нелепостью происшедшего, когда на рассвете его подняли с постели и сообщили, что сэр Арон Армстронг стал жертвой убийства. Было что-то бессмысленное и постыдное в тайном злодеянии, совершенном над столь обворожительной и прославленной личностью. Ведь сэр Арон был обворожителен до смешного, а слава его стала почти легендарной. Новость произвела такое впечатление, словно вдруг стало известно, что Солнечный Джим повесился или мистер Пиквик умер в Хэнуэлле¹. Дело в том, что, хотя сэр Арон и был филантропом, а стало быть, соприкасался с темными сторонами нашего общества, он гордился тем, что соприкасается с ними в духе самого искреннего добродушия, какое только возможно. Его речи на политические и общественные темы представляли собой каскад шуток и «громового смеха»; его здоровье было поистине цветущим; его нравственность зиждилась на неистребимом оптимизме; соприкасаясь с проблемой пьянства (это была излюбленная тема его рассуждений), он выказывал неувядаемую и даже несколько однообразную веселость, столь часто присущую человеку, который в рот не берет спиртного и не испытывает ни малейшей потребности выпить.

Общеизвестную историю его обращения в трезвенники постоянно поминали с самых пуританских трибун и кафедр, рассказывая, как он еще в раннем детстве был отвлечен от шотландского богословия пристрастием к шотландскому виски, как он вознесся превыше того и другого и стал (по собственному его скромному выражению) тем, чем он есть. Правда, глядя на его пышную седую бороду, лицо херувима и очки, поблескивающие на бесчисленных обедах и заседаниях, где он неизменно присутствовал, трудно было поверить, что он мог когда-либо являть со-

¹ Хэнуэлл — больница для душевнобольных в пригороде Лондона.

бою нечто столь тошнотворное, как умеренно пьющий человек или истовый кальвинист. Сразу чувствовалось, что это самый серьезный весельчак из всех представителей рода человеческого.

Жил он в тихом предместье Хэмстеда, в красивом особняке, высоком, но очень тесном, с виду похожем на башню, вполне современную и ничем не примечательную. Самая узкая из всех узких стен этого дома выходила прямо к крутой, поросшей дерном железнодорожной насыпи и содрогалась всякий раз, когда мимо проносились поезда. Сэр Арон Армстронг, как с большой горячностью уверял он сам, был человеком, совершенно лишенным нервов. Но если проходящий поезд часто потрясал дом, то в это утро все было наоборот, — дом причинил потрясение поезду.

Локомотив замедлил ход и остановился в том самом месте, где угол дома нависал над крутым травянистым откосом. Остановить эту самую бездушную из мертвых машин удастся далеко не сразу; но живая душа, бывшая причиной остановки, действовала поистине стремительно. Некий человек, одетый во все черное, вплоть до (как запомнилось очевидцам) такой мелочи, как леденящие душу черные перчатки, вынырнул словно из-под земли у края железнодорожного полотна и замахал черными руками, словно какая-то жуткая мельница. Сами по себе подобные действия едва ли могли бы остановить поезд даже на малом ходу. Но при этом человек испустил вопль, который впоследствии описывали как нечто совершенно дикое и нечеловеческое. Вопль был из тех звуков, которые едва вняты, даже если они слышны вполне отчетливо. В данном случае было выкрикнуто слово: «Убийство!»

Однако машинист клянется, что остановил бы поезд в любом случае, даже если бы услышал не слово, а лишь зловещий, неповторимый голос, который его выкрикнул.

Едва поезд затормозил, сразу же обнаружились многие подробности недавней трагедии. Мужчина в черном, появившийся на краю зеленого откоса, был лакей сэра Арона Армстронга, угрюмый человек по имени Магнус. Баронет со свойственной ему беззаботностью частенько посмеивался над черными

перчатками своего мрачного слуги; но теперь никто не склонен был над ними смеяться.

Когда несколько любопытствующих спустились с насыпи и прошли за почернелую от сажи изгородь, они увидели скатившееся почти до самого низу откоса тело старика в желтом домашнем халате с ярко-алой подкладкой. Нога убитого была захлестнута веревочной петлей, накинутой, по-видимому, во время борьбы. Были замечены и пятна крови, правда, весьма немногочисленные; но труп был изогнут или, вернее, скорчен и лежал в позе, какую немислимо принят живому существу. Это и был сэр Арон Армстронг. Через несколько минут подоспел рослый светлогородый человек, в котором кое-кто из ошеломленных пассажиров признал личного секретаря покойного, Патрика Ройса, некогда хорошо известного в богемных кругах и даже прославленного в богемных искусствах. Выказывая свои чувства более неопределенным, но при этом и более убедительным образом, он стал вторить горестным причитаниям лакея. А когда из дома появилась еще и третья особа, Элис Армстронг, дочь умершего, которая бежала неверными шагами и махала рукой в сторону сада, машинист решил, что долее медлить нельзя. Он дал свисток, и поезд, пыхтя, тронулся к ближайшей станции за помощью.

Так получилось, что отца Брауна срочно вызвали по просьбе Патрика Ройса, этого рослого секретаря, в прошлом связанного с богемой. По происхождению Ройс был ирландец; он принадлежал к числу тех легкомысленных католиков, которые никогда и не вспоминают о своем вероисповедании, покуда не попадут в отчаянное положение. Но вряд ли просьбу Ройса исполнили бы так быстро, не будь один из официальных сыщиков другом и почитателем непризнанного Фламбо: ведь невозможно быть другом Фламбо и при этом не наслушаться бесчисленных рассказов про отца Брауна. А посему когда молодой сыщик (чья фамилия была Мертон) вел маленького священника через поля к линии железной дороги, беседа их была гораздо доверительней, нежели можно было бы ожидать от двоих совершенно незнакомых людей.

— Насколько я понимаю, — заявил Мертон без обиняков, — разобраться в этом деле просто немис-

лимо. Тут решительно некого заподозрить. Магнус — напыщенный старый дурак: он слишком глуп для того, чтобы совершить убийство. Ройс вот уже много лет был самым близким другом баронета, ну а дочь, без сомнения, души не чаяла в своем отце. И, помимо прочего, все это — сплошная нелепость. Кто стал бы убивать старого весельчака Армстронга? У кого поднялась бы рука пролить кровь безобидного человека, который так любил застольные разговоры? Ведь это все равно что убить рождественского деда.

— Да, в доме у него действительно царил веселье, — согласился отец Браун. — Веселье это не прекращалось, покуда хозяин оставался в живых. Но как вы полагаете, сохранится ли оно теперь, после его смерти?

Мертон слегка вздрогнул и взглянул на собеседника с живым любопытством.

— После его смерти? — переспросил он.

— Да, — бесстрастно продолжал священник, — хозяин-то был веселым человеком. Но заразил ли он своим весельем других? Скажите откровенно, есть ли в доме еще хоть один веселый человек, кроме него?

В мозгу у Мертона словно приоткрылось оконце, через которое проник тот странный проблеск удивления, который вдруг как бы проясняет то, что было известно с самого начала. Ведь он часто заходил к Армстронгам по делам, которые старый филантроп вел с полицией; и теперь он вспомнил, что атмосфера в доме действительно была удручающая. В комнатах с высокими потолками стоял холод; обстановка отличалась дурным вкусом и дешевой провинциальностью; в коридорах, где гулял сквозняк, горели слабые электрические лампочки, светившие не ярче луны. И хотя румяная физиономия старика, обрамленная серебристо-седой бородой, озаряла, как яркий костер, каждую комнату и каждый коридор, она не оставляла по себе ни капли тепла. Разумеется, это ощущение могильного холода до известной степени порождалось самою жизнерадостностью и кипучестью владельца дома; ему не нужны печи или лампы, сказал бы он, потому что его согревает собственное тепло. Но когда Мертон вспомнил других обитателей дома, ему пришлось признать, что они были лишь тенями

хозяина. Угрюмый лакей с его чудовищными черными перчатками вполне мог бы привидеться в ночном кошмаре; Ройс, личный секретарь, здоровяк в твидовых брюках, смахивающий на быка, носил коротко подстриженную бородку, но в этой соломенно-желтой бородке уже странным образом пробивалась ранняя седина, а широкий лоб избородили морщины. Конечно, он был вполне добродушен, но добродушие это было какое-то печальное, почти скорбное, — у него был такой вид, словно в жизни его постигла жестокая неудача. Ну а если взглянуть на дочь Армстронга, трудно поверить, что она и в самом деле приходится ему дочерью; лицо у нее такое бледное, с болезненными чертами. Она не лишена изящества, но во всем ее облике ощущается затаенный трепет, который делает ее похожей на осу. Иногда Мертон думал, что она, вероятно, очень пугается грохота проходящих поездов.

— Видите ли, — сказал отец Браун, едва заметно подмигивая, — я отнюдь не уверен, что веселость Армстронга доставляла большое удовольствие... м-м... его ближним. Вот вы говорите, что никто не мог убить такого славного старика, а я в этом далеко не убежден: *ne nos induces in tentationem*¹. Я лично если бы и убил человека, — добавил он с подкупающей простотой, — то уж непременно какого-нибудь Оптимиста, смею заверить.

— Но почему? — вскричал изумленный Мертон. — Неужели вы считаете, что людям не по душе веселый нрав?

— Людям по душе, когда вокруг них часто смеются, — ответил отец Браун, — но я сомневаюсь, что им по душе, когда кто-либо всегда улыбается. Безрадостное веселье очень докучливо.

На этом разговор прервался, и некоторое время они молча шли, обдуваемые ветром, вдоль рельсов по травянистой насыпи, а когда добрались до длинной тени от дома Армстронга, отец Браун вдруг сказал с таким видом, словно хотел отбросить тревожную мысль, а вовсе не высказать ее всерьез:

— Разумеется, в пристрастии к спиртному как таковом нет ни хорошего, ни дурного. Но иной раз

¹ Не введи нас во искушение (лат.).

мне невольно приходит на ум, что людям вроде Армстронга порою нужен бокал вина, чтобы стать немного печальней.

Начальник Мертон по службе, седовласый сыщик с незаурядными способностями, стоял на травянистом откосе, дожидаясь следователя, и разговаривал с Патриком Ройсом, чьи могучие плечи и всклокоченная бородака возвышались над его головою. Это было тем заметней еще и потому, что Ройс имел привычку слегка горбить крепкую спину и, когда отправлялся по церковным или домашним делам, двигался тяжело и неторопливо, словно буйвол, запряженный в прогулочную коляску.

При виде священника Ройс с несвойственной ему приветливостью поднял голову и отвел его на несколько шагов в сторону. А Мертон тем временем обратился к старшему сыщику не без почтительности, но по-мальчишески нетерпеливо:

— Ну как, мистер Гилдер, далеко ли вы продвинулись в раскрытии этой тайны?

— Никакой тайны здесь нет, — отозвался Гилдер, сонно щурясь на грачей, которые сидели поблизости.

— Ну, мне, по крайней мере, кажется, что тайна все же есть, — возразил Мертон с улыбкой.

— Дело совсем простое, мой мальчик, — обронил старший сыщик, поглаживая седую остроконечную бородаку. — Через три минуты после того как вы по просьбе мистера Ройса отправились за священником, вся история стала ясна, как день. Вы знаете одутловатого лакея в черных перчатках, того самого, который остановил поезд?

— Как не знать. При виде его у меня мурашки поползли по коже.

— Итак, — промолвил Гилдер, — когда поезд исчез из виду, человек этот тоже исчез. Вот уж поистине хладнокровный преступник, удрал на том самом поезде, который должен был вызвать полицию, ведь ловко?

— Стало быть, вы совершенно уверены, — заметил младший сыщик, — что он действительно убил своего хозяина?

— Да, сынок, совершенно уверен, — ответил Гилдер сухо, — уже хотя бы по той пустяковой причине,

что он прихватил двадцать тысяч фунтов наличными из письменного стола хозяина. Нет, теперь единственное затруднение, если только это вообще можно так назвать, состоит в том, чтобы выяснить, как именно он его убил. Похоже, что череп проломлен каким-то тяжелым предметом, но поблизости тяжелых предметов не обнаружено, а унести оружие с собой было бы для убийцы обременительно, разве что оно очень маленькое и потому не привлекло внимания.

— Возможно, оно, напротив, очень большое и потому не привлекло внимания, — произнес маленький священник со странным, отрывистым смешком.

Услышав такую нелепость, Гилдер повернулся и сурово спросил отца Брауна, как понимать его слова.

— Я сам знаю, что выразился глупо, — сказал отец Браун со смущением. — Получается как в волшебной сказке. Но бедняга Армстронг убит дубиной, которая по плечу только великану, большой зеленой дубиной, очень большой и потому незаметной, ее обычно называют землей. Он расшибся насмерть все об эту зеленую насыпь, на которой мы сейчас стоим.

— Куда это вы клоните? — с живостью спросил сыщик.

Отец Браун обратил круглое, как луна, лицо к фасаду дома и поглядел вверх, близоруко сощурив глаза. Проследив за его взглядом, все увидели на самом верху этой глухой части дома, в мезонине, распахнутое настезь окно.

— Разве вы не видите, — сказал он, указывая на окно пальцем с какой-то детской неловкостью, — что он упал вон оттуда?

Гилдер, насупясь, глянул на окно и произнес:

— Да, это вполне вероятно. Но я все-таки не понимаю, откуда у вас такая уверенность.

Отец Браун широко открыл серые глаза.

— Ну как же, — сказал он, — ведь на ноге у трупа обрывок веревки. Разве вы не видите, что вон там из окна свисает другой обрывок?

На такой высоте все предметы казались крохотными пылинками или волосками, но пронизательный старый сыщик остался доволен объяснением.

— Вы правы, сэр, — сказал он отцу Брауну. — Очко в вашу пользу,

Едва он успел вымолвить эти слова, как экстренный поезд, состоявший из единственного вагона, преодолел поворот слева от них, остановился и изверг из себя целый отряд полисменов, среди которых виднелась отталкивающая рожа Магнуса, беглого лакея.

— Вот это ловко, черт возьми! Его уже арестовали! — вскричал Гилдер и устремился вперед с неожиданной живостью.

— А деньги были при нем? — крикнул он первому полисмену.

Тот посмотрел ему в лицо несколько странным взглядом и ответил:

— Нет. — Помолчав, он добавил: — По крайней мере, здесь их нету.

— Кто будет инспектор, осмелюсь спросить? — сказал меж тем Магнус.

Едва он заговорил, все сразу поняли, почему его голос остановил поезд. Внешне это был человек мрачного вида, с прилизанными черными волосами, с бесцветным лицом, чуть раскосыми, как у жителей Востока, глазами и тонкогубым ртом. Его происхождение и настоящее имя вряд ли были известны с тех пор, как сэр Арон «спас» его от работы официанта в лондонском ресторане, а также (как утверждали некоторые) заодно и от других, куда более неблагоприятных обстоятельств. Но голос у него был столь же впечатляющий, сколь лицо казалось бесстрастным. То ли из-за тщательности, с которой он выговаривал слова чужого языка, то ли из предупредительности к хозяину (который был глуховат) речь Магнуса отличалась необычайной резкостью и пронзительностью, и когда он заговорил, окружающие чуть не подскочили на месте.

— Я так и знал, что это случится, — произнес он во всеуслышание, вызывая и невозмутимо. — Мой покойный хозяин потешался надо мной, потому что я ношу черную одежду, но я всегда говорил, что зато мне не надо будет надевать траур, когда наступит время идти на его похороны.

Он сделал быстрое, выразительное движение руками в черных перчатках.

— Сержант, — сказал инспектор Гилдер, с бешенством уставившись на черные перчатки. — Почему этот негодяй до сих пор гуляет без наручников? Ведь сразу видно, что перед нами опасный преступник.

— Позвольте, сэр, — сказал сержант, на лице которого застыло бессмысленное удивление. — Я не уверен, что мы имеем на это право.

— Как прикажете вас понимать? — резко спросил инспектор. — Разве вы его не арестовали?

Тонкогубый рот тронула едва уловимая презрительная усмешка, и тут, словно вторя этой издевке, раздался свисток подходящего поезда.

— Мы арестовали его, — сказал сержант серьезно, — в тот самый миг, когда он выходил из полицейского участка в Хайгейте, где передал все деньги своего хозяина в руки инспектора Робинсона.

Гилдер поглядел на лакея с глубочайшим изумлением.

— Чего ради вы это сделали? — спросил он у Магнуса.

— Ну, само собой, чтоб деньги не попали в руки преступника, а были в целости и сохранности, — ответил тот с невозмутимым спокойствием.

— Без сомнения, — сказал Гилдер, — деньги сэра Арона были бы в целости и сохранности, если б вы передали их его семейству.

Последние слова потонули в грохоте колес, и поезд, лязгая и подрагивая, промчался мимо; но этот адский шум, то и дело раздававшийся подле злополучного дома, был перекрыт голосом Магнуса, чьи слова прозвучали явственно и гулко, как удары колокола:

— У меня нет оснований доверять семейству сэра Арона.

Все присутствующие замерли на месте, ощутив, что некто, бесшумно, как призрак, появился рядом; и Мертон ничуть не удивился, когда поднял голову и увидел поверх плеча отца Брауна бледное лицо дочери Армстронга. Она была еще молода и хороша собою, вся светилась чистотой, но каштановые ее волосы заметно поблекли и потускнели, а кое-где в них даже просвечивала седина.

— Будьте поосторожней в выражениях, — сердито сказал Ройс, — вы напугали мисс Армстронг.

— Смею надеяться, что мне это удалось,— отозвался Магнус своим зычным голосом.

Пока девушка непонимающе глядела на него, а все остальные предавались удивлению, каждый на свой лад, он продолжал:

— Я как-то привык к тому, что мисс Армстронг частенько трясется. Вот уже много лет у меня на глазах ее время от времени бьет дрожь. Одни говорили, будто она дрожит от холода, другие утверждали, что это со страху, но я-то знаю, что дрожала она от ненависти и низменной злобы — этих демонов, которые сегодня утром наконец восторжествовали. Если бы не я, ее след бы уже простыл, сбежала бы со своим любовником и со всеми денежками. С тех самых пор как мой покойный хозяин не позволил ей выйти за этого гнусного пьянчугу...

— Замолчите,— сказал Гилдер сурово.— Все эти ваши выдумки или подозрения о семейных делах нас не интересуют. И если у вас нет каких-либо вещественных доказательств, то голословные утверждения...

— Ха! Я представляю вам вещественные доказательства,— прервал его Магнус резким голосом.— Извольте, инспектор, вызвать меня в суд, и я не премину сказать правду. А правда вот она: через секунду после того, как окровавленного старика вышвырнули в окно, я бросился в мезонин и увидел там его дочку, она валялась в обмороке на полу, и в руке у нее был кинжал, красный от крови. Позвольте мне заодно передать властям вот эту штуку.

Тут он вынул из заднего кармана длинный нож с роговой рукояткой и красным пятном на лезвии и вручил его сержанту. Потом он снова отступил в сторону, и щелки его глаз почти совсем заплыли на пухлой китайской физиономии, сиявшей торжествующей улыбкой.

При виде этого Мертоня едва не стошнило; он сказал Гилдеру вполголоса:

— Надеюсь, вы поверите на слово не ему, а мисс Армстронг?

Отец Браун вдруг поднял лицо, необычайно свежее и розовое, словно он только что умылся холодной водой.

— Да, — сказал он, источая неотразимое просто-душие. — Но разве слово мисс Армстронг непременно должно противоречить слову свидетеля?

Девушка испустила испуганный, отрывистый крик; все взгляды обратились на нее. Она окаменела, словно разбитая параличом; только лицо, обрамленное тонкими каштановыми волосами, оставалось живым, потрясенное и недоумевающее. Она стояла с таким видом, как будто на шее у нее затягивалась петля.

— Этот человек, — веско промолвил мистер Гилдер, — недвусмысленно заявляет, что застал вас с ножом в руке, без чувств, сразу же после убийства.

— Он говорит правду, — отвечала Элис.

Когда присутствующие опомнились, они увидели, что Патрик Ройс, пригнув массивную голову, вступил в середину круга, после чего произнес поразительные слова:

— Ну что ж, если мне все равно пропадать, я сперва хоть отведу душу.

Его широкие плечи всколыхнулись, и железный кулак нанес сокрушительный удар по благодушной восточной физиономии мистера Магнуса, который тотчас же распростерся на лужайке плашмя, словно морская звезда. Несколько полисменов немедленно схватили Ройса; остальным же от растерянности почудилось, будто все разумное летит в тартарары и мир превращается в сцену, на которой разыгрывается нелепое шутовское зрелище.

— Бросьте эти штучки, мистер Ройс, — властно сказал Гилдер. — Я арестую вас за оскорбление действием.

— Ничего подобного, — возразил ему Ройс голосом, гулким, как железный гонг. — Вы арестуете меня за убийство.

Гилдер с тревогой взглянул на поверженного; но тот уже сел, вытирая редкие капли крови с почти не поврежденного лица, и потому инспектор только спросил отрывисто:

— Что это значит?

— Этот малый сказал истинную правду, — объяснил Ройс. — Мисс Армстронг лишилась чувств и упала с ножом в руке. Но она схватила нож не для того,

чтобы совершить покушение на своего отца, а для того, чтобы его защитить.

— Защитить?— повторил Гилдер серьезно.— Но от кого же?

— От меня,— отвечал Ройс.

Элис взглянула на него ошеломленно и испуганно; потом проговорила тихим голосом:

— Ну что ж, в конце концов я рада, что вы не утратили мужества.

Мезонин, где была комната секретаря (довольно тесная келья для такого исполинского отшельника), хранил все следы недавней драмы. Посреди комнаты, на полу, валялся тяжелый револьвер, по-видимому, кем-то отброшенный в сторону; чуть левее откатилась к стене бутылка из-под виски, откупоренная, но не допитая. Тут же лежала скатерть, сорванная с маленького столика и растоптанная, а обрывок веревки, такой же самой, какую обнаружили на трупе, был переброшен через подоконник и нелепо болтался в воздухе. Осколки двух разбитых вдребезги ваз усеивали каминную полку и ковер.

— Я был пьян,— сказал Ройс; простота, с которой держался этот преждевременно состарившийся человек, выглядела трогательно, как первое раскаяние напавшего ребенка.

— Все вы слышали про меня,— продолжал он хриплым голосом.— Всякий слышал, как началась моя история, и теперь она, видимо, кончится столь же печально. Некогда я слыл умным человеком и мог бы быть счастлив: Армстронг спас остатки моей души и тела, вытащил меня из кабаков и всегда по-своему был ко мне добр, бедняга! Только он ни в коем случае не позволил бы мне жениться на Элис, и надо прямо признать, что он был прав. Ну, а теперь сами сделайте выводы, не принуждайте меня касаться подробностей. Вон там, в углу, моя бутылка с виски, выпитая наполовину, а вот мой револьвер на ковре, уже разряженный. Веревка, которую нашли на трупе, лежала у меня в ящике, и труп был выброшен из моего окна. Вам незачем пускаться по моему следу сыщиков, чтобы проследить мою трагедию: она не нова в этом проклятом мире. Я сам обрекаю себя на виселицу, и, видит бог, этого вполне достаточно!

Инспектор сделал едва уловимый знак, и полимены окружили дюжего человека, готовясь увести его незаметно; но им это не вполне удалось ввиду поразительного появления отца Брауна, который внезапно переступил порог, двигаясь по ковру на четвереньках, словно он совершал некий кощунственный обряд. Совершенно равнодушный к тому впечатлению, которое его поступок произвел на окружающих, он остался в этой позе, но повернул к ним умное круглое лицо, похожий на забавное четвероногое существо с человеческой головою.

— Послушайте, — сказал он добродушно, — право же, это ни в какие ворота не лезет, согласитесь сами. Сначала вы заявили, что не нашли оружия. Теперь же мы находим его в избытке: вот нож, которым можно зарезать, вот веревка, которой можно удавить, и вот револьвер, а в конечном итоге старик разбился, выпав из окна. Нет, я вам говорю, это ни в какие ворота не лезет. Это уж слишком.

И он потряхнул опущенной головой, словно конь на пастбище.

Инспектор Гилдер открыл рот, преисполненный решимости, но не успел слова вымолвить, потому что забавный человек, стоявший на четвереньках, продолжал свои пространные рассуждения:

— И вот перед нами три невыслыханных обстоятельства. Первое — это дыры в ковре, куда угодили шесть пуль. С какой стати кому-то понадобилось стрелять в ковер? Пьяный дырявит голову врагу, который скалит над ним зубы. Он не ищет повода ухватить его за ноги или взять приступом его домашние туфли. А тут еще эта веревка...

Оторвавшись от ковра, отец Браун поднял руки, сунул их в карманы, но продолжал стоять на коленях.

— В каком умопостижимом опьянении может человек захлестывать петлю на чьей-то шее, а в результате захлестнуть ее на ноге? И в любом случае Ройс не был так уж сильно пьян, иначе он сейчас спал бы беспробудным сном. Но самое явное свидетельство — это бутылка с виски. По-вашему, выходит, что алкоголик дрался за бутылку, одержал верх, а потом швырнул ее в угол, причем половину пролил, а ко второй половине даже не притронулся.

Смею заверить, никакой алкоголик так не поступит.

Он неуклюже встал на ноги и с явным сожалением сказал мнимому убийце, который оговорил сам себя:

— Мне очень жаль, любезнейший, но ваша версия, право же, неудачна.

— Сэр,— тихонько сказала Элис Армстронг священнику, — вы позволите поговорить с вами наедине?

Услышав эту просьбу, словоохотливый пастырь прошел через лестничную площадку в другую комнату, но прежде чем он успел открыть рот, девушка заговорила сама, и в голосе ее звучала неожиданная горечь.

— Вы умный человек,— сказала она,— и вы хотите выручить Патрика, я знаю. Но это бесполезно. Подоплека у этого дела прескверная, и чем больше вам удастся выяснить, тем больше будет улик против несчастного человека, которого я люблю.

— Но почему же? — спросил Браун, твердо глядя ей в лицо.

— Да потому,— ответила она с такой же твердостью,— что я своими глазами видела, как он совершил преступление.

— Так! — невозмутимо сказал Браун.— И что же именно он сделал?

— Я была здесь, в этой самой комнате,— объяснила она.— Обе двери были закрыты, но вдруг раздался голос, какого я не слыхала в жизни, голос, похожий на рев. «Ад! Ад! Ад!» — выкрикнул он несколько раз кряду, а потом обе двери содрогнулись от первого револьверного выстрела. Прежде чем я успела распахнуть эту и ту дверь, грянули три выстрела, а потом я увидела, что комната полна дыма и револьвер в руке моего бедного Патрика тоже дымится, и я видела, как он выпустил последнюю страшную пулю. Потом он прыгнул на отца, который в ужасе прижался к оконному косяку, сцепился с ним и попытался задушить его веревкой, которую накинул ему на шею, но в борьбе веревка соскользнула с плеч и упала к ногам. Потом она захлестнула одну ногу, а Патрик, как безумный, поволок отца. Я схватила с полу нож, кинулась между ними и успела перерезать веревку, а затем лишилась чувств.

— Понятно, — сказал отец Браун все с той же бесстрастной любезностью. — Благодарю вас.

Девушка поникла под бременем тяжелых воспоминаний, а священник спокойно ушел в соседнюю комнату, где оставались только Гилдер и Мертон с Патриком Ройсом, который в наручниках сидел на стуле. Отец Браун скромно сказал инспектору:

— Вы позволите мне поговорить с арестованным в вашем присутствии? И нельзя ли на минутку освободить его от этих никчемных наручников?

— Он очень силен, — сказал Мертон вполголоса. — Зачем вы хотите снять наручники?

— Я хотел бы, — смиренно произнес священник, — удостоиться чести пожать ему руку.

Оба сыщика усталились на отца Брауна в недоумении, а тот продолжал:

— Сэр, вы не расскажете им, как было дело?

Сидевший на стуле покачал взъерошенной головой, а священник нетерпеливо обернулся.

— Тогда я расскажу сам, — проговорил он. — Человеческая жизнь дороже посмертной репутации. Я намерен спасти живого, и пускай мертвые хоронят своих мертвецов.

Он подошел к роковому окну и, помаргивая, продолжал:

— Я уже говорил вам, что в данном случае перед нами слишком много оружия и всего лишь одна смерть. А теперь я говорю, что все это не служило оружием и не было использовано, дабы причинить смерть. Эти ужасные орудия — петля, окровавленный нож, разряженный револьвер, служили своеобразному милосердию. Их употребили отнюдь не для того, чтобы убить сэра Арона, а для того, чтобы его спасти.

— Спаси! — повторил Гилдер. — Но от чего?

— От него самого, — сказал отец Браун. — Он был сумасшедший и пытался наложить на себя руки.

— Как? — вскричал Мертон, полный недоверия. — А наслаждение жизнью, которое он исповедовал?

— Это жестокое вероисповедание, — сказал священник, выглядывая за окно. — Почему ему не давали поплакать, как плакали некогда его предки? Лучшим его намерениям не суждено было осуществ-

виться, душа стала холодной, как лед: под веселой маской скрывался пустой ум безбожника. Наконец, для того чтобы поддержать свою репутацию весельчака, он снова начал выпивать, хотя бросил это дело давным-давно. Но в подлинном трезвеннике неистребим ужас перед алкоголизмом: такой человек живет в прозрении и ожидании того психологического ада, от которого предостерегал других. Ужас этот временно погубил беднягу Армстронга. Сегодня утром он был в невыносимом состоянии, сидел здесь и кричал, что он в аду, таким безумным голосом, что собственная дочь его не узнала. Он безумно жаждал смерти и с редкостной изобретательностью, свойственной одержимым людям, разбросал вокруг себя смерть в разных обличьях: петлю-удавку, револьвер своего друга и нож. Ройс случайно вошел сюда и действовал немедленно. Он швырнул нож на ковер, схватил револьвер и, не имея времени его разрядить, выпустил все пули одна за другой прямо в пол. Но тут самоубийца увидел четвертое обличье смерти и метнулся к окну. Спаситель сделал единственное, что оставалось, — кинулся за ним с веревкой и попытался связать его по рукам и по ногам. Тут-то и вбежала несчастная девушка и, не понимая, из-за чего происходит борьба, попыталась освободить отца. Сперва она только полоснула ножом по пальцам бедняги Ройса, отсюда и следы крови на лезвии. Вы, разумеется, заметили, что, когда он ударил лакея, кровь на лице была, хотя никакой раны не было? Перед тем как упасть без чувств, бедняжка успела перерезать веревку и освободить отца, а он выпрыгнул вот в это окно и низвергся в вечность.

Наступило долгое молчание, которое наконец нарушило звяканье металла — это Гилдер разомкнул наручники, сковывавшие Патрика Ройса, и заметил:

— Думается мне, сэр, вам следовало сразу сказать правду. Вы и эта юная особа заслуживаете большего, чем упоминание в некрологе Армстронга.

— Плевать мне на этот некролог! — грубо крикнул Ройс. — Разве вы не понимаете — я молчал, чтобы скрыть от нее!

— Что скрыть? — спросил Мертон.

— Да то, что она убила своего отца, болван вы этакий! — рывкнул Ройс. — Ведь когда б не она, он

был бы сейчас жив. Если она узнает, то сойдет с ума от горя.

— Право, не думаю,— заметил отец Браун, берясь за шляпу.— Пожалуй, я лучше скажу ей сам. Даже роковые ошибки не отравляют жизнь так, как грехи. И, во всяком случае, мне кажется, впредь вы будете гораздо счастливее. А я сейчас должен вернуться в «Школу для глухих».

Когда он вышел на лужайку, где трава колыбалась от ветра, его окликнул какой-то знакомый из Хайгейта:

— Только что приехал следователь. Сейчас начнется дознание.

— Я должен вернуться в «Школу»,— сказал отец Браун.— К сожалению, мне недосуг, и я не могу присутствовать при дознании.

Из сборника
«МУДРОСТЬ ОТЦА БРАУНА»





ЧЕЛОВЕК В ПРОУЛКЕ

Вузкий проулок, идущий вдоль театра «Аполлон» в районе Адельфи, одновременно вступили два человека. Предвечерние улицы щедро заливал мягкий невесомый свет заходящего солнца. Проулок был довольно длинный и темный, и в противоположном конце каждый различал лишь темный силуэт другого. Но и по этому черному контуру они сразу друг друга узнали, ибо наружность у обоих была весьма приметная и притом они люто ненавидели друг друга.

Узкий проулок соединял одну из крутых улиц Адельфи с бульваром над рекой, отражающей все краски закатного неба. Одну сторону проулка образовала глухая стена — в доме этом помещался старый захудалый ресторан при театре, в этот час закрытый. По другую сторону в проулок в разных его концах выходили две двери. Ни та, ни другая не были обычным служебным входом в театр, то были особые двери, для избранных исполнителей, и теперь ими пользовались актер и актриса, игравшие главные роли в шекспировском спектакле. Такие персоны любят, когда у них есть свой отдельный вход и выход, — чтобы принимать или избегать друзей.

Двое мужчин, о которых идет речь, несомненно, были из числа таких друзей, дверь в начале проулка была им хорошо знакома, и оба рассчитывали, что она не заперта, ибо подошли к ней каждый со своей стороны равно спокойные и уверенные. Однако тот, что шел с дальнего конца проулка, шагал быстрее, и заветной двери оба достигли в один и тот же миг. Они обменялись учтивым поклоном, чуть помедлили, и наконец тот, кто шел быстрее и, видно, вообще отличался менее терпеливым нравом, постучал.

В этом, и во всем прочем тоже, они были полной противоположностью друг другу, но ни об одном нельзя было сказать, что он в чем-либо уступает другому. Если говорить об их личных достоинствах, оба были хороши собой, отнюдь не бездарны и пользовались известностью. Если говорить об их положении в обществе, оба находились на высшей его ступени. Но все в них от славы и до наружности было несравнимо и несхоже.

Сэр Уилсон Сеймор принадлежал к числу тех важных лиц, чей вес в обществе прекрасно известен всем посвященным. Чем глубже вы проникаете в круг адвокатов, врачей, а также тех, кто вершит дела государственной важности, и людей любой свободной профессии, тем чаще встречаете сэра Уилсона Сеймора. Он единственный толковый человек во множестве бестолковых комиссий, которые разрабатывают самые разнообразные проекты — от преобразования Королевской академии наук до введения биметаллизма для вящего процветания процветающей Британии. Во всем же, что касалось искусства, могущество его не знало границ. Его положение было столь исключительно, что никто не мог понять, то ли он именитый аристократ, который покровительствует искусству, то ли именитый художник, которому покровительствуют аристократы. Но стоило поговорить с ним пять минут, и вы понимали, что, в сущности, он повелевал вами всю вашу жизнь.

Наружность у него тоже была выдающаяся, — словно бы и обычная и все же исключительная. К его шелковому цилиндру не мог бы придраться и самый строгий знаток моды, и, однако, цилиндр этот был не такой, как у всех, — быть может, чуть повыше, и еще немного прибавлял ему роста. Высокий и стройный, он слегка сутулился, и, однако, вовсе не казался хилым, — совсем напротив. Серебристо-седые волосы отнюдь не делали его стариком, он носил их несколько длиннее, чем принято, но оттого не казался женственным, они были волнистые, но не казались завитыми. Подчеркнуто остроконечная бородка прибавляла его облику мужественности, совсем как адмиралам на сумрачных портретах кисти Веласкеса, которыми увешан был его дом. Его серые перчатки чуть больше отдавали голубизной, а трость с серебряным на-

балдашником была чуть длиннее десятков подобных тростей, которыми помахивали и щеголяли в театрах и ресторанах.

Второй мужчина был не так высок, однако никто не назвал бы его малорослым, зато всякий бы заметил, что он крепкого сложения и хорош собой. Волосы и у него были вьющиеся, но светлые, коротко стриженные; а голова крепкая, массивная — такой в самый раз прошибать дверь, как сказал Чосер про свсего мельника. Военного образца усы и разворот плеч выдавали в нем солдата, хотя такой открытый пронзительный взгляд голубых глаз скорее присущ морякам. Лицо у него было почти квадратное, и подбородок квадратный, и плечи квадратные, даже сюртук и тот квадратный. И, уж разумеется, сумасбродная школа карикатуристов той поры не упустила случая, — и мистер Макс Бирбом изобразил его в виде геометрической фигуры из четвертой книги Евклида.

Ибо он тоже был заметной личностью, хотя успех его был совсем иного рода. Чтобы прослышать про капитана Катлера, про осаду Гонконга и знаменитый китайский поход, вовсе не требовалось принадлежать к высшему свету. О нем говорили все и всюду, портрет его печатался на почтовых открытках, картами и схемами его сражений пестрили иллюстрированные журналы, песни, сложенные в его честь, исполнялись чуть не в каждой программе мюзик-холла и чуть не на каждой шарманке. Слава его, быть может, не столь долговечная, как у сэра Уилсона, была куда шире, общедоступней и безыскусственней. В тысячах английских семей его ставили столь же высоко, как Нельсона. И, однако, сэр Уилсон Сеймор был неизмеримо влиятельней.

Дверь им отворил старый слуга или костюмер, его болезненная внешность и темный поношенный сюртук и брюки странно не вязались со сверкающим убранством театральной уборной великой актрисы. Помещение это было сплошь увешано и уставлено множеством зеркал под самыми разными углами, можно было принять их за несчетные грани одного огромного бриллианта — если б только кто-то сумел забраться в самую его середину. И когда слуга, шаркая по комнате, откидывал створку или плотней

прислонял к стене то одно зеркало, то другое, прочие признаки роскоши, разбросанные там и сям, — цветы, разноцветные подушки, театральные костюмы — бесконечно множились, точно в сказке, непрестанно плясали и менялись местами, так что голова шла кругом.

Оба гостя заговорили с неказисто одетым слугой, как со старым знакомым, называя его Паркинсоном, и осведомились о его госпоже, мисс Авроре Роум. Паркинсон сказал, что она в другой комнате, но он тотчас ей доложит. По лицу обоих посетителей прошла тень — ведь вторая комната принадлежала знаменитому артисту, партнеру мисс Авроры, а она была из тех женщин, которыми нельзя пылко восхищаться, не пылая при этом ревностью. Однако внутренняя дверь тотчас распахнулась, и мисс Аврора появилась, как появлялась всегда, не только на сцене, но и в жизни: сама тишина, казалось, загремела аплодисментами, притом вполне заслуженными. Причудливое шелковое одеяние цвета павлиньего пера мерцало переливами синего и зеленого — цветами, какие всегда так восхищают детей и эстетов, а ее тяжелые ярко-каштановые волосы обрамляли одно из тех волшебных лиц, что опасны для всех мужчин, особенно же — для юных и стареющих. Вместе со своим партнером, знаменитым американским актером Изидором Бруно, она создала необычайно поэтичную и фантастичную трактовку «Сна в летнюю ночь», оттенила значительность Оберона и Титании, иными словами, Бруно и свою. Среди изысканных призрачных декораций, в таинственных танцах ее зеленый костюм, напоминающий полированное крыльцо стрекозы, превосходно передавал непостижимую ускользающую сущность королевы эльфов. Однако, столкнувшись с ней при свете дня, даже и угасающего, любой мужчина уже не видел ничего, кроме ее лица.

Она одарила обоих своей лучезарной загадочной улыбкой, что держала столь многих мужчин на одном и том же весьма опасном расстоянии от нее. Она приняла от Катлера цветы, тропические и дорогие, как его победы, и совсем иное подношение от сэра Уилсона Сеймора, врученное позднее и небрежней. Воспитание не позволяло ему выказывать

излишнее рвение, а условная чуждость условностям не позволяла делать подарки столь банальные, как цветы.

Ему попала одна безделица, сказал он, старинная вещица: греческий кинжал эпохи Крито-Микенской культуры, его вполне могли носить во времена Тезея и Ипполита. Как все оружие тех легендарных героев, он медный, но, представьте, еще достаточно остер и может пронзить кого угодно. Кинжал привлек его своей формой — он напоминает лист и прекрасен, как греческая ваза. Если эта игрушка понравится мисс Роум или как-то пригодится для пьесы, он надеется, что она...

Тут распахнулась дверь в соседнюю комнату, и на пороге возник высокий человек, еще большая противоположность увлекшемуся объяснениями Сеймору, чем даже капитан Катлер. Шести с половиной футов ростом, могучий, сплошь выставленные напоказ мышцы, в великолепной леопардовой шкуре и золотисто-коричневом одеянии Оберона, Изидор Бруно казался поистине языческим богом. Он оперся о подобие охотничьего копья — со сцены оно казалось легким серебристым жезлом, а в маленькой, набитой людьми комнате производило впечатление настоящего и понастоящему грозного оружия. Живые черные глаза Бруно неистово сверкали, а красивое бронзово-смуглое лицо с выступающими скулами и ослепительно белыми зубами приводило на память высказывавшиеся в Америке догадки, будто он родом с плантации Юга.

— Аврора, — начал он глубоким и звучным, как бой барабана, исполненным страсти голосом, который столько раз потрясал театральный зал, — вы не могли бы...

Тут он в нерешительности замолк, ибо в дверях вдруг появился еще один человек, фигура до того здесь неуместная, что впору было рассмеяться. Коротышка, в черной сутане католического священника, он казался (особенно рядом с Бруно и Авророй) грубо вырезанным из дерева Ноем с игрушечного ковчега. Впрочем, сам он, видно, не ощутил всю несообразность своего появления здесь и с нудной учтивостью произнес:

— Мисс Роум как будто хотела меня видеть.

Проницательный наблюдатель заметил бы, что от этого бесстрастного вторжения страсти только еще больше накалились. Отрешенность священника, связанного обетом безбрачия, вдруг открыла остальным, что они обступили Аврору кольцом влюбленных соперников; так, когда входит человек в заиндевелом пальто, все замечают, что в комнате можно задохнуться от жары. Стоило появиться священнику, который не питал к мисс Роум никаких чувств, и она еще острее ощутила, что все остальные в нее влюблены, причем каждый на свой опасный лад: актер — с жадностью дикаря и избалованного ребенка; солдат — с откровенным эгоизмом натуры, привыкшей не столько размышлять, сколько действовать; сэр Уилсон — с той день ото дня растущей поглощенностью, с какой гедонисты предаются своему любимому увлечению; и даже это ничтожество Паркинсон, который знал ее еще до того, как она прослывилась, — даже он следил за ней собачьим обожающим взглядом или следовал по пятам.

Проницательный наблюдатель заметил бы и нечто еще более странное. И человек, похожий на черного деревянного Ноя (а он не лишен был проницательности), заметил это с изрядным, но сдержанным удовольствием. Прекрасная Аврора, которой отнюдь не безразлично было почитание другой половины рода человеческого, явно желала отделаться от всех своих почитателей и остаться наедине с тем, кто не был ее почитателем, во всяком случае, почитателем в том смысле, как все прочие; ибо маленький священник на свой лад, безусловно, почитал ее и даже восхищался той решительной, чисто женской ловкостью, с какой она приступила к делу. Лишь в одном, пожалуй, Аврора действительно знала толк — в другой половине рода человеческого. Как за наполеоновской кампанией, следил маленький священник за тем, с какой стремительной безошибочностью она избавилась от всех, никого при этом не выгнав. Знаменитый актер Бруно был так ребячлив, что ей ничего не стоило его разобидеть, и он ушел, хлопнув дверью. Катлер, британский офицер, был толстокож и не слишком сообразителен, но в поведении безупречен. Он не воспринял бы никаких намеков, но скорей бы умер, чем не исполнил поручение дамы. Что же до самого Сеймора, с ним следовало обращаться иначе, его следовало

отослать после всех. Подействовать на него можно было только одним способом: обратиться к нему доверительно, как к старому другу, посвятить его в суть дела. Священник и вправду был восхищен тем, как искусно, одним ловким маневром мисс Роум выпровадила всех троих.

Она подошла к капитану Катлеру и премоило с ним заговорила:

— Мне дороги эти цветы, ведь они, наверно, ваши любимые. Но знаете, букет не полон, пока в нем нет и моих любимых цветов. Прошу вас, пойдите в магазин за углом и принесите ландышей, вот тогда будет совсем прелестно.

Первая цель ее дипломатии была достигнута — взбешенный Бруно сейчас же удалился. Он успел уже величественно, точно скипетр, вручить свое копьё жалкому Паркинсону и как раз собирался расположиться в кресле, точно на троне. Но при столь явном предпочтении, отданном сопернику, в непроницаемых глазах его вспыхнуло высокомерие скорого на обиду раба, огромные смуглые кулаки сжались, он кинулся к двери, распахнул ее и скрылся в своих апартаментах. А меж тем привести в движение британскую армию оказалось не так просто, как представлялось мисс Авроре. Катлер, разумеется, тотчас решительно поднялся и, как был, с непокрытой головой, словно по команде, зашагал к двери. Но что-то, быть может, какое-то нарочитое изящество в позе Сеймора, который лениво прислонился к одному из зеркал, вдруг остановило Катлера уже на пороге, и он, точно озадаченный бульдог, беспокойно завертел головой.

— Надо показать этому тупице, куда идти, — шепнула Аврора Сеймору и поспешила к двери — поторопить уходящего гостя.

Не меняя изящной и словно бы непринужденной позы, Сеймор, казалось, прислушивался; вот Аврора крикнула вслед Катлеру последние наставления, потом круто обернулась и, смеясь, побежала в другой конец проулка, выходящий к улице над Темзой, — Сеймор вздохнул с облегчением, но уже в следующее мгновение лицо его снова омрачилось. Ведь у него столько соперников, а дверь в том конце проулка ведет в комнату Бруно. Не теряя чувства собственного достоинства, Сеймор сказал несколько вежливых слов

отцу Брауну — о возрождении византийской архитектуры в Вестминстерском соборе, и как ни в чем не бывало направился в дальний конец проулка. Теперь в комнате оставались только отец Браун и Паркинсон, и ни тот, ни другой не склонны были заводить пустые разговоры. Костюмер ходил по комнате, придвигал и вновь отодвигал зеркала, и его темный поношенный скюртук и брюки казались еще невзрачней оттого, что в руках у него было волшебное копьё царя Оберона. Всякий раз, как он поворачивал еще одно зеркало, возникала еще одна фигура отца Брауна; в этой нелепой зеркальной комнате полным-полно было отцов Браунов — они парили в воздухе, точно ангелы, кувыркались, точно акробаты, поворачивались друг к другу спиной, точно отъявленные невежи.

Отец Браун, казалось, совсем не замечал этого нашествия свидетелей, словно от нечего делать внимательным взглядом следовал он за Паркинсоном, пока тот не скрылся вместе со своим несуразным копьём в комнате Бруно. Тогда он предался отвлеченным размышлениям, которые всегда доставляли ему удовольствие, — стал вычислять угол наклона зеркала, угол каждого отражения, угол, под каким каждое зеркало примыкает к стене... и вдруг услышал громкий, тут же подавленный вскрик.

Он вскочил и замер, вслушиваясь. В тот же миг в комнату ворвался белый как полотно сэр Уилсон Сеймор.

— Кто там в проулке? — крикнул он. — Где мой кинжал?

Отец Браун еще и повернуться не успел в своих тяжелых башмаках, а Сеймор уже метался по комнате в поисках кинжала. И не успел он найти кинжал или иное оружие, как по тротуару за дверью затопали бегущие ноги и в дверях появилось квадратное лицо Катлера. Рука его нелепо сжимала букет ландышей.

— Что это? — крикнул он. — Что за тварь там в проулке? Опять ваши фокусы?

— Мои фокусы! — прошипел его бледный соперник и шагнул к нему.

А меж тем отец Браун вышел в проулок, посмотрел в другой его конец и поспешно туда зашагал.

Двое других тотчас прекратили перепалку и устремились за ним, причем Катлер крикнул:

— Что вы делаете? Кто вы такой?

— Моя фамилия Браун, — печально ответил священник, потом склонился над чем-то и сразу выпрямился. — Мисс Роум посылала за мной, я спешил, как мог. И опоздал.

Трое мужчин смотрели вниз, и в предвечернем свете, по крайней мере для одного из них, жизнь кончилась. Свет золотой дорожкой протянулся по проулку, и посреди этой дорожки лежала Аврора Роум, блестящий зеленый наряд ее отливал золотом, и мертвое лицо было обращено вверх.

Платье разодрано, словно в борьбе, и правое плечо обнажено, но рана, из которой лила кровь, была с другой стороны. Медный, чуть поблескивающий кинжал валялся примерно в ярде от убитой.

На какое-то время воцарилась тишина, слышно было, как поодаль, за Черринг-кросс, смеялась цветочница и на одной из улиц, выходящих на Стренд, кто-то нетерпеливо свистел, подзывая такси. И вдруг капитан то ли в порыве ярости, то ли прикидываясь разъяренным схватил за горло Уилсона Сеймора.

Сеймор не испугался, не пробовал освободиться, только посмотрел на него в упор.

— Вам нет нужды меня убивать, — невозмутимо сказал он. — Я сам это сделаю.

Рука, стиснувшая его горло, разжалась и опустилась, а Сеймор прибавил с той же ледяной откровенностью:

— Если у меня не достанет духу заколоться этим кинжалом, я за месяц доконаю себя вином.

— Ну нет, вина мне недостаточно, — сказал Катлер. — Прежде чем я умру, кто-то заплатит за ее гибель кровью. Не вы... но, сдается мне, я знаю кто.

И не успели еще они понять, что у него на уме, как он схватил кинжал, подскочил ко второй двери, вышиб ее, влетел в уборную Бруно и оказался с ним лицом к лицу. И в эту минуту из комнаты вышел своей ковыляющей неверной походкой старик Паркинсон. Увидев труп, он, пошатываясь, подошел ближе, лицо у него задергалось, он снова заковылял, пошатываясь, в комнату Бруно и вдруг опустился на подушки одного из мягких кресел. Отец Браун подбежал к нему, не обращая внимания на Катлера и великана-актера, которые уже боролись, ста-

раясь схватить кинжал, и в комнате гулко отдавались удары их кулаков. Сеймор, сохранивший долю здравого смысла, стоял в конце проулка и свистел, призывая полицию.

Когда полицейские прибыли, им пришлось разнять двух мужчин, вцепившихся друг в друга, точно обезьяны; после нескольких заданных по форме вопросов они арестовали Изидора Бруно, которого разъяренный противник обвинил в убийстве. Сама мысль, что преступившего закон задержал собственными руками национальный герой, была, без сомнения, убедительна для полиции, ибо полицейские в чем-то сродни журналистам. Они обращались к Катлеру с почтительной серьезностью и отметили, что на руке у него небольшая рана. Когда Катлер тащил к себе Бруно через опрокинутый стол и стул, актер ухитрился выхватить у него кинжал и ударил пониже запястья. Рана была, в сущности, пустяковая, но пока озверевшего пленника не вывели из комнаты, он смотрел на струящуюся кровь и с губ его не сходила улыбка.

— Вот уж злодей так злодей, а? — доверительно заметил констебль Катлеру.

Катлер не ответил, но немного погодя резко сказал:

— Надо позаботиться... об умершей. — Голос его прервался, последнее слово он выговорил беззвучно.

— О двух умерших, — отозвался из дальнего угла комнаты священник. — Этот бедняга был уже мертв, когда я к нему подошел.

Отец Браун стоял и смотрел на старика Паркинсона, черным бесформенным комом осевшего в роскошном кресле. Он тоже отдал свою дань умершей, и сделал это достаточно красноречиво.

Первым нарушил молчание Катлер, и в голосе его слышалась грубоватая нежность.

— Завидую ему, — хрипло сказал он. — Помню, он всегда следил за ней взглядом... Он дышал ею — и остался без воздуха. Вот и умер.

— Мы все умерли, — странным голосом сказал Сеймор, глядя на улицу.

На углу они простились с отцом Брауном, небрежно извинившись за грубость, которой он был свидетелем. Лица у обоих были трагические и загадочные.

Мозг маленького священника всегда напоминал кроличий садок: самые дикие, неожиданные мысли мелькали так быстро, что он не успевал их ухватить. Будто ускользящий белый хвост кролика, метнулась мысль, что горе их несомненно, а вот невиновность куда сомнительней.

— Лучше нам всем уйти,— с трудом произнес Сеймор,— мы, как могли, постарались помочь.

— Поймете ли вы меня,— негромко спросил отец Браун,— если я скажу, что вы, как могли, постарались повредить?

Оба вздрогнули, словно от укола нечистой совести, и Катлер резко спросил:

— Повредить? Кому?

— Самим себе,— ответил священник,— я бы не стал усугублять ваше горе, но не предупредить вас было бы просто несправедливо. Если этот актер будет оправдан, вы сделали все, чтобы угодить на виселицу. Меня вызовут в качестве свидетеля, и мне придется сказать, что, когда раздался крик, вы оба как безумные кинулись в комнату актрисы и заспорили из-за кинжала. Если основываться на моих показаниях, убить ее мог любой из вас. Вы навредили себе, а капитан Катлер к тому же повредил себе руку кинжалом.

— Повредил себе руку! — с презрением воскликнул капитан Катлер.— Да это ж просто царапина.

— Но из нее шла кровь,— кивнув, возразил священник.— На кинжале сейчас следы крови, это мы знаем. Зато нам уже никогда не узнать, была ли на нем кровь до этого.

Все молчали, потом Сеймор сказал взволнованно, совсем не так, как говорил обычно:

— Но я видел в проулке какого-то человека.

— Знаю,— с непроницаемым лицом сказал отец Браун.— И капитан Катлер тоже его видел. Это-то и кажется неправдоподобным.

И, еще прежде чем они взяли в толк его слова и сумели хоть что-то возразить, он вежливо извинился, подобрал свой неуклюжий старый зонт и, тяжело ступая, побрел прочь.

В нынешних газетах все поставлено так, что самые важные и достоверные сообщения исходят от по-

лиции. Если в двадцатом веке убийству и вправду уделяется больше места, чем политике, на то есть веские основания: убийство предмет куда более серьезный. Но даже этим едва ли можно объяснить широчайшую известность, какую приобрело «Дело Бруно», или «Загадочное убийство в проулке», и его подробнейшее освещение в лондонской и провинциальной прессе. Волнение охватило всю страну, и потому несколько недель газеты писали чистую правду, а отчеты о допросах и перекрестных допросах, хоть и чудовищно длинные, порой просто невозможные, во всяком случае заслуживали доверия. Объяснялось же все, разумеется, тем, какие имена замешаны были в этом деле. Жертва — популярная актриса, обвиняемый — популярный актер, и обвиняемого, что называется, схватил на месте преступления самый популярный воин этой патриотической эпохи. При столь чрезвычайных обстоятельствах прессе приходилось быть честной и точной; вот почему все остальное, что касается этой единственной в своем роде истории, можно поведать по официальным отчетам о процессе Бруно.

Суд шел под председательством судьи Монкхауза, одного из тех, над кем потешаются, считая их легковесными, но кто на самом деле куда серьезней серьезных судей, ибо легкость их рождена неугасимой нетерпимостью к присущей судейскому клану мрачной торжественности; серьезный же судья, по существу, легкомыслен, ибо исполнен тщеславия. Поскольку главные действующие лица пользовались широкой известностью, обвинителя и защитника выбрали особенно тщательно. Обвинителем выступал сэр Уолтер Каудрей, мрачный, но уважаемый страж закона, из тех, кто умеет производить впечатление истого англичанина и при том внушать совершенное доверие и не слишком увлекаться красноречием. Защищал подсудимого мистер Патрик Батлер, королевский адвокат, — те, кто не понимает, что такое ирландский характер, и те, кого он ни разу не допрашивал, ошибочно принимали его за *flaneur*¹. Медицинское заключение не содержало никаких противоречий: доктор, которого вызвал Сеймор, чтобы осмотреть уби-

¹ Бездельник (*франц.*).

тую на месте преступления, был согласен со знаменитым хирургом, который осмотрел тело позднее. Аврору Роум ударили каким-то острым предметом, вероятно, ножом или кинжалом, во всяком случае, каким-то орудием с коротким клинком. Удар пришелся в самое сердце, и умерла жертва мгновенно. Когда доктор впервые увидел ее, она была мертва не больше двадцати минут. А значит, отец Браун подошел к ней минуты через три после ее смерти.

Затем оглашено было заключение официального следствия; оно касалось главным образом того, предшествовала ли убийству борьба; единственный признак борьбы — разорванное на плече платье, но разорвано оно было не в соответствии с направлением и силой удара. После того как все эти подробности были сообщены, но не объяснены, вызвали первого важного свидетеля.

Сэр Уилсон Сеймор давал показания, как он делал все, если уж делал, не просто хорошо, но превосходно. Сам куда более видный деятель, нежели королевский судья, он, однако, держался с наиболее уместной здесь долей скромности; и хотя все глазели на него, будто на премьер-министра либо на архиепископа Кентерберийского, он вел себя как частное лицо, только вот имя у него было громкое. К тому же говорил он на редкость ясно и понятно, как говорил во всех комиссиях, в которых он заседал. Он шел в театр навестить мисс Роум; встретил у нее капитана Катлера; к ним ненадолго присоединился обвиняемый, который потом вернулся в свою уборную; кроме того, к ним присоединился католический священник, назвавшийся Брауном. Потом мисс Роум вышла из своей уборной в проулк, чтобы показать капитану Катлеру, где находится цветочный магазин, — он должен был купить ей еще цветов; сам же свидетель оставался в комнате и перемолвился несколькими словами со священником. Затем он отчетливо услышал, как покойная, отослав капитана Катлера, повернулась и, смеясь, побежала в другой конец проулка, куда выходит уборная обвиняемого. Из праздного любопытства к столь стремительным движениям своих друзей свидетель тоже отправился в тот конец проулка и посмотрел в сторону двери обвиняемого. Увидел ли он что-нибудь в проулке? Да, увидел.

Сэр Уолтер Каудрей позволил себе внушительную паузу, а свидетель меж тем стоял, опустив глаза, и, несмотря на присущее ему самообладание, казался бледней обычного. Наконец обвинитель спросил совсем негромко голосом, и сочувственным и бросающим в дрожь:

— Вы видели это отчетливо?

Как ни был сэр Уилсон Сеймор взволнован, его великолепный мозг работал безупречно.

— Что касается очертаний — весьма отчетливо, все же остальное нет, совсем нет. Проулок такой длинный, что на светлом фоне противоположного выхода всякий, кто стоит посредине, кажется просто черным силуэтом. — Свидетель, только что твердо смотревший в лицо обвинителя, вновь опустил глаза и прибавил: — Это я заметил еще прежде, когда в проулке впервые появился капитан Катлер.

Опять наступило короткое молчание, судья подался вперед и что-то записал.

— Итак, — настойчиво продолжал сэр Уолтер, — что же это был за силуэт? Не был ли он похож, скажем, на фигуру убитой?

— Ни в коей мере, — спокойно ответил Сеймор.

— Каков же он был?

— Он был похож на высокого мужчину.

Сидящие в зале суда уставились кто на ручку кресла, кто на зонтик, кто на книгу, кто на башмаки — одним словом, кто куда. Казалось, они поставили себе целью не глядеть на обвиняемого; но все ощущали его присутствие на скамье подсудимых, и всем он казался великаном. Огромный рост Бруно сразу бросался в глаза, но стоило глаза отвести, и он словно бы становился с каждым мгновением все огромней.

Каудрей, мрачно торжественный, расправил свою черную шелковую мантию и белые шелковистые бакенбарды и сел. Сэр Уилсон ответил еще на несколько вопросов касательно кое-каких подробностей, известных и другим свидетелям, и уже покидал место свидетеля, но тут вскочил защитник и остановил его.

— Я задержу вас всего на минуту, — сказал мистер Батлер; с виду он казался деревенщиной, брови рыжие, лицо какое-то сонное. — Не скажете

ли вы его чести, откуда вы знаете, что это был мужчина?

По лицу Сеймора скользнула тень утонченной улыбки.

— Прошу прощения, дело решила столь вульгарная подробность, как брюки,— сказал он.— Когда я увидел просвет меж длинных ног, я в конце концов понял, что это мужчина.

Сонные глаза Батлера вдруг раскрылись — это было подобно беззвучному взрыву.

— В конце концов! — медленно повторил он.— Значит, поначалу вы все-таки думали, что это женщина?

Впервые Сеймору изменило спокойствие.

— Это вряд ли имеет отношение к делу, но, если его честь пожелает, чтобы я сказал о своем впечатлении, я, разумеется, скажу,— ответил он.— Этот силуэт был не то чтобы женский, но словно бы и не мужской — какие-то не те изгибы. И у него было что-то вроде длинных волос.

— Благодарю вас,— сказал королевский адвокат Батлер и неожиданно сел, как будто услышал именно то, что хотел.

Капитан Катлер в качестве свидетеля владел собой куда хуже и внушал куда меньше доверия, чем сэр Уилсон, но его показания о том, что происходило вначале, полностью совпадали с показаниями Сеймора. Капитан рассказал, как Бруно ушел к себе, а его самого послали за ландышами, как, возвращаясь в проулок, он увидел, что там кто-то есть, и заподозрил Сеймору, и, наконец, о схватке с Бруно. Но он не умел выразительно описать черную фигуру, которую видел и он и Сеймор. На вопрос о том, каков же был загадочный силуэт, он ответил, что он не знаток по части искусства, и в ответе прорвалась, пожалуй, чересчур откровенная насмешка над Сеймором. На вопрос — мужчина то был или женщина, он ответил, что больше всего это походило на зверя, и в ответе его была откровенная злоба на обвиняемого. Но при этом он был явно вне себя от горя и непритворного гнева, и Каудрей не задерживал его, не заставил подтвердить и без того ясные факты.

Защитник тоже, как и в случае с Сеймором, не стал затягивать перекрестный допрос, хотя каза-

лось,— такая уж у него была манера,— что он отнюдь не спешит.

— Вы престранно выразились,— сказал он, сонно глядя на Катлера.— Что вы имели в виду, когда говорили, что тот неизвестный больше походил не на женщину и не на мужчину, а на зверя?

Катлер, казалось, всерьез разволновался.

— Наверно, я зря так сказал,— отвечал он,— но у этого скота могучие сгорбленные плечи, как у шимпанзе, а на голове — щетина торчком, как у свиньи...

Мистер Батлер прервал на полуслове эту странно раздраженную речь.

— Свинья тут ни при чем, а скажите лучше, может, это было похоже на волосы женщины?

— Женщины! — воскликнул капитан.— Да ничуть не похоже!

— Предыдущий свидетель сказал, похоже,— быстро подхватил защитник, беззастенчиво сбросив маску сонного тугодума.— А в очертаниях фигуры были женственные изгибы, на что нам тут красноречиво намекали. Нет? Никаких женственных изгибов? Если я вас правильно понял, фигура была скорее плотная и коренастая?

— Может, он шел пригнувшись,— осипшим голосом едва слышно произнес капитан.

— А может, и нет,— сказал мистер Батлер и сел так же внезапно, как и в первый раз.

Третьим свидетелем, которого вызвал сэр Уолтер Каудрей, был маленький католический священник, по сравнению с остальными уж такой маленький, что голова его еле виднелась над барьером, и казалось, будто перекрестному допросу подвергают малого ребенка. Но, на беду, сэр Уолтер отчего-то вообразил (виной тому, возможно, была вера, которой придерживалась его семья), будто отец Браун на стороне обвиняемого,— ведь обвиняемый нечестивец, чужак, да к тому же в нем есть негритянская кровь. И он резко обрывал отца Брауна всякий раз, как этот заносчивый посланец папы римского пытался что-то объяснить; велел ему отвечать только «да» и «нет» и излагать одни лишь факты безо всякого иезуитства. Когда отец Браун в простоте душевной стал объяснять, кто, по его мнению, был человек в проулке, обви-

нитель заявил, что не желает слушать его домыслы.

— В проулке видели темный силуэт. И вы говорите, вы тоже видели темный силуэт. Так каков же он был?

Отец Браун мигнул, словно получил выговор, но он давно и хорошо знал, что значит послушание.

— Силуэт был низенький и плотный,— сказал он,— но по обе стороны головы или на макушке были два острых черных возвышения, вроде как рога, и...

— А, понятно, дьявол рогатый! — с веселым торжеством воскликнул Каудрей и сел.— Сам дьявол пожаловал, дабы пожрать протестантов.

— Нет,— бесстрастно возразил священник,— я знаю, кто это был.

Всех присутствующих охватило необъяснимое, но явственное предчувствие чего-то чудовищного. Они уже забыли о подсудимом и помнили только о том, кого видели в проулке. А тот, в проулке, описанный тремя толковыми и уважаемыми очевидцами, словно вышел из страшного сна: один увидал в нем женщину, другой — зверя, а третий—дьявола...

Судья смотрел на отца Брауна хладнокровным пронизывающим взглядом.

— Вы престранный свидетель,— сказал он,— но есть в вас что-то вынуждающее меня поверить, что вы стараетесь говорить правду. Так кто же был тот человек, которого вы видели в проулке?

— Это был я,— отвечал отец Браун.

В необычайной тишине королевский адвокат Батлер вскочил и совершенно спокойно сказал:

— Ваша честь, позвольте допросить свидетеля.— И тут же выстрелил в Брауна вопросом, который словно бы не шел к делу: — Вы уже слышали, здесь говорилось о кинжале; эксперты считают, что преступление совершено с помощью короткого клинка, вам это известно?

— Короткий клинок,— подтвердил Браун и кивнул с мрачной важностью, точно филин,— но очень длинная рукоятка.

Еще прежде, чем зал полностью отказался от мысли, что священник своими глазами видел, как сам же вонзает в жертву короткий клинок с длинной ру-

копья (отчего убийство казалось еще чудовищней), он поспешил объясниться.

— Я хочу сказать, короткие клинки бывают не только у кинжалов. У копья тоже короткий клинок. И копьё поражает точно так же, как кинжал, если оно из этих причудливых театральных копий; вот таким копьём бедняга Паркинсон и убил свою жену — как раз в тот день, когда она послала за мной, чтобы я уладил их семейные неурядицы, — а я пришел слишком поздно, да простит меня господь. Но, умирая, он раскался, раскаяние и повлекло за собою смерть: Он не вынес того, что совершил.

Всем в зале казалось, что маленький священник, который стоял на свидетельском месте и нес совершенную околесицу, просто сошел с ума. Но судья по-прежнему смотрел на него в упор с живейшим интересом, а защитник невозмутимо задавал вопросы.

— Если Паркинсон убил ее этим театральным копьём, он должен был бросить его с расстояния в четыре ярда, — сказал Батлер. — Как же тогда вы объясните следы борьбы — разорванное на плече платье? — Защитник невольно стал обращаться к свидетелю как к эксперту, но никто этого уже не замечал.

— Платье несчастной женщины было порвано потому, что его защемило створкой, когда она пробежала мимо, — сказал свидетель. — Она пыталась высвободить платье, и тут Паркинсон вышел из комнаты обвиняемого и нанес ей удар.

— Створкой? — удивленно переспросил обвинитель.

— Это была створка двери, замаскированной зеркалом, — объяснил отец Браун. — Когда я был в уборной мисс Роум, я заметил, что некоторые из зеркал, очевидно, служат потайными дверьми и выходят в проулок.

Снова наступила долгая неправдоподобно глубокая тишина. И на этот раз ее нарушил судья.

— Значит, вы действительно полагаете, что когда смотрели в проулок, вы видели там самого себя — в зеркале?

— Да, милорд, именно это я и пытался объяснить, — ответил Браун. — Но меня спросили, каков был силуэт, а на наших шляпах углы похожи на рога, вот я и...

Судья подался вперед, его стариковские глаза заблестели еще ярче, и он сказал особенно отчетливо:

— Вы в самом деле полагаете, что когда сэр Уилсон Сеймор видел нечто несуразное, как бишь его, с изгибами, женскими волосами и в брюках, он видел сэра Уилсона Сеймора?

— Да, милорд, — отвечал отец Браун.

— И вы полагаете, что когда капитан Катлер видел сторбленного шимпанзе со свиной щетиной на голове, он просто видел самого себя?

— Да, милорд.

Судья, очень довольный, откинулся на спинку кресла, и трудно было понять, чего больше в его лице — насмешки или восхищения.

— А не скажете ли вы, почему вы сумели узнать себя в зеркале, тогда как два столь выдающихся человека этого не сумели? — спросил он.

Отец Браун заморгал еще растеряней, чем прежде.

— Право, не знаю, милорд, — с запинкой пробормотал он. — Разве только потому, что я не так часто гляжусь в зеркало.

ЛИЛОВЫЙ ПАРИК

Мистер Натт, усердный редактор газеты «Дейли реформер», сидел у себя за столом и под веселый треск пишущей машинки, на которой стучала энергичная барышня, вскрывал письма и правил гранки.

Мистер Натт работал без пиджака. Это был светловолосый мужчина, склонный к полноте, с решительными движениями, твердо очерченным ртом и не допускающим возражений тоном. Но в глазах его, круглых и синих, как у младенца, таилось выражение замешательства и даже тоски, что никак не вязалось с его деловым обликом. Выражение это, впрочем, было не вовсе обманчивым. Подобно большинству журналистов, облеченных властью, он и вправду жил под непрестанным гнетом одного чувства — страха. Он страшился обвинений в клевете, страшился потерять

клиентов, публикующих объявления в его газете, страшился пропустить опечатку, страшился получить расчет.

Жизнь его являла собой непрерывную цепь самых отчаянных компромиссов между выжившим из ума стариком мыловаром, которому принадлежала газета (а значит, и сам редактор), и теми талантливыми сотрудниками, которых он подобрал в свою редакцию; среди них были блестящие журналисты с большим опытом, которые к тому же (что было совсем неплохо) относились к политической линии газеты серьезно и искренне.

Письмо от одного из них лежало сейчас перед мистером Наттом, и он, несмотря на всю свою твердость и натиск, казалось, не решался вскрыть его. Вместо того он взял полосу гранок, пробежал ее своими синими глазами, синим карандашом заменил «прелюбодеяние» на «недостойное поведение», а слово «еврей» на «инородца», позвонил и спешно отправил гранки навверх.

Затем, с видом серьезным и сосредоточенным, он разорвал конверт с девонширской печатью и стал читать письмо одного из наиболее видных своих сотрудников.

«Дорогой Натт, — говорилось в письме. — Вы, как я вижу, равно интересуетесь привидениями и герцогами. Может, поместим статью об этой темной истории с Эрами из Эксмур, которую местные сплетницы называют «Чертовое Ухо Эров»? Глава семейства, как вам известно, — герцог Эксмур, один из тех настоящих старых аристократов и чопорных тори, которых уже немного осталось в наши дни. «Дейли реформер» всегда старалась не давать спуску этим нескгибаемым старым тиранам, и, кажется, я напал на след одной истории, которая хорошо нам послужит.

Разумеется, я не верю в старую легенду про Якова I; а что до Вас, то Вы вообще ни во что не верите, даже в газетное дело. Эта легенда, как Вы, вероятно, помните, связана с самым черным событием в английской истории — я имею в виду отравление Оуэрбери¹

¹ Оуэрбери Томас (1581—1613) — английский поэт и эссеист.

этим колдуном Фрэнсисом Говардом и тот таинственный ужас, который заставил короля помиловать убийц. В свое время считали, что тут не обошлось без колдовства; рассказывают, что один из слуг узнал правду, подслушав сквозь замочную скважину разговор между королем и Карром¹, и ухо его, приложенное к двери, вдруг чудом разросло, приняв чудовищную форму, — столь ужасна была подслушанная им тайна. Пришлось щедро наградить его землями и золотом, сделав родоначальником целой герцогской фамилии, однако Чертово Ухо нет-нет да и появится в этой семье. В черную магию Вы, конечно, не верите, да если б и верили, все равно не поместили бы ничего такого в Вашей газете. Свершись у Вас в редакции чудо, Вы бы и его постарались замолчать, ведь в наши дни и среди епископов немало агностиков. Впрочем, не в этом суть. Суть в том, что в семье Эксмуров и вправду дело нечисто; что-то, надо полагать, вполне естественное, хоть и из ряда вон выходящее. И думается мне, что какую-то роль во всем этом играет Ухо, — может быть, это символ или заблуждение, а может быть, заболевание или еще что-нибудь. Одно из преданий гласит, что после Якова I кавалеры из этого рода стали носить длинные волосы только для того, чтобы спрятать ухо первого лорда Эксмюра. Впрочем, это тоже, конечно, всего лишь вымысел.

Все это я сообщаю Вам вот почему: мне кажется, что мы совершаем ошибку, нападая на аристократов только за то, что они носят бриллианты и пьют шампанское. Людям они потому нередко и нравятся, что умеют наслаждаться жизнью. Я же считаю, что мы слишком многим поступаемся, соглашаясь, что принадлежность к аристократии делает хотя бы самих аристократов счастливыми. Я предлагаю Вам цикл статей, в которых будет показано, какой мрачный, бесчеловечный и прямо-таки дьявольский дух царит в некоторых из этих великих дворцов. За примерами дело не станет; для начала же лучшего, чем «Ухо Эксмуров», не придумаешь. К концу недели я Вам раскопаю всю правду про него.

Всегда Ваш Фрэнсис Финн».

¹ Карр Сомерсет Роберт (1590—1645) — шотландский политический деятель.

Мистер Натт подумал с минуту, уставившись на свой левый ботинок, а затем произнес громко, звучно и совершенно безжизненно, делая ударение на каждом слоге:

— Мисс Барлоу, отпечатайте письмо мистеру Финну, пожалуйста.

«Дорогой Финн, думаю, это пойдет. Рукопись должна быть у нас в субботу днем. Ваш Э. Натт».

Это изысканное послание он произнес одним духом, точно одно слово, а мисс Барлоу одним духом отстучала его на машинке, точно это и впрямь было одно слово. Затем он взял другую полосу гранок и синий карандаш и заменил слово «сверхъестественный» на «чудесный», а «расстреляны на месте» на «подавлены».

Такой приятной и полезной деятельностью мистер Натт занимался до самой субботы, которая застала его за тем же самым столом, диктующим той же самой машинистке и орудующим тем же самым карандашом над первой статьей из цикла задуманных Финном разоблачений. Вначале Финн обрушивался на аристократов и вельмож с их гнусными тайнами и духом безнадежности и отчаяния. Написано это было прекрасным стилем, хотя и в весьма сильных выражениях; однако редактор, как водится, поручил кому-то разбить текст на короткие отрывки с броскими подзаголовками — «Яд и герцогиня», «Ужасное Ухо», «Стервятники в своем гнезде», и прочее, и прочее, в том же духе на тысячу ладов. Затем следовала легенда об «Ухе», изложенная гораздо подробнее, чем в первом письме Финна, а затем уже содержание его последних открытий. Вот что он писал:

«Я знаю, что среди журналистов принято ставить конец рассказа в начало и превращать его в заголовок. Журналистика нередко в том-то и состоит, что сообщает «лорд Джонс скончался» людям, которые до того и не подозревали, что лорд Джонс когда-либо существовал. Ваш покорный слуга полагает, что этот, равно как и многие другие приемы журналистов не имеют ничего общего с настоящей журналистикой и что «Дейли реформер» должна показать в данном

случае достойный пример. Автор намерен излагать события так, как они в действительности происходили. Он назовет подлинные имена действующих лиц, многие из которых готовы подтвердить достоверность рассказа. Что же до громких выводов и эффектных обобщений, то о них Вы услышите в конце.

Я шел по проложенной для пешеходов дорожке через чей-то фруктовый сад в Девоншире, всем своим видом наводящий на мысли о девонширском сидре, и, как нарочно, дорожка и привела меня к длинной одноэтажной таверне, — зданий, собственно, там было три: небольшой низкий коттедж с прилегающими к нему двумя амбарами под одной соломенной кровлей, похожей на темные пряди волос с сединой, бог весть как попавшие сюда еще в доисторические времена. У дверей была укреплена вывеска с надписью: «Голубой дракон», а под вывеской стоял длинный деревенский стол, какие некогда можно было видеть у дверей каждой вольной английской таверны, до того как трезвенники вкупе с пивоварами погубили нашу свободу. За столом сидели три человека, которые могли бы жить добрую сотню лет назад.

Теперь, когда я познакомился с ними поближе, разобратся в моих впечатлениях не составляет труда, но в ту минуту эти люди показались мне тремя внезапно материализовавшимися призраками. Центральной фигурой в группе — как по величине, ибо он был крупнее других во всех трех измерениях, так и по месту, ибо он сидел в центре, лицом ко мне, — был высокий тучный мужчина, весь в черном, с румяным, пожалуй, даже апоплексическим лицом, высоким с залысынами лбом и озабоченно нахмуренными бровями. Вглядевшись в него попристальнее, я уж и сам не мог понять, что натолкнуло меня на мысль о старине, — разве только старинный край его белого пасторского воротника да глубокие морщины на лбу.

Ничуть не легче передать впечатление, которое производил человек, сидевший у правого края стола. По правде говоря, вид у него был самый заурядный, таких встречаешь повсюду, — круглая голова, темные волосы и круглый короткий нос; однако одет он был также в черное платье священника, правда, более строгого покроя. Только увидев его шляпу с

широкими загнутыми полями, лежавшую на столе возле него, я понял, почему его вид вызвал у меня в сознании представление о чем-то давнем: это был католический священник.

Пожалуй, главной причиной странного впечатления был третий человек, сидевший на противоположном конце стола, хотя он не выделялся ни ростом, ни обдуманностью костюма. Узкие серые брюки и рукава прикрывали (я бы мог даже сказать: стягивали) его тощие конечности. Лицо, продолговатое и бледное, с орлиным носом, казалось особенно мрачным оттого, что его впалые щеки подпирали старомодный воротник, повязанный шейным платком. А волосы, которым следовало быть темно-каштановыми, в действительности имели чрезвычайно странный тусклый багряный цвет, так что в сочетании с желтым лицом они выглядели даже не рыжими, а скорее лиловыми. Этот неяркий, но совершенно необычный оттенок тем более бросался в глаза, что волосы вились и отличались почти неестественной густотой и длиной. Однако, поразмыслив, я склонен предположить, что впечатление старины создавали высокие бокалы, да пара лимонов, лежащих на столе, и две длинные глиняные трубки. Впрочем, возможно, виной всему было то уходящее в прошлое дело, по которому я туда прибыл.

Таверна, насколько я мог судить, была открыта для посетителей, и я, как бывалый репортер, не долго думая, уселся за длинный стол и потребовал сидра. Тучный мужчина в черном оказался человеком весьма сведущим, особенно когда речь зашла о местных достопримечательностях, а маленький человек в черном, хотя и говорил значительно меньше, поразил меня еще большей образованностью. Мы разговорились; однако третий из них, старый джентльмен в узких брюках, держался надменно и отчужденно и не принимал участия в нашей беседе до тех пор, пока я не завел речь о герцоге Эксмуре и его предках.

Мне показалось, что оба моих собеседника были несколько смущены этой темой, зато третьего она сразу же заставила разговариваться. Тон у него был весьма сдержанный, а выговор такой, какой бывает только у джентльменов, получивших самое высокое образование. Попыхивая длинной трубкой, он принялся рассказывать мне разные истории, одна дру-

гой ужаснее, — как некогда один из Эксмуров повесил собственного отца, второй привязал свою жену к телеге и протащил через всю деревню, приказав стегать ее плетьюми, третий поджег церковь, где было много детей, и так далее, и так далее.

Некоторые из его рассказов — вроде происшествия с Алыми монахинями, или омерзительной истории с Пятнистой собакой, или истории о том, что произошло в каменоломне, — ни в коем случае не могут быть напечатаны. Однако он спокойно сидел, потягивая вино из высокого тонкого бокала, перечисляя все эти кровавые и кошунственные дела, и лицо его с тонкими аристократическими губами не выражало ничего, кроме чопорности.

Я заметил, что тучный мужчина, сидевший напротив меня, делал робкие попытки остановить старого джентльмена; но, видимо, питая к нему глубокое почтение, не решался прервать его. Маленький же священник на другом конце, хотя и не выказывал никакого смущения, сидел, глядя упорно в стол, и слушал все это, по-видимому, с болью, — что, надо признать, было вполне естественно.

— Вам как будто не слишком нравится родословная Эксмуров, — заметил я, обращаясь к рассказчику.

С минуту он молча глядел на меня, чопорно поджав побелевшие губы, затем разбил о стол свою длинную трубку и бокал и поднялся во весь рост — настоящий джентльмен с безупречными манерами и дьявольски вспыльчивым характером.

— Эти господа вам скажут, — проговорил он, — есть ли у меня основания восхищаться их родословной. С давних времен проклятие Эров тяготеет над этими местами, и многие от него пострадали. Этим господам известно, что нет никого, кто пострадал бы от него больше, чем я.

С этими словами он раздавил каблуком осколок стекла, упавший на землю, и зашагал прочь. Вскоре он исчез в зеленых сумерках среди мерцающих яблоневых стволов.

— Чрезвычайно странный джентльмен, — обратился я к оставшимся. — Не знаете ли вы случайно, чем ему досадило семейство Эксмуров? Кто он такой?

Тучный человек в черном дико уставился на меня, словно бык, загнанный на бойню; видимо, он не сразу понял мой вопрос. Наконец он вымолвил:

— Неужто вы не знаете, кто он?

Я заверил его в своем неведении, и за столом снова воцарилось молчание; спустя какое-то время маленький священник, все еще не поднимая глаз от стола, сказал:

— Это герцог Эксмур.

И, прежде чем я успел собраться с мыслями, он прибавил с прежним спокойствием, словно ставя все на свои места:

— А это доктор Малл, библиотекарь герцога. Мое имя — Браун.

— Но, — проговорил я, заикаясь, — если это герцог, то зачем он так поносит своих предков?

— Он, по-видимому, верит, что над ним тяготеет наследственное проклятие, — ответил священник по имени Браун. И затем добавил, казалось, без всякой связи: — Вот потому-то он и носит парик.

Только через несколько секунд смысл его слов дошел до моего сознания.

— Неужто вы имеете в виду эту старую сказку про диковинное «Ухо»? — удивился я. — Конечно, я слышал о ней, но не сомневаюсь, что это все суеверие и вымысел, не более, хотя, возможно, она и возникла на какой-то достоверной основе. Иногда мне приходит в голову, что это, возможно, фантазия на тему о наказаниях, которым подвергали в старину преступников; в шестнадцатом веке, например, им отрубали уши.

— Мне кажется, дело не в этом, — в раздумье произнес маленький священник. — Как известно, наука и самые законы природы не отрицают возможности неоднократного повторения в семье одного и того же уродства, когда, например, одно ухо значительно больше другого.

Библиотекарь, стиснув большую лысую голову большими красными руками, сидел в позе человека, размышляющего о том, в чем состоит его долг.

— Нет, — проговорил он со стоном, — вы все-таки несправедливы к этому человеку. Поймите, у меня нет никаких оснований защищать его или хотя бы хранить верность его интересам. По отношению ко мне

он был таким же тираном, как и ко всем другим. Не думайте, что если он сидел здесь запросто с нами, то он уже перестал быть настоящим лордом в самом худшем смысле этого слова. Он позовет слугу, находящегося от него за три мили, и велит ему позвонить в звонок, висящий в двух шагах от него самого, для того только, чтобы другой слуга, находящийся за три мили, принес ему спички, до которых ему надо сделать три шага. Ему необходим один ливрейный лакей, чтобы нести его трость, и другой, чтобы подавать ему в опере бинокль...

— Зато ему не нужен камердинер, чтобы чистить его платье, — вставил священник на удивление сухо. — Потому что камердинер вздумал бы почистить и парик.

Библиотекарь взглянул на него, очевидно, совсем забыв о моем существовании; он был глубоко взволнован и, как мне показалось, несколько разгорячен вином.

— Не знаю, откуда вам это известно, отец Браун, — сказал он, — но это правда. Он заставляет других все делать за себя, но одевается он сам. И всегда в полном одиночестве; за этим он следит неукошительно. Стоит кому-нибудь оказаться неподалеку от дверей его туалетной комнаты, как его тотчас изгоняют из дома и даже рекомендаций не дают.

— Приятный старичок, — заметил я.

— О, нет, отнюдь не приятный, — отвечал доктор Малл просто. — И все же именно это я и имел в виду, когда сказал, что со всем тем вы к нему несправедливы. Джентльмены, герцога действительно мучает горечь проклятия, о котором он говорил. С искренним стыдом и ужасом прячет он под лиловым париком нечто ужасное, созерцание чего, как он думает, не под силу сынам человеческого. Я знаю, что это так; я также знаю, что это не просто клеймо преступника или наследственное уродство, а что-то совсем другое. Я знаю, что это нечто гораздо страшнее. Я слышал об этом из уст очевидца, присутствовавшего при сцене, которую выдумать невозможно, когда человек, гораздо мужественнее любого из нас, пытался проникнуть в эту ужасную тайну и в страхе бежал прочь.

Я открыл было рот, но Малл продолжал, по-прежнему сжимая ладонями лицо и совершенно забыв о моем присутствии:

— Я могу рассказать вам об этом, отец мой, потому что это будет скорее защитой, чем изменой бедному герцогу. Вам никогда не приходилось слышать о тех временах, когда он едва не лишился всех своих владений?

Священник отрицательно покачал головой; и библиотекарь рассказал нам длинную историю, — он слышал ее от своего предшественника, который был ему покровителем и наставником и к которому он питал, как было ясно из его рассказа, безграничное доверие. Вначале это была обычная история о разорении древнего рода — и о семейном адвокате. У адвоката, надо отдать ему должное, хватило ума обманывать честно — надеюсь, читатель понимает, что я хочу сказать. Вместо того чтобы просто воспользоваться доверенными ему суммами, он воспользовался неосмотрительностью герцога и вовлек всю семью в финансовую ловушку, так что герцог был поставлен перед необходимостью отдать ему эти суммы уже не на хранение, а в собственность.

Адвокат носил имя Исаак Грин, но герцог всегда ввал его Елисеем¹, — очевидно, потому что человек этот был совершенно лыс, хотя ему и не исполнилось еще тридцати. Поднялся он стремительно, начав, однако, с весьма темных делишек: некогда он был доносчиком, или осведомителем, а потом занимался ростовщичеством; однако, став поверенным Эксмуров, он обнаружил, как я уже сказал, достаточно здравого смысла и строго держался формальностей, покуда не подготовил решительный удар. Он нанес его во время обеда: старый библиотекарь говорил, что до сих пор помнит, как блестяли хрустальные люстры и графини, когда безродный адвокат с неизменной улыбкой на устах предложил старому герцогу, чтобы тот отдал ему половину своих владений. Того, что последовало за этим, забыть невозможно: в гробовой тишине герцог схватил графин и запустил его в лысую голову адвоката так же стремительно, как сего-

¹ Е л и с е й — один из библейских пророков, по преданию, подвергавшийся насмешкам из-за своей лысины.

дня он разбил свой бокал о стол в саду. На черепе адвоката появилась треугольная рана, выражение его глаз изменилось, однако улыбка осталась прежней. Покачиваясь, он встал во весь рост и нанес ответный удар, что и следовало ожидать от подобного человека.

— Это меня радует,— сказал он,— ибо теперь я смогу получить ваши владения целиком. Их отдаст мне закон.

Говорят, что лицо Эксмур стало серым, как пепел, но глаза его все еще горели.

— Закон их вам отдаст,— отвечал он,— но вы их не получите... Почему? Да потому, что для меня это было бы концом. И если вы вздумаете их взять, я сниму парик... Да, жалкий общипанный гусь, твою лысину каждый может видеть. Но всякий, кто увидит мою, погибнет.

Можете говорить все, что угодно, и делать из этого какие угодно выводы, но Малл клянется, что мгновение адвокат стоял, потрясая в воздухе сжатыми кулаками, а затем попросту выбежал из залы и никогда больше не возвращался в эти края; с тех пор Эксмур внушает людям еще больший ужас как колдун, чем как судья и помещик.

Доктор Малл сопровождал свой рассказ весьма театральными жестами, вкладывая в повествование пыл, который мне показался по меньшей мере излишним. Я же думал о том, что вся эта история скорее всего была плодом фантазии старого сплетника и хвастуна. Однако, прежде чем закончить первую половину отчета о моих открытиях, я должен по справедливости сознаться, что, решив навести справки, я тут же получил подтверждение его рассказа. Старый деревенский аптекарь поведал мне однажды, что ночью к нему явился какой-то лысый человек во фраке, который назвался Грином, и попросил залепить пластырем треугольную рану у себя на лбу. А из судебных отчетов и старых газет я узнал, что некто Грин угрожал герцогу Эксмур суддебным процессом, который в конце концов и был возбужден».

Мистер Натт, редактор газеты «Дейли реформер», начертал несколько в высшей степени непонятных слов на первой странице рукописи, наставил на по-

лях несколько в высшей степени загадочных знаков и своим ровным, громким голосом обратился к мисс Барлоу:

— Отпечатайте письмо мистеру Финну.

«Дорогой Финн, Ваша рукопись пойдет, только пришлось разбить ее на абзацы с подзаголовками. И потом, наша публика не потерпит в рассказе католического священника — надо учитывать настроения предместий. Я исправил его на мистера Брауна, спиритуалиста.

Ваш Э. Натт».

Вторник застал этого энергичного и предусмотрительного редактора за изучением второй половины рассказа мистера Финна о тайнах высшего света. Чем дальше он читал, тем шире раскрывались его синие глаза. Рукопись начиналась словами:

«Я сделал поразительное открытие. Смело признаюсь, что оно превзошло все мои ожидания и будет потрясающей сенсацией. Без тщеславия позволю себе сказать, что то, о чем я сейчас пишу, будет читаться во всей Европе и, уж конечно, во всей Америке и колониях. А узнал я это за тем же скромным деревенским столом, в том же скромном яблоневом саду.

Своим открытием я обязан маленькому священнику Брауну; он необыкновенный человек. Тучный библиотекарь оставил нас, возможно, устыдившись своей болтливости, а возможно, обеспокоившись тем приступом ярости, в котором удалился его таинственный хозяин; как бы то ни было, он последовал, тяжело ступая, за герцогом и вскоре исчез среди деревьев. Отец Браун взял со стола лимон и принялся рассматривать его с непонятым удовольствием.

— Какой прекрасный цвет у лимона! — сказал он. — Что мне не нравится в парике герцога, так это его цвет.

— Я, кажется, не совсем понимаю, — ответил я.

— Надо полагать, у него есть свои основания прятать уши, как были они и у царя Мидаса, — продолжал священник с веселой простотой, звучащей, однако, в данных обстоятельствах весьма легкомысленно. — И я вполне понимаю, что гораздо приятнее прятать их под волосами, чем под железными пласти-

нами или кожаными наушниками. Но если он выбрал волосы, почему бы не сделать, чтобы они походили на волосы? Ни у кого на свете никогда не было волос такого цвета. Этот парик больше похож на озаренную закатным солнцем тучку, спрятавшуюся за деревьями, чем на парик. Почему он не скрывает свое родовое проклятие получше, если он действительно его стыдится? Сказать вам, почему? Да потому, что он вовсе его не стыдится. Он им гордится.

— Трудно гордиться таким ужасным париком и такой ужасной историей, — сказал я.

— Это зависит от того, — сказал странный маленький человечек, — как к этому относиться. У вас, полагаю, снобизма и тщеславия не больше, чем у других; так вот, скажите сами, нет ли у вас смутного чувства, что древнее родовое проклятие — совсем не такая уж плохая вещь? Не будет ли вам скорее лестно, чем стыдно, если наследник ужасных Глэмисов назовет вас своим другом? Или если семейство Байронов доверит вам, и одному только вам, греховные тайны своего рода? Не судите же так сурово и аристократов за их слабости и за снобизм в отношении к собственным несчастьям, ведь и мы страдали бы на их месте тем же.

— Честное слово, — воскликнул я, — все это истинная правда! В семье моей матери была собственная фея смерти; и признаюсь, что в трудные минуты это обстоятельство часто служило мне утешением.

— Вы только вспомните, — продолжал он, — какой поток крови и яда излился из тонких губ герцога, стоило вам лишь упомянуть его предков. Зачем бы ему рассказывать обо всех этих ужасах первому встречному, если он не гордится ими? Он не скрывает того, что носит парик, он не скрывает своего происхождения, он не скрывает своего родового проклятия, он не скрывает своих предков, но...

Голос маленького человечка изменился так внезапно, он так резко сжал кулак и глаза его так неожиданно стали блестящими и круглыми, как у проснувшейся совы, что впечатление было такое, будто перед глазами у меня вдруг разорвалась небольшая бомба.

— Но, — закончил он, — герцог блюдет тайну своего туалета!

Напряжение моих нервов достигло в эту минуту предела, потому что внезапно из-за угла дома показался в сопровождении библиотекаря герцог со своей шевелюрой цвета заката; неслышными шагами он молча прошел меж мерцающих стволов яблонь. Прежде чем он приблизился настолько, чтобы разобрать наши слова, отец Браун спокойно добавил:

— Почему же он так оберегает тайну своего лилового парика? Да потому, что эта тайна совсем не то, что мы предполагаем.

Меж тем герцог приблизился и с присущим ему достоинством снова занял свое место у стола. Библиотекарь в замешательстве топтался на месте, как большой медведь на задних лапах, не решаясь сесть.

С превеликой церемонностью герцог обратился к маленькому священнику.

— Отец Браун,— сказал он,— доктор Малл сообщил мне, что вы приехали сюда, чтобы обратиться ко мне с просьбой. Не стану утверждать, что все еще исповедую религию своих предков; но, в память о них и в память о давних днях нашего первого знакомства, я готов выслушать вас. Однако вы, вероятно, предпочли бы говорить без свидетелей...

То, что осталось во мне от джентльмена, побудило меня встать. А то, что есть во мне от журналиста, побудило меня застыть на месте. Но, прежде чем я успел выйти из своего оцепенения, маленький священник быстрым жестом остановил меня.

— Если ваша светлость соблаговолит выслушать мою просьбу,— сказал он,— и если я сохранил еще право давать вам советы, я бы настоятельно просил, чтобы при нашем разговоре присутствовало как можно больше народу. Повсеместно я то и дело встречаю сотни людей, среди которых немало даже моих единоверцев, чье воображение поражено суеверием, которое я заклинаю вас разрушить. Я хотел бы, чтобы весь Девоншир видел, как вы это сделаете!

— Сделаю что? — спросил герцог, с удивлением поднимая брови.

— Снимете ваш парик,— ответил отец Браун.

Лицо герцога по-прежнему оставалось неподвижным; он только устремил на просителя остекленевший взор — страшнее выражения я не видел на человеческом лице. Я заметил, что массивные ноги биб-

лиотекаря заколебались, подобно отражению стеблей в пруду, и мне почудилось,—как ни гнал я эту нелепую фантазию из своей головы,—будто в тишине вокруг нас на деревьях неслышно рассаживаются не птицы, а духи ада.

— Я пощажу вас,— произнес герцог голосом, в котором звучало сверхчеловеческое снисхождение.— Я отклоняю вашу просьбу. Дай я вам хоть малейшим намеком понять, какое бремя ужаса я должен нести один, вы бы упали мне в ноги, с воплями умоляя меня не открывать остального. Я вас избавлю от этого. Вы не прочтете и первой буквы из той надписи, что начертана на алтаре Неведомого Бога.

— Я знаю этого Неведомого Бога,—сказал маленький священник со спокойным величием уверенности, твердой, как гранитная скала.— Мне известно его имя: это Сатана. Истинный Бог был рожден во плоти и жил среди нас. И я говорю вам: где бы вы ни увидели людей, коими правит тайна, в этой тайне заключено зло. Если дьявол внушает, что нечто слишком ужасно для глаза,—взгляните. Если он говорит, что нечто слишком страшно для слуха,—выслушайте... И если вам померещится, что некая истина невыносима,—вынесите ее. Я закливаю вашу светлость покончить с этим кошмаром немедленно, раз и навсегда.

— Если я сделаю это,—тихо проговорил герцог,—вы содрогнетесь и погибнете вместе со всем тем, во что вы верите и чем вы живете. В один мимолетный миг вы познаете великое Ничто и умрете.

— Христово распятие да пребудет с нами,—сказал отец Браун.—Снимите парик!

В сильнейшем волнении слушал я эту словесную дуэль, опираясь о стол руками; внезапно в голову мне пришла почти неосознанная мысль.

— Ваша светлость!—вскричал я.—Вы блефуете! Снимите парик, или я собью его у вас с головы!

Вероятно, меня можно привлечь к суду за угрозу насилием, но я очень доволен, что поступил именно так. Все тем же каменным голосом он повторил: «Я отказываюсь это сделать»,—и тогда я кинулся на него.

Не менее трех долгих минут он сопротивлялся с таким упорством, как будто все силы ада помогали ему; я запрокидывал его голову назад, покуда наконец

шапка волос не свалилась с нее. Должен признаться, что в эту минуту я зажмурил глаза.

Пришел я в себя, услышав громкое восклицание Малла, подбежавшего к нам. Мы оба склонились над обнажившейся лысиной герцога. Молчание было прервано возгласом библиотекаря:

— Что это значит? Этому человеку нечего было прятать. У него точно такие же уши, как и у всех.

— Да,— сказал отец Браун,— вот это ему и приходилось прятать.

Священник подошел вплотную к герцогу, но, как ни странно, даже не взглянул на его уши. С почти комической серьезностью он уставился на его лысый лоб, а затем указал на треугольный рубец, давно заживший, но все еще различимый.

— Мистер Грин, насколько я понимаю,— учтиво произнес он.— В конце концов он все же получил герцогские владения целиком.

А теперь позвольте мне сообщить читателям нашей газеты то, что представляется мне наиболее удивительным во всей этой истории. Эти превращения, в которых вы, наверно, склонны будете увидеть безудержную фантазию на манер персидских сказок, на деле с самого начала (не считая нанесенного мною оскорбления действием) были вполне законны и формально безупречны. Человек с необычным шрамом и обычными ушами — не самозванец. Хотя он и носит (в известном смысле) чужой парик и претендует на чужие уши, он не присвоил себе чужого титула. Он действительно и неоспоримо является герцогом Эксмуром. Вот как это произошло. У старого герцога Эксмюра и вправду была небольшая деформация уха, которая и вправду была в какой-то мере наследственной. Он и вправду относился к ней весьма болезненно и вполне мог назвать ее проклятием во время той бурной сцены (вне всякого сомнения, имевшей место), когда он запустил в адвоката графином. Но завершилось это сражение совсем не так, как говорят. Грин вчинил иск и получил владения герцога; обнищавший герцог застрелился, не оставив потомства. Через приличествующий промежуток времени прекрасное британское правительство воскресило «угасший» герцогский род Эксмуров и, как водится, присвоило их древнее имя и титул наиболее значительному

лицу — тому, к кому перешла собственность Эксмуров.

Этот человек воспользовался средневековыми баснями, — возможно, что, привыкнув склоняться перед знатью, в глубине души он и впрямь восхищался ею и завидовал Эксмурам. И вот тысячи бедных англичан трепещут перед одним из представителей старинного рода и древним проклятием, что тяготеет над его головой, увенчанной герцогской короной из зловещих звезд. На деле же они трепещут перед тем, чьим домом некогда была сточная канава и кто был кляузником и ростовщиком каких-нибудь двенадцать лет назад.

Думается мне, что вся эта история весьма типична для нашей аристократии, как она есть сейчас и каковой пребудет до той поры, пока господь не пошлет нам людей решительных и храбрых».

Мистер Натт положил на стол рукопись и с необычной резкостью обратился к мисс Барлоу:

— Мисс Барлоу, письмо мистеру Финну, пожалуйста.

«Дорогой Финн, Вы, должно быть, сошли с ума, мы не можем этого касаться. Мне нужны были вампиры, недобрые старые времена и аристократия вместе с суевериями. Такие вещи нравятся. Но Вы должны понять, что этого Эксмуровы нам никогда не простят. А что скажут наши, хотел бы я знать? Ведь сэр Саймон и Эксмур — давнишние приятели. А потом, такая история погубит родственника Эксмуров, который стоит за нас горой в Брэдфорде. Кроме того, старик Мыльная Водица и так был зол, что не получил титула в прошлом году. Он уволил бы меня по телеграфу, если бы снова лишился его из-за нашего сумасбродства. А о Даффи вы подумали? Он пишет для нас цикл сенсационных статей «Пята норманна». Как же он будет писать о норманнах, если это всего лишь стряпчий? Будьте ж благоразумны.

Ваш Э. Натт».

И пока мисс Барлоу весело отстукивала послание на машинке, он смял рукопись в комок и швырнул ее в корзину для бумаг; но прежде он успел, автоматически, просто в силу привычки, заменить слово «господь» на «обстоятельства».

СТРАННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ ДЖОНА БОУЛНОЙЗА

Мистер Кэлхоун Кидд был весьма юный джентльмен с весьма старообразной физиономией — физиономия была иссушена служебным рвением и обрамлена иссиня-черными волосами и черным галстуком-бабочкой. Он представлял в Англии крупную американскую газету «Солнце Запада», или, как ее шутиливо называли, «Восходящий закат». Это был намек на громкое заявление в печати (по слухам, принадлежащее самому мистеру Кидду): он полагал, что «Солнце» еще взойдет на западе, если только американцы будут действовать поэнергичнее». Однако те, кто насмеяется над американской журналистикой, придерживаясь несколько более мягкой традиции, забывают об одном парадоксе, который отчасти ее оправдывает. Ибо хотя в американской прессе допускается куда большая внешняя вульгарность, чем в английской, она проявляет истинную заинтересованность в самых глубоких интеллектуальных проблемах, которые английским газетам вовсе неизвестны, а вернее, просто не по зубам. «Солнце» освещало самые серьезные темы, причем самым смелотворным образом. На его страницах Уильям Джеймс¹ соседствует с «Хитройгой Уилли», и в длинной галерее его портретов прагматисты чередуются с кулачными бойцами.

И потому, когда весьма скромный оксфордский ученый Джон Боулнойз поместил в весьма скучном журнале «Философия природы», выходящем раз в три месяца, серию статей о некоторых якобы сомнительных положениях дарвиновской теории эволюции, редакторы английских газет и ухом не повели, хотя теория Боулнойза (он утверждал, что вселенная сравнительно устойчива, но время от времени ее потрясают катаклизмы) стала модной в Оксфорде и ее даже назвали «теорией катастроф»; зато многие американские газеты ухватились за этот вызов, как за великое событие, и «Солнце» отбросило на свои страницы гигантскую тень мистера Боулнойза. В соответствии с уже упомянутым парадоксом, статьям, исполненным

¹ Джеймс Уильям (1842—1910) — американский психолог и философ.

ума и воодушевления, давали заголовки, которые явно сочинил полоумный невежда, например: «Дарвин сел в калошу. Критик Боулнойз говорит: «Он прохлопал скачки», или «Держитесь катастроф, советуется мудрец Боулнойз». И мистеру Кэлхоуну Кидду из «Солнца Запада», с его галстуком-бабочкой и мрачной физиономией было велено отправиться в домик близ Оксфорда, где мудрец Боулнойз проживал в счастливом неведении относительно своего титула.

Философ, жертва роковой популярности, был несколько ошеломлен, но согласился принять журнала в тот же день в девять вечера. Свет заходящего солнца освещал уже лишь невысокие, поросшие лесом холмы; романтичный янки не знал толком дороги, притом ему любопытно было все вокруг — и, увидев настоящую старинную деревенскую гостиницу «Герб Чэмпiona», он вошел в отворенную дверь, чтобы все разузнать.

Оказавшись в баре, он позвонил в колокольчик, и ему пришлось немного подождать, пока кто-нибудь выйдет. Кроме него, тут был еще только один человек — тощий, с густыми рыжими волосами, в мешковатом крикливом костюме, онпил очень скверное виски, но сигару курил отличную. Выбор виски принадлежал, разумеется, «Гербу Чэмпiona», а сигару он, вероятно, привез с собой из Лондона. Беззастенчиво небрежный в одежде, он с виду казался разительной противоположностью щеголеватому, подтянутому молодому американцу, но карандаш и раскрытая записная книжка, а может быть, и что-то в выражении живых голубых глаз навели Кидда на мысль, что перед ним собрат по перу, — и он не ошибся.

— Будьте так любезны, — начал Кидд с истинно американской обходительностью, — вы не скажете, как пройти к Серому коттеджу, где, как мне известно, живет мистер Боулнойз?

— Это в нескольких шагах отсюда, дальше по дороге, — ответил рыжий, вынув изо рта сигару. — Я и сам сейчас двинусь в ту сторону, но я хочу попасть в Пендрегон-парк и постараюсь увидеть все собственными глазами.

— А что это за Пендрегон-парк? — спросил Кэлхоун Кидд.

— Дом сэра Клода Чэмпiona. А вы разве не за

тем же приехали? — спросил рыжий, подняв на него глаза. — Вы ведь тоже газетчик?

— Я приехал, чтоб увидеться с мистером Боулнойзом, — ответил Кидд.

— А я — чтоб увидеться с миссис Боулнойз. Но дома я ее ловить не буду. — И он довольно противно засмеялся.

— Вас интересует теория катастроф? — спросил озадаченный янки.

— Меня интересуют катастрофы, и кое-какие катастрофы не заставят себя ждать, — хмуро ответил его собеседник. — Гнусное у меня ремесло, и я никогда не прикидываюсь, будто это не так.

Тут он сплюнул на пол, но даже по тому, как он это сделал, сразу видно было, что он происхождения благородного.

Американский репортер посмотрел на него внимательней. Лицо бледное и рассеянное, лицо человека сильных и опасных страстей, которые еще вырвутся наружу, но при этом умного и легко уязвимо; одежда грубая и небрежная, но духи тонкие, пальцы длинные и на одном — дорогой перстень с печаткой. Зовут его, как выяснилось из разговора, Джеймс Делрой; он сын обанкротившегося ирландского землевладельца и работает в умеренно либеральной газетке «Светское общество», которую от души презирает, хотя и состоит при ней в качестве репортера и, что мучительней всего, почти соглядатая.

Должен с сожалением заметить, что «Светское общество» осталось совершенно равнодушным к спору Боулнойза с Дарвином, спору, который так заинтересовал и взволновал «Солнце Запада», что, конечно, делает ему честь. Делрой приехал, видимо, затем, чтобы разведать, чем пахнет скандал, который вполне мог завершиться в суде по бракоразводным делам, а пока назревал меж Серым коттеджем и Пендрегон-парком.

Читателям «Солнца Запада» сэр Клод Чэмпинг был известен не хуже мистера Боулнойза. Папа римский и победитель дерби тоже им были известны; но мысль, что они знакомы между собой, показалась бы Кидду столь же несообразной. Он слышал о сэре Клоде Чэмпинге и писал, да еще в таком тоне, словно хорошо его знает, как «об одном из самых блестящих

и самых богатых англичан первого десятка»: это замечательный спортсмен, который плавает на яхтах вокруг света; знаменитый путешественник — автор книг о Гималаях, политик, который получил на выборах подавляющее большинство голосов, ошеломив избирателей необычайной идеей консервативной демократии, и в придачу — талантливый любитель-художник, музыкант, литератор и, главное, актер. На взгляд любого человека, только не американца, сэр Клод был личностью поистине великолепной. В его всеобъемлющей культуре и неумном стремлении к славе было что-то от гигантов эпохи Возрождения; его отличала не только необычайная широта интересов, но и страстная им приверженность. В нем не было ни на волос того верхоглядства, которое мы определяем словом «дилетант».

Фотографии его безупречного орлиного профиля с угольно-черным, точно у итальянца, глазом постоянно появлялись и в «Светском обществе» и в «Солнце Запада» — и всякий сказал бы, что человека этого, подобно огню или даже недугу, снедает честолюбие. Но хотя Кидд немало знал о сэре Клоде, по правде сказать, знал даже то, чего и не было, ему и во сне не снилось, что между столь блестящим аристократом и только-только обнаруженным основателем теории катастроф существует какая-то связь, и, уж конечно, он и помыслить не мог, что сэра Клода Чэмпиона и Джона Боулнойза связывают узы дружбы. И, однако, Делрой уверял, что так оно и есть. В школьные и студенческие годы они были неразлучны, и, несмотря на огромную разницу в общественном положении (Чэмпион крупный землевладелец и чуть ли не миллионер, а Боулнойз бедный ученый, до самого последнего времени вдобавок никому не известный), они и теперь постоянно встречались. И домик Боулнойза стоял у самых ворот Пендрегон-парка.

Но вот надолго ли еще они останутся друзьями — теперь в этом возникали сомнения, грязные сомнения. Года два назад Боулнойз женился на красивой и не лишенной таланта актрисе, которую любил на свой лад — застенчивой и наводящей скуку любовью; соседство Чэмпиона давало этой взбалмошной знаменитости вдоволь поводов к поступкам, которые возбуждали страсти мучительные и довольно низменные.

Сэр Клод в совершенстве владел искусством привлечь к себе внимание широкой публики, и, казалось, он получал безумное удовольствие, столь же нарочито выставляя напоказ интригу, которая отнюдь не делала ему чести. Лакеи из Пендрегона беспрестанно возили миссис Боулнойз букеты, кареты и автомобили беспрестанно подъезжали к коттеджу за миссис Боулнойз, в имени сэра Клода беспрестанно устраивались балы и маскарады, на которых баронет гордо выставлял перед всеми миссис Боулнойз, точно королеву любви и красоты на рыцарских турнирах. В тот самый вечер, который Кидд избрал для разговора о теории катастроф, сэр Клод Чэмпинг устраивал под открытым небом представление «Ромео и Джульетта», причем в роли Ромео должен был выступать он сам, а Джульетту и называть незачем.

— Без столкновения тут не обойдется. — С этими словами рыжий молодой человек встал и встряхнулся. — Старика Боулнойза могли обтесать, или он сам обтесался. Но если он и обтесался, он глуп... уж вовсе дубина. Только я в это не очень верю.

— Это глубокий ум, — проникновенно произнес Кэлхоун Кидд.

— Да, — сказал Делрой, — но даже глубокий ум не может быть таким непроходимым болваном. Вы уже идете? Я тоже сейчас двинусь.

Но Кэлхоун Кидд допил молоко с содовой и быстрым шагом направился к Серому коттеджу, оставив своего циничного осведомителя наедине с виски и табаком. День угасал, небеса были темные, зеленовато-серые, цвета сланца, кое-где уже проглянули звезды, слева небо светлело в предчувствии луны.

Серый коттедж, который, так сказать, засел за высокой прочной изгородью из колючего кустарника, стоял в такой близости от сосен и ограды парка, что поначалу Кидд принял его за домик привратника. Однако, заметив на узкой деревянной калитке имя «Боулнойз» и глянув на часы, он увидел, что время, назначенное «мудрецом», настало, вошел и постучал в парадное. Оказавшись во дворе, он понял, что дом, хотя и достаточно скромный, больше и роскошней, чем представлялось с первого взгляда, и несколько не похож на сторожку. Собачья конура и улей стояли здесь как привычные символы английской сельской

жизни; из-за щедро увешанных плодами грушевых деревьев поднималась луна, пес, вылезший из конуры, имел вид почтенный и явно не желал лаять; и просто одетый пожилой слуга, отворивший дверь, был немногословен, но держался с достоинством.

— Мистер Боулнойз просил передать вам свои извинения, сэр, но он вынужден был неожиданно уйти,— сказал слуга.

— Но послушайте, он же назначил мне свидание,— повысил голос репортер.— А вам известно, куда он пошел?

— В Пендрегон-парк, сэр,— довольно хмуро ответил слуга и стал затворять дверь.

Кидд слегка вздрогнул. И спросил сбивчиво:

— Он пошел с миссис... вместе со всеми?

— Нет, сэр,— коротко ответил слуга.— Он оставался дома, а потом пошел один.— И решительно, даже грубо захлопнул дверь, но вид у него при этом был такой, словно он поступил не так, как надо.

Американца, в котором забавно сочетались дерзость и обидчивость, взяла досада. Ему очень хотелось немного их всех встряхнуть, пусть научатся вести себя по-деловому,— и дряхлого старого пса, и седеющего угрюмого старика дворецкого в допотопной машинке, и сонную старушку луна, а главное рассеянного старого философа, который назначил час, а сам ушел из дома.

— Раз он так себя ведет, поделом ему, он не заслуживает привязанности жены,— сказал мистер Кэлхоун Кидд.— Но, может, он пошел устраивать скандал. Тогда, похоже, представитель «Солнца Запада» будет там очень кстати.

И, выйдя за ворота, он зашагал по длинной аллее погребальных сосен, ведущей в глубь парка. Деревья чернели ровной вереницей, словно плюмажи на катафалке, а меж ними в небе светили звезды. Кидд был из тех людей, кто воспринимает природу не непосредственно, а через литературу, и ему все вспоминался «Рейвенсвуд». Виной тому отчасти были чернеющие, как вороново крыло, мрачные сосны, а отчасти и непередаваемо жуткое ощущение, которое Вальтеру Скотту почти удалось передать в его знаменитой трагедии; тут веяло чем-то, что умерло в восемнадцатом веке; веяло пронизывающей сыростью старого парка,

и разрушенных гробниц, и зла, которое уже вовек не поправить, — чем-то неизбежно печальным, хотя и странно нереальным.

Он шел по этой строгой черной аллее, искусно настраивающей на трагический лад, и не раз испуганно останавливался: ему чудились впереди чьи-то шаги. Но впереди видны были только две одинаковые мрачные стены сосен да над ними клин усыпанного звездами неба. Сначала он подумал, что это игра воображения или что его обманывает эхо его собственных шагов. Но чем дальше, тем определеннее остатки разума склоняли его к мысли, что впереди и в самом деле шагает кто-то еще. Смутно подумалось: уж не призрак ли там, и он даже удивился — так быстро представилось ему вполне подходящее для этих мест привидение: с лицом белым, как у Пьеро, только в черных пятнах. Вершина темно-синего небесного треугольника становилась все ярче и светлей, но Кидд еще не понимал, что это все ближе огни, которыми освещены огромный дом и сад. Он лишь все явственней ощущал вокруг что-то недоброе, все сильнее его пронизывали токи ожесточения и тайны, все сильнее охватывало предчувствие... он не сразу подыскал слово и наконец со смешком его произнес — катастрофы.

Еще сосны, еще кусок дороги остались позади, и вдруг он замер на месте, словно волшебством внезапно обращенный в камень. Бессмысленно говорить, будто он почувствовал, что все это происходит во сне; нет, на сей раз он ясно почувствовал, что сам угодил в какую-то книгу. Ибо мы, люди, привыкли ко всяким нелепостям, привыкли к вопиющим несообразностям; под их разноголосицу мы засыпаем. Если же случится что-нибудь вполне сообразное с обстоятельствами, мы пробуждаемся, словно вдруг зазвонела какая-то до боли прекрасная струна. Случилось нечто, чему впору было случиться в такой вот аллее на страницах какой-нибудь старинной повести.

За черной сосной пролетела, блеснув в лунном свете, обнаженная шпага — такой тонкой сверкающей рапирой в этом древнем парке могли драться на многих поединках. Шпага упала на дорогу далеко впереди и лежала, сияя, точно огромная игла. Кидд метнулся, как заяц, и склонился над ней. Вблизи

шпага выглядела как-то уж очень безвкусно: большие рубины на эфесе вызывали некоторое сомнение. Зато другие красные капли, на клинке, сомнений не вызывали.

Кидд как ужаленный обернулся в ту сторону, откуда прилетел ослепительный смертоносный снаряд, — в этом месте траурно-черную стену сосен рассекла узкая дорожка; Кидд пошел по ней, и глазам его открылся длинный, ярко освещенный дом, а перед домом — озеро и фонтаны. Но Кидд не стал на все это смотреть, ибо увидел нечто более достойное внимания.

Над ним, в укромном местечке, на крутом зеленом склоне расположенного террасами парка притаился один из тех живописных сюрпризов, которые так часто встречаются в старинных, прихотливо разбитых садах и парках: подобие круглого холмика или небольшого купола из травы, точно жилище крота-великана, опоясанное и увенчанное тройным кольцом розовых кустов, а наверху, на самой середине, солнечные часы. Кидду видна была стрелка циферблата — она выделялась на темном небосводе, точно спинной плавник акулы, и к бездействующим этим часам понапрасну льнул лунный луч. Но на краткий сумасбродный миг к ним прильнуло и нечто другое: какой-то человек.

И хотя Кидд видел его лишь одно мгновение, и хотя на нем было чужеземное диковинное одеяние — от шеи до пят он был затянут во что-то малиновое с золотой искрой, — при проблеске света Кидд узнал этого человека. Запрокинутое к небу очень белое лицо, гладко выбритое и такое неестественно молодое, точно Байрон с римским носом, черные, уже седеющие кудри... Кидд тысячу раз видел портреты сэра Клода Чэмпиона. Человек в нелепом красном костюме покачнулся, и вдруг покатился по крутому склону, и вот лежит у ног американца, и только рука его слабо вздрагивает. При виде броско и странно украшенного золотом рукава Кидд разом вспомнил про «Ромео и Джульетту»; конечно же, облегающий малиновый камзол — это из спектакля. Но по склону, с которого скатился странный человек, протянулась красная полоса — это уже не из спектакля. Он был пронзен насквозь.

Мистер Кэлхоун Кидд закричал, еще и еще раз. И снова ему почудились чьи-то шаги, и совсем близко вдруг очутился еще один человек. Человека этого он узнал и, однако, при виде его похолодел от ужаса. Беспутный юноша, назвавшийся Делроем, был пугающе спокоен; если Боулнойза не оказалось там, где он же назначил встречу, у Делроя была зловещая способность появляться там, где встречи с ним никто не ждал. Лунный свет все обесцветил: в рамке рыжих волос изнуренное лицо Делроя казалось уже не столько бледным, сколько бледно-зеленым.

Гнетущая и жуткая картина должна извинить грубый, ни с чем не сообразный выкрик Кидда:

— Это твоих рук дело, дьявол?

Джеймс Делрой улыбнулся своей неприятной улыбкой, но не успел вымолвить ни слова, — лежащий на земле вновь пошевелил рукой, слабо махнул в сторону упавшей шпаги, потом простонал и наконец через силу заговорил:

— Боулнойз... Да, Боулнойз... Это Боулнойз из ревности... он ревновал ко мне, ревновал...

Кидд наклонился, пытаясь расслышать как можно больше, и с трудом уловил:

— Боулнойз... моей же шпагой... он отбросил ее...

Слабеющая рука снова махнула в сторону шпаги и упала неживая, глухо ударившись оземь. Тут в Кидде прорвалась та резкость, что дремлет на дне души его невозмутимого племени.

— Вот что, — распорядился он, — сходите-ка за доктором. Этот человек умер.

— Наверно, и за священником, кстати, — с непроницаемым видом сказал Делрой. — Все эти Чэмпионы — паписты.

Американец опустился на колени подле тела, послушал, не бьется ли сердце, положил повыше голову и как мог попытался привести Чэмпиона в сознание; но еще до того, как второй журналист привел доктора и священника, он мог с уверенностью сказать, что они опоздали.

— И вы сами тоже опоздали? — спросил доктор, плотный, на вид преуспевающий джентльмен в традиционных усах и бакенбардах, но с живым взглядом, которым он подозрительно окинул Кидда.

— В известном смысле да, — с нарочитой медли-

тельностью ответил представитель «Солнца». — Я опоздал и не сумел его спасти, но, сдается мне, я пришел вовремя, чтобы услышать нечто важное. Я слышал, как умерший назвал своего убийцу.

— И кто же убийца? — спросил доктор, сдвинув брови.

— Боулнойз, — ответил Кэлхоун Кидд и негромко присвистнул.

Доктор хмуро посмотрел на него в упор и весь побагровел, но возражать не стал. Тогда священник, маленький человечек, державшийся в тени, сказал кротко:

— Насколько я знаю, мистер Боулнойз не собирался сегодня в Пендрегон-парк.

— Тут мне опять есть что сообщить старушке Англии, — жестко сказал янки. — Да, сэр, Джон Боулнойз собирался весь вечер быть дома. Он по всем правилам назначил мне встречу у себя. Но Джон Боулнойз передумал. Час назад, или около того, он неожиданно и в одиночестве вышел из дому и двинулся в этот проклятый Пендрегон-парк. Так мне сказал его дворецкий. Сдается мне, у нас в руках то, что всезнающая полиция называет ключом... а за полицией вы послали?

— Да, — сказал доктор, — но больше мы пока никого не стали тревожить.

— Ну, а миссис Боулнойз знает? — спросил Джеймс Делрой. И Кидд снова ощутил безрассудное желание стукнуть кулаком по этим кривящимся в усмешке губам.

— Я ей не сказал, — угрюмо ответил доктор. — А сюда едет полиция.

Маленький священник отошел было на главную аллею и теперь вернулся с брошенной шпагой, — в руках этого приземистого человечка в сутане, да притом такого с виду буднично заурядного, она выглядела нелепо огромной и театральной.

— Пока полицейские еще не подошли, у кого-нибудь есть огонь? — спросил он, будто извиняясь.

Кидд достал из кармана электрический фонарик, священник поднес его поближе к середине клинка и, моргая от усердия, принялся внимательно его рассматривать, потом, не взглянув ни на острие, ни на головку эфеса, отдал оружие доктору.

— Боюсь, я здесь бесполезен, — сказал он с коротким вздохом. — Доброй ночи, джентльмены.

И он пошел по темной аллее к дому, сцепив руки за спиной и в задумчивости склонив крупную голову.

Остальные заторопились к главным воротам, где инспектор и двое полицейских уже разговаривали с привратником. А в густой тени под сводами ветвей маленький священник все замедлял и замедлял шаг и наконец, уже на ступенях крыльца, вдруг замер. Это было молчаливое признание, что он видит молча приближающуюся к нему фигуру; ибо навстречу ему двигалось видение, каким остался бы доволен даже Кэлхоун Кидд, которому требовался призрак аристократический и притом очаровательный. То была молодая женщина в костюме эпохи Возрождения, из серебристого атласа; золотые волосы ее спадали двумя длинными блестящими косами, лицо поражало бледностью — она казалась древнегреческой статуей из золота и слоновой кости. Но глаза ярко блестели, и голос, хотя и негромкий, звучал уверенно.

— Отец Браун? — спросила она.

— Миссис Боулнойз? — сдержанно отозвался священник. Потом внимательно посмотрел на нее и прибавил: — Я вижу, вы уже знаете о саре Клоде.

— Откуда вы знаете, что я знаю? — очень спокойно спросила она.

Он ответил вопросом на вопрос:

— Вы видели мужа?

— Муж дома, — сказала миссис Боулнойз. — Он здесь ни при чем.

Священник не ответил, и женщина подошла ближе, лицо ее выражало какую-то удивительную силу.

— Сказать вам еще кое-что? — спросила она, и на губах ее даже мелькнула несмелая улыбка. — Я не думаю, что это сделал он, и вы тоже не думаете.

Отец Браун ответил ей долгим серьезным взглядом и еще серьезней кивнул.

— Отец Браун, — сказала она, — я расскажу вам все, что знаю, только сперва окажите мне любезность. Объясните, почему вы не поверили, как все остальные, что это дело рук несчастного Джона? Говорите все, как есть. Я... я знаю, какие ходят толки, и, конечно, по-видимости, все против него.

Отец Браун, явно смущенный, провел рукой по лбу.

— Тут есть два совсем незначительных соображения, — сказал он. — По крайней мере, одно совсем пустячное, а другое весьма смутное. И, однако, они не позволяют думать, что убийца — мистер Боулнойз. — Он поднял свое круглое непроницаемое лицо к звездам и словно бы рассеянно продолжал: — Начнем со смутного соображения. Я верю в смутные соображения. Все то, что «не является доказательством», как раз меня и убеждает. На мой взгляд, нравственная невозможность — самая существенная из всех невозможностей. Я очень мало знаю вашего мужа, но это преступление, которое все приписывают ему, в нравственном смысле совершенно невозможно. Только не думайте, будто я считаю, что Боулнойз не мог так согрешить. Каждый может согрешить... Согрешить, как ему заблагорассудится. Мы можем направлять наши нравственные побуждения, но коренным образом изменить наши природные склонности и поведение мы не в силах. Боулнойз мог совершить убийство, но не такое. Он не стал бы выхватывать шпагу Ромео из романтических ножен, не стал бы разить врага на солнечных часах, точно на каком-то алтаре; не стал бы оставлять его тело среди роз, не стал бы швырять шпагу. Если бы Боулнойз убил, он сделал бы это тихо и тягостно, как любое сомнительное дело — как он пил бы десятый стакан портвейна или читал непристойного греческого поэта. Нет, романтические сцены не в духе Боулнойза. Это скорей в духе Чэмпiona.

— Ах! — вырвалось у женщины, и глаза ее заблестели, точно бриллианты.

— А пустячное соображение вот какое, — сказал Браун. — На шпаге остались следы пальцев. На полированной поверхности, на стекле или на стали, их можно обнаружить долго спустя. Эти следы отпечатались на полированной поверхности. Как раз на середине клинка. Чьи они, понятия не имею, но кто и почему станет держать шпагу за середину клинка? Шпага длинная, но длинная шпага тем и хороша, ею удобней поразить врага. По крайней мере, почти всякого врага. Всех врагов, кроме одного.

— Кроме одного! — повторила миссис Боулнойз.

— Только одного-единственного врага легче убить кинжалом, чем шпагой,— сказал отец Браун.

— Знаю,— сказала она.— Себя.

Оба долго молчали, потом негромко, но резко священник спросил:

— Значит, я прав? Сэр Клод сам себя убил?

— Да,— ответила она; и лицо ее оставалось холодно и неподвижно.— Я видела это собственными глазами.

— Он умер от любви к вам?— спросил отец Браун.

Поразительное выражение мелькнуло на бледном лице женщины, отнюдь не жалость, не скромность, не раскаяние; совсем не то, чего мог бы ожидать собеседник; и она вдруг сказала громко, с большой силой:

— Ничуть он меня не любил, не верю я в это. Он ненавидел моего мужа.

— Почему?— спросил Браун и повернулся к ней — до этой минуты круглое лицо его было обращено к небу.

— Он ненавидел моего мужа, потому что... это так необычно, я просто даже не знаю, как сказать... потому что...

— Да? — терпеливо промолвил Браун.

— Потому что мой муж его не ненавидел.

Отец Браун лишь кивнул и, казалось, все еще слушал; одна малость отличала его почти от всех детективов, какие существуют в жизни или на страницах романов, — когда он ясно понимал, в чем дело, он не притворялся, будто не понимает.

Миссис Боулнойз подошла еще на шаг ближе к нему, лицо ее освещала все та же сдержанная уверенность.

— Мой муж — великий человек,— сказала она.— А сэр Клод Чэмпион не был великим, он был человек знаменитый и преуспевающий; мой муж никогда не был ни знаменитым, ни преуспевающим. И поверьте — ни о чем таком он вовсе не мечтал, — это чистая правда. Он не ждет, что его мысли принесут ему славу, все равно как не рассчитывает прославиться оттого, что курит сигары. В этом отношении он чудесно бестолков. Он так и не стал взрослым. Он все еще любит Чэмпиона, как любил его в школьные годы, восхищается им, как восхищался бы, если бы кто-ни-

будь за обедом проделал ловкий фокус. Но ничто не могло пробудить в нем зависть к Чэмпиону. А Чэмпион жаждал, чтобы ему завидовали. На этом он совсем помешался, из-за этого покончил с собой.

— Да, мне кажется, я начинаю понимать,— сказал отец Браун.

— Ну, неужели вы не видите? — воскликнула она. — Все рассчитано на это... и место нарочно для этого выбрано. Чэмпион поселил Джона в домике у самого своего порога, точно нахлебника... чтобы Джон почувствовал себя неудачником. А Джон ничего такого не чувствовал. Он ни о чем таком и не думает, все равно как... ну, как рассеянный лев. Чэмпион вечно врывается к Джону в самую неподходящую пору или во время самого скромного обеда и старался изумить каким-нибудь роскошным подарком или праздничным известием или соблазнял интересной поездкой, точно Гарун аль-Рашид, а Джон очень мило принимал его дар или не принимал, без особого волнения, словно один ленивый школьник соглашался или не соглашался с другим. Так прошло пять лет, и Джон ни разу бровью не повел, а сэр Клод Чэмпион на этом помешался.

— И рассказывал Аман, как возвеличил его царь,— произнес отец Браун.— И он сказал: «Но всего этого не довольно для меня, доколе я вижу Мардохея Иудеянина сидящим у ворот царских».

— Буря разразилась, когда я уговорила Джона разрешить мне отослать в журнал некоторые его гипотезы,— продолжала миссис Боулнойз.— Ими заинтересовались, особенно в Америке, и одна газета пожелала взять у Джона интервью. У Чэмпиона интервью брали чуть не каждый день, но когда он узнал, что его сопернику, не ведавшему об их соперничестве, досталась еще и эта кроха успеха, лопнуло последнее звено, которое сдерживало его бесовскую ненависть. И тогда он начал ту безрассудную осаду моей любви и чести, что стала притчей во языцех. Вы спросите меня, почему я принимала столь гнусное ухаживание. Я отвечаю: отклонить его я могла лишь одним способом,— объяснив все мужу, но есть на свете такое, что душе нашей не дано, как телу не дано летать. Никто не мог бы объяснить это моему мужу. Не сможет и сейчас. Если вы всеми словами

скажете ему: «Чемпион хочет украсть у тебя жену», — он сочтет, что шутка грубовата, а что это отнюдь не шутка — такая мысль не найдет доступа в его замечательную голову. И вот сегодня вечером Джон должен был прийти посмотреть наш спектакль, но когда мы уже собрались уходить, он сказал, что не пойдет: у него есть интересная книга и сигара. Я передала его слова сэру Клоду, и для него это был смертельный удар. Маньяк вдруг потерял всякую надежду. Он закололся с воплем, что его убийца Боулнойз. Он лежит там в парке, он погиб от зависти и оттого, что не сумел возбудить зависть, а Джон сидит в столовой и читает книгу.

Снова наступило молчание, потом маленький священник сказал:

— В вашем весьма убедительном рассказе есть одно слабое место, миссис Боулнойз. Ваш муж не сидит сейчас в столовой и не читает книгу. Тот самый американский репортер сказал мне, что был у вас дома и ваш дворецкий объяснил ему, что мистер Боулнойз все-таки отправился в Пендрегон-парк.

Блестящие глаза миссис Боулнойз раскрылись во всю ширь и вспыхнули еще ярче, но то было скорее недоумение, нежели растерянность или страх.

— Как? Что вы хотите сказать? — воскликнула она. — Слуг никого не было дома, они все смотрели представление. И мы, слава богу, не держим дворецкого!

Отец Браун вздрогнул и круто повернулся на одном месте, словно какой-то нелепый волчок.

— Что? Что? — закричал он, словно подброшенный электрическим током. — Послушайте... скажите... ваш муж услышит, если я позвоню в дверь?

— Но теперь уже вернулись слуги, — озадаченно сказала миссис Боулнойз.

— Верно, верно! — живо согласился священник и резво зашагал по тропинке к воротам. Только раз он обернулся и сказал: — Найдите-ка этого янки, не то «Преступление Джона Боулнойза» будет завтра красоваться большими буквами во всех американских газетах.

— Вы не понимаете, — сказала миссис Боулнойз. — Джона это ничуть не взволнует. По-моему, Америка для него пустой звук.

Когда отец Браун подошел к дому с ульем и сонным псом, чистенькая служанка ввела его в столовую, где мистер Боулнойз сидел и читал у лампы под абажуром,— в точности так, как говорила его жена. Тут же стоял графин с портвейном и бокал; и уже с порога священник заметил длинный столбик пепла на его сигаре.

«Он сидит так по меньшей мере полчаса»,— подумал отец Браун. По правде говоря, вид у Боулнойза был такой, словно он сидел не шевелясь с тех самых пор, как со стола убрали обеденную посуду.

— Не вставайте, мистер Боулнойз,— как всегда приветливо и обыденно сказал священник.— Я вас не задержу. Боюсь, я помешал вашим ученым занятиям.

— Нет,— сказал Боулнойз,— я читал «Кровавый палец».

При этих словах он не нахмурился и не улыбнулся, и гость ощутил в нем глубокое и зрелое бесстрашие, которое жена его назвала величием.

Он отложил кровожадный роман в желтой обложке, совсем не думая, как неуместно в его руках бульварное чтиво, даже не пошутил по этому поводу. Джон Боулнойз был рослый, медлительный в движениях, с большой седой, лысеющей головой и крупными, грубоватыми чертами лица. На нем был поношенный и очень старомодный фрак, который открывал лишь узкий треугольник крахмальной рубашки: в этот вечер он явно собирался смотреть свою жену в роли Джульетты.

— Я не стану надолго отрывать вас от «Кровавого пальца» или от иных потрясающих событий,— с улыбкой произнес отец Браун.— Я пришел только спросить вас о преступлении, которое вы совершили сегодня вечером.

Боулнойз смотрел на него спокойно и прямо, но его большой лоб стал наливаясь краской; казалось, он впервые в жизни почувствовал замешательство.

— Я знаю, это было странное преступление,— негромко сказал Браун.— Возможно, более странное, чем убийство... для вас. В маленьких грехах иной раз трудней признаться, чем в больших... но потому-то так важно в них признаваться. Преступ-

ление, которое вы совершили, любая светская дама совершает шесть раз в неделю, и, однако, слова не идут у вас с языка, словно вина ваша чудовищна.

— Чувствуешь себя последним дураком, — медленно выговорил философ.

— Знаю, — согласился его собеседник, — но нам часто приходится выбирать: или чувствовать себя последним дураком, или уж быть им на самом деле.

— Не понимаю толком, почему я так поступил, — продолжал Боулнойз, — но я сидел тут и читал и был счастлив, как школьник в день, свободный от уроков. Так было беззаботно, блаженно... даже не могу передать... сигары под боком... спички под боком... впереди еще четыре выпуска этого самого «Пальца»... это был не просто покой, а совершенное довольство. И вдруг звонок в дверь, и долгую, бесконечно тягостную минуту мне казалось — я не смогу подняться с кресла... буквально физически, мышцы не сработают. Потом с невероятным усилием я встал, потому что знал — слуги все ушли. Отворил парадное и вижу: стоит человечек и уже раскрыл рот — сейчас заговорит, и блокнот раскрыл — сейчас примется записывать. Тут я понял, что это газетчик-янки, я про него совсем забыл. Волосы у него были расчесаны на пробор, и, поверьте, я готов был его убить...

— Понимаю, — сказал отец Браун. — Я его видел.

— Я не стал убийцей, — мягко продолжал автор теории катастроф, — только лжесвидетелем. Я сказал, что я ушел в Пендрегон-парк, и захлопнул дверь у него перед носом. Это и есть мое преступление, отец Браун, и уж не знаю, какое наказание вы на меня наложите.

— Я не стану требовать от вас покаяния, — почти весело сказал священник, явно очень довольный, и взялся за шляпу и зонтик. — Совсем наоборот. Я пришел как раз для того, чтобы избавить вас от небольшого наказания, которое, в противном случае, последовало бы за вашим небольшим проступком.

— Какого же небольшого наказания мне с вашей помощью удалось избежать? — с улыбкой спросил Боулнойз.

— Виселицы, — ответил отец Браун.

ВОЛШЕБНАЯ СКАЗКА ОТЦА БРАУНА

Живописный город-государство Хейлигвальденштейн был одним из тех игрушечных королевств, которые и по сей день составляют часть Германской империи. Он попал под господство Пруссии довольно поздно, лет за пятьдесят до того погожего летнего дня, когда Фламбо и отец Браун оказались в здешнем парке и попивали здешнее пиво. И, как будет ясно из дальнейшего, еще совсем недавно тут не было недостатка ни в войнах, ни в скором суде и расправе. Но при взгляде на город поневоле начинало казаться, будто от него веет детством; в этом самая большая прелесть Германии — этих маленьких, словно из рождественского представления патриархальных монархий, где король кажется таким же привычно домашним, как повар. Немецкие солдаты — часовые у бесчисленных будок странно напоминали немецкие игрушки, а четко вырезанные зубчатые стены замка, позолоченные солнцем, больше всего напоминали золоченый пряник. Ибо денек выдался на редкость солнечный: небо той ярчайшей берлинской лазури, какой и в самом Потсдаме остались бы довольны, а еще вернее — той щедрой густой синевы, какую дети извлекают из грошовой коробочки с красками. Даже деревья со стволами в серых рубцах от старости казались молодыми в уборе все еще розовых остроконечных почек и на фоне ярко-синего неба напоминали бесчисленные детские рисунки.

Несмотря на скучную внешность и по преимуществу прозаический уклад жизни, отец Браун не лишен был романтической жилки, хотя, как многие дети, обычно хранил свои грезы про себя. Среди бодрящих ярких красок этого дня, в этом городе, словно уцелевшем от рыцарских времен, ему и в самом деле казалось, что он попал в волшебную сказку. С чисто детским удовольствием, будто младший братишка, он косился на внушительную трость, своего рода деревянные ножны со шпагой внутри, которой Фламбо размахивал при ходьбе и которая сейчас была прислонена к столу подле высокой кружки с мюнхенским пивом. Больше того, в этом состоянии ленивого легкомыслия отец Браун вдруг поймал себя на том, что даже узловатый неуклюжий на-

балдашник ветхого зонта смутно напоминает ему дубинку великана-людоеда с картинки из детской книжки. Но сам он так ни разу ничего и не сочинил, если не считать истории, которая сейчас будет рассказана.

— Хотел бы я знать,— заметил он,— в таком вот королевстве человек и правда рискует головой, если вдруг подставит ее под удар? Это великолепный фон для истинных приключений, но мне все кажется, что солдаты накинутся на смельчака не с настоящими грозными шпагами, а с картонными мечами.

— Ошибаетесь,— возразил его друг.— Они здесь не только дерутся на настоящих шпагах, но и убивают безо всяких шпаг. А бывает и похуже.

— Да что вы? — спросил отец Браун.

— А вот так-то,— был ответ.— Это, пожалуй, единственное место в Европе, где человека застрелили без огнестрельного оружия.

— Стрелой из лука? — удивился отец Браун.

— Пулей в голову,— ответил Фламбо.— Неужели вы не слышали, что случилось с покойным здешним правителем? Лет двадцать назад это была одна из самых непостижимых полицейских загадок. Вы, разумеется, помните, что во времена самых первых бисмарковских планов объединения город этот был насильственно присоединен к Германской империи — да, насильственно, но отнюдь не с легкостью. Империя (или государство, желавшее стать империей) прислала князя Отто Гроссенмаркского править королевством в ее имперских интересах. Мы видели его портрет в картинной галерее — такой старый господин, был бы даже недурен собой, не будь он лысый, безбровый и весь в морщинах, точно ястреб; но, как вы сейчас узнаете, забот и тревог у него хватало. Он был искусный и заслуженный воин, но с этим городишком хлебнул лиха. В нескольких битвах ему нанесли поражение знаменитые братья Арнольд — три патриота-партизана, которым Суинберн¹ посвятил стихи, вы их, конечно, помните:

Волки в мантиях из горносталя,
Венчанные вороны и короли,—
Пускай их тучи, целая стая,
Но три брата все это снесли.

¹ Суинберн Алджернон Чарльз (1837—1909) — английский поэт.

Или что-то в этом роде. Весьма сомнительно, удалось ли бы захватить это княжество, но один из трех братьев, Пауль, постыдно, зато вполне решительно отказался все это сносить и, выдав все планы восстания, погубил его и тем самым возвысился — получил пост гофмейстера при князе Отто. Людвиг, единственный настоящий герой среди героев Суинберна, пал с мечом в руках при захвате города, а третий, Генрих (он, хоть и не предатель, всегда был в сравнении с воинственными братьями вял и даже робок), нашел себе подобие отшельнической пустыни, начал исповедовать христианский квиетизм, чуть ли не квакерского толка, и перестал общаться с людьми, только прежде отдал беднякам почти все, что имел. Говорят, еще недавно его иногда встречали поблизости, — в черном плаще, почти слепой, седая растрепанная грива, но лицо поразительно кроткое.

— Знаю, — сказал отец Браун. — Я однажды его видел.

Фламбо поглядел на него не без удивления.

— Я не знал, что вы бывали здесь прежде, — сказал он. — Тогда, возможно, вы знаете эту историю не хуже меня. Как бы там ни было, это рассказ об Арнольдах, и он единственный из трех братьев еще жив. Да он пережил и всех остальных действующих лиц этой драмы.

— Так, значит, князь тоже давно умер?

— Умер, — подтвердил Фламбо. — Вот, пожалуй, и все, что тут можно сказать. Понимаете, к концу жизни у него стали пошаливать нервы — такое нередко случается с тиранами. Он все умножал дневную и ночную стражу вокруг замка, так что под конец караульных будок стало, кажется, больше, чем домов в городе, и всех, кто вызывал подозрение, пристреливали на месте. Князь почти все время жил в небольшой комнатке, которая находилась в самой середине огромного лабиринта, состоявшего из бесчисленных комнат, да еще посреди этой каморки велел соорудить подобие каюты или будки, обшитой сталью, точно сейф или военный корабль. Говорят, в этой комнате был тайник под полом, где мог поместиться лишь он один, — словом, он так боялся могилы, что готов был добровольно залезть в такую

же гробовую яму. Но и это еще не все. Предполагалось, что с тех самых пор, как было подавлено восстание, все жители разоружены, но князь Отто настоял (чего правительства обычно не делают) на разоружении полном и безоговорочном. В тесных границах княжества, где им знаком был каждый уголок и закоулок, отлично вымуштрованные люди исполнили свою задачу, — и если сила и наука вообще могут быть в чем-то совершенно уверены, князь Отто был совершенно уверен, что в руки жителей Хейлигвальденштейна не попадет отныне никакое оружие, будь то даже игрушечный пистолет.

— Ни в чем таком наука никогда не может быть уверена, — промолвил отец Браун, все еще глядя на унизанные розовыми почками ветви над головой, — хотя бы из-за сложности определений и неточности нашего словаря. Что есть оружие? Людей убивали самыми невинными предметами домашнего обихода — чайниками уж наверняка, а возможно, и стеганой крышкой для чайника. С другой стороны, если бы показать древнему бритту револьвер, вряд ли бы он понял, что это — оружие (разумеется, пока бы в него не выстрелили). Возможно, у кого-нибудь было наинovelшее огнестрельное оружие, которое вовсе и не походило на огнестрельное оружие. Возможно, оно походило на наперсток, да на что угодно. А пуля была какая-нибудь особенная?

— Ничего такого не слышал, — ответил Фламбо. — Но я знаю далеко не все и только со слов моего старого друга Гримма. Он был очень толковый детектив здесь, в Германии, и пытался меня арестовать, а я взял и арестовал его самого, и мы с ним не раз очень интересно беседовали. Ему тут поручили расследовать убийство князя Отто, но я забыл спросить его насчет пули. По словам Гримма, дело было так.

Фламбо умолк, залпом выпил чуть не полкружки темного легкого пива и продолжал:

— В тот вечер князь как будто должен был выйти из своего убежища — ему предстояло принять посетителей, которых он и вправду хотел видеть. То были знаменитые геологи, их послали разобраться, верно ли, что в окрестных горах скрыто золото, — уверяли, будто именно благодаря этому золоту крохотный город-государство сохранял свое влияние

и успешно торговал с соседями, хоть на него и обрушивались снова и снова армии куда более могучих врагов. Пока еще золота этого не могли обнаружить никакие самые дотошные изыскатели.

— Хотя они ничуть не сомневались, что сумеют обнаружить игрушечный пистолет, — с улыбкой сказал отец Браун. — А как же брат, который стал предателем? Разве ему нечего было рассказать князю?

— Он всегда клялся, что ничего об этом не знает, — отвечал Фламбо, — что это — единственная тайна, в которую братья его не посвятили. Надо сказать, его клятву отчасти подтверждают отрывочные слова, которые произнес великий Людвиг в смертный час. Он посмотрел на Генриха, но указал на Пауля и вымолвил: «Ты ему не сказал...» — но больше уже не в силах был говорить. Итак, князя Отто ждала группа известных геологов и минералогов из Парижа и Берлина, соответственно случаю в полном параде, ибо никто так не любит надевать все свои знаки отличия, как ученые, — это известно всякому, кто хоть раз побывал на званом вечере Королевской академии. Общество собралось блистательное, но уже совсем поздно и не сразу гофмейстер — его портрет вы тоже видели: черные брови, серьезные глаза и бесмысленная улыбка, — так вот, гофмейстер заметил, что на приеме есть все, кроме самого князя. Он обыскал все залы, потом, вспомнив безумные приступы страха, которые нередко овладевали князем, поспешил в его заветное убежище. Там тоже было пусто, но стальную башенку или будку удалось открыть не сразу. Он заглянул в тайник под полом, — как он сам потом рассказывал, эта дыра показалась ему на сей раз глубже, чем обычно, и еще сильнее напомнила могилу. И в эту минуту откуда-то из бесконечных комнат и коридоров донеслись крики и шум.

Сперва это был отдаленный гул толпы, взволнованной каким-то невероятным событием, случившимся, скорее всего, за пределами замка. Потом, пугающе близко, беспорядочные возгласы, такие громкие, что, если бы они не сливались друг с другом, можно было бы разобрать каждое слово. Потом, с ужасающей ясностью, донеслись слова — ближе, ближе, и наконец в комнату ворвался человек и выпалил новость — такие вести всегда кратки.

Отто, князь Хейлигвальденштейна и Гроссенмарка, лежал в густеющих сумерках за пределами замка, в лесу на сырой росистой траве, раскинув руки и обратив лицо к луне. Из простреленного виска и челюсти толчками била кровь, вот и все, что было в нем живого. Он был в парадной бело-желтой форме, одетый для приема гостей, только перевязь, отброшенная, смятая, валялась рядом. Он умер еще прежде, чем его подняли. Но, живой или мертвый, он был загадкой, — он, который всегда прятался в своем потаенном убежище в самом сердце замка, вдруг очутился в сыром лесу, один и без оружия.

— Кто нашел тело? — спросил отец Браун.

— Одна девушка, состоявшая при дворе, Хедвига фон... не помню, как там дальше, — ответил его друг. — Она рвала в лесу цветы.

— И нарвала? — спросил священник, рассеянно глядя на переплеты ветвей над головой.

— Да, — ответил Фламбо. — Я как раз запомнил, что гофмейстер, а может, старина Гримм или кто-то еще говорил, как это было ужасно: они прибежали на ее зов и видят — девушка склонилась над этим... над этими кровавыми останками, а в руках у нее весенние цветы. Но главное — он умер до того, как подоспела помощь, и надо было, разумеется, сообщить эту новость в замок. Она поразила всех безмерным ужасом, еще сильнее, чем поражает обычно придворных падение властелина. Иностранцев гостей, в особенности специалистов горного дела, обуяли растерянность и волнение, так же как и многих прусских чиновников, и вскоре стало ясно, что поиски сокровища занимают в этой истории гораздо более значительное место, чем предполагалось. Геологам и чиновникам были загодя обещаны огромные премии и международные награды, и, услышав о смерти князя, кое-кто даже заявил, что его тайное убежище и усиленная охрана объясняются не страхом перед народом, а секретными изысканиями, поисками...

— А стебли у цветов были длинные? — спросил отец Браун.

Фламбо уставился на него во все глаза.

— Ну и странный же вы человек! — сказал он. — Вот и старина Гримм про это говорил. Он говорил — по его мнению, отвратительней всего, отвратитель-

ней и крови и пули, были эти самые цветы на коротких стеблях, почти что одни сорванные головки.

— Да, конечно, — сказал священник, — когда взрослая девушка рвет цветы, она старается, чтоб стебель был подлинней. А если она срывает одни головки, как маленький ребенок, похоже, что... — Он в нерешительности умолк.

— Ну? — спросил Фламбо.

— Ну, похоже, что она рвала цветы второпях, волнуясь, чтоб было чем оправдать свое присутствие там после... ну, после того, как она уже там была.

— Я знаю, к чему вы клоните, — хмуро сказал Фламбо. — Но это подозрение, как и все прочие, разбивается об одну мелочь — отсутствие оружия. Его могли убить чем угодно, как вы сказали, даже его орденской перевязью, но ведь надо объяснить не только как его убили, но и как застрелили. А вот этого-то мы объяснить не можем. Хедвигу самым безжалостным образом обыскали, — по правде сказать, она вызывала немалые подозрения, хотя ее дядей и опекуном оказался коварный старый гофмейстер Пауль Арнольд. Она была девушка романтичная, поговаривали, что и она сочувствует революционному делу, издавна не угасавшему в их семье. Однако романтика романтикой, а попробуй всади пулю человеку в голову или в челюсть без помощи пистолета или ружья. А пистолета не было, хотя было два выстрела. Вот и разгадайте эту загадку, друг мой.

— Откуда вы знаете, что выстрелов было два? — спросил маленький священник.

— В голову попала только одна пуля, — ответил его собеседник, — но перевязь тоже была пробита пулей.

Безмятежно гладкий лоб отца Брауна вдруг прорезали морщины.

— Вторую пулю нашли? — требовательно спросил он.

Фламбо опешил.

— Что-то не припомню, — сказал он.

— Стойте! Стойте! Стойте! — закричал отец Браун, необычайно удивленный и озабоченный, все сильней морща лоб. — Не считите меня за невежу. Дайте-ка я все это обдумаю.

— Сделайте одолжение, — смеясь, ответил Фламбо и допил пиво.

Легкий ветерок шевелил ветви распускающихся деревьев, гнал белые и розовые облачка, отчего небо казалось еще голубей и все вокруг еще красочней и причудливей. Должно быть, это херувимы летели домой, к окнам своей небесной детской. Самая старая башня замка, Башня Дракона, возвышалась нелепая, точно огромная пивная кружка, и такая же уютная. А за ней насупился лес, в котором тогда лежал убитый.

— Что дальше стало с этой Хедвигой? — спросил наконец священник.

— Она замужем за генералом Шварцем, — ответил Фламбо. — Вы, без сомнения, слышали, он сделал головокружительную карьеру. Он отличился еще до своих подвигов при Садовой и Гравелотте. Он ведь выдвинулся из рядовых, а это очень большая редкость даже в самом крохотном немецком...

Отец Браун вскочил.

— Выдвинулся из рядовых! — воскликнул он и чуть было не присвистнул. — Ну и ну, до чего же странная история! До чего странный способ убить человека... но, пожалуй, никаких других возможностей тут не было. И подумать только, какая ненависть — так долго ждать...

— О чем вы говорите? — перебил Фламбо. — Каким это способом его убили?

— Его убили с помощью перевязи, — сдержанно произнес Браун. И, выслушав протесты Фламбо, продолжал: — Да, да, про пулю я знаю. Наверно, надо сказать так: он умер оттого, что на нем была перевязь. Эти слова не столь привычны для слуха, как, скажем: он умер оттого, что у него был тиф...

— Похоже, у вас в голове шевелится какая-то догадка, — сказал Фламбо, — но как же быть с пулей в голове Отто — ее оттуда не выкинешь. Я ведь вам уже говорил: его с легкостью могли бы задушить. Но его застрелили. Кто? Как?

— Застрелили по его собственному приказу, — сказал священник.

— Вы думаете, это самоубийство?

— Я не сказал «по его воле», — возразил отец Браун. — Я сказал «по его собственному приказу».

— Ну хорошо, как вы это объясняете?

Отец Браун засмеялся.

— Я ведь сейчас на отдыхе, — сказал он. — И никак я это не объясняю. Просто эти места напоминают мне сказку, и, если хотите, я и сам расскажу вам сказку.

Розовые облачка, похожие на помадки, слились и увенчали башни золоченого пряничного замка, а розовые младенческие пальчики почек на деревьях, казалось, растопырились и тянулись к ним изо всех сил; голубое небо уже по-вечернему лиловело, и тут отец Браун вдруг снова заговорил.

— Был мрачный ненастный вечер, с деревьев еще капало после дождя, а траву уже покрывала роса, когда князь Отто Гроссенмаркский поспешно вышел из боковой двери замка и быстрым шагом направился в лес. Один из бесчисленных часовых при виде его взял на караул, но он этого не заметил. Он предпочел бы, чтобы и его сейчас не замечали. Он был рад, когда высокие деревья, серые и уже влажные от дождя, поглотили его, как трясина. Он нарочно выбрал самый глухой уголок своих владений, но даже и здесь было не так глухо и пустынно, как хотелось бы князю. Однако можно было не опасаться, что кто-нибудь не в меру навязчивый или не в меру услужливый последует за ним по пятам, ведь он вышел из замка неожиданно даже для самого себя. Разряженные дипломаты остались в замке, он потерял к ним всякий интерес. Он вдруг понял, что может обойтись без них.

Его главной страстью был не страх смерти (он все же много благороднее), но странная жажда золота. Ради этого легендарного золота он покинул Гроссенмарк и захватил Хейлигвальденштейн. Ради золота и только ради золота он подкупил предателя и зверски убил героя, ради золота упорно и долго допрашивал вероломного гофмейстера, пока наконец не пришел к заключению, что изменник не солгал. Он и в самом деле ничего об этом не знал. Ради того, чтобы заполучить это золото, он уже не раз платил, не слишком, правда, охотно, и обещал заплатить еще, если большая часть его достанется ему; и ради золота сейчас, точно вор, тайно выскользнул из замка под дождь, ибо ему пришла на ум другая возможность завладеть светом очей своих, и завладеть задешево.

Поодаль от замка, в конце петляющей горной тропы, по которой князь держал путь, среди круто вздымающихся вверх, точно колонны, выступов кряжа, нависшего над городом, приютилось убежище отшельника — всего лишь пещера, огороженная колючим кустарником; здесь-то уже долгие годы и скрывался от мира третий из знаменитых братьев. Отчего бы ему и не открыть тайну золота, — думал князь Отто. Давным-давно, еще до того, как сделаться аскетом и отказаться от собственности и всех радостей жизни, он знал, где спрятано сокровище, и, однако, не стал его искать. Правда, они когда-то были врагами, но ведь теперь отшельник в силу веры своей не должен иметь врагов. Можно в чем-то пойти ему навстречу, воззвать к его устоям, и он, пожалуй, откроет тайну, которая касается всего лишь мирского богатства. Несмотря на сеть воинских постов, выставленных по его же приказу, на бесчисленные меры предосторожности, Отто был не трус, и, уж во всяком случае, алчность говорила в нем громче страха. Да и чего, в сущности, бояться? Ведь во всем княжестве ни у кого из жителей наверняка нет оружия, и уж стократ верней, что его нет в тихом горном убежище этого святоши, который питается травами, живет здесь с двумя старыми неотесанными слугами и уже многие годы не слышит человеческого голоса. С какой-то зловещей улыбкой князь Отто посмотрел вниз на освещенный фонарями квадратный лабиринт города. Всюду, насколько хватал глаз, стоят под ружьем его друзья, а у его врагов — ни щепотки пороха. Часовые так близко подступают даже к этой горной тропе, что стоит ему крикнуть — и они кинутся сюда, вверх, не говоря уж о том, что через определенные промежутки времени лес и горный кряж прочесывают патрули; часовые начеку и в отдалении, за рекой, в смутно очерченном лесу, который отсюда кажется просто кустарником — и никакими окольными путями врагу сюда не проникнуть. А вокруг замка часовые стоят и у западных ворот и у восточных, и у северных и у южных, и со всех четырех сторон они цепью окружают замок. Нет, он, Отто, в безопасности.

Это стало ему особенно ясно, когда он поднялся на гребень и увидел, как голо вокруг гнезда его старого врага. Он оказался на маленькой каменной плат-

форме, которая с трех сторон круто обрывалась вниз. Позади чернел вход в пещеру, полускрытый колючим кустарником и совсем низкий, даже не верилось, что туда может войти человек. Впереди — крутой скалистый склон, и за ним, смутно видная в туманной дали, раскинулась долина. На небольшом каменном возвышении стоял старый бронзовый то ли аналой, то ли пюпитр, казалось, он с трудом выдерживает огромную немецкую Библию. Бронза (а может быть, это была медь) позеленела в разреженном горном воздухе, и Отто тотчас подумал: «Даже если тут и были ружья, их давно разъела ржавчина». Луна, всходившая за гребнями и утесами, озарила все вокруг мертвенным светом, дождь перестал.

За аналоем стоял глубокий старик в черном одеянии — оно круто ниспадало с плеч прямыми недвижными складками, точно утесы вокруг, но белые волосы и слабый голос, казалось, одинаково бессильно трепетали на ветру; взгляд его был устремлен куда-то вдаль, поверх долины. Он, видимо, исполнял какой-то ежедневный непреременный обряд.

— «Они полагались на своих коней...»

— Сударь, — с несвойственной ему учтивостью обратился князь к старику, — я хотел бы сказать вам несколько слов.

— «...и на свои колесницы», — чуть внятно продолжал старик, — «а мы полагаемся на господу сил...»

Последние слова совсем нельзя было расслышать; старик благоговейно закрыл книгу, почти слепой, он ощупью отыскал край аналая и ухватился за него. Тотчас же из темного низкого устья пещеры выскользнули двое слуг и поддержали его. Они тоже были в тускло-черных балахонах, но в волосах их не светилось морозное серебро и черты лица не сквала холодная утонченность. То были крестьяне, хорваты или мадьяры с широкими грубыми лицами и туповато мигающими глазами. Впервые князю стало немного не по себе, но мужество и привычное умение изворачиваться не изменили ему.

— Пожалуй, с той ужасной канонады, при которой погиб ваш несчастный брат, мы с вами не встречались, — сказал он.

— Все мои братья умерли, — ответил старик; взгляд

его по-прежнему был устремлен куда-то вдаль, поверх долины. Потом, на миг обратив к Отто изможденное тонкое лицо — белоснежные волосы низко свисали на лоб, точно сосульки, — он прибавил: — Да и сам я тоже мертв.

— Надеюсь, вы поймете, что я пришел сюда не затем, чтобы преследовать вас, точно тень тех страшных раздоров, — сдерживая себя, чуть ли не доверительно заговорил князь. — Не станем обсуждать, кто был тогда прав и кто виноват, но в одном, по крайней мере, мы всегда были правы, потому что в этом вы никогда не были повинны. Какова бы ни была политика вашей семьи, никому никогда не приходило в голову, что вами движет всего лишь жажда золота. Ваше поведение поставило вас вне подозрений, будто...

Старик в строгом черном облачении смотрел на князя слезящимися голубыми глазами, и в лице его была какая-то бессильная мудрость. Но при слове «золото» он вытянул руку, словно что-то отстраняя, и отвернулся к горам.

— Он говорит о золоте, — вымолвил старик. — Он говорит о запретном. Пусть умолкнет.

Отто страдал извечной истинно прусской слабостью: он воображал, что успех — не случайность, а врожденный дар. Он твердо верил, что он и ему подобные рождены побеждать народы, рожденные покоряться. А потому чувство изумления было ему незнакомо, и то, что произошло дальше, застигло его врасплох. Он хотел было возразить отшельнику, и не смог произнести ни слова — что-то мягкое вдруг закрыло ему рот и накрепко, точно жгутом, стянуло голову. Прошло добрых сорок секунд, прежде чем он сообразил, что сделали это слуги-венгры, и притом его же собственной перевязью.

Старик снова неуверенными шагами подошел к огромной Библии, покоящейся на бронзовой подставке, с каким-то ужасающим терпением принялся медленно переворачивать страницы, пока не дошел до Послания Иакова, и стал читать:

— «... так и язык небольшой член, но...»

Что-то в его голосе заставило князя вдруг повернуться и кинуться вниз по тропе. Лишь на полпути к парку, окружавшему замок, впервые попы-

тался он сорвать перевязь, что стягивала шею и челюсти. Попытался раз, другой, третий, но тщетно: те, кто заткнул ему рот, знали, что одно дело развязывать узел, когда он у тебя перед глазами, и совсем другое — когда он на затылке. Ноги Отто были свободны — прыгай по горам, как антилопа, руки свободны — маши, подавай любой сигнал, а вот сказать он не мог ни слова. Дьявол бесновался в его душе, но он был нем.

Он уже совсем близко подошел к парку, обступавшему замок, и только тогда окончательно понял, к чему его приведет бессловесность и к чему его с умыслом привели. Мрачно посмотрел он на яркий, освещенный фонарями лабиринт города внизу и теперь уже не улыбнулся. С убийственной насмешкой вспомнил он все, что недавно говорил себе совсем в ином настроении. Далеко, насколько хватал глаз, — ружья его друзей, и каждый пристрелит его на месте, если он не отзовется на оклик. Ружей так много, и они так близко, лес и горный кряж неустанно прочесывают днем и ночью, а потому в лесу не спрячешься до утра. Часовые и на таких дальних подступах, что враг не может ни с какой стороны обойти их и проникнуть в город, а потому нет надежды пробраться в город издалека, в обход. Стоит только закричать — и его солдаты кинутся к нему на помощь. Но закричать он не может.

Луна поднялась выше и засияла серебром, и ночное небо ярко синело, прочерченное черными стволами сосен, обступавших замок. Какие-то цветы, широко распластанные, с перистыми лепестками, и засветились и словно вылиняли в лунном сиянии — никогда прежде он ничего подобного не замечал, — и эти цветы, что теснились к стволам деревьев, словно обвивали их вокруг корней, казались ему пугающе неправдоподобными. Быть может, злая неволя, внезапно завладевшая им, помрачила его рассудок, но в лесу этом ему всюду чудилось что-то бесконечно немецкое — волшебная сказка. Ему чудилось, будто он приближается к замку людоеда — он забыл, что людоед — владелец замка — это он сам. Вспомнилось, как в детстве он спрашивал мать, водятся ли в старом парке при их родовом замке медведи. Он наклонился, чтобы сорвать цветок, словно надеялся этим талисма-

ном защититься от колдовства. Стебель оказался крепче, чем он думал, и сломался с легким треском. Отто хотел было осторожно засунуть цветок за перевязь на груди — и тут раздался оклик:

— Кто идет?

И тогда Отто вспомнил, что перевязь у него не там, где ей положено быть.

Он пытался крикнуть — и не мог. Последовал второй оклик, а за ним выстрел — пуля взвизгнула и, ударившись в цель, смолкла. Отто Гроссенмаркский мирно лежал среди сказочных деревьев — теперь он уже не натворит зла ни золотом, ни сталью; а серебряный карандаш луны выхватывал и очерчивал тут и там то замысловатые украшения на его мундире, то глубокие морщины на лбу. Да помилует господь его душу.

Часовой, который стрелял согласно строжайшему приказу по гарнизону, понятно, кинулся отыскивать свою жертву. Это был рядовой по фамилии Шварц, позднее ставший среди военного сословия личностью небезызвестной, и нашел он лысого человека в воинском мундире, чье лицо, туго обмотанное его же перевязью, было точно в маске — виднелись только раскрытые мертвые глаза, холодно поблескивавшие в лунном свете. Пуля прошла через перевязь, стягивающую челюсть, вот почему в ней тоже осталось отверстие, хотя выстрел был всего один. Повинуясь естественному побуждению, хотя так поступать и не следовало, молодой Шварц сорвал загадочную шелковую маску и отбросил на траву; и тогда он увидел, кого убил.

Как события развивались дальше, сказать трудно. Но я склонен верить, что в этом небольшом лесу и вправду творилась сказка, — как ни ужасен был случай, который положил ей начало. Был ли девушке по имени Хедвига еще прежде знаком солдат, которого она спасла и за которого после вышла замуж, или она ненароком оказалась на месте происшествия и знакомство их завязалось в ту ночь, — этого мы, вероятно, никогда не узнаем. Но мне кажется, что эта Хедвига — героиня и она заслуженно стала женой человека, который сделался в некотором роде героем. Она поступила смело и мудро. Она уговорила часового вернуться на свой

пост, где уже ничто не будет связывать его со случившимся: он окажется лишь одним из самых верных и дисциплинированных среди полусотни часовых, стоящих поблизости. Она же осталась подле тела и подняла тревогу, и ее тоже ничто не могло связывать с несчастьем, так как у нее не было и не могло быть никакого огнестрельного оружия.

— Ну и, надеюсь, они счастливы, — сказал отец Браун, весело поднимаясь.

— Куда вы? — спросил Фламбо.

— Хочу еще разок взглянуть на портрет гофмейстера, того самого, который предал своих братьев, — ответил священник. — Интересно, в какой мере... интересно, если человек предал дважды, стал ли он от этого меньше предателем?

И он долго размышлял перед портретом седоватого чернобрового старика с любезнейшей, будто наклеенной улыбкой, которую словно оспаривал недобрый, предостерегающий взгляд.

Из сборника
«НЕДОВЕРЧИВОСТЬ ОТЦА БРАУНА»





НЕБЕСНАЯ СТРЕЛА

Боюсь, не меньше ста детективных историй начнутся с того, что кто-то обнаружил труп убитого американского миллионера,— обстоятельство, которое почему-то повергает всех в невероятное волнение. Счастлив, кстати, сообщить, что и наша история начинается с убитого миллионера, а если говорить точнее, с целых трех, что даже можно счесть *embarras de richesse*¹. Но именно это совпадение или, может быть, постоянство в выборе объекта и выделили дело из разряда банальных уголовных случаев, превратив в проблему чрезвычайной сложности.

Не вдаваясь в подробности, молва утверждала, что все трое пали жертвой проклятия, тяготеющего над владельцами некой ценной исторической реликвии, ценность которой была, впрочем, не только исторической. Реликвия эта представляла собой нечто вроде украшенного драгоценными камнями кубка, известного под названием «коптская чаша». Никто не знал, как она оказалась в Америке, но полагали, что прежде она принадлежала к церковной утвари. Кое-кто приписывал судьбу ее владельцев фанатизму какого-то восточного христианина, удрученного тем, что священная чаша попала в столь материалистические руки. О таинственном убийце, который, возможно, был совсем даже и не фанатик, ходило много слухов и часто писали газеты. Безымянное это создание обзавелось именем, вернее, кличкой. Впрочем, мы начнем рассказ лишь с третьего убийства, так как лишь тогда на сцене появился некий священник Браун, герой этих очерков.

Сойдя с палубы атлантического лайнера и ступив на американскую землю, отец Браун, как многие англичане, приезжавшие в Штаты, с удивлением об-

¹ Излишняя роскошь (франц.).

наружил, что он знаменитость. Его малорослую фигуру, его малопримечательное близорукое лицо, его порядком порыжевшую сутану на родине никто бы не назвал необычными, разве что необычайно заурядными. Но в Америке умеют создать человеку славу; участие Брауна в распутывании двух-трех любопытных уголовных дел и его старинное знакомство с экс-преступником и сыщиком Фламбо создали ему в Америке известность, в то время как в Англии о нем лишь просто кое-кто слышал. С недоумением смотрел он на репортеров, которые, будто разбойники, напали на него со всех сторон уже на пристани и стали задавать ему вопросы о вещах, в которых он никак не мог считать себя авторитетом, например, о дамских модах и о статистике преступлений в стране, где он еще и нескольких шагов не сделал. Возможно, по контрасту с черным, плотно сомкнувшимся вокруг него кольцом репортеров, отцу Брауну бросилась в глаза стоявшая чуть поодаль фигура, которая также выделялась своей чернотой на нарядной, освещенной ярким летним солнцем набережной, но пребывала в полном одиночестве,—высокий, с желтоватым лицом человек в больших диковинных очках. Дождавшись, когда репортеры отпустили отца Брауна, он жестом остановил его и сказал:

— Простите, не ищите ли вы капитана Уэйна?

Отец Браун заслуживал некоторого извинения, тем более что сам он остро чувствовал свою вину. Вспомним: он впервые увидел Америку, главное же — впервые видел такие очки, ибо мода на очки в массивной черепаховой оправе еще не дошла до Англии. В первый момент у него возникло ощущение, будто он смотрит на пучеглазое морское чудище, чья голова чем-то напоминает водолазный шлем. Вообще же незнакомец одет был щегольски, и простодушный Браун подивился, как мог такой щеголь изуродовать себя нелепыми огромными очками. Это было все равно, как если бы какой-то денди для большей элегантности привинтил себе деревянную ногу. Поставил его в тупик и предложенный незнакомцем вопрос. В длинном списке лиц, которых Браун надеялся повидать в Америке, и в самом деле значился некий Уэйн, американский авиатор, друг живущих

во Франции друзей отца Брауна; но он никак не ожидал, что этот Уэйн встретится ему так скоро.

— Прошу прощения, — сказал он неуверенно, — так это вы капитан Уэйн? Вы... вы его знаете?

— Что я не капитан Уэйн, я могу утверждать довольно смело, — невозмутимо отозвался человек в очках. — Я почти не сомневался в этом, оставляя его в автомобиле, где он сейчас вас дожидается. На ваш второй вопрос ответить сложнее. Я полагаю, что я знаю Уэйна, его дядюшку и, кроме того, старика Мертона. Я старика Мертона знаю, но старик Мертон не знает меня. Он видит в этом свое преимущество, я же полагаю, что преимущество — за мной. Вы поняли меня?

Отец Браун понял его не совсем. Он, помаргивая, глянул на сверкающую гладь моря, на верхушки небоскребов, затем перевел взгляд на незнакомца. Нет, не только потому, что он прятал глаза за очками, лицо его выглядело столь непроницаемым. Было в этом желтоватом лице что-то азиатское, даже монгольское; смысл его речей, казалось, наглухо был скрыт за сплошными пластами иронии. Среди общительных и добродушных жителей этой страны нет-нет да встретится подобный тип — непроницаемый американец.

— Мое имя — Дрейдж, — сказал он, — Норман Дрейдж, и я американский гражданин, что все объясняет. По крайней мере, остальное, я надеюсь, объяснит мой друг Уэйн; так что не будем нынче праздновать четвертое июля¹.

Ошеломленный, Браун позволил новому знакомцу увлечь себя к находившемуся неподалеку автомобилю, где сидел молодой человек с желтыми всклокоченными волосами и встревоженным осунувшимся лицом. Он издала приветствовал отца Брауна и представился: Питер Уэйн. Браун не успел опомниться, как его втолкнули в автомобиль, который, быстро промчавшись по улицам, выехал за город. Не привыкший к стремительной деловитости американцев, Браун чувствовал себя примерно так, словно его влекли в волшебную страну в запряженной драконами колеснице. И как ни трудно ему было сосредото-

¹ 4 июля — День независимости Америки.

точиться, именно здесь ему пришлось впервые выслушать в пространном изложении Уэйна, которое Дрейдж иногда прерывал отрывистыми фразами, историю о коптской чаше и о связанных с ней двух убийствах.

Как он понял, дядя Уэйна, некто Крейк, имел компаньона по фамилии Мертон, и этот Мертон был третьим по счету богатым дельцом, в чьи руки попала коптская чаша. Когда-то первый из них, Титус П. Трэнт, медный король, стал получать угрожающие письма от неизвестного, подписывавшегося Дэниел Рок. Имя, несомненно, было вымышленным, но его носитель быстро прославился, хотя доброй славы и не приобрел. Робин Гуд и Джек Потрошитель вместе не были бы более знамениты, чем этот автор угрожающих писем, не собиравшийся, как вскоре стало ясно, ограничиться угрозами. Все закончилось тем, что однажды утром старика Трэнта нашли в его парке у пруда, головой в воде, а убийца бесследно исчез. По счастью, чаша хранилась в сейфе банка и вместе с прочим имуществом перешла к кузену покойного, Брайану Хордеру, тоже очень богатому человеку, также вскоре подвергшемуся угрозам безымянного врага. Труп Брайана Хордера нашли у подножья скалы, неподалеку от его приморской виллы, дом же был ограблен, и на сей раз — очень основательно. И хотя чаша не досталась грабителю, он похитил у Хордера столько ценных бумаг, что дела последнего оказались в самом плачевном состоянии.

— Вдове Брайана Хордера, — рассказывал дальше Уэйн, — пришлось продать почти все ценности. Наверно, именно тогда Брандер Мертон и приобрел знаменитую чашу. Во всяком случае, когда мы познакомились, она уже находилась у него. Но, как вы сами понимаете, быть ее владельцем довольно обременительная привилегия.

— Мистер Мертон тоже получает угрожающие письма? — спросил отец Браун, помолчав.

— Думаю, что да, — сказал мистер Дрейдж, и что-то в его голосе заставило священника взглянуть на него повнимательнее: Дрейдж беззвучно смеялся, да так, что у священника побежали по коже мурашки.

— Я почти не сомневаюсь, что он получал такие письма, — нахмурившись, сказал Питер Уэйн. — Я сам их не читал: его почту просматривает только секретарь, и то не полностью, поскольку Мертон, как все богачи, привык держать свои дела в секрете. Но я видел, как он однажды рассердился и огорчился, получив какие-то письма; он, кстати, сразу же порвал их, так что и секретарь их не видел. Секретарь тоже обеспокоен; по его словам, старика кто-то преследует. Короче, мы будем очень признательны тому, кто хоть немного нам поможет во всем этом разобраться. А поскольку ваш талант, отец Браун, всем известен, секретарь просил меня безотлагательно пригласить вас в дом Мертона.

— Ах, вот что, — сказал отец Браун, который наконец-то начал понимать, куда и зачем его тащат. — Но я, право, не представляю, чем могу вам помочь. Вы ведь все время здесь, и у вас в сто раз больше данных для научного вывода, чем у случайного посетителя.

— Да, — сухо заметил мистер Дрейдж, — наши выводы весьма научны, слишком научны, чтобы поверить в них. Сразить такого человека, как Титус П. Трэнт, могла только небесная кара, и научные объяснения тут ни при чем. Как говорится, гром с ясного неба.

— Неужели вы имеете в виду вмешательство потусторонних сил! — воскликнул Уэйн.

Но не так-то просто было угадать, что имеет в виду Дрейдж; впрочем, если б он сказал о ком-нибудь: «тонкая штучка», — можно было бы почти наверняка предположить, что это значит «дурак». Мистер Дрейдж хранил молчание, непроницаемый и неподвижный, как истый азиат; вскоре автомобиль остановился, видимо, прибыв к месту назначения, и перед ними открылась странная картина. Дорога, которая до этого шла среди редко растущих деревьев, внезапно вывела их на широкую равнину, и они увидели сооружение, состоявшее лишь из одной стены; образуя круг вроде защитного вала в военном лагере римлян, постройка чем-то напоминала аэродром. На вид ограда не была похожа на деревянную или каменную и при ближайшем рассмотрении оказалась металлической.

Все вышли из автомобиля и после некоторых манипуляций, подобных тем, что производятся при открывании сейфа, в стене тихонько отворилась дверца. К немалому удивлению Брауна, человек по имени Норман Дрейдж не проявил желания войти.

— Нет уж, — заявил он с мрачной игривостью. — Боюсь, старик Мертон не выдержит такой радости. Он так любит меня, что, чего доброго, еще умрет от счастья.

И он решительно зашагал прочь, а отец Браун, удивляясь все больше и больше, прошел в стальную дверцу, которая тут же за ним защелкнулась. Он увидел обширный, ухоженный парк, радовавший взгляд веселым разнообразием красок, но совершенно лишенный деревьев, высоких кустов и высоких цветов. В центре парка возвышался дом, красивый и своеобразный, но так сильно вытянутый вверх, что скорее походил на башню. Яркие солнечные блики играли там и сям на стеклах расположенных под самой крышей окон, но в нижней части дома окон, очевидно, не было. Все вокруг сверкало безупречной чистотой, казалось, присущей самому воздуху Америки, на редкость ясному. Пройдя через портал, они увидели блиставшие яркими красками мрамор, металлы, эмаль, но ничего похожего на лестницу. Только в самом центре находилась заключенная в толстые стены шахта лифта. Доступ к ней преграждали могучего вида мужчины, похожие на полисменов в штатском.

— Довольно фундаментальная система охраны, не спорю, — сказал Уэйн. — Вам, возможно, немного смешно, что Мертон живет в такой крепости, — в парке нет ни единого дерева, за которым кто-то мог бы спрятаться. Но вы не знаете этой страны, здесь можно ожидать всего. К тому же вы, наверное, себе не представляете, что за величина Брандер Мертон. На вид он скромный, тихий человек, такого встретишь на улице — не заметишь; впрочем, встретить его на улице теперь довольно мудрено: если он когда и выезжает, то в закрытом автомобиле. Но если что-то с ним случится, волна землетрясений встряхнет весь мир от тихоокеанских островов до Аляски. Едва ли был когда-либо император или король, который обладал бы такой властью над народами.

А ведь, сознайтесь, если бы вас пригласили в гости к царю или английскому королю, вы пошли бы из любопытства. Как бы вы ни относились к миллионерам и царям, человек, имеющий такую власть, не может не быть интересен. Надеюсь, ваши принципы не препятствуют вам посещать современных императоров, вроде Мертонса.

— Никоим образом, — невозмутимо отозвался отец Браун. — Мой долг — навещать узников и всех несчастных, томящихся в заключении.

Молодой человек нахмурился и промолчал; на его худом лице мелькнуло странное, не очень-то приветливое выражение. Потом он вдруг сказал:

— Кроме того, не забывайте, что Мертонса преследует не просто мелкий жулик или какая-то там «Черная рука». Этот Дэниел Рок — сущий дьявол. Помните, как он прикончил Трэнта в его же парке, а Хордера — возле самого дома, и оба раза ускользнул.

Стены верхнего этажа были невероятно толсты и массивны, комнат же имелось только две: прихожая и кабинет великого миллионера. В тот момент, когда Браун и Уэйн входили в прихожую, из дверей второй комнаты показались два других посетителя. Одного из них Уэйн назвал дядей; это был невысокий, но весьма крепкий и энергичный человек, с бритой головой, которая казалась лысой, и до того темным лицом, что оно, казалось, никогда не было белым. Это был прославившийся в войнах с краснокожими старик Крейк, обычно именуемый Гикори Крейком, в память еще более знаменитого старика Гикори ¹. Совсем иного типа господин был его спутник — выложенный, верткий, с черными, как бы лакированными волосами и с моноклем на широкой черной ленте — Бернард Блейк, поверенный старика Мертонса, приглашенный компаньонами на деловое совещание. Четверо мужчин, из которых двое почтительно приблизились к святой святым, а двое других столь же почтительно оттуда удалялись, встретившись посреди комнаты, вступили между собой в непродолжительный учтивый разговор. А за всеми этими прибли-

¹ Старик Гикори — прозвище генерала Эндрю Джексона (1767—1845), президента США с 1829 по 1837 г. (Г и к о р и — ореховое дерево).

жениями и удалениями из глубины полутемной прихожей, которую освещало только внутреннее окно, наблюдал плотный человек с лицом негроида и широченными плечами. Таких, как он, шутники-американцы именуют злыми дядями, друзья называют телохранителями, а враги — наемными убийцами.

Он сидел, не двигаясь, у двери кабинета и даже бровью не повел при их появлении. Зато Уэйн, увидев его, всполошился.

— Что, разве хозяин там один? — спросил он.

— Успокойся, Питер, — со смешком ответил Крейк. — С ним его секретарь Уилтон. Надеюсь, этого вполне достаточно. Уилтон стоит двадцати телохранителей. Он так бдителен, что, наверно, никогда не спит. Очень добросовестный малый, к тому же быстрый и бесшумный, как индеец.

— Ну, по этой части вы знаток, — сказал племянник. — Помню, еще в детстве, когда я увлекался книгами об индейцах, вы обучали меня разным приемам краснокожих. Правда, в этих моих книгах индейцам всегда приходилось худо.

— Зато в жизни — не всегда, — угрюмо сказал старый солдат.

— В самом деле? — любезно осведомился мистер Блейк. — Разве они могли противостоят нашему огнестрельному оружию?

— Я видел, как, вооруженный только маленьким ножом, индеец, в которого целились из сотни ружей, убил стоявшего на крепостной стене белого, — сказал Крейк.

— Убил ножом? Но как? — спросил Блейк.

— Он его бросил, — ответил Крейк. — Метнул прежде, чем в него успели выстрелить. Какой-то новый, незнакомый мне прием.

— Надеюсь, вы с ним так и не познакомились, — смеясь, сказал племянник Крейка.

— Мне кажется, — задумчиво проговорил отец Браун, — из этой истории можно извлечь мораль.

Пока они так разговаривали, из смежной комнаты вышел и остановился чуть поодаль секретарь Мертона мистер Уилтон, светловолосый, бледный человек с квадратным подбородком и немигающими собачьими глазами; в нем и вправду было что-то от сторожевого пса.

Он произнес одну лишь фразу: «Мистер Мертон примет вас через десять минут», — но все тут же стали расходиться. Старик Крейк сказал, что ему пора, племянник вышел вместе с ним и адвокатом, и Браун на какое-то время остался наедине с секретарем, поскольку едва ли можно было считать человеческим или хотя бы одушевленным существом верзилу-негроида, который, повернувшись к ним спиной, неподвижно сидел, вперив взгляд в дверь хозяйского кабинета.

— Предосторожностей хоть отбавляй, — сказал секретарь. — Вы, наверно, уже слышали о Дэниеле Роке и знаете, как опасно оставлять хозяина надолго одного.

— Но ведь сейчас он остался один? — спросил Браун.

Секретарь взглянул на него сумрачными серыми глазами.

— Всего на пятнадцать минут, — ответил он. — Только четверть часа в сутки он проводит в полном одиночестве; он сам этого потребовал, и не без причины.

— Что же это за причина? — полюбопытствовал гость.

Глаза секретаря глядели так же пристально, не мигая, но суровая складка у рта стала жесткой.

— Коптская чаша, — сказал он. — Вы, может быть, о ней забыли. Но хозяин не забывает, он ни о чем не забывает. Он не доверяет ее никому из нас. Он где-то прячет ее в комнате, но где и как — мы не знаем, и достает ее, лишь когда остается один. Вот почему нам приходится рисковать те пятнадцать минут, пока он молится там на свою святыню; думаю, других святынь у него нет. Риск, впрочем, невелик, я здесь устроил такую ловушку, что и сам дьявол не проберется в нее, а верней — из нее не выберется. Если этот чертов Рок пожалует к нам в гости, ему придется тут задержаться. Все эти четверть часа я сижу как на иголках и если услышу выстрел или шум борьбы, я нажму на эту кнопку, и металлическая стена парка окажется под током, смертельным для каждого, кто попытается через нее перелезть. Да выстрела и не будет; эта дверь — единственный вход в комнату; а окно, возле которого сидит хозяин,

тоже единственное, и карабкаться к нему пришлось бы на самый верх башни по стене, гладкой, как смазанный жиром шест. К тому же все мы, конечно, вооружены, и даже если Рок проберется в комнату, живым он отсюда не выйдет.

Отец Браун помаргивал, разглядывая ковер. Затем, вдруг как-то встрепенувшись, он повернулся к Уилтону.

— Надеюсь, вы не обидитесь. У меня только что мелькнула одна мысль. Насчет вас.

— В самом деле? — отозвался Уилтон. — Что же это за мысль?

— Мне кажется, вы человек, одержимый одним стремлением, — сказал отец Браун. — Простите за откровенность, но, по-моему, вы больше хотите поймать Дэниела Рока, чем спасти Брандера Мертона.

Уилтон слегка вздрогнул, продолжая пристально глядеть на Брауна; потом его жесткий рот искривила странная улыбка.

— Как вы об этом... почему вы так решили? — спросил он.

— Вы сказали, что, едва услышав выстрел, тут же включите ток, который убьет беглеца, — произнес священник. — Вы, наверное, понимаете, что выстрел лишит жизни вашего хозяина прежде, чем ток лишит жизни его врага. Не думаю, что, если бы это зависело от вас, вы не стали бы защищать мистера Мертона, но впечатление такое, что для вас это вопрос второстепенный. Предосторожностей хоть отбавляй, как вы сказали, и, кажется, все они изобретены вами. Но изобрели вы их, по-моему, прежде всего для того, чтобы поймать убийцу, а не спасти его жертву.

— Отец Браун, — негромко заговорил секретарь. — Вы умны и проницательны, но, главное, у вас какой-то дар — вы располагаете к откровенности. К тому же, вероятно, вы и сами об этом вскоре услышите. Тут у нас все шутят, что я маньяк, и поимка этого преступника — мой пунктик. Возможно, так оно и есть. Но вам я скажу то, чего никто из них не знает. Мое имя — Джон Уилтон Хордер.

Отец Браун кивнул, словно подтверждая, что уж теперь-то ему все стало ясно, но секретарь продолжал:

— Этот субъект, который называет себя Роком, убил моего отца и дядю и разорил мою мать. Когда

Мертону понадобился секретарь, я поступил к нему на службу, рассудив, что там, где находится чаша, рано или поздно появится и преступник. Но я не знал, кто он, я лишь его подстерегал. Я служил Мер-тону верой и правдой.

— Понимаю, — мягко сказал отец Браун. — Кстати, не пора ли нам к нему войти?

— Да, конечно, — ответил Уилтон и снова чуть вздрогнул, как бы пробуждаясь от задумчивости; священник решил, что им на время снова завладела его мания. — Входите же, прошу вас.

Отец Браун не мешкая прошел во вторую комнату. Гость и хозяин не поздоровались друг с другом — в кабинете царила мертвая тишина; спустя мгновение священник снова появился на пороге.

В тот же момент встрепенулся сидевший у двери молчаливый телохранитель; впечатление было такое, будто ожил шкаф или буфет. Казалось, самая поза священника выражала тревогу. Свет падал на его голову сзади, и лицо было в тени.

— Мне кажется, вам следует нажать на вашу кнопку, — сказал он со вздохом.

Уилтон вскочил, очнувшись от своих мрачных размышлений.

— Но ведь выстрела же не было, — воскликнул он срывающимся голосом.

— Это, знаете ли, зависит от того, — ответил отец Браун, — что понимать под словом «выстрел».

Уилтон бросился к двери и вместе с Брауном вбежал во вторую комнату. Она была сравнительно невелика и изящно, но просто обставлена. Прямо против двери находилось большое окно, из которого открывался вид на парк и поросшую редким лесом равнину. Окно было распахнуто, возле него стояло кресло и маленький столик. Должно быть, наслаждаясь краткими мгновениями одиночества, узник стремился насладиться заодно и воздухом и светом.

На столике стояла коптская чаша; владелец поставил ее поближе к окну явно для того, чтобы рассмотреть получше. А посмотреть было на что — в сильном и ярком солнечном свете драгоценные камни горели многоцветными огоньками, и чаша казалась подобием Грааля. Посмотреть на нее, несомненно, стоило, но Брандер Мертон на нее не смотрел. Го-

лова его запрокинулась на спинку кресла, густая грива седых волос почти касалась пола, остроконечная бородка с проседью торчала вверх, как бы указывая в потолок, а из горла торчала длинная коричневая стрела с красным оперением.

— Беззвучный выстрел,— тихо сказал отец Браун.— Я как раз недавно размышлял об этом новом изобретении — духовом ружье. Лук же и стрелы изобретены очень давно, а шума производят не больше.— Помолчав, он добавил: — Боюсь, он умер. Что вы собираетесь предпринять?

Бледный как мел секретарь усилием воли взял себя в руки.

— Как что? Нажму кнопку,— сказал он.— И если я не прикончу Рока, разыщу его, куда бы он ни сбежал.

— Смотрите, не прикончите своих друзей,— заметил Браун.— Они, наверное, неподалеку. По-моему, их следует предупредить.

— Да нет, они отлично все знают,— ответил Уилтон,— и не ползут через стену. Разве что кто-то из них... очень спешит.

Стец Браун подошел к окну и выглянул из него. Плоские клумбы парка расстилались далеко внизу, как разрисованная нежными красками карта мира. Вокруг было так пустынно, башня устремлялась в небо так высоко, что ему невольно вспомнилась недавно услышанная странная фраза.

— Как гром с ясного неба,— сказал он.— Что это сегодня говорили о громе с ясного неба и о каре небесной? Взгляните, какая высота; поразительно, что стрела могла преодолеть такое расстояние, если только она не пущена с неба.

Уилтон ничего не ответил, и священник продолжал, как бы разговаривая сам с собой.

— Не с самолета ли... Надо будет расспросить молодого Уэйна о самолетах.

— Их тут много летает,— сказал секретарь.

— Очень древнее или же очень современное оружие,— заметил отец Браун.— Дядюшка молодого Уэйна, я полагаю, тоже мог бы нам помочь; надо будет расспросить его о стрелах. Стрела похожа на индейскую. Уж не знаю, откуда этот индеец ее пустил, но вспомните историю, которую нам рассказал

старик. Я еще тогда заметил, что из нее можно извлечь мораль.

— Если и можно, — с жаром возразил Уилтон, — то суть ее лишь в том, что индеец способен пустить стрелу так далеко, как вам и не снилось. Глупо сравнивать эти два случая.

— Я думаю, мораль здесь несколько иная, — сказал отец Браун.

Хотя уже на следующий день священник как бы растворился среди миллионов ньюйоркцев и, по-видимому, не пытался выделиться из ряда безымянных номерков, населяющих номерованные нью-йоркские улицы, в действительности он полмесяца упорно, но незаметно трудился над поставленной перед ним задачей. Браун боялся, что правосудие покарает невинного. Он легко нашел случай переговорить с двумя-тремя людьми, связанными с таинственным убийством, не показывая, что они интересуют его больше остальных. Особенно занимательной и любопытной была его беседа со старым Гикори Крейком. Состоялась она на скамье в Центральном парке. Ветеран сидел, упершись худым подбородком в костлявые кулаки, сжимавшие причудливый набалдашник трости из темно-красного дерева, похожей на томагавк.

— Да, стреляли, должно быть, издали, — покачивая головой, говорил Крейк, — но вряд ли можно так уж точно определить дальность полета индейской стрелы. Я помню случаи, когда стрела пролетала поразительно большое расстояние и попадала в цель точнее пули. Правда, в наше время трудно встретить вооруженного луком и стрелами индейца, а в наших краях и индейцев-то нет. Но если бы кто-нибудь из старых стрелков-индейцев вдруг оказался возле мертоновского дома и притаился с луком ярдах в трехстах от стены... я думаю, он сумел бы послать стрелу через стену и попасть в Мертона. В старое время мне случалось видеть и не такие чудеса.

— Я не сомневаюсь, — вежливо сказал священник, — что чудеса вам приходилось не только видеть, но и творить.

Старик Крейк хмыкнул.

— Что уж там ворошить старое, — помолчав, отрывисто буркнул он.

— Некоторым нравится ворошить старое,— сказал Браун. — Надеюсь, в вашем прошлом не было ничего такого, что дало бы повод для кривотолков в связи с этой историей.

— Как вас понять? — рявкнул Крейк и грозно повел глазами, впервые шевельнувшимися на его красном, деревянном лице, чем-то напоминавшем рукоятку томагавка.

— Вы так хорошо знакомы со всеми приемами и уловками краснокожих,— медленно начал Браун.

Крейк, который до сих пор сидел, ссутулившись, чуть ли не съездившись, уткнувшись подбородком в свою причудливую трость, вдруг вскочил, сжимая ее, как дубинку,— ни дать ни взять, готовый ввязаться в драку бандит.

— Что? — спросил он хрипло.— Что за чертовщина? Вы смаете намекать, что я убил своего зятя?

Люди, сидевшие на скамейках, с любопытством наблюдали за спором низкорослого лысого крепыша, размахивающего диковинной палицей, и маленького человечка в черной сутане, застывшего в полной неподвижности, если не считать слегка помаргивающих глаз. Был момент, когда казалось, что воинственный крепыш с истинно индейской решительностью и хваткой уложит противника ударом по голове; и вдали уже замаячила внушительная фигура ирландца-полисмена. Но священник лишь спокойно сказал, словно отвечая на самый обычный вопрос:

— Я пришел к некоторым выводам, но не считаю необходимым ссылаться на них прежде, чем смогу объяснить все до конца.

Шаги ли приближающегося полисмена или взгляд священника утихомирили старого Гикори, но он сунул трость под мышку и, ворча, снова нахлобучил шляпу. Безмятежно пожелав ему всего наилучшего, священник не спеша вышел из парка и направился в некий отель, в общей гостиной которого он рассчитывал застать Уэйна. Молодой человек радостно вскочил, приветствуя Брауна. Он выглядел еще более измотанным, чем прежде; казалось, его гнетет какая-то тревога; к тому же у Брауна возникло подозрение, что совсем недавно его юный друг пытался нарушить— увы, с несомненным успехом — последнюю поправ-

ку к американской конституции¹. Но Уэйн сразу оживился, как только речь зашла о его любимом деле. Отец Браун как бы невзначай спросил, часто ли летают над домом Мертона самолеты, и добавил, что, увидев круглую стену, сперва принял ее за аэродром.

— А при вас разве не пролетали самолеты? — спросил капитан Уэйн. — Иногда они роятся там, как мухи; эта открытая равнина прямо создана для них, и я не удивлюсь, если в будущем ее изберут своим гнездовьем пташки вроде меня. Я и сам там частенько летаю и знаю многих летчиков, участников войны; но теперь все какие-то новые появляются, я о них никогда не слышал. Наверно, скоро у нас в Штатах самолетов разведется столько же, сколько автомобилей, — у каждого будет свой.

— Поскольку каждый одарен создателем, — с улыбкой сказал отец Браун, — правом на жизнь, свободу и вожделение автомобилей... не говоря уже о самолетах. Значит, если бы над домом пролетел незнакомый самолет, вполне вероятно, что на него не обратили бы особого внимания.

— Да, наверно, — согласился Уэйн.

— И даже если б летчик был знакомый, — продолжал священник, — он, верно, мог бы для отвода глаз взять чужой самолет. Например, если бы вы пролетели над домом в своем самолете, то мистер Мертон и его друзья могли бы вас узнать по машине; но в самолете другой системы или как это у вас называется вам бы, наверно, удалось незаметно пролететь почти мимо окна, то есть так близко, что до Мертона практически было бы рукой подать.

— Ну да, — машинально начал капитан и вдруг осекся и застыл, разинув рот и выпучив глаза.

— Боже мой! — пробормотал он. — Боже мой!

Потом встал с кресла, бледный, весь дрожа, пристально глядя на Брауна.

— Вы спятили? — спросил он. — Вы в своем уме?

Наступила пауза, затем он злобно прошипел:

— Да как вам в голову пришло предположить...

— Я лишь суммирую предположения, — сказал отец Браун, вставая. — К некоторым предваритель-

¹ Имеется в виду «сухой закон» — закон, запрещавший продажу в США спиртных напитков; действовал в 1920—1933 гг.

ным выводам я, пожалуй, уже пришел, но сообщать о них еще не время.

И, церемонно раскланявшись со своим собеседником, он вышел из отеля, дабы продолжить свои удивительные странствия по Нью-Йорку.

К вечеру эти странствия привели его по темным улочкам и кривым, спускавшимся к реке ступенькам в самый старый и запущенный район города. Под цветным фонариком у входа в довольно подозрительный китайский ресторанчик он наткнулся на знакомую фигуру, но немного же осталось в ней знакомого!

Мистер Норман Дрейдж все так же сумрачно взирал на мир сквозь большие очки, скрывавшие его лицо, как стеклянная темная маска. Но если не считать очков, он очень изменился за месяц, истекший со дня убийства. При их первой встрече Дрейдж был элегантен до предела, до того самого предела, где так трудно уловить различие между денди и манекеном в витрине магазина. Сейчас же он каким-то чудом ухитрился впасть в другую крайность: манекен превратился в пугало. Он все еще ходил в цилиндре, но измятом и потрепанном, одежда изнасилась, цепочка для часов и все другие украшения исчезли. Однако Браун обратился к нему с таким видом, словно они встречались лишь накануне, и, не раздумывая, сел рядом с ним на скамью в дешевом кабаке, где столовался Дрейдж. Впрочем, начал разговор не Браун.

— Ну, — буркнул Дрейдж, — преуспели ли вы в отмщении за смерть блаженной памяти миллионера? Ведь миллионеры все причислены к лику святых; едва какой-нибудь из них преставится — газеты сообщают, что путь его жизни был озарен светом семейной Библии, которую ему в детстве читала маменька. Кстати, в этой древней книжице встречаются истории, от которых и у маменьки мороз бы пошел по коже, да и сам миллионер, думаю, струхнул бы. Жестокие тогда царили нравы; теперь они уже не те. Мудрость каменного века, погребенная под сводами пирамид. Вы представьте, например, что Мертон вышвыривают из окошка его знаменитой башни на съеденье псам. А ведь с Иезавелью поступили не лучше. Или вот Агага изрубили в куски, когда он просто

«подошел дрожа». Мертон тоже продрожал всю жизнь, пока наконец до того издрожался, что и ходить перестал. Но стрела господня нашла его, как, бывало, в той древней книге; нашла и в назидание другим поразила смертью в его же башне.

— Стрела была вполне материальная, — заметил священник.

— Пирамиды еще материальнее, а обитают там мертвые фараоны, — усмехнулся человек в очках. — Очень любопытны эти древние материальные религии. В течение тысячелетий боги и цари на барельефах натягивают свои выдолбленные на камне луки; такими ручищами, кажется, можно и каменный лук натянуть. Материал, вы скажете, — но какой материал! Бывало с вами так — глядишь, глядишь на эти памятники Древнего Востока, и вдруг почудится: а что, если древний господь бог и сейчас этаким черным Аполлоном разъезжает по свету в своей колеснице и стреляет в нас черными лучами смерти?

— Если и разъезжает, — сказал отец Браун, — то имя ему вовсе не Аполлон. Впрочем, я сомневаюсь, что Мертон убили черным лучом и даже каменной стрелой.

— Он вам, наверно, представляется святым Себастьяном, павшим от стрел, — ехидно сказал Дрейдж. — Все миллионеры ведь великомученики. А вам не приходило в голову, что он получил по заслугам? Подозреваю, вы не так уж много знаете о вашем мученике-миллионере. Так вот, позвольте вам сообщить: он получил только сотую долю того, что заслуживал.

— Отчего же, — тихо спросил отец Браун, — вы его не убили?

— То есть как отчего не убил? — изумился Дрейдж. — Нечего сказать, милый же вы священник.

— Ну что вы, — сказал Браун, словно отмахиваясь от комплимента.

— Уж не имеете ли вы в виду, что это я его убил? — прошипел Дрейдж. — Что ж, докажите. Но я вам прямо скажу: невелика потеря.

— Ну нет, потеря крупная, — жестко ответил Браун. — Для вас. Поэтому-то вы его и не убили. — И, не взглянув на остолбеневшего владельца очков, отец Браун вышел.

Почти месяц миновал, прежде чем отец Браун

вновь посетил дом миллионера, павшего третьей жертвой Дэниела Рока. Причастные к делу лица собрались там на своего рода совет. Старик Крейк сидел во главе стола, племянник — справа от него, адвокат — слева; грузный великан негроидного типа, которого, как оказалось, звали Харрис, тоже присутствовал, по-видимому, всего лишь в качестве необходимого свидетеля; остроносый рыжий субъект, отзывавшийся на фамилию Диксон, был представителем то ли пинкертоновского, то ли еще какого-то частного агентства; отец Браун скромно опустил на свободный стул рядом с ним.

Газеты всех континентов пестрели статьями о гибели финансового колосса, зачинателя Большого Бизнеса, опутавшего своей сетью мир; но у тех, кто был возле него накануне гибели, удалось выяснить весьма немного. Дядюшка с племянником и адвокат заявили, что к тому времени, когда подняли тревогу, они были уже довольно далеко от стены; охранники, стоявшие возле ворот и внутри дома, отвечали на вопросы не совсем уверенно, но в целом их рассказ не вызывал сомнений. Заслуживающим внимания казалась лишь одно обстоятельство. То ли перед убийством, то ли сразу после него какой-то неизвестный околачивался у ворот и просил впустить его к мистеру Мертону. Что ему нужно, трудно было понять, поскольку выражался он весьма невразумительно; но впоследствии и речи его показались подозрительными, так как говорил он о дурном человеке, которого покарало небо.

Питер Уэйн оживленно подался вперед, и глаза на его исхудалом лице заблестели.

— Норман Дрейдж. Готов поклясться, — сказал он.

— Что это за птица? — спросил дядюшка.

— Мне бы тоже хотелось это выяснить, — ответил молодой Уэйн. — Я как-то спросил его, но он на редкость ловко уклоняется от прямых ответов. Он и в знакомство ко мне втерся хитростью — что-то плел о летательных машинах будущего; но я никогда ему особенно не доверял.

— Что он за человек? — спросил Крейк.

— Мистик-дилетант, — с простодушным видом выпалил отец Браун. — Их не так уж мало; он из тех,

кто, разглагольствуя в парижских кафе, туманно намекает, что ему удалось приподнять покрывало Изиды или проникнуть в секрет Стоунхенджа. А уж в случае, подобном нашему, они непременно подыщут какое-нибудь мистическое истолкование.

Темная прилизанная голова мистера Бернарда Блейка учтиво наклонилась к отцу Брауну, но в улыбке проскальзывала враждебность.

— Вот уж не думал, сэр,— сказал он,— что вы отвергаете мистические истолкования.

— Наоборот,— кротко помаргивая, отозвался Браун.— Именно поэтому я и могу их отвергать. Любой самозванный адвокат способен ввести меня в заблуждение, но вас ему не обмануть, вы ведь сами адвокат. Каждый дурак, нарядившись индейцем, может убедить меня, что он-то и есть истинный и неподдельный Гайавата; но мистер Крейк в одну секунду разоблачит его. Любой мошенник может мне внушить, что знает все об авиации, но он не проведет капитана Уэйна. Точно так вышло и с Дрейджем, понимаете? Из-за того, что я немного разбираюсь в мистике, меня не могут одурачить дилетанты. Истинные мистики не прячут тайн, а открывают их. Они ничего не оставляют в тени, а тайна так и останется тайной. Зато мистика-дилетанту не обойтись без покрова таинственности, сняв который находишь нечто вполне тривиальное. Впрочем, должен добавить, что Дрейдж преследовал и более практическую цель, толкуя о небесной каре и о вмешательстве свыше.

— Что за цель? — спросил Уэйн.— В чем бы она ни состояла, я считаю, что мы должны о ней знать.

— Видите ли,— медленно начал священник,— он хотел внушить нам мысль о сверхъестественном вмешательстве, так как... вообще, так как сам он знал, что ничего сверхъестественного в этих убийствах не было.

— А-а,— сказал, вернее, как-то прошипел Уэйн.— Я так и думал. Попросту говоря, он преступник.

— Попросту говоря, он преступник, но преступления не совершил.

— Вы полагаете, что говорите попросту? — учтиво осведомился Блейк.

— Ну вот, теперь вы скажете, что и я мистик-дилетант,— несколько сконфуженно, но улыбаясь про-

говорил отец Браун.— Это вышло у меня случайно. Дрейдж не повинен в преступлении... в этом преступлении. Он просто шантажировал одного человека и поэтому вертелся у ворот, но он, конечно, не был заинтересован ни в разглашении тайны, ни в смерти Мертона, весьма невыгодной ему. Впрочем, о нем позже. Сейчас я лишь хотел, чтобы он не уводил нас в сторону.

— В сторону от чего? — полюбопытствовал его собеседник.

— В сторону от истины, — ответил священник, спокойно глядя на него из-под полуопущенных век.

— Вы имеете в виду, — заволновался Блейк, — что вам известна истина?

— Да, пожалуй, — скромно сказал отец Браун.

Стало очень тихо, потом Крейк вдруг крикнул:

— Да куда ж девался секретарь? Уилтон! Он должен быть здесь.

— Мы с мистером Уилтоном поддерживаем друг с другом связь, — сообщил священник. — Мало того: я просил его позвонить сюда и вскоре жду его звонка. Могу добавить также, что в определенном смысле мы и до истины докапывались совместно.

— Если так, то я спокоен, — буркнул Крейк. — Уилтон, как ищейка, шел по следу за этим неуловимым мерзавцем, так что лучшего спутника для охоты вам не найти. Но каким образом вы, черт возьми, докопались до истины? Откуда вы ее узнали?

— От вас, — тихо ответил священник, кротко, но твердо глядя в глаза рассерженному ветерану. — Я имею в виду, что к разгадке меня подтолкнул ваш рассказ об индейце, бросившем нож в человека, который стоял на крепостной стене.

— Вы уже несколько раз это говорили, — с недоумением сказал Уэйн. — Но что тут общего? Что дом этот похож на крепость и, значит, стрелу, как и тот нож, забросили рукой? Так ведь стрела прилетела издалека. Ее не могли забросить на такое расстояние. Стрела-то полетела далеко, а мы все топчемся на месте.

— Боюсь, вы не поняли, что с чем сопоставить, — сказал отец Браун. — Дело вовсе не в том, как далеко можно что-то забросить. Оружие было использовано необычным образом — вот что главное. Люди,

стоявшие на крепостной стене, думали, что нож пригоден лишь для рукопашной схватки, и не сообразили, что его можно метнуть, как дротик. В другом же, известном мне случае люди считали оружие, о котором шла речь, только метательным и не сообразили, что стрелой можно заколоть, как копьем. Короче говоря, мораль здесь такова: если нож мог стать стрелой, то и стрела могла стать ножом.

Все взгляды были устремлены теперь на Брауна, но, как будто не замечая их, он продолжал все тем же обыденным тоном:

— Мы пытались догадаться: кто стрелял в окно, где находился стрелок, и так далее. Но никто ведь не стрелял. Да и попала стрела в комнату вовсе не через окно.

— Как же она туда попала? — спросил адвокат, нахмурившись.

— Я думаю, ее кто-то принес, — сказал Браун. — Внести стрелу в дом и спрятать ее было нетрудно. Тот, кто это сделал, подошел к Мертону, возил стрелу ему в горло, словно кинжал, а затем его осенила остроумная идея: разместить все так, чтобы каждому, кто войдет в комнату, сразу же представилось, что стрела, словно птица, влетела в окошко.

— Кто-то, — голосом тяжелым, как камни, повторил старик Крейк.

Зазвонил телефон, резко, настойчиво, отчаянно. Он находился в смежной комнате, и никто не успел шелохнуться, как Браун бросился туда.

— Что за чертовщина? — раздраженно вскрикнул Уэйн.

— Он говорил, что ему должен позвонить Уилтон, — все тем же тусклым, глухим голосом ответил дядюшка.

— Так, наверно, это он и звонит? — заметил адвокат, явно только для того, чтобы заполнить паузу. Но никто ему не ответил. Молчание продолжалось, пока в комнате внезапно снова не появился Браун. Не говоря ни слова, он прошел к своему стулу.

— Джентльмены, — начал он. — Вы сами меня просили решить для вас эту загадку; и сейчас, решив ее, я обязан сказать вам правду, ничего не смягчая. Человек, сующий нос в подобные дела, должен оставаться беспристрастным.

— Я думаю, это значит, — сказал Крейк, первым прервав молчание, — что вы обвиняете или подозреваете кого-то из нас.

— Мы все под подозрением, — ответил Браун. — Включая и меня, поскольку именно я нашел труп.

— Еще бы не подозревать нас, — вспыхнул Уэйн. — Отец Браун весьма любезно объяснил мне, каким образом я мог обстрелять из самолета окно на верхнем этаже.

— Вовсе нет, — сказал священник, — вы сами мне описали, каким образом могли бы все это проделать. Сами — вот в чем суть.

— Он, кажется, считает вполне вероятным, — загремел Крейк, — что я своей рукой пустил эту стрелу, спрятавшись где-то за оградой.

— Нет, я считал это практически невероятным, — поморщившись, ответил Браун. — Извините, если я обидел вас, но мне не удалось придумать другого способа проверки. Предполагать, что в тот момент, когда совершалось убийство, мимо окна в огромном самолете проносится капитан Уэйн и остается незамеченным — нелепо и абсурдно. Абсурднее этого только предположить, что почтенный старый джентльмен затеет игру в индейцев и притаится с луком и стрелами в кустах, чтобы убить человека, которого мог бы убить двадцатью гораздо более простыми способами. Но я должен был установить полную непричастность этих людей к делу; вот мне и пришлось обвинить их в убийстве, чтобы убедиться в их невиновности.

— Что же убедило вас в их невиновности? — спросил Блейк, подавшись вперед.

— То, как они приняли мое обвинение, — ответил священник.

— Как прикажете вас понять?

— Да будет мне позволено заметить, — спокойно заговорил Браун, — что я считал своей обязанностью подозревать не только их двоих, но и всех остальных. Мои подозрения относительно мистера Крейка и мои подозрения относительно капитана Уэйна выражались в том, что я пытался определить, насколько вероятна и возможна их причастность к убийству. Я сказал им, что пришел к некоторым выводам; что это были за выводы, я сейчас расскажу.

Меня интересовало — когда и как выразят эти господа свое негодование, и едва они возмутились, я понял: они не виновны. Пока им не приходило в голову, что их в чем-то подозревают, они сами свидетельствовали против себя, даже объяснили мне, каким образом могли бы совершить убийство. И вдруг, потрясенные страшной догадкой, с яростными криками набрасывались на меня, а догадались они оба гораздо позже, чем могли бы, но задолго до того, как я их обвинил. Будь они и в самом деле виноваты, они бы себя так не вели. Виновный или с самого начала начеку, или до конца изображает святую невинность. Но он не станет сперва наговаривать на себя, а затем вскакивать и негодуя опровергать подкрепленные его же собственными словами подозрения. Так вести себя мог лишь тот, кто и в самом деле не догадывался о подоплеке нашего разговора. Мысль о содеянном постоянно терзает убийцу; он не может на время забыть, что убил, а потом вдруг спохватиться и отрицать это. Вот почему я исключил вас из числа подозреваемых. Других я исключил по другим причинам, их можно обсудить позже. К примеру, секретарь... Но сейчас не о том. Только что мне звонил Уилтон и разрешил сообщить вам важные новости. Вы, я думаю, уже знаете, кто он такой и чего добивался.

— Я знаю, что он ищет Дэниела Рока, — сказал Уэйн. — Охотится за ним, как одержимый. Еще я слышал, что он сын старика Хордера и хочет отомстить за его смерть. Словом, точно известно одно: он ищет человека, назвавшегося Роком.

— Уже не ищет, — сказал отец Браун. — Он нашел его.

Питер Уэйн вскочил.

— Нашел! — воскликнул он. — Нашел убийцу! Так его уже арестовали?

— Нет, — ответил Браун, и его лицо сделалось суровым и серьезным. — Новости важные, как я уже сказал, они важнее, чем вы полагаете. Мне думается, бедный Уилтон взял на себя страшную ответственность. Думается, он возлагает ее и на нас. Он выследил преступника, и когда наконец тот оказался у него в руках, Уилтон... сам осуществил правосудие.

— Вы имеете в виду, что Дэниел Рок... — начал адвокат.

— Дэниел Рок мертв, — сказал священник. — Он отчаянно сопротивлялся, и Уилтон убил его.

— Правильно сделал, — проворчал мистер Гикори Крейк.

— Я тоже не сужу его — поделом мерзавцу. Тем более, Уилтон мстил за отца, — подхватил Уэйн. — Это все равно что раздавить гадюку.

— Я не согласен с вами, — сказал отец Браун. — Мне кажется, мы все сейчас пытаемся скрыть под романтическим покровом беззаконие и самосуд; но, думаю, мы сами пожалеем, если утратим наши законы и свободы. Кроме того, по-моему, нелогично, рассуждая о причинах, толкнувших Уилтона к преступлению, не попытаться даже выяснить причины, толкнувшие к преступлению самого Рока. Он не похож на заурядного грабителя; скорее, это был маньяк, одержимый одной всепоглощающей страстью; сперва он действовал угрозами и убивал, лишь убедившись в тщетности своих попыток; вспомните: обе жертвы были найдены почти у дома. Оправдать Уилтона нельзя хотя бы потому, что мы не слышали оправданий другой стороны.

— Сил нет терпеть этот сентиментальный вздор, — сердито оборвал его Уэйн. — Кого выслушивать — гнусного подлеца и убийцу? Уилтон кокнул его, и молодец, и кончен разговор.

— Вот именно, вот именно, — энергично закивал дядюшка.

Отец Браун обвел взглядом своих собеседников, и лицо его стало еще суровее и серьезнее.

— Вы в самом деле все так думаете? — спросил он.

И тут же вспомнил, что он на чужбине, что он — англичанин. Все эти люди — чужие ему, хоть и друзья. Его землякам неведомы страсти, кипевшие в этом кружке чужаков, — неистовый дух Запада, страны мятежников и линчевателей, порой объединявшихся в одном лице. Вот и сейчас они объединились.

— Что ж, — со вздохом сказал отец Браун, — я вижу, вы безоговорочно простили бедняге Уилтону его преступление, или акт личного возмездия, или

как уж вы там это назовете. В таком случае, ему не повредит, если я подробнее расскажу вам о деле.

Он резко поднялся, и все, не зная еще, что он хочет сделать, почувствовали: что-то изменилось, словно холодок пробежал по комнате.

— Уилтон убил Рока довольно необычным способом,— начал Браун.

— Как он убил его? — резко спросил Крейк.

— Стрелой,— ответил священник.

В продолговатой комнате без окон становилось все темнее по мере того, как тускнел солнечный свет, который проникал в нее из смежной комнаты, той самой, где умер великий миллионер. Все взгляды почти машинально обратились туда, но никто не произнес ни звука. Затем раздался голос Крейка, надтреснутый, старческий, тонкий; не голос, а какое-то квохтанье.

— Как это так? Как это так? Брандера Мертона убили стрелой. Этого мошенника — тоже стрелой...

— Той же самой стрелой,— сказал Браун.— И в тот же момент.

Снова наступила тишина, придушенная, но и набухающая, взрывчатая, а потом несмело начал молодой Уэйн:

— Вы имеете в виду...

— Я имею в виду,— твердо ответил Браун,— что Дэниелом Роком был ваш друг Мертон, и другого Дэниела Рока нет. Ваш друг Мертон всю жизнь бредил этой коптской чашей, он поклонялся ей, как идолу, он молился на нее каждый день. В годы своей необузданной молодости он убил двух человек, чтобы завладеть этим сокровищем; но, должно быть, он не хотел их смерти, он хотел только ограбить их. Как бы там ни было, чаша досталась ему. Дрейдж все знал и шантажировал Мертона. Совсем с другой целью преследовал его Уилтон. Мне кажется, он узнал правду лишь тогда, когда уже служил здесь, в доме; во всяком случае, именно здесь, вон в той комнате, окончилась охота, и Уилтон убил убийцу своего отца.

Все долго молчали. Потом старый Крейк тихо забарабанил пальцами по столу, бормоча:

— Брандер, наверное, сошел с ума. Он, наверное, сошел с ума.

— Но бог ты мой! — не выдержал Питер Уэйн. — Что мы теперь будем делать? Что говорить? Ведь это все меняет! Репортеры... воротилы бизнеса... как с ними быть? Брандер Мертон — такая же фигура, как президент или папа римский.

— Да, несомненно, это кое-что меняет, — негромко начал Бернард Блейк. — Различие прежде всего состоит...

Отец Браун так ударил по столу, что звякнули стаканы; и даже таинственная чаша в смежной комнате, казалось, откликнулась на удар призрачным эхом.

— Нет! — вскрикнул он резко, словно выстрелил из пистолета. — Никаких различий! Я представил вам возможность посочувствовать бедняге, которого вы считали заурядным преступником. Вы и слушать меня не пожелали. Вы все были за самосуд. Никто не возмущался тем, что Рока без суда и следствия прикончили, как бешеного зверя, — он, мол, получил по заслугам. Что ж, прекрасно, если Дэниел Рок получил по заслугам, то по заслугам получил и Брандер Мертон. Если Рок не вправе претендовать на большее, то и Мертон не вправе. Выбирайте что угодно, — ваш мятежный самосуд или нашу скучную законность, но, ради господя всемогущего, пусть уж будет одно для всех беззаконие или одно для всех правосудие.

Никто ему не ответил, только адвокат прошипел:

— А что скажет полиция, если мы вдруг заявим, что намерены простить преступника?

— А что она скажет, если я заявлю, что вы его уже простили? — отпарировал Браун. — Поздно вы почувствовали уважение к закону, мистер Бернард Блейк. — Он помолчал и уже мягче добавил: — Сам я скажу правду, если меня спросят те, кому положено; а вы вольны поступать, как вам заблагорассудится. Это, собственно, не так уж важно. Уилтон позвонил сюда с одной лишь целью — он сообщил мне, что уже можно обо всем рассказать!

Отец Браун медленно прошел в смежную комнату и остановился возле столика, за которым встретил свою смерть миллионер. Коптская чаша стояла на прежнем месте, и он помедлил немного, вглядываясь в ее радужные переливы и дальше — в голубую бездну небес.

ВЕЩАЯ СОБАКА

— Да, — сказал отец Браун, — собаки — славные создания, только не путайте создание с создателем.

Словоохотливые люди часто невнимательны к словам других. Даже блистательность их порою оборачивается тупостью. Друг и собеседник отца Брауна, восторженный молодой человек по фамилии Финз, постоянно готов был низвергнуть на слушателя целую лавину историй и мыслей, его голубые глаза всегда пылали, а светлые кудри, казалось, были отметены со лба не щеткой для волос, а бурным вихрем светской жизни. И все же он замылся и умолк, не в силах раскусить простенький каламбур отца Брауна.

— Вы хотите сказать, что с ними слишком носят-ся? — спросил он. — Право же, не уверен. Это удивительные существа. Временами мне кажется, что они знают много больше нашего.

Отец Браун молчал, продолжая ласково, но несколько рассеянно поглаживать по голове крупного охотничьего пса, приведенного гостем.

— Кстати, — снова загорелся Финз, — в том деле, о котором я пришел вам рассказать, участвует собака. Это одно из тех дел, которые называют необъяснимыми. Странная история, но, по-моему, самое странное в ней — поведение собаки. Хотя в этом деле все загадочно. Прежде всего, как могли убить старика Дрюса, когда в беседке, кроме него, никого не было?

Рука отца Брауна на мгновенье застыла, он перестал поглаживать собаку.

— Так это случилось в беседке? — спросил он равнодушно.

— А вы не читали в газетах? — отозвался Финз. — Подождите, по-моему, я захватил с собой одну заметку, — там есть все подробности.

Он вытащил из кармана газетную страницу и протянул ее отцу Брауну, который тут же принялся читать, держа статью в одной руке у самого носа, а другой все так же рассеянно поглаживая собаку. Он как бы являл собой живую иллюстрацию притчи о человеке, у коего правая рука не ведает, что творит левая.

«Истории о загадочных убийствах, когда труп находят в наглухо запертом доме, а убийца исчезает неизвестно как, не кажутся такими уж невероятными в свете поразительных событий, имевших место в Крэнстоне на морском побережье Йоркшира. Житель этих мест полковник Дрюс убит ударом кинжала в спину, и орудие убийства не обнаружено ни на месте преступления, ни где-либо в окрестностях.

Впрочем, проникнуть в беседку, где умер полковник, было несложно: вход в нее открыт и вплотную к порогу подходит дорожка, соединяющая беседку с домом. В то же время ясно, что незаметно войти в беседку убийца не мог, так как и тропинка и дверь постоянно находились в поле зрения нескольких свидетелей, подтверждающих показания друг друга. Беседка стоит в дальнем углу сада, где никаких калиток и лазов нет. По обе стороны дорожки растут высокие цветы, посаженные так густо, что через них нельзя пройти, не оставив следов. И цветы и дорожка подходят к самому входу в беседку, и совершенно невозможно подобраться туда незаметно каким-либо обходным путем.

Секретарь убитого Патрик Флloyd заявил, что видел весь сад с той минуты, когда полковник Дрюс в последний раз мелькнул на пороге беседки, и до того момента, когда был найден труп; все это время он стоял на самом верху стремянки и подстригал живую изгородь. Его слова подтверждает дочь убитого, Дженет Дрюс, которая сидела на террасе и видела Фллойда за работой. В какой-то мере ее показания подтверждает и Дональд Дрюс, ее брат, который, проспав допоздна, выглянул, еще в халате, из окна своей спальни. И, наконец, все эти показания совпадают со свидетельством соседа Дрюсов, доктора Баламтэна, который ненадолго зашел к ним и разговаривал на террасе с мисс Дрюс, а также свидетельством стряпчего, мистера Обри Трейла. По всей видимости, он последним видел полковника в живых, — исключая, надо полагать, убийцу.

Все эти свидетели единодушно утверждают, что события развивались следующим образом: примерно в половине третьего пополудни мисс Дрюс зашла в беседку спросить у отца, когда он будет пить чай.

Полковник ответил, что чай пить не будет, потому что ждет своего поверенного мистера Трейла, которого и велел прислать к себе, когда тот явится. Девушка вышла и, встретив на дорожке Трейла, направила его к отцу. Поверенный пробыл в беседке около получаса, причем полковник проводил его до порога и, судя по всему, пребывал не только в добром здравии, но и в отличном расположении духа. Незадолго до того мистер Дрюс рассердился на сына, узнав, что тот еще не вставал после ночного кутежа, но довольно быстро успокоился и чрезвычайно любезно встретил и стряпчего, и двух племянников, приехавших к нему погостить на денек. Полиция не стала допрашивать племянников, поскольку в то время, когда произошла трагедия, они были на прогулке. По слухам, полковник был не в ладах с доктором Валантэном, впрочем, доктор зашел лишь на минутку повидаться с мисс Дрюс, в отношении которой, кажется, имеет самые серьезные намерения.

По словам стряпчего Трейла, полковник остался в беседке один; это подтвердил и мистер Флloyd, который, стоя на своем насесте, отметил, что в беседку больше никто не входил. Спустя десять минут мисс Дрюс снова вышла в сад и, еще не дойдя до беседки, увидела на полу тело отца: на полковнике был белый полотняный френч, заметный издали. Девушка вскрикнула, сбежались все остальные и обнаружили, что полковник лежит мертвый возле опрокинутого плетеного кресла. Доктор Валантэн, который еще не успел отойти далеко, установил, что удар нанесен каким-то острым орудием вроде стилета, вонзившимся под лопатку и проткнувшим сердце. В поисках такого орудия полиция обшарила всю окрестность, но ничего не обнаружила».

— Значит, на полковнике был белый френч? — спросил отец Браун, откладывая заметку.

— Да, он привык к такой одежде в тропиках, — слегка опешив, ответил Финз. — С ним там случались занятные вещи, он сам рассказывал. Кстати, Валантэна он, по-моему, недолюбливал потому, что и тот служил в тропиках. Уж не знаю отчего — но так мне кажется. В этом деле ведь все загадочно. Заметка довольно точно излагает обстоятельства убийст-

ва. Меня там не было, когда обнаружили труп,— мы с племянниками Дрюса как раз ушли гулять и захватили с собой собаку, помните, ту самую, о которой я хотел вам рассказать. Но описано все очень точно: прямая дорожка среди высоких синих цветов, по ней идет стряпчий в черном костюме и цилиндре, а над зеленой изгородью — рыжая голова секретаря. Рыжего заметно издали, и если люди говорят, что видели его все время, значит, правда видела. Этот секретарь — забавный тип: никогда ему не сидится на месте, вечно он делает чью-то работу, — вот и на этот раз он заменял садовника. Мне кажется, он американец. У него американский взгляд на жизнь, или подход к делам, как говорят у них в Америке.

— Ну, а поверенный? — спросил отец Браун. Финз ответил не сразу.

— Трейл произвел на меня довольно странное впечатление, — проговорил он гораздо медленнее, чем обычно. — В своем безупречном черном костюме он выглядит чуть ли не франтом, и все же в нем есть что-то старомодное. Зачем-то отрастил пышные бакенбарды, каких никто не видывал с времен королевы Виктории. Лицо у него серьезное, держится он с достоинством, но иногда, как бы спохватившись, вдруг улыбнется, сверкнет своими белыми зубами, и сразу все его достоинство словно слиняет, и в нем появляется что-то слащавое. Может, он просто смущается и потому все время то теребит галстук, то поправляет булавку в галстучке. Кстати, они такие же красивые и необычные, как он сам. Если бы я хоть кого-то мог... да нет, что толку гадать, это совершенно безнадежно. Кто мог это сделать? И как? Неизвестно. Правда, за одним исключением, о котором я и хотел вам рассказать. Знает собака.

Отец Браун вздохнул и с рассеянным видом спросил:

— Вы ведь у них гостили как приятель молодого Дональда? Он тоже ходил с вами гулять?

— Нет, — улынувшись, ответил Финз. — Этот шалопаи только под утро лег в постель, а проснулся уже после нашего ухода. Я ходил гулять с его кузенами, молодыми офицерами из Индии. Мы бол-

тали о разных пустяках. Старший, кажется, Герберт, большой любитель лошадей. Помню, он все время рассказывал нам, как купил кобылу, и ругал ее прежнего хозяина. А его братец Гарри все сетовал, что ему не повезло в Монте-Карло. Я упоминаю это только для того, чтобы вы поняли, что разговор шел самый тривиальный. Загадочной в нашей компании была только собака.

— А какой она породы? — спросил Браун.

— Такой же, как и моя, — ответил Финз. — Я ведь вспомнил всю эту историю, когда вы сказали, что не надо обожествлять собак. Это большой черный охотничий пес; зовут его Мрак, и не зря, по-моему, — его поведение еще темней и загадочнее, чем тайна самого убийства. Я уже говорил вам, что усадьба Дрюса находится у моря. Мы прошли по берегу примерно с милю, а потом повернули назад и миновали причудливую скалу, которую местные жители называют Скалой Судьбы. Она состоит из двух больших камней, причем верхний еле держится, — тронь — и упадет. Скала не очень высока, но силуэт у нее довольно жуткий. Во всяком случае, на меня он подействовал угнетающе, а моих молодых веселых спутников навряд ли занимали красоты природы. Возможно, я уже что-то предчувствовал: Герберт спросил, который час и не пора ли возвращаться, и мне уже тогда показалось, что надо непременно узнать время, что это очень важно. Ни у Герберта, ни у меня не было с собой часов, и мы окликнули его брата, который остановился чуть поодаль у изгороди раскурить трубку. Он громко крикнул: «Двадцать минут пятого», — и его трубный голос в наступающих сумерках показался мне грозным. Это вышло у него ненамеренно и потому прозвучало еще более зловеще; а потом, конечно, мы узнали, что именно в эти секунды уже надвигалась беда. Доктор Валлантэн считает, что бедняга Дрюс умер около половины пятого.

Братья решили, что можно еще минут десять погулять, и мы прошлись чуть подалее по песчаному пляжу, кидали камни, забрасывали в море палки, а собака плавала за ними. Но меня все время угнетали надвигающиеся сумерки, и даже тень, которую отбрасывала причудливая скала, давила на меня как

тяжкий груз. И тут случилась странная вещь. Герберт забросил в воду свою трость, Мрак поплыл за ней, принес, и тут же Гарри бросил свою. Собака снова кинулась в воду и поплыла, но вдруг остановилась, причем, кажется, все это было ровно в половине пятого. Пес вернулся на берег, встал перед нами, а потом вдруг задрал голову и жалобно завыл, чуть ли не застонал, — я такого воя в жизни не слышал. «Что с этой чертовой собакой?» — спросил Герберт. Мы не знали. Тонкий жалобный вой, огласив безлюдный берег, оборвался и замер. Наступила тишина, как вдруг ее нарушил новый звук. На сей раз мы услышали слабый отдаленный крик; казалось, где-то за изгородью вскрикнула женщина. Мы тогда не поняли, кто это, но потом узнали. Это закричала мисс Дрюс, увидев тело отца.

— Вы, я полагаю, сразу же вернулись к дому, — мягко подсказал отец Браун. — А потом?

— Я расскажу вам, что было потом, — угрюмо и торжественно ответил Финз. — Войдя в сад, мы сразу увидели Трейла. Я отчетливо помню черную шляпу и черные бакенбарды на фоне синих цветов, протянувшихся широкой полосой до самой беседки, помню закатное небо и странный силуэт скалы. Трейл стоял в тени, лица его не было видно; но он улыбался, клянусь, я видел, как блестели его белые зубы.

Едва пес заметил Трейла, он сразу бросился к нему и залился бешеным, негодующим лаем, в котором так отчетливо звучала ненависть, что он скорее походил на брань. Стряпчий съежился и побежал по дорожке.

Отец Браун вскопчил с неожиданной яростью.

— Стало быть, его обвинила собака? Разоблачил Вещий пес? А не заметили вы, летали в то время птицы и, главное, где: справа или слева? Осведомлялись вы у авгуров, какие принести жертвы? Надеюсь, вы вспороли собаке живот, чтобы исследовать ее внутренности? Вот какими научными доказательствами пользуетесь вы, человеколюбцы-язычники, когда вам взбредет в голову отнять у человека жизнь и честное имя.

Финз на мгновение потерял дар речи, потом спросил:

— Постоите, что это вы? Что я вам такого сделал?

Браун испуганно взглянул на него — так же испуганно и виновато люди смотрят на столб, наткнувшись на него в темноте.

— Не обижайтесь, — сказал он с неподдельным огорчением. — Простите, что я так набросился на вас... Простите, пожалуйста.

Финз взглянул на него с любопытством.

— Мне иногда кажется, что самая загадочная из загадок — вы, — сказал он. — А все-таки сознайтесь: пусть, по-вашему, собака непричастна к тайне, но ведь сама тайна остается. Не станете же вы отрицать, что в тот миг, когда пес вышел на берег и завыл, его хозяйина прикончила какая-то невидимая сила, которую никому из смертных не дано ни обнаружить, ни даже вообразить. Что до стряпчего, дело не только в собаке; есть и другие любопытные моменты. Он мне сразу не понравился — увертливый, слащавый, скользкий тип; и я вот что вдруг заподозрил, наблюдая за его ухватками. Как вы знаете, и врач и полицейские прибыли очень быстро: доктора Балантэна вернули с полпути, и он немедленно позвонил в полицию. Кроме того, дом стоит на отлете, людей там немного, и было нетрудно всех обыскать. Их тщательно обыскали, но оружия не нашли. Обшарили дом, сад и берег — с тем же успехом. А ведь спрятать кинжал убийце было почти так же трудно, как спрятаться самому.

— Спрятать кинжал, — повторил отец Браун, кивая. Он вдруг стал слушать с интересом.

— Так вот, — продолжал Финз, — я уже говорил, что этот Трейл все время поправлял то галстук, то булавку в галстук... особенно булавку. Эта булавка напоминает его самого — щегольская и в то же время старомодная. В нее вставлен камешек — вы такие, наверное, видели — с цветными концентрическими кругами, похожий на глаз. Меня раздражало, что внимание Трейла так сконцентрировано на этом камне. Мне чудилось, что он циклоп, а камень — его глаз. Булавка была не только массивная, но и длинная, и мне вдруг пришло в голову: может быть, он так ей занят оттого, что она еще длинней, чем кажется? Может, она длиною с небольшой кинжал?

Отец Браун задумчиво кивнул.

— Других предположений насчет орудия убийства не было? — спросил он.

— Было еще одно, — ответил Финз. — Его выдвинул молодой Дрюс — не сын, а племянник. Глядя на Герберта и Гарри, никак не скажешь, что они могут дать толковый совет сыщику: Герберт и впрямь бравый драгун, украшение конной гвардии и завзятый лошадиник, но младший, Гарри, одно время служил в индийской полиции и кое-что смыслит в этих вещах. Он ловко взялся за дело, пожалуй, даже слишком ловко, — пока полицейские выполняли всякие формальности, Гарри начал вести следствие на свой страх и риск. Впрочем, он в каком-то смысле сыщик, хоть и безработный, и вложил в свою затею не только любительский пыл. Вот с ним-то мы и поспорили насчет орудия убийства, и я узнал кое-что новое. Я упомянул, что собака лаяла на Трейла, а он возразил: если собака очень злится, она не лает, а рычит.

— Совершенно справедливо, — вставил священник.

— Младший Дрюс добавил, что он сам не раз слышал, как этот пес рычит на людей, к примеру — на Флойда, секретаря полковника. Я очень резко возразил, что это опровергает его собственные доводы: нельзя обвинить в одном и том же преступлении несколько человек, тем паче Флойда, безобидного, как школьник. К тому же он был все время на виду, над зеленой оградой, и его рыжая голова бросалась всем в глаза. «Да, — отвечал Гарри Дрюс, — здесь у меня не совсем сходятся концы с концами, но давайте на минутку прогуляемся в сад. Я хочу показать вам одну вещь, которую, по-моему, никто еще не видел». Это было в самый день убийства, и в саду все оставалось без перемен: стремянка по-прежнему стояла у изгороди, и, подойдя к ней вплотную, мой спутник наклонился и что-то вынул из густой травы. Оказалось, что это садовые ножницы; на одном из лезвий была кровь.

Отец Браун помолчал, потом спросил:

— А зачем приходил стряпчий?

— Он сказал нам, что за ним послал полковник, чтобы изменить завещание, — ответил Финз. — Кстати, о завещании: его ведь подписали не в тот день.

— Надо полагать, что так, — согласился отец Браун. — Чтобы оформить завещание, нужны два свидетеля.

— Совершенно верно. Стряпчий приезжал накануне, и завещание оформили, но на следующий день Трейла вызвали снова — старик усомнился в одном из свидетелей и хотел это обсудить.

— А кто были свидетели? — спросил отец Браун.

— В том-то и дело, — с жаром воскликнул Финз. — Его свидетелями были Флloyd и Валантэн — вы помните — врач-иностранец, или уж не знаю, кто он там такой. И вдруг они поссорились. Флloyd ведь постоянно суется в чужие дела. Он из тех любителей пороть горячку, которые, к сожалению, употребляют весь свой пыл лишь на то, чтобы кого-нибудь разоблачить, он из тех, кто никогда и никому не доверяет. Такие, как он, обладатели огненных шевелюр и огненных темпераментов, всегда или доверчивы без меры, или безмерно недоверчивы; а иногда и то и другое вместе. Он не только мастер на все руки, он даже учит мастеров. Он не только сам все знает, он всех предостерегает против всех. Зная за ним эту слабость, не следовало бы придавать слишком большое значение его подозрениям, но в данном случае он, кажется, прав. Флloyd утверждает, что Валантэн на самом деле никакой не Валантэн. Он говорит, что встречал его прежде и тогда его звали де Вийон. Значит, подпись его недействительна. Разумеется, он любезно взял на себя труд растолковать соответствующую статью закона стряпчему, и они зверски переругались.

Отец Браун засмеялся.

— Люди часто ссорятся, когда им нужно засвидетельствовать завещание. Первый вывод, который тут можно сделать, что им самим ничего не причитается по этому завещанию. Ну, а что говорит Валантэн? Ваш всеведущий секретарь, несомненно, больше знает об его фамилии, чем он сам. Но ведь даже у доктора могут быть кое-какие сведения о собственном имени.

Финз немного помедлил, прежде чем ответить.

— Доктор Валантэн странно отнесся к делу. Доктор вообще странный человек. Он довольно интересен внешне, но сразу чувствуется иностранец.

Он молод, но у него борода, а лицо очень бледное, страшно бледное и страшно серьезное. Глаза у него страдальческие — то ли он близорукий и не носит очков, то ли у него голова болит от мыслей; но он вполне красив и всегда безупречно одет — в цилиндре, в темном смокинге с маленькой красной розеткой. Держится он холодно и высокомерно и, бывает, так на вас глянет, что не знаешь, куда деваться. Когда его обвинили в том, что он скрывается под чужим именем, он, как сфинкс, уставился на секретаря, а затем сказал, что, очевидно, американцам не зачем менять имена, за неимением таковых. Тут рассердился и полковник и наговорил доктору резкостей: думаю, он был бы сдержаннее, если бы Валантэн не собирался стать его зятем. Но вообще я не обратил бы внимания на эту перепалку, если бы не один разговор, который я случайно услышал на следующий день, незадолго до убийства. Мне неприятно его пересказывать, ведь я сознаюсь тем самым, что подслушивал. В день убийства, когда мы шли к воротам, направляясь на прогулку, я услышал голоса доктора Валантэна и мисс Дрюс. По-видимому, они ушли с террасы и стояли возле дома в тени за кустами цветов. Переговаривались они жарким шепотом, а иногда просто шипели — влюбленные ссорились. Таких вещей не пересказывают, но, на беду, мисс Дрюс повторила несколько раз слово «убийство». То ли она просила не убивать кого-то, то ли говорила, что убийством нельзя защитить свою честь. Не так уж часто обращаются с такими просьбами к джентльмену, заглянувшему на чашку чая.

— Вы не заметили, — спросил священник, — очень ли сердился доктор после той перепалки с секретарем и полковником?

— Да вовсе нет, — живо отозвался Финз, — он и вполнину не был так сердит, как секретарь. Это секретарь разбушевался из-за подписей.

— Ну, а что вы скажете, — спросил отец Браун, — о самом завещании?

— Полковник был очень богатый человек, и от его воли многое зависело. Трейл не стал нам сообщать, какие изменения внесены в завещание, но позже, а точнее — сегодня утром, я узнал, что большая часть денег, первоначально отписанных сыну,

перешла к дочери. Я уже говорил вам, что разгульный образ жизни моего друга Дональда приводил в бешенство его отца.

— Мы все рассуждаем об убийстве,— задумчиво заметил отец Браун,— а упустили из виду мотив. При данных обстоятельствах скоропостижная смерть полковника выгоднее всего мисс Дрюс.

— Господи! Как вы хладнокровно говорите,— воскликнул Финз, взглянув на него с ужасом.— Неужели вы серьезно думаете, что она...

— Она выходит замуж за доктора? — спросил отец Браун.

— Кое-кто не одобряет этого,— последовал ответ.— Но доктора любят и ценят в округе, он искусный, преданный своему делу хирург.

— Настолько преданный,— сказал отец Браун,— что берет с собой хирургические инструменты, отправляясь в гости к даме. Ведь был же у него хоть ланцет, когда он осматривал тело, а до дому он, по-моему, добраться не успел.

Финз вскочил и удивленно уставился на него.

— То есть вы предполагаете, этим же самым ланцетом он...

Отец Браун покачал головой.

— Все наши предположения пока что — чистая фантазия,— сказал он.— Тут не в том вопрос — кто или чем убил, а — как? Заподозрить можно многих, и даже орудий убийства хоть отбавляй — булавки, ножницы, ланцеты. А вот как убийца оказался в бредке? Как даже булавка оказалась там?

Говоря это, священник рассеянно разглядывал потолок, но при последних словах его взгляд оживился, словно он вдруг заметил на потолке какую-то необыкновенную муху.

— Ну, так как же все-таки, по-вашему? — спросил молодой человек.— Что вы посоветуете мне, у вас такой богатый опыт?

— Боюсь, я мало чем могу помочь,— сказал отец Браун, вздохнув.— Трудно о чем-либо судить, не побывав на месте преступления, да и людей я не видел. Пока вы только можете возвратиться туда и продолжить расследование. Сейчас, как я понимаю, это в какой-то мере взял на себя ваш друг из индийской полиции. Я бы вам посоветовал поскорее выяс-

нить, каковы его успехи. Посмотрите, что там делает ваш сыщик-любитель. Может быть, уже есть новости.

Когда гости — двуногий и четвероногий — удалились, отец Браун взял карандаш и, вернувшись к прерванному занятию, стал составлять план проповеди об энциклике *Regim Novarum*¹. Тема была обширна, и план пришлось несколько раз перекраивать, вот почему за тем же занятием он сидел и двумя днями позже, когда в комнату снова вбежала большая черная собака и стала возбужденно и радостно прыгать на него. Вошедший вслед за нею хозяин был также возбужден, но его возбуждение выражалось вовсе не в такой приятной форме: голубые глаза его, казалось, готовы были выскочить из орбит, лицо было взволнованным и даже немного побледнело.

— Вы мне велели, — начал он без предисловия, — выяснить, что делает Гарри Дрюс. Знаете, что он сделал?

Священник промолчал, и гость запальчиво продолжил:

— Я скажу вам, что он сделал. Он покончил с собой.

Губы отца Брауна лишь слегка зашевелились, и то, что он пробормотал, не имело никакого отношения ни к нашей истории, ни даже к нашему миру.

— Вы иногда просто пугаете меня, — сказал Финз. — Вы... неужели вы этого ожидали?

— Считал возможным, — ответил отец Браун. — Я именно поэтому и просил вас выяснить, чем он занят. Я надеялся, что время еще есть.

— Тело обнаружил я, — чуть хрипловато начал Финз. — Никогда не видел более жуткого зрелища. Выйдя в сад, я сразу почувствовал — там случилось еще что-то, кроме убийства. Так же, как прежде, колыхалась сплошная масса цветов, подступая синими клиньями к черному проему входа в старенькую серую беседку; но мне казалось, что это бесы пляшут перед входом в преисподнюю. Я поглядел вокруг; все как будто было на месте, но мне стало мерещиться, что как-то изменились

¹ О новых делах (лат.).

самые очертания небосвода. И вдруг я понял, в чем дело. Я привык к тому, что за оградой на фоне моря видна Скала Судьбы. Ее не было.

Отец Браун поднял голову и слушал очень внимательно.

— Это было все равно, как если бы снялась с места гора или луна упала с неба; а ведь я всегда, конечно, знал, что эту каменную глыбу очень легко свалить. Что-то будто обожгло меня; я пробежал по дорожке и прорвался напролом через живую изгородь, как сквозь паутину. Кстати, изгородь и вправду оказалась жиденькой, она лишь выглядела плотной, поскольку до сих пор никто сквозь нее не ломился. У моря я увидел каменную глыбу, свалившуюся с пьедестала; бедняга Гарри Дрюс лежал под ней, как обломок разбитого судна. Одной рукой он обхватывал камень, словно бы стаскивая его на себя; а рядом на буром песке большими расплзающимися буквами он нацарапал: «Скала Судьбы да падет на безумца».

— Все это случилось из-за завещания, — заговорил отец Браун. — Сын попал в немилость, и племянник решил сыграть ва-банк; особенно — после того, как дядя пригласил его к себе в один день со стряпчим и очень ласково принял. Это был его последний шанс; из полиции его выгнали; он проигрался дотла в Монте-Карло. Когда же он узнал, что убил родного дядю понапрасну, он убил и себя.

— Да погодите вы! — крикнул растерянный Финз. — Я за вами никак не поспею.

— Кстати о завещании, — невозмутимо продолжал отец Браун, — пока я не забыл или мы с вами не перешли к более важным темам. Мне кажется, эта история с доктором объясняется просто. Я даже припоминаю, что слышал где-то обе фамилии. Этот ваш доктор — французский аристократ, маркиз де Вийон. Но при этом он ярый республиканец и, отказавшись от титула, стал носить давно забытое родовое имя. Гражданин Рикетти¹ на десять дней сбил с толку всю Европу.

¹ Р и к е т т и — имя, взятое французским политическим деятелем графом Мирабо после отмены во Франции в 1890 г. дворянских титулов.

— Что это значит? — изумленно спросил молодой человек.

— Так, ничего, — сказал священник. — В девяти случаях из десяти люди скрываются под чужим именем из жульнических побуждений, здесь же соображения — самые высокие. В том-то и соль шутки доктора по поводу американцев, не имеющих имен — то есть титулов. В Англии маркиза Хардингтона никто не называет мистером Хардингтоном, но во Франции маркиз де Вийон сплошь и рядом именуется мсье де Вийоном. Вот ему и пришлось заодно изменить и фамилию. А что до разговора влюбленных об убийстве, я думаю, и в том случае повинен французский этикет. Доктор собирался вызвать Флойда на дуэль, а девушка его отговаривала.

— Вот оно что! — восторженно воскликнул Финз. — Ну, тогда я понял, на что она намекала.

— О чем вы это? — с улыбкой спросил священник.

— Видите ли, — отозвался молодой человек, — это случилось прямо перед тем, как я нашел тело бедного Гарри, но я так переволновался, что все забыл. Разве станешь помнить об идиллической картинке после того, как столкнулся с трагедией? Когда я шел к дому полковника, я встретил его дочь с доктором Валантэном. Она, конечно, была в трауре, а доктор всегда носит черное, будто собрался на похороны; но вид у них был не такой уж похоронный. Мне еще не приходилось встречать пары, столь радостной и веселой и в то же время сдержанной. Они остановились поздороваться со мной, и мисс Дрюс сказала, что они поженились и живут в маленьком домике на окраине городка, где доктор продолжает практиковать. Я удивился, так как знал, что по завещанию отца дочери досталось все состояние. Я деликатно намекнул на это, сказав, что шел в усадьбу, где надеялся ее встретить. Но она засмеялась и ответила: «Мы от всего отказались. Муж не любит наследниц». Оказывается, они и в самом деле настояли, чтобы наследство отдали Дональду; надеюсь, встряска пойдет ему на пользу и он наконец образумится. Он ведь, в общем-то, не так уж плох, просто очень молод, да и отец вел себя с ним довольно

неумно. Я все это вспоминаю потому, что именно тогда мисс Дрюс обронила одну фразу, которую я в то время не понял; но сейчас я убежден, что ваша догадка правильна. Внезапно вспыхнув, она сказала с благородной надменностью бескорыстия: «Надеюсь, теперь этот рыжий дурак перестанет беспокоиться о завещании. Мой муж ради своих принципов отказался от герба и короны времен крестоносцев. Неужели он станет из-за *такого* наследства убивать старика?» Потом она снова рассмеялась и сказала: «Муж отправляет на тот свет одних лишь пациентов. Он даже не послал своих друзей к Флойду». Теперь мне ясно, что она имела в виду секундантов.

— Мне это тоже в какой-то степени ясно, — сказал отец Браун. — Но, если быть точным, что означают ее слова о завещании? Почему оно беспокоит секретаря?

Финз улыбнулся.

— Жаль, что вы с ним незнакомы, отец Браун. Истинное удовольствие смотреть, как он берется «встряхнуть кого-нибудь как следует»! Дом полковника он встряхнул довольно основательно. Страсти на похоронах разгорелись, как на скачках. Флойд и без повода готов наломать дров, а тут и впрямь была причина. Я вам уже рассказывал, как он учил садовника ухаживать за садом и просвещал законника по части законов. Стоит ли говорить, что он и хирурга принялся наставлять по части хирургии, а так как хирургом оказался Валантэн, наставник обвинил его и в более тяжких грехах, чем неумелость. В его рыжей башке засела мысль, что убийца — именно доктор, и когда прибыли полицейские, Флойд держался весьма покровительно. Стоит ли говорить, что он вообразил себя величайшим из всех сыщиков-любителей? Шерлок Холмс со всем своим интеллектуальным превосходством и высокомерием не подавлял так Скотланд-Ярд, как секретарь полковника Дрюса третировал полицейских, расследующих убийство полковника. Видели бы вы его! Он расхаживал с надменным, рассеянным видом, гордо встряхивал рыжей гривой и раздражительно и резко отвечал на вопросы. Вот эти-то его фокусы и взбесили так сильно мисс Дрюс. У него, конечно, была своя теория — одна из тех, которыми кишат романы; но Флойду

только в книге и место, он был бы там куда забавнее и куда безвреднее.

— Что же это за теория? — спросил отец Браун.

— О, теория первосортная, — хмуро ответил Финз. — Она вызвала бы сенсацию, если бы продержалась еще хоть десять минут. Флойд сказал, что полковник был жив, когда его нашли в беседке, и доктор заколол его ланцетом, разрезая одежду.

— Понятно, — произнес священник. — Он, значит, просто отдыхал, уткнувшись лицом в грязный пол.

— Напористость — великое дело, — продолжал рассказчик. — Думаю, Флойд любой ценою протолкнул бы свою теорию в газеты и, может быть, добился бы ареста доктора, если бы весь этот вздор не разлетелся вдребезги, когда Гарри Дрюса нашли под Скалой Судьбы. Это все, чем мы располагаем. Думаю, что самоубийство почти равносильно признанию. Но подробностей этой истории не узнает никто и никогда.

Наступила пауза, затем священник скромно сказал:

— Мне кажется, я знаю и подробности.

Финз изумленно взглянул на него.

— Но послушайте! — воскликнул он. — Как вы могли их выяснить и почему вы уверены, что дело было так, а не иначе? Вы сидите здесь за сотню миль от места происшествия и сочиняете проповедь. Каким же чудом могли вы все узнать? А если вы и впрямь до конца разгадали загадку, скажите на милость: с чего вы начали? Что вас натолкнуло на мысль?

Отец Браун вскочил. В таком волнении его мало кому доводилось видеть. Его первое восклицание прогремело, как взрыв.

— Собака! — крикнул он. — Ну конечно, собака. Если бы там, на берегу, вы уделили ей достаточно внимания, то без моей помощи восстановили бы все с начала до конца.

Финз в еще большем удивлении воззрился на священника.

— Но вы ведь сами назвали мои догадки чепухой и сказали, что собака не имеет никакого отношения к делу.

— Она имеет самое непосредственное отношение к делу, — сказал отец Браун, — и вы бы это обнаружили, если бы видели в ней собаку, а не бога-вседержителя, который вершит над нами правый суд. — Отец Браун замялся, потом продолжал, смущенно и как будто виновато: — По правде говоря, я до смерти люблю собак. И мне кажется, люди, склонные окружать их каким-то мистическим ореолом, меньше всего думают о них самих. Начнем с пустяка — отчего собака лаяла на Трейла и рычала на Флойда? Вы спрашиваете, как я могу судить о том, что случилось за сотню миль отсюда, но ведь это, собственно, ваша заслуга — вы так хорошо описали всех этих людей, что я совершенно ясно их себе представил. Люди вроде Трейла, которые вечно хмурятся, а иногда вдруг ни с того ни с сего улыбаются и что-то вертят в пальцах, — это люди нервные, легко теряющие самообладание. Не удивлюсь, если и незаменимый Флойд очень возбудим и нервозен; таких немало среди деловитых янки. Почему иначе, услышав, как вскрикнула Джэнет Дрюс, он поранил руку ножницами и уронил их?

Ну, а собаки, как известно, терпеть не могут нервных людей. То ли их нервозность передается собакам; то ли собаки — они ведь все-таки звери — по-звериному агрессивны; то ли им просто обидно, что их не любят, — собаки ведь очень самолюбивы. Как бы там ни было, бедняга Мрак невзлюбил и того и другого просто потому, что оба они его боялись. Вы, я знаю, очень умны, а над умом грех насмеяться, но по временам мне кажется, вы чересчур умны, чтобы понимать животных. Или людей, особенно, если они ведут себя почти так же примитивно, как животные. Животные незамысловатые существа; они живут в мире трюизмов. Возьмем наш случай: собака лает на человека, а человек убегает от собаки. Так вот, вам, по-моему, не хватает простоты, чтобы правильно это понять: собака лает потому, что человек ей не нравится, а человек убегает потому, что боится собаки. Других причин у них нет, да и зачем они? Вам же понадобилось все усложнить, и вы решили, что собака — ясновидица, какой-то глашатай судьбы. По-вашему, стряпчий бежал не от собаки, а от палача. Но ведь если подумать толком, все

эти измышления просто на редкость несостоятельны. Если бы собака и впрямь так определенно знала, кто убил ее хозяина, она не таякала бы на него, а вцепилась бы ему в горло. С другой стороны, неужели вы и вправду считаете, что бессердечный злодей, способный убить своего старого друга и тут же на глазах его дочери и осматривавшего тело врача расточать улыбки родственникам жертвы — неужели, по вашему, этот злодей выдаст себя в приступе раскаяния лишь потому, что на него залаяла собака? Он мог ощутить зловещую иронию этого совпадения. Оно могло потрясти его, как всякий драматичный штрих. Но он не стал бы удирать через весь сад от свидетеля, который, как известно, не умеет говорить. Так бегут не от зловещей иронии, а от собачьих зубов. Ситуация слишком проста для вас. Что до случая на берегу, то здесь все обстоит гораздо интереснее. Сперва я ничего не мог понять. Зачем собака влезла в воду и тут же вылезла обратно? Это не в собачьих обычаях. Если бы Мрак был чем-то сильно озабочен, он вообще не побежал бы за палкой. Он бы, пожалуй, побежал совсем в другую сторону на поиски того, что внушило ему опасения. Но если уж собака кинулась за чем-то — за камнем, за палкой, за дичью, я по опыту знаю, что ее можно остановить, да и то не всегда, только самым строгим окриком. И уж ни в коем случае она не повернет назад потому, что передумала.

— Тем не менее она повернула, — возразил Финз, — и возвратилась к нам без палки.

— Без палки она возвратилась по весьма существенной причине, — ответил священник. — Она не смогла ее найти и поэтому завывала. Кстати, собаки воют именно в таких случаях. Они свято чтут ритуалы. Собаки так же придирчиво требуют соблюдения правил игры, как дети требуют повторения всех подробностей сказки. На этот раз в игре что-то нарушилось. И собака вернулась к вам, чтобы пожаловаться на палку. С ней никогда еще ничего подобного не случалось. Впервые в жизни уважаемый и достойный пес потерпел такую обиду от никудышной старой палки.

— Что же натворила эта палка? — спросил Финз.

— Утонула, — сказал отец Браун.

Финз молча и недоуменно глядел на отца Брауна, и тот продолжил:

— Палка утонула, потому что это была собственно не палка, а остроконечный стальной клинок, скрытый в тростниковой палке. Иными словами, трость с выдвижной шпагой. Наверно, ни одному убийце не доводилось так естественно спрятать оружие убийства — забросить его в море, играя с собакой.

— Кажется, я вас понял, — немного оживился Финз. — Но пусть даже это трость со шпагой, мне совершенно не ясно, как убийца мог ею воспользоваться.

— У меня забрезжила одна догадка, — сказал отец Браун, — в самом начале вашего рассказа, когда вы произнесли слово «беседка». И еще больше все прояснилось, когда вы упомянули, что полковник носил белый френч. То, что пришло мне в голову, конечно, просто неосуществимо, если полковника закололи кинжалом; но если мы допустим, что убийца действовал длинным оружием, вроде рапиры, это не так уж невозможно.

Отец Браун откинулся на спинку кресла, устремил взгляд в потолок и начал излагать давно уже, по-видимому, обдуманное и тщательно выношенные соображения.

— Все эти загадочные случаи вроде истории с Желтой комнатой¹, когда труп находят в помещении, куда никто не мог проникнуть, не похожи на наш, поскольку дело происходило в беседке. Говоря о Желтой комнате и о любой другой, мы всегда исходим из того, что ее стены однородны и непроницаемы. Иное дело беседка; тут стены часто сделаны из переплетенных веток и планок, и, как бы густо их ни переплетать, всегда найдутся щели и просветы. Был такой просвет и в стене за спиной полковника. Сидел он в кресле, а оно тоже было плетеное, в нем тоже светились дырочки. Прибавим еще, что беседка находилась у самой изгороди, изгородь же, как вы только что говорили, была очень реденькой. Человек, стоявший

¹ Речь идет о детективном романе французского писателя Г. Леру (1868—1927) «Тайна Желтой комнаты».

по другую ее сторону, легко мог различить сквозь сетку веток и планок белое пятно полковничьего френча, отчетливое, как белый круг мишени.

Должен сказать, вы довольно туманно описали место действия; но, прикинув кое-что в уме, я восполнил пробелы. К примеру, вы сказали, что Скала Судьбы не очень высока; но вы же говорили, что она, как горная вершина, нависает над садом. А все это значит, что скала стоит очень близко от сада, хотя путь до нее занимает много времени. Опять же, вряд ли молодая леди завопила так, что ее было слышно за полмили. Она просто вскрикнула, и все же, находясь на берегу, вы ее услышали. Среди прочих интересных фактов вы, пожалуйста, не забудьте сообщить и такой: на прогулке Гарри Дрюс несколько приотстал от вас, раскуривая у изгороди трубку.

Финз слегка вздрогнул.

— Вы хотите сказать, что, стоя там, он просунул клинок сквозь изгородь и вонзил его в белое пятно? Но ведь это значит, что он принял решение внезапно, не раздумывая, почти не надеясь на успех. К тому же он не знал наверняка, что ему достанутся деньги полковника. Кстати, они ему и не достались.

Отец Браун оживился.

— Вы не разбираетесь в его характере,— сказал он с таким видом, будто сам всю жизнь был знаком с покойным Гарри Дрюсом.— Он своеобразный человек, но мне такие попадались. Если бы он точно знал, что деньги перейдут к нему, он едва ли стал бы действовать. Тогда он бы видел, как это мерзко.

— Вам не кажется, что это несколько парадоксально? — спросил Финз.

— Он игрок,— сказал священник,— он и по службе пострадал за то, что действовал на свой риск, не дожидаясь приказов. Вероятно, он прибегал к недозволенным методам, ведь во всех странах полицейская служба больше похожа на царскую охранку, чем нам хотелось бы думать. Но он слишком далеко зашел и сорвался. Для людей такого типа вся прелесть в риске. Им очень важно сказать: «Только я один мог на это решиться, только я один мог понять — вот оно! Теперь или никогда! Лишь гений или без-

умец мог сопоставить все факты: старик сердится на Дональда; он послал застряпчим; в тот же день послал за Гербертом и за мной... и это все, — прибавить можно только то, что он при встрече улыбулся мне и пожал руку. Вы скажете — безумие, но так и делаются состояния. Выигрывает тот, у кого хватит безумия предвидеть». Иными словами, он гордится наитием. Это мания величия азартного игрока. Чем меньше надежды на успех, чем поспешнее надо принять решение, тем больше соблазна. Случайно увидев в просвете веток белое пятнышко френча, он не устоял перед искушением. Его опьянила самая обыденность обстановки. «Если ты так умен, что связал воедино ряд случайностей, не будь же трусом и не упускай возможности», — нашептывает игроку дьявол. Но и сам дьявол едва ли побудил бы этого несчастного убить, обдуманно и осторожно, старика дядю, от которого он всю жизнь дождался наследства. Это было бы слишком респектабельно.

Он немного помолчал, затем продолжал с каким-то кротким пылом:

— А теперь попытайтесь заново представить себе всю эту сцену. Он стоял у изгороди, в чаду искушения, а потом поднял глаза и увидел причудливый силуэт, который мог бы стать образом его смятенной души: большая каменная глыба чудом держалась на другой, как перевернутая пирамида, и он вдруг вспомнил, что ее называют Скалой Судьбы. Попробуйте себе представить, как воспринял это зрелище именно в этот момент именно этот человек. По-моему, оно не только побудило его к действию, а прямо подхлестнуло. Тот, кто хочет вознестись, не должен бояться падения. Он ударил не раздумывая; ему осталось только замести следы. Если во время розысков, которые, конечно, неизбежны, у него обнаружат шпагу, да еще с окровавленным клинком, он погиб. Если он ее где-нибудь бросит, ее найдут и, вероятно, выяснят, чья она. Если он даже закинет ее в море, его спутники это заметят. Значит, надо изобрести какую-нибудь уловку, чтобы его поступок никому не показался странным. И он придумал такую уловку, как вы знаете, весьма удачную. Только у него одного были часы, и вот он сказал вам, что еще не время воз-

вращаться, и, отойдя немного дальше, затеял игру с собакой. Представляете, с каким отчаянием блуждал его взгляд по пустынному берегу, прежде чем он заметил собаку!

Финз кивнул, задумчиво глядя перед собой. Казалось, его больше всего волнует самая отвлеченная сторона этой истории.

— Странно, — сказал он, — что собака все же имеет отношение к делу.

— Собака, если бы умела говорить, могла бы рассказать чуть ли не все об этом деле, — сказал священник. — Вас же я осуждаю за то, что вы, благо пес говорить не умеет, выступаете от его имени, заставляя его изъясняться языками ангельскими и человеческими. Вас коснулось поветрие, которое в наше время распространяется все больше и больше. Оно узурпаторски захватило власть над умами. Я нахожу его и в газетных сенсациях, и даже в модных словечках. Люди с готовностью принимают на веру любые голословные утверждения. Оттесняя ваш старинный рационализм и скепсис, лавиной надвигается новая сила, и имя ей — суеверие. — Он встал и, гневно нахмурясь, продолжал, как будто обращаясь к самому себе: — Вот оно, первое последствие неверия. Люди утратили здравый смысл и не видят мир таким, каков он есть. Теперь стоит сказать: «О, это не так просто!» — и фантазия разворачивается без предела, словно в страшном сне. Тут и собака что-то предвещает, и свинья приносит счастье, а кошка — беду, и жук — не просто жук, а скарабей. Словом, возродился весь зверинец древнего политеизма, — и пес Анубис, и зеленоглазая Пахт, и тельцы васанские. Так вы катитесь назад, к обожествлению животных, обращаясь к священным слонам, крокодилам и змеям; и все лишь потому, что вас пугает слово «человек».

Финз встал, слегка смущенный, будто подслушал чужие мысли. Он позвал собаку и вышел, что-то невнятно, но бодро пробормотав на прощанье. Однако звать собаку ему пришлось дважды, ибо она, не шелохнувшись, сидела перед отцом Брауном и глядела на него так же внимательно, как некогда глядел волк на святого Франциска.

ЧУДО «ПОЛУМЕСЯЦА»

«Полумесяц» был задуман в своем роде столь же романтичным, как и его название; и события, которые в нем произошли, по-своему были тоже романтичны. Он был выражением того подлинного чувства, исторического и чуть ли не героического, какое прекрасно уживается с торгашеским духом в старейших городах восточного побережья Америки. Первоначально он представлял собой полукруглое здание классической архитектуры, поистине воскрешающее атмосферу XVIII века, когда аристократическое происхождение таких людей, как Вашингтон и Джефферсон, не только не мешало, но помогало им быть истыми республиканцами. Путешественники, встречаемые неизменным вопросом — что они думают о нашем городе, с особой осторожностью должны были отвечать на вопрос — что они думают о нашем «Полумесяце». Даже появившиеся со временем несообразности, нарушившие первоначальную гармонию оригинала, свидетельствовали о его жизнеспособности. На одном конце, то есть роге, «Полумесяца» крайние окна выходили на огороженный участок, что-то вроде помещичьего сада, где деревья и кусты располагались чинно, как в английском парке времен королевы Анны. И тут же за углом другие окна тех же самых комнат, или, вернее, номеров, упирались в глухую неприглядную стену громадного склада, имевшего отношение к какой-то промышленности. Комнаты в этом конце «Полумесяца» были перестроены по унылому шаблону американских отелей, и вся эта часть дома вздымалась вверх, не достигая, правда, высоты соседнего склада, но, во всяком случае, достаточно высоко, чтобы в Лондоне ее окрестили небоскребом. Однако колоннада, которая шла по всему переднему фасаду, отличалась несколько пострадавшей от непогоды величественностью и наводила на мысль о том, что духи отцов республики, возможно, еще разгуливают под ее сенью. Внутри же опрятные, блиставшие новизной номера были меблированы по последнему слову нью-йоркской моды, в особенности в северной оконечности здания, между аккуратным садом и глухой стеной. Это были, в сущности, миниатюрные квартирнки, как бы мы выра-

зились в Англии, состоявшие из гостиной, спальни и ванной комнаты и одинаковые, как ячейки улья. В одной из таких ячеек за письменным столом восседал знаменитый Уоррен Уинд; он разбирал письма и рассылал приказания с изумительной быстротой и четкостью. Сравнить его можно было бы лишь с упорядоченным смерчем.

Уоррен Уинд был маленький человечек с развевающимися седыми волосами и остроконечной бородкой, на вид хрупкий, но при этом бешено деятельный. У него были поразительные глаза, ярче звезд и притягательнее магнитов, и кто их раз видел, тот не скоро забывал. И вообще, как реформатор и организатор многих полезных начинаний, он доказал, что не только глаза, но и вся голова у него самого высшего качества. Ходили всевозможные легенды о той сверхъестественной быстроте, с какой он мог составить здравое суждение о чем угодно, в особенности о людях. Передавали, что он нашел себе жену (долго потом трудившуюся рядом с ним на общее благо), выбрав ее мгновенно из целого батальона женщин, одетых в одинаковое форменное платье и маршировавших мимо него во время какого-то официального торжества; по одной версии, это были девушки-скауты, по другой — женская полиция. Рассказывали еще о том, как трое бродяг, одинаково грязных и оборванных, явились к нему однажды за подаванием. Ни минуты не колеблясь, он одного послал в нервную клинику, другого определил в заведение для алкоголиков, а третьего взял к себе лакеем, и тот с успехом и не без выгоды нес свою службу в течение многих лет. Ходили, разумеется, и неизбежные анекдоты об его молниеносных суждениях и колких, находчивых ответах в беседах с Рузвельтом, Генри Фордом, миссис Асквит и со всеми теми, с кем у американского общественного деятеля неминуемо бывают исторические встречи, хотя бы только на страницах газет. Благоговейного трепета в присутствии этих особ он, естественно, никогда не испытывал, а потому и теперь, в описываемый момент, он хладнокровно крутил свой центробежный бумажный смерч, хотя человек, стоявший перед ним, был почти столь же значителен, как и вышеупомянутые исторические деятели.

Сайлас Т. Вэндем, миллионер и нефтяной магнат, был тощий мужчина с длинной желтой физиономией и иссиня-черными волосами; краски эти сейчас были не очень ясно различимы, так как он стоял против света, на фоне окна и белой стены склада, но тем не менее весьма зловещи. Его узкое эlegantное пальто, отделанное каракулем, было застегнуто на все пуговицы. На энергичное же лицо и сверкающие глаза Уинда падал яркий свет из другого окна, выходящего в сад, так как стул и письменный стол были обращены к этому окну. Хотя лицо филантропа и казалось озабоченным, озабоченность эта, бесспорно, не имела никакого отношения к миллионеру. Камердинер Уинда, или его слуга, крупный, сильный человек с прилизанными светлыми волосами, стоял сбоку от своего господина с пачкой писем в руке. Личный секретарь Уинда, рыжий молодой человек с умным острым лицом, уже держался за ручку двери, как бы на лету подхватив какую-то мысль хозяина или повинуясь его жесту. Комната, не только скромно, но даже аскетически обставленная, была почти пуста, — со свойственной ему педантичностью Уинд снял и весь верхний этаж, обратив его в кладовую; все его бумаги и имущество хранились там в ящиках и обвязанных веревками тюках.

— Уилсон, отдайте их дежурному по этажу, — приказал Уинд слуге, протягивая ему письма. — А потом принесите мне брошюру о ночных клубах Миннеаполиса, вы найдете ее в пакете под буквой «Г». Мне она понадобится через полчаса, а до тех пор меня не беспокойте. Так вот, мистер Вэндем, предложение ваше представляется мне весьма многообещающим, но я не могу дать окончательного ответа, пока не ознакомлюсь с отчетом. Я получу его завтра к вечеру и немедленно позвоню вам. Простите, что пока не могу высказаться определеннее.

Мистер Вэндем, очевидно, догадался, что его вежливо выпроваживают, и по его болезненно-желтому мрачному лицу скользнуло подобие усмешки — он оценил иронию ситуации.

— Видимо, мне пора уходить, — сказал он.

— Спасибо, что заглянули, мистер Вэндем, — вежливо откликнулся Уинд. — Извините, что не провожаю вас, — у меня тут дело, которое не терпит

отлагательства. Феннер,— обратился он к секретарю,— проводите мистера Вэндема до автомобиля и оставьте меня одного на полчаса. Мне надо кое-что обдумать самому. После этого вы мне понадобится.

Трое вышли вместе в коридор и притворили за собой дверь. Могучий слуга Уилсон направился к дежурному, а двое других повернули в противоположную сторону, к лифту, поскольку кабинет Уинда находился на четырнадцатом этаже. Не успели они отойти от двери и на ярд, как вдруг увидели, что коридор заполнен надвигающейся на них внушительной фигурой. Человек был высок и широкоплеч, его массивность особенно подчеркивал белый или очень светлый серый костюм, очень широкополая белая шляпа и почти столь же широкий ореол почти столь же белых волос. В этом ореоле лицо его казалось сильным и благородным, как у римского императора, если не считать мальчишеской, даже младенческой яркости глаз и блаженной улыбки.

— Мистер Уоррен Уинд у себя? — бодро осведомился он.

— Мистер Уоррен Уинд занят,— ответил Феннер.— Его нельзя беспокоить ни под каким видом. Если позволите, я его секретарь и могу передать любое поручение.

— Мистера Уоррена Уинда нет ни для папы римского, ни для коронованных особ,— проговорил нефтяной магнат с кислой усмешкой.— Мистер Уоррен Уинд чертовски привередлив. Я зашел вручить ему сущую безделицу — двадцать тысяч долларов... на определенных условиях, а он велел мне зайти в другой раз, как будто я мальчишка, который прибежит по первому зову.

— Прекрасно быть мальчишкой,— заметил незнакомец,— а еще прекраснее услышать зов. Я вот пришел передать ему зов, который он обязан слышать. Это зов великой, славной страны, там, на Западе, где выковывается истинный американец, пока все вы тут спите без просыпу. Вы только передайте ему, что, мол, Арт Олбойн из Оклахома-сити явился обратиться его.

— Я повторяю: никому не велено входить,— резко возразил рыжий секретарь.— Он распорядился, чтобы никто не беспокоил его в течение полчаса.

— Все вы тут, на Востоке, не любите, когда вас беспокоят, — возразил жизнерадостный мистер Олбойн, — но похоже, что на Западе подымается сильный ветер, и уж он-то вас побеспокоит. Ваш Уинд высчитывает, сколько денег пойдет на ту или другую затхлую религию, а я вам говорю: всякий проект, который не считается с новым движением Великого Духа в Техасе и Оклахоме, не считается с религией будущего.

— Как же! Знаем мы эти религии будущего, — презрительно проронил миллионер. — Я по ним прошелся частым гребнем. Запаршивели, как бродячие собаки. Была такая особа по имени София, ей бы зваться Сапфирой¹. Надувательство чистой воды. Привязывают нитки к столам и тамбуринам. Потом была еще компания, «Невидимая Жизнь», — они утверждали, будто могут исчезать, когда захотят. И исчезли-таки, и сотня тысяч моих долларов вместе с ними. Знавал я и Юпитера Иисуса из Денвера, виделся с ним несколько недель кряду, а он тоже оказался обыкновенным жуликом. Был и пророк-патаговец, — он давно уже дал тягу в свою Патагонию. Нет, с меня хватит — отныне я верю только тому, что вижу своими глазами. Кажется, это называется атеизмом.

— Да нет, вы меня не так поняли, — пылко запротестовал человек из Оклахомы. — Я, похоже, ничуть не меньше атеист, чем вы. В нашем движении никакой сверхъестественной или суеверной чепухи не водится, одна чистая наука. Единственно настоящая, правильная наука — это здоровье, а единственно настоящее, правильное здоровье — уметь дышать. Наполните ваши легкие просторным воздухом прерий, и вы сдуете ваши затхлые восточные города в океан. Вы сдуете ваших великих мужей, как пух чертополоха. Вот чем мы занимаемся у себя на родине: мы дышим. Мы не молимся, мы дышим.

— Не сомневаюсь, — утомленно произнес секретарь. На его умном, живом лице ясно проступала усталость. Однако он выслушал оба монолога с примеча-

¹ Сапфира — жена одного из членов первохристианской общины. Они с мужем утаили от общины часть своего имущества и были поражены смертью (Деяния Апостолов V, 1).

тельным терпением и вежливостью (в опровержение легенд о нетерпимости и наглости американцев).

— Никакой мистики, — продолжал Олбойн, — великое естественное явление природы. Оно и стоит за всеми мистическими домыслами. Для чего был нужен иудеям бог? Для того, чтобы вдохнуть в ноздри человека дыхание жизни. А мы в Оклахоме впиваем это дыхание собственными ноздрями. Само слово «дух» означает «дыхание». Жизнь, прогресс, пророчество — все сводится к одному: к дыханию.

— Некоторые скажут, что все сводится к болтовне, — заметил Вэндем, — но я рад, что вы хотя бы обощились без религиозных фокусов.

На умном лице секретаря, особенно бледном по контрасту с рыжими волосами, промелькнуло какое-то странное выражение, похожее на затаенную горечь.

— А я вот не рад, — сказал он. — Но ничего не могу поделать. Вам, я вижу, доставляет удовольствие быть атеистами, поэтому вы можете верить во что хотите. А для меня... видит бог, я хотел бы, чтобы он существовал. Но его нет. Такое уж мое везение.

И вдруг у них мурашки побежали по коже: они осознали, что к их группе, топтавшейся перед кабинетом Уинда, неслышно и незаметно прибавился еще один человек. Давно ли этот четвертый стоял подле них, никто из увлеченных разговором участников диспута сказать не мог, но вид у него был такой, будто он почтительно и даже робко дожидается возможности ввернуть что-то очень важное. Им, взбуряженным спором, показалось, что он возник из-под земли внезапно и бесшумно, как гриб. Да и сам он был вроде большого черного гриба: коротенький, приземистый и неуклюжий, в нахлобученной на лоб большой черной шляпе. Сходство было бы еще полнее, если бы грибы имели обыкновение носить с собой потрепанные бесформенные зонтики.

Секретарь удивился еще и тому, что человек этот был священником. Но когда тот обратил к нему свое круглое лицо, выглядывающее из-под круглой шляпы, и простодушно спросил, может ли он видеть мистера Уоррена Уинда, Феннер ответил по-прежнему отрицательно и еще отрывистой, чем раньше.

Священник, однако, не сдался.

— Мне действительно очень нужно видеть мистера Уинда, — сказал он. — Как ни странно, это все, что мне нужно. Я не хочу говорить с ним. Я просто хочу убедиться, что он у себя и что его можно увидеть.

— А я вам говорю: он у себя, но видеть его нельзя, — проговорил Феннер с возрастающим раздражением. — Что это значит — «убедиться, что он у себя»? Ясно, он у себя. Мы оставили его там пять минут назад и с тех пор не отходим от двери.

— Хорошо, но я хочу убедиться, что с ним все благополучно, — упрямо продолжал священник.

— А в чем дело? — с досадой осведомился секретарь.

— Дело в том, что у меня есть важные, я бы сказал, веские причины сомневаться, все ли с ним благополучно.

— О господи! — в бешенстве воскликнул Вэндем. — Никак, опять суеверия!

— Я вижу, мне надо объясниться, — серьезно сказал священник. — Я чувствую, вы не разрешите мне даже в щелочку заглянуть, пока я всего не расскажу.

Он в раздумье помолчал, а затем продолжил, не обращая внимания на удивленные лица окружающих:

— Я шел по улице вдоль колоннады и вдруг увидел оборванца, вынырнувшего из-за угла на дальнем конце «Полумесяца». Тяжело топая по мостовой, он мчался навстречу мне. Я разглядел высокую костлявую фигуру и узнал знакомое лицо — лицо одного шального ирландца, которому я когда-то немного помог. Имени его я не назову. Завидев меня, он отшатнулся и крикнул: «Святые угодники, да это отец Браун! И напугали же вы меня! Надо же вас встретить как раз сегодня». Из этих слов я понял, что он учинил что-то скверное. Впрочем, он не очень струхнул при виде меня, потому что тут же разговорился. И странную он рассказал мне историю. Он спросил, знаком ли мне некий Уоррен Уинд, и я ответил, что нет, хотя и знал, что тот занимает верх этого дома. И он сказал: «Уинд воображает себя господом богом, но если б он слышал, что я так про него говорю, он бы взял и повесился». И повторил истерическим голосом

несколько раз: «Да, взял бы и повесился». Я спросил его, не сделал ли он чего худого Уинду, и он дал очень заковыристый ответ. Он сказал: «Я взял пистолет и зарядил его не дробью и не пулей, а проклятием». Насколько я понял, он всего лишь пробежал по переулку между этим зданием и стеной склада, держа в руке старый пистолет с холостым зарядом, и выстрелил в стенку, точно это могло обрушить дом. «Но при этом,— добавил он,— я проклял его страшным проклятием и пожелал, чтоб адская месть схватила его за ноги, а правосудие божие — за волосы и разорвали его надвое, как Иуду, чтоб духу его на земле больше не было». Не важно, о чем еще я говорил с этим несчастным сумасшедшим; он ушел в более умиротворенном состоянии, а я обогнул дом, чтобы проверить его рассказ. И что же вы думаете — в переулке под стеной валялся ржавый старинный пистолет. Я достаточно разбираюсь в огнестрельном оружии, чтобы понять, что пистолет был заряжен лишь малой толикой пороха: на стене виднелись черные пятна пороха и дыма и даже кружок от дула, но ни малейшей отметины от пули. Он не оставил ни единого следа разрушения, ни единого следа вообще, кроме черных пятен и черного проклятия, брошенного в небо. И вот я явился сюда узнать, все ли в порядке с Уорреном Уиндом.

Феннер усмехнулся:

— Могу вас успокоить, он в полном порядке. Всего несколько минут назад мы оставили его в кабинете — он сидел за столом и писал. Он был абсолютно один, его комната — на высоте ста футов над улицей и расположена так, что никакой выстрел туда не достанет, даже если бы ваш знакомый стрелял не холостыми. Имеется только один вход в комнату — вот этот, а мы не отходили от двери ни на минуту.

— И все-таки,— серьезно произнес отец Браун,— я хотел бы зайти и взглянуть на него своими глазами.

— Но вы не зайдете,— отрезал секретарь.— Господи, неужели вы и впрямь придаете значение проклятиям!

— Вы забываете,— насмешливо сказал миллионер,— что занятие преподобного джентльмена — раздавать благословения и проклятия. За чем же де-

ло, сэр? Если его упекли с помощью проклятия в ад, почему бы вам не вызволить его оттуда с помощью благословения? Что проку от ваших благословений, если они не могут одолеть проклятия какого-то ирландского проходимца?

— Кто же нынче верит в подобные вещи? — запротестовал пришелец с Запада.

— Отец Браун, я думаю, много во что верит, — не отставал Вэндем, у которого взыграла желчь от недавней обиды и от теперешних пререканий. — Отец Браун верит, что отшельник переплыл реку на крокодиле, выманив его заклинаниями неизвестно откуда, а потом повелел крокодилу сдохнуть, и тот послушно издох. Отец Браун верит, что какой-то святой угодник преставился, а после смерти утроился, дабы осчастливить три прихода, возомнившие себя местом его рождения. Отец Браун верит, будто один святой повесил плащ на солнечный луч, а другой переплыл на плаще Атлантический океан. Отец Браун верит, что у святого осла было шесть ног и что дом в Лорето летал по воздуху. Он верит, что сотни каменных дев могли плакать и сетовать дни напролет. Ему ничего не стоит поверить, будто человек исчез через дверную скважину или испарился из запертой комнаты. Надо полагать, он не слишком-то считается с законами природы.

— Но зато я обязан считаться с законами Уоррена Уинда, — устало заметил секретарь, — а в его правила входит оставаться одному, когда он пожелает. Уилсон скажет вам то же самое. — Рослый слуга, посланный за брошюрой, как раз в этот момент невозмутимо шел по коридору с брошюрой в руках. — Уилсон сядет на скамью рядом с коридорным и будет сидеть, пока его не позовут, и тогда только войдет в кабинет, но не раньше. Как и я. Мы с ним прекрасно понимаем, чей хлеб едим, и сотни святых и ангелов отца Брауна не заставят нас забыть об этом.

— Что касается святых ангелов... — начал священник.

— То все это чепуха, — закончил за него Феннер. — Не хочу сказать ничего обидного, но такие фокусы хороши для часовен, склепов и тому подобных диковинных мест. Сквозь дверь американского отеля духи проникнуть не могут.

— Но люди могут открыть даже дверь американского отеля, — терпеливо возразил отец Браун. — И, по-моему, самое простое — открыть ее.

— А еще проще потерять свое место, — отпарировал секретарь, — Уоррен Уинд не станет держать в секретарях таких простаков. Во всяком случае, простаков, верящих в сказки, в которые верите вы.

— Ну что ж, — серьезно сказал священник, — это правда, я верю во многое, во что вы, вероятно, не верите. Но мне пришлось бы долго перечислять это и доказывать, что я прав. Открыть же дверь и доказать, что я не прав, можно секунды за две.

Слова эти, очевидно, нашли отклик в азартной и мятежной душе пришельца с Запада.

— Признаюсь, я не прочь доказать, что вы не правы, — произнес Олбойн, решительно шагнув к двери, — и докажу.

Он распахнул дверь и заглянул в комнату. С первого же взгляда он убедился, что кресло Уоррена Уинда пусто. Со второго взгляда он убедился, что кабинет Уоррена Уинда тоже пуст.

Феннер, словно наэлектризованный, кинулся вперед.

— Уинд в спальне, — отрывисто бросил он, — больше ему быть негде. — И он исчез в глубине номера.

Все застыли в пустом кабинете, озираясь кругом. Их глазам предстала суровая, вызывающе аскетическая простота мебелировки, уже отмеченная ранее. Бесспорно, в комнате и мыши негде было спрятаться, не то что человеку. В ней не было драпировок и, что редкость в американских гостиницах, не было шкафов. Даже письменный стол был обыкновенной конторкой. Стулья тут стояли жесткие, с высокой спинкой, прямые, как скелеты. Мгновение спустя из недр квартиры возник секретарь, обыскавший две другие комнаты. Ответ можно было ясно прочесть по его глазам, но губы его шевельнулись механически, сами по себе, и он резко, как бы утверждая, спросил:

— Он не появлялся?

Остальные даже не нашли нужным отвечать на его вопросы. Разум их будто натолкнулся на глухую стену, подобную той, которая глядела в одно из окон и

постепенно, по мере того как медленно надвигался вечер, превращалась из белой в серую.

Вэндем подошел к подоконнику, у которого стоял полчаса назад, и выглянул в открытое окно. Ни трубы, ни пожарной лестницы, ни выступа не было на стене, отвесно спускавшейся вниз, в улочку, не было их и на стене, вздымавшейся над окном на несколько этажей вверх. По другую же сторону улицы тянулась лишь унылая пустыня беленой стены склада. Вэндем заглянул вниз, словно ожидая увидеть останки покончившего самоубийством филантропа, но на мостовой он разглядел лишь небольшое темное пятно — по всей вероятности, уменьшенный расстоянием пистолет. Тем временем Феннер подошел к другому окну в стене, в равной степени неприступной, выходящему уже не на боковую улицу, а в небольшой декоративный сад. Группа деревьев мешала ему как следует осмотреть местность, но деревья эти оставались где-то далеко внизу, у основания жилой громады. И Вэндем и секретарь отвернулись от окон и устали друг на друга; в сгущающихся сумерках на полированных крышках столов и конторок быстро тускнели последние отблески солнечного света. Феннер повернул выключатель, как будто сумерки раздражали его, и комната, озаренная электрическим светом, внезапно обрела четкие очертания.

— Как вы недавно изволили заметить, — угрюмо произнес Вэндем, — никаким выстрелом снизу его не достать, будь даже пистолет заряжен. Но если бы в него и попала пуля, не мог же он просто лопнуть, как мыльный пузырь.

Секретарь, еще более бледный, чем обычно, досадливо взглянул на желчную физиономию миллионера:

— Откуда у вас такие гробовые настроения? При чем тут пули и пузыри? Почему бы ему не быть в живых?

— Действительно, почему? — ровным голосом переспросил Вэндем. — Скажите мне, где он, и я скажу вам, как он туда попал.

Поколебавшись, секретарь кисло пробормотал:

— Пожалуй, вы правы. Вот мы и напоролись на то, о чем спорили. Будет забавно, если вы или я

вдруг придем к мысли, что проклятие что-то да значит! Но кто мог добраться до Уинда, замурованного тут, наверху?..

Мистер Олбойн из Оклахомы до этого момента стоял посреди комнаты, широко расставив ноги, и казалось, что и белый ореол вокруг его головы, и круглые глаза излучают изумление. Теперь он сказал рассеянно, с безответственной дерзостью балованного ребенка:

— Похоже, вы не очень-то его долюбивали, а, мистер Вэндем?

Длинное желтое лицо мистера Вэндема еще больше помрачнело и оттого еще больше вытянулось, однако он улыбнулся и невозмутимо ответил:

— Что до совпадений, то, если на то пошло, именно вы сказали, что ветер с Запада сдует наших великих мужей, как пух чертополоха.

— Говорить-то я говорил,— простодушно подтвердил мистер Олбойн,— но как это могло случиться, черт побери?

Последовавшее молчание нарушил Феннер, крикнувший неожиданно запальчиво, почти с иступлением:

— Одно только можно сказать: этого просто не было. Не могло этого быть.

— Нет, нет,— донесся вдруг из угла голос отца Брауна,— это именно было.

Все вздрогнули. По правде говоря, они забыли о незаметном человечке, который подбил их открыть дверь. Теперь же, вспомнив, сразу переменили свое отношение к нему. На них нахлынуло раскаяние: они пренебрежительно сочли его суеверным фантазером, когда он позволил себе только намекнуть на то, в чем теперь они убедились собственными глазами.

— Ах черт! — выпалил импульсивный уроженец Запада, привыкший, видимо, говорить все, что думает.— А может, тут и в самом деле что-то есть?

— Должен признать,— проговорил Феннер, хмуро уставясь в стол,— предчувствия его преподобия, видимо, обоснованны. Интересно, что он еще скажет нам по этому поводу?

— Он скажет, может быть,— ядовито заметил Вэндем,— что нам делать дальше, черт побери!

Маленький священник, казалось, отнесся к сложившейся ситуации скромно, по-деловому.

— Единственное, что я могу придумать,— сказал он,— это сперва поставить в известность владельцев отеля, а потом поискать следы моего знакомого с пистолетом. Он исчез за тем углом «Полумесяца», где сад. Там стоят скамейки, облюбованные бродягами.

Переговоры с администрацией отеля, приведшие к окольным переговорам с полицейскими властями, отняли довольно много времени, и, когда они вышли под своды длинной классической колоннады, уже наступила ночь. «Полумесяц» выглядел таким же холодным и ущербным, как и его небесный тезка; сияющий, но призрачный, тот как раз поднялся из-за черных верхушек деревьев, когда они завернули за угол и очутились у небольшого сада. Ночь скрыла все искусственное, городское, что было в саду, и, когда они зашли вглубь, слившись с тенями деревьев, им почудилось, будто они вдруг перенеслись за сотни миль отсюда. Некоторое время они шли молча, но вдруг Олбойн, который был непосредственной других, не выдержал.

— Сдаюсь,— воскликнул он,— пасую. Вот уж не думал, что когда-нибудь наскочу на этокое! Но что поделаешь, если оно само на тебя наскочит! Прошу простить меня, отец Браун, перехожу на вашу сторону. Отныне я руками и ногами за сказки. Вот вы, мистер Вэндем, объявили себя атеистом и верите только в то, что видите. Так что же вы видите? Вернее, чего же вы не видите?

— Вот именно! — угрюмо кивнул Вэндем.

— Бросьте, это просто луна и деревья действуют вам на нервы,— упорствовал Феннер.— Деревья в лунном свете всегда кажутся диковинными, ветки торчат как-то странно. Поглядите, например, на эту...

— Да,— сказал Браун, останавливаясь и всматриваясь вверх сквозь путаницу ветвей.— В самом деле, очень странная ветка.

Помолчав, он добавил:

— Она как будто сломана.

На этот раз в его голосе послышалась такая нотка, что его спутники безотчетно похолодели. Действительно, с дерева, вырисовывавшегося черным си-

луэтом на фоне лунного неба, безвольно свисало нечто, казавшееся сухой веткой. Но это не была сухая ветка. Когда они подошли ближе, Феннер, громко выругавшись, отскочил в сторону. Затем снова подбежал и снял петлю с шеи жалкого, поникшего человечка, с головы которого перьями свисали седые космы. Еще до того, как он с трудом спустил тело с дерева, он уже знал, что снимает мертвеца. Ствол был обмотан десятками футов веревки, и лишь короткий отрезок ее шел от ветки к телу. Большая садовая бочка откатилась на ярд от ног трупа, как стул, вышибленный ногами самоубийцы.

— Господи, помилуй! — прошептал Олбойн, и не понять было, молитва это или божба. — Как там сказал этот тип: «Если б он слышал, он бы взял и повесился»? Так он сказал, отец Браун?

— Так, — ответил священник.

— Да, — глухо выговорил Вэндем. — Мне никогда и не снилось, что я увижу или признаю что-нибудь подобное. Но что тут еще добавить? Проклятие осуществилось.

Феннер стоял, закрыв ладонями лицо. Священник дотронулся до его руки.

— Вы были очень привязаны к нему?

Секретарь отнял руки; его бледное лицо в лунном свете казалось мертвым.

— Я ненавидел его всей душой, — ответил он, — и если его убило проклятие, уж не мое ли?

Священник крепче сжал его локоть и сказал с жаром, какого до того не выказывал:

— Пожалуйста, успокойтесь, вы тут ни при чем.

Полиции пришлось нелегко, когда дошло до опроса четырех свидетелей, замешанных в этом деле. Все четверо пользовались уважением и заслуживали полного доверия, а один, Сайлас Вэндем, директор нефтяного треста, обладал авторитетом и властью. Первый же полицейский чин, попытавшийся выразить недоверие к услышанному, мгновенно вызвал на себя гром и молнии со стороны грозного магната.

— Не смейте мне говорить, чтобы я держался фактов, — обрезал его миллионер. — Я держался фактов, когда вас еще и на свете не было, а теперь факты сами держатся за меня. Я вам излагаю факты, лишь бы у вас хватило ума правильно их записать.

Полицейский был молод летами и в небольших чинах, и ему смутно представлялось, что миллионер — фигура настолько государственная, что с ним нельзя обращаться, как с рядовым гражданином. Поэтому он передал магната и его спутников в руки своего более закаленного начальника, некоего инспектора Коллинза, седеющего человека, усвоившего грубовато-успокаивающий тон; он словно заявлял своим видом, что он добродушен, но вздора не потерпит.

— Так, так, — проговорил он, глядя на троих свидетелей весело поблескивающими глазами, — странная выходит история.

Отец Браун уже вернулся к своим повседневным обязанностям, но Сайлас Вэндем соблаговолил отложить исполнение своих ответственных обязанностей нефтяного заправила еще на час или около того, чтобы дать показания о своих потрясающих впечатлениях. Обязанности Феннера, как секретаря, фактически прекратились со смертью патрона; что же касается великолепного Арта Олбойна, то, поскольку ни в Нью-Йорке, ни в каком другом месте у него не было иных обязанностей, кроме как сеять религию Дыхания Жизни или Великого Духа, ничто не отвлекало его в настоящий момент от выполнения гражданского долга. Вот почему все трое выстроились в кабинете инспектора, готовые подтвердить показания друг друга.

— Пожалуй, для начала скажу вам сразу, — бодро заявил инспектор, — бесполезно морочить мне голову всякой мистической дребеденью. Я человек практический, я полицейский. Оставим эти штуки для священников и всяких там служителей храмов. Этот ваш патер взвинтил вас всех рассказами про страшную смерть и Страшный суд, но я намерен целиком исключить из этого дела и его, и его религию. Если Уинд вышел из комнаты, значит, кто-то его оттуда выпустил. И если Уинд висел на дереве, значит, кто-то его повесил.

— Совершенно верно, — сказал Феннер. — Но поскольку все мы свидетельствуем, что его никто не выпускал, то весь вопрос в том, как же его ухитрились повесить.

— А как ухитряется нос вырасти на лице? — спросил инспектор. — На лице у него вырос нос,

а на шее оказалась петля. Таковы факты, а я, повторяю, человек практический и руководствуюсь фактами. Чудес на свете не бывает. Значит, это кто-то сделал.

Олбойн держался на заднем плане, и его крупная, широкая фигура составляла естественный фон для его более худощавых и подвижных спутников. Он стоял, склонив свою белую голову, с несколько отсутствующим видом, но при последних словах инспектора вскинул ее, по-львиному тряхнул седой гривой и окончательно очнулся, хотя и сохранил ошеломленное выражение. Он вдвинулся в середину группы, и у всех возникло смутное ощущение, будто он стал еще более громоздким, чем раньше. Они слишком поспешно сочли его дураком или фигляром, однако он был не так уж глуп, утверждая, что в нем таится скрытая сила, как у западного ветра, который копит свою мощь, чтобы однажды смести всякую мелочь.

— Стало быть, мистер Коллинз, вы человек практический. — Голос его прозвучал одновременно и мягко и с нажимом. — Вы, кажется, два или три раза за свою короткую речь упомянули, что вы человек практический, так что ошибиться трудно. Что ж, весьма примечательный факт для того, кто займется вашей биографией, описав вашу ученость и застольные беседы с приложением портрета в возрасте пяти лет, дагерротипа бабушки и видов родного города. Надеюсь, ваш биограф не забудет упомянуть, что у вас был нос, как у мопса, и на нем прыщ, и что вы были так толсты, что из-за живота ног не видели. Ну, раз вы такой ходячий практик, может, вы допрактикуетесь до того, что оживите Уоррена Уинда и выясните доподлинно у него самого, как человек практический проникает сквозь дощатую дверь? Но мне сдается, вы ошибаетесь. Вы не ходячий практик, а ходячее недоразумение, вот вы кто. Господь всемогущий решил нас посмешить, когда придумал вас.

С присущей ему театральностью он плавным шагом двинулся к двери, прежде чем сшарашенный инспектор обрел дар речи, и никакие запоздалые возражения уже не могли отнять у Олбойна его торжества.

— По-моему, вы совершенно правы, — поддержал его Феннер. — Если таковы практические люди, мне подавайте священников.

Еще одна попытка установить официальную версию события была сделана, когда власти полностью осознали, кто свидетели этой истории и каковы вытекающие из нее последствия. Она уже просочилась в прессу в самой что ни на есть сенсационной и даже бесстыдно идеалистической форме. Многочисленные интервью с Вэндемом по поводу его чудесного приключения, статьи об отце Брауне и его мистических предчувствиях вскоре побудили тех, кто призван направлять общественное мнение, направить его в здоровое русло. В следующий раз нашли более острый и тактичный подход к неудобным свидетелям: при них как бы невзначай упомянули, что подобными аномальными происшествиями интересуется профессор Вэр и этот поразительный случай привлек его внимание. Профессор Вэр, весьма выдающийся психолог, особое пристрастие питал к криминологии, и только спустя некоторое время они обнаружили, что он самым тесным образом связан с полицией.

Профессор оказался обходительным джентльменом, одетым в спокойные светло-серые тона, в артистическом галстуке и со светлой заостренной бородкой — любой, не знакомый с таким типом ученого, принял бы его скорее за пейзажиста. Манеры его создавали впечатление не только обходительности, но и искренности.

— Да, да, понимаю, — улыбнулся он. — Могу догадаться, что вам пришлось испытать. Полиция не блещет умом при расследованиях психологического свойства, не правда ли? Разумеется, старина Коллинз заявил, что ему нужны только факты. Какое нелепое заблуждение! В делах подобного рода требуются не только факты, гораздо существеннее игра воображения.

— По-вашему, — угрожающе проговорил Вэндем, — все, что мы считаем фактами, лишь игра воображения?

— Ничуть не бывало, — возразил профессор. — Я просто хочу сказать, что полиция глупо поступает, исключая в таких делах психологический момент.

Конечно же, психологический элемент — главнейшее из главных, хотя у нас это только начинают понимать. Возьмите, к примеру, элемент, называемый индивидуальностью. Я, надо сказать, и раньше слышал об этом священнике, Брауне,— он один из самых замечательных людей нашего времени. Людей, подобных ему, окружает особая атмосфера, и никто не может сказать, насколько нервы и разум других людей подпадают под ее временное влияние. Гипнозизм незаметно присутствует в каждодневном человеческом общении, люди оказываются загипнотизированными, когда гипноз достигает определенной степени. Не обязательно гипнотизировать с помоста, в публичном собрании, во фраке. Религия Брауна знает толк в психологическом воздействии атмосферы и умеет воздействовать на весь организм в целом, даже на орган обоняния, например. Она понимает значение всяких любопытных влияний, производимых музыкой на животных и людей, она может...

— Да бросьте вы! — огрызнулся Феннер. — Что же, по-вашему, он прошел по коридору с церковным органом под мышкой?

— О нет, ему нет нужды прибегать к таким штукам! — засмеялся профессор. — Он умеет сконцентрировать сущность всех этих спиритуалистических звуков и даже запахов в немногих скупых жестах искусно, как в школе хороших манер. Без конца ставятся научные эксперименты, показывающие, что люди, чьи нервы перенапряжены, сплошь и рядом считают, будто дверь закрыта, когда она открыта, или наоборот. Люди расходятся во мнении насчет количества дверей и окон перед их глазами. Они испытывают зрительные галлюцинации среди бела дня. С ними это случается даже без гипнотического влияния чужой индивидуальности, а тут мы имеем дело с очень сильной, обладающей даром убеждения индивидуальностью, задавшей целью закрепить всего один образ в вашем мозгу: образ буйного ирландского бунтовщика, посылающего в небо проклятье и холостой выстрел, эхо которого обрушилось громом небесным.

— Профессор! — воскликнул Феннер. — Я бы на смертном одре мог поклясться, что дверь не открывалась.

— Последние эксперименты, — невозмутимо продолжал профессор, — наводят на мысль о том, что наше сознание не является непрерывным, а представляет собой последовательную цепочку быстро сменяющих друг друга впечатлений, как в кинематографе. Возможно, кто-то или что-то проскальзывает, так сказать, между кадрами. Кто-то или что-то действует только на тот миг, когда наступает затемнение. Вероятно, условный язык заклинаний и все виды ловкости рук построены как раз на этих, так сказать, вспышках слепоты между вспышками видения. Итак, этот священник и проповедник трансцендентных идей начинил вас трансцендентными образами, в частности, образом кельта, подобно титану обрушившего башню своим проклятием. Возможно, он сопровождал это каким-нибудь незаметным, но властным жестом, направив ваши глаза в сторону неизвестного убийцы, находящегося внизу. А может быть, в этот момент произошло еще что-то или кто-то еще прошел мимо.

— Уилсон, слуга, прошел по коридору, — пробурчал Олбойн, — и уселся ждать на скамье, но он вовсе не так уж нас и отвлек.

— Как раз об этом судить трудно, — возразил Вэр, — может быть, дело в этом эпизоде, а вероятнее всего, вы следили за каким-нибудь жестом священника, рассказывающего свои небылицы. Как раз в одну из таких черных вспышек мистер Уоррен Уинд и выскользнул из комнаты и пошел навстречу своей смерти. Таково наиболее правдоподобное объяснение. Вот вам иллюстрация последнего открытия: сознание не есть непрерывная линия, а скорее — пунктирная.

— Да уж, пунктирная... — проворчал Феннер. — Я бы сказал, одни черные промежутки.

— Ведь вы не верите, в самом деле, — спросил Вэр, — будто ваш патрон был заперт в комнате, как в камере?

— Лучше уж верить в это, чем считать, что меня надо запереть в комнату, которая выстегана изнутри, — возразил Феннер. — Вот что мне не нравится в ваших предположениях, профессор. Я скорее поверю священнику, который верит в чудо, чем разувюсь в праве любого человека на доверие к факту.

Священник мне говорит, что человек может воззвать к богу, о котором мне ничего не известно, и тот отомстит за него по законам высшей справедливости, о которой мне тоже ничего не известно. Мне нечего возразить, кроме того, что я об этом ничего не знаю. Но, по крайней мере, если просьбу и выстрел ирландского бедняги услышали в горнем мире, этот горний мир вправе откликнуться столь странным, на наш взгляд, способом. Вы, однако, убеждаете меня не верить фактам нашего мира в том виде, в каком их воспринимают мои собственные пять органов чувств. По-вашему выходит, что целая процессия ирландцев с мушкетами могла промаршировать мимо, пока мы разговаривали, стоило им лишь ступить на слепые пятна нашего рассудка. Послушать вас, так простенькие чудеса святых,— скажем, материализация крокодилов или плащ, висящий на солнечном луче, покажутся вполне здравыми и естественными.

— Ах так! — довольно резко произнес профессор Вэр.— Ну, раз вы твердо решили верить в вашего священника и в его сверхъестественного ирландца, я умоляю. Вы, как видно, не имели возможности познакомиться с психологией.

— Именно,— сухо ответил Феннер,— зато я имел возможность познакомиться с психологами.

И, вежливо поклонившись, он вывел свою делегацию из комнаты. Он молчал, пока они не очутились на улице, но тут разразился бурной речью.

— Психопаты несчастные! — вне себя закричал он. — Соображают они или нет, куда покатится мир, если никто не будет верить собственным глазам? Хотел бы я прострелить его дурацкую башку, а потом объяснить, что сделал это в тот слепой момент. Может, чудо у отца Брауна и сверхъестественное, но он обещал, что оно произойдет, и оно произошло. А все эти чертовы маньяки... увидят что-нибудь, а потом говорят, будто этого не было. Послушайте, мне кажется, мы просто обязаны довести до всеобщего сведения тот небольшой урок, который он нам преподавал. Мы с вами нормальные, трезво мыслящие люди, мы никогда ни во что не верили. Мы не были тогда пьяны, не были объаты религиозным экстазом. Просто все случилось так, как он предсказал.

— Совершенно с вами согласен, — отозвался миллионер. — Возможно, это начало великой эпохи в сфере религии. Как бы то ни было, отец Браун, принадлежащий именно к этой сфере, несомненно, оставит в ней большой след.

Несколько дней спустя отец Браун получил очень вежливую записку, подписанную Сайласом Т. Вэндемом, где его приглашали в назначенный час явиться на место исчезновения, чтобы засвидетельствовать это непостижимое происшествие. Само происшествие, стоило ему только проникнуть в газеты, было повсюду подхвачено энтузиастами оккультизма. По дороге к «Полумесяцу» отец Браун видел броские объявления, гласившие: «Самоубийца нашелся» или «Проклятие убивает филантропа». Поднявшись на лифте, он нашел всех в сборе: Вэндема, Олбойна и секретаря. И сразу заметил, что тон их по отношению к нему стал совсем иным, почтительным и даже благоговейным. Когда он вошел, они стояли у стола Уинда, где лежал большой лист бумаги и письменные принадлежности. Они обернулись, приветствуя его.

— Отец Браун, — сказал выделенный для этой цели оратор, седовласый пришелец с Запада, несколько повзрослевший от сознания ответственности своей роли, — мы пригласили вас сюда прежде всего, чтобы принести вам наши извинения и нашу благодарность. Мы признаем, что именно вы первый угадали знак небес. Мы все показали себя твердыми скептиками, все без исключения, но теперь мы поняли, что человек должен пробить эту каменную скорлупу, чтобы постичь великие тайны, скрытые от нашего мира. Вы стоите за эти тайны, вы стоите за сверхобыденные объяснения явлений, и мы признаем ваше превосходство над нами. Кроме того, мы считаем, что этот документ будет неполным без вашей подписи. Мы передаем точные факты в Общество спиритических исследований, потому что сведения в газетах никак не назовешь точными. Мы описали, как на улице было произнесено проклятие, как человек, находившийся в закупоренной со всех сторон комнате, в результате проклятия растворился в воздухе, а потом непостижимым образом материализовался в труп вздернувшего себя самоубийцы.

Вот все, что мы можем сказать об этой истории, но это мы знаем, это мы видели своими глазами. А так как вы первый поверили в чудо, то мы считаем, что вы первый и должны подписать этот документ.

— Право, я совсем не уверен, что мне хочется это делать,— в замешательстве запротестовал отец Браун.

— Вы хотите сказать — подписаться первым?

— Нет, я хочу сказать, вообще подписываться,— скромно ответил отец Браун.— Видите ли, человеку моей профессии не очень-то пристало заниматься мистификациями.

— Как, но ведь именно вы назвали чудом все, что произошло!—воскликнул Олбойн, вытаращив глаза.

— Прошу прощения,— твердо сказал отец Браун,— тут, боюсь, какое-то недоразумение. Не думаю, чтобы я назвал это чудом. Я только сказал, что это может случиться. Вы же утверждали, что не может кроме как чудом. Но это случилось. И тогда вы заговорили о чуде. Я от начала до конца ни слова не сказал ни про чудеса, ни про магию, ни про что иное в этом роде.

— А я думал, что вы верите в чудеса,— не выдержал секретарь.

— Да,— ответил отец Браун,— я верю в чудеса. Я верю и в тигров-людоедов, но они мне не мерещатся на каждом шагу. Если мне нужны чудеса, я знаю, где их искать.

— Не понимаю я этой вашей точки зрения! — горячо вступился Вэндем.— В ней есть узость, а в вас, мне кажется, ее нет, хоть вы и священник. Да разве вы не видите, ведь этакое чудо перевернет весь материализм вверх тормашками! Оно громогласно объявит всему миру, что потусторонние силы могут действовать и действуют. Вы послужите религии, как ни один священник до вас.

Отец Браун чуть-чуть выпрямился, и вся его коротенькая, нелепая фигурка исполнилась бессознательного достоинства, к которому не примешивалось ни капли самодовольства.

— Я не совсем точно понимаю, что вы разумеете этой фразой, и, говоря откровенно, не уверен, что вы сами хорошо понимаете. Вы же не захотите, чтобы

я послужил религии с помощью заведомой лжи? Вполне вероятно, ложью можно послужить религии, но я твердо уверен, что богу ложью не послужишь. И раз уж вы так настойчиво толкуете о том, во что я верю, неплохо было бы иметь хоть какое-нибудь представление об этом, правда?

— Я что-то не совсем понимаю вас, — обиженно заметил миллионер.

— Я так и думал, — просто ответил отец Браун. — Вы говорите, что преступление совершили потусторонние силы. Какие потусторонние силы? Не думаете ли вы, будто ангелы господни взяли и повесили его на дереве? Что же касается демонов, то... Нет, нет. Люди, сделавшие это, поступили безнравственно, но дальше собственной безнравственности они не пошли. Они недостаточно безнравственны, чтобы прибегать к помощи адских сил. Я кое-что знаю о сатанизме, вынужден знать. Я знаю, что это такое. Поклонник дьявола горд и хитер; он любит властвовать и пугать невинных непонятным; он хочет, чтобы у детей мороз подирал по коже. Вот почему сатанизм — это тайны, и посвящения, и тайные общества, и все такое прочее. Сатанист видит лишь себя самого, и каким бы великолепным и важным он ни казался, внутри его всегда прячется гадкая, безумная усмешка. — Священник внезапно передернулся, как будто прохваченный ледяным ветром. — Полно, они не имели к сатанизму ни малейшего отношения. Неужели вы думаете, что моему жалкому, сумасшедшему ирландцу, который бежал сломя голову по улице, а потом, увидев меня, со страху выболтал половину секрета и, боясь выболтать остальное, удрал прочь, — неужели вы думаете, что Сатана поверяет ему свои тайны? Я допускаю, что он участвовал в сговоре с еще двумя людьми, вероятно, худшими, чем он. Но когда, пробегая перекрестком, он выстрелил из пистолета и прокричал проклятие, он просто не помнил себя от злости.

— Но что же значит вся эта чертовщина? — с досадой спросил Вэндем. — Игрушечный пистолет и бессмысленное проклятие не могут сделать того, что они сделали, если только тут нет чуда. Уинд от этого не исчез бы, как эльф. И не возник бы за четверть мили отсюда с веревкой на шее.

— Именно, — резко сказал отец Браун, — но что они могут сделать?

— Опять я не понимаю вас, — мрачно проговорил миллионер.

— Я говорю: что они могут сделать? — повторил священник, впервые выходя из себя. — Вы твердите, что холостой выстрел не сделает того и не сделает другого, что, будь это все так, убийства не случилось бы или чуда не произошло бы. Вам, видно, не приходит в голову спросить себя: а что случилось бы? Как бы вы поступили, если бы у вас под окном маньяк выпалил ни с того ни с сего из пистолета?

Вэндем задумался.

— Должно быть, прежде всего я бы выглянул из окна, — ответил он.

— Да, — сказал отец Браун, — вы бы выглянули из окна. Вот вам и вся история. Печальная история, но теперь она закончилась. И к тому имеются смягчающие обстоятельства.

— Ну и что плохого в том, что он выглянул? — допытывался Олбойн. — Он ведь не выпал, а то бы труп скакался на мостовой.

— Нет, — тихо сказал Браун, — он не упал. Он вознесся.

В голосе его послышался удар гонга, отзвук глаза судьбы, но он продолжал как ни в чем не бывало:

— Он вознесся, но не на крыльях, это не были крылья ни ангелов, ни демонов. Он поднялся на конце веревки, той самой, на которой вы видели его в саду; петля захлестнула его шею в тот миг, когда он высунулся из окна. Вы помните Уилсона, слугу, человека исполинской силы, а ведь Уинд почти ничего не весил. Разве не послали Уилсона за брошюрой этажом выше, в комнату, полную тюков и веревок? Видели бы Уилсона с того дня? Смею думать, что нет.

— Вы хотите сказать, — проговорил секретарь, — что Уилсон выдернул его из окна, как форель на удочке?

— Да, — ответил священник, — и спустил его через другое окно вниз, в парк, где третий сообщник вздернул его на дерево. Вспомните, что переулок всегда пуст, вспомните, что стена напротив глухая; вспомните, что все было кончено через пять минут после

того, как ирландец подал сигнал выстрелом. В этом деле, как вы поняли, участвовали трое. Интересно, можете ли вы догадаться, кто они?

Троица во все глаза глядела на квадрат окна и на глухую белую стену за ним, и никто не отозвался.

— Кстати,— продолжал отец Браун,— не думайте, что я осуждаю вас за ваши сверхъестественные выводы. Причина, собственно, очень проста. Вы все клялись, что вы твердокаменные материалисты, а, в сущности говоря, вы все балансируете на грани веры— вы готовы поверить почти во что угодно. В наше время тысячи людей балансируют так, но находиться постоянно на этой острой грани очень неудобно. Вы не обретете покоя, пока во что-нибудь не уверуете. Потому-то мистер Вэндем прошелся по новым религиям частым гребнем, мистер Олбойн прибегает к Священному писанию, строя свою новую религию, а мистер Феннер ворчит на того самого бога, которого отрицает. Вот в этом-то и есть ваша двойственность. Верить в сверхъестественное естественно и, наоборот, неестественно признавать лишь естественные явления. Но хотя понадобился лишь легкий толчок, чтобы склонить вас к признанию сверхъестественного, на самом-то деле эти явления были самыми естественными. И не просто естественными, а прямо-таки неестественно естественными. Мне думается, проще истории не придумаешь.

Феннер засмеялся, потом нахмурился.

— Одного не понимаю,— сказал он.— Если это был Уилсон, то как получилось, что Уинд держал при себе такого человека? Как получилось, что его убил тот, кто был у него на глазах ежедневно, не сколько лет подряд? Ведь он славился умением судить о людях.

Отец Браун стукнул о пол зонтиком со страстью, какую редко выказывал.

— Вот именно,— сказал он почти свирепо,— за это его и убили. Его убили именно за это. Его убили за то, что он судил о людях, вернее, судил людей.

Трое в недоумении уставились на него, а он продолжал, как будто их здесь не было.

— Что такое человек, чтобы ему судить других? — спросил он.— В один прекрасный день перед Уиндом

предстали трое бродяг, и он быстро, не задумываясь, распорядился их судьбами, распахав их направо и налево, как будто ради них не стоило утруждать себя вежливостью, не стоило добиваться их доверия, не зачем было предоставлять им самим выбирать себе друзей. И вот за двадцать лет не иссякло их негодование, родившееся в ту минуту, когда он оскорбил их, дерзнув разгадать с одного взгляда.

— Ага,— пробормотал секретарь,— понимаю... И еще я понимаю, откуда вы понимаете... всякие разные вещи.

— Будь я проклят, если я что-нибудь понимаю,— пылко воскликнул неугомонный джентльмен с Запада.— Ваш Уилсон просто-напросто жестокий убийца, повесивший своего благодетеля. В моей морали, религия это или не религия, нет места кровожадному злодею.

— Да, он кровожадный злодей,— спокойно заметил Феннер.— Я его не защищаю, но, наверное, дело отца Брауна молиться за всех, даже за такого, как...

— Да,— подтвердил Браун,— мое дело молиться за всех, даже за такого, как Уоррен Уинд.

ЗЛОЙ РОК СЕМЬИ ДАРНУЭЙ

Два художника-пейзажиста стояли и смотрели на морской пейзаж, и на обоих он производил сильное впечатление, хотя воспринимали они его по-разному. Одному из них, входящему в славу художнику из Лондона, пейзаж был вовсе не знаком и казался странным. Другой — местный художник, пользовавшийся, однако, не только местной известностью, — давно знал его и, может быть, именно поэтому тоже ему дивился.

Если говорить о колорите и очертаниях — а именно это занимало обоих художников, — то видели они полосу песка, а над ней полосу предзакатного неба, которое все окрашивало в мрачные тона: мертвенно-зеленый, свинцовый, коричневый и густо-желтый, в этом освещении, впрочем, не тусклый, а скорее таинственный — более таинственный, чем золото. Только

в одном месте нарушались ровные линии: одинокое длинное здание вклинивалось в песчаный берег и подступало к морю так близко, что бурьян и камыш, окаймлявшие дом, почти сливались с протянувшейся вдоль воды полосой водорослей. У дома этого была одна странная особенность — верхняя его часть, наполовину разрушенная, зияла пустыми окнами и, словно черный остов, вырисовывалась на темном вечернем небе, а в нижнем этаже почти все окна были заложены кирпичами — их контуры чуть намечались в сумеречном свете. Но одно окно было самым настоящим окном, и — удивительное дело — в нем даже светился огонек.

— Ну, скажите на милость, кто может жить в этих развалинах? — воскликнул лондонец, рослый, богемного вида молодой человек с пушистой рыжеватой бородкой, несколько старившей его. В Челси он был известен всем и каждому как Гарри Пейн.

— Вы думаете, призраки? — отвечал его друг, Мартин Вуд. — Ну что ж, люди, живущие там, действительно похожи на призраков.

Как это ни парадоксально, в художнике из Лондона, непосредственном и простодушном, было что-то пасторальное, тогда как местный художник казался более проницательным и опытным и смотрел на своего друга со снисходительной улыбкой старшего; и правда, черный костюм и квадратное, тщательно выбритое, бесстрастное лицо придавали ему несомненную солидность.

— Разумеется, это только знамение времени, — продолжал он, — или, вернее, знамение конца старых времен и старинных родов. В этом доме живут последние отпрыски прославленного рода Дарнуэв, но в наши дни мало найдется бедняков беднее, чем они. Они даже не могут привести в порядок верхний этаж и ютятся где-то в нижних комнатах этой развалины, словно летучие мыши или совы. А ведь у них есть фамильные портреты, восходящие к временам войны Алой и Белой розы и первым образцам английской портретной живописи. Некоторые очень хороши. Я это знаю, потому что меня просили заняться реставрацией этих полотен. Есть там один портрет, из самых ранних, до того выразительный, что смотришь на него — и мороз подирает по коже.

— Меня мороз по коже подирает, как только я взгляну на дом,— промолвил Пейн.

— По правде сказать, и меня,— откликнулся его друг.

Наступившую тишину внезапно нарушил легкий шорох в тростнике, и оба невольно вздрогнули, когда темная тень быстро, как испугнутая птица, скользнула вдоль берега. Но мимо них всего-навсего быстро прошел человек с черным чемоданчиком. У него было худое, землистого цвета лицо, а его пронизательные глаза недоверчиво оглядели незнакомца из Лондона.

— Это наш доктор Барнет,— сказал Вуд со вздохом облегчения.— Добрый вечер. Вы в замок? Надеюсь, там никто не болен.

— В таком месте, как это, все всегда больны,— пробурчал доктор.— Иногда серьезней, чем думают. Здесь самый воздух заражен и зачумлен. Не завидую я молодому человеку из Австралии.

— А кто этот молодой человек из Австралии? — как-то рассеянно спросил Пейн.

— Кто? — фыркнул доктор.— Разве ваш друг ничего вам не говорил? А ведь, кстати сказать, он должен приехать именно сегодня. Настоящая мелодрама в старом стиле: наследник возвращается из далеких колоний в свой разрушенный семейный замок! Все выдержано, вплоть до давнишнего семейного соглашения, по которому он должен жениться на девушке, поджидающей его в башне, увитой плющом. Каков анахронизм, а? Впрочем, такое иногда случается в жизни. У него есть даже немного денег — единственный светлый момент во всей этой истории.

— А что думает о ней сама мисс Дарнуэй в своей башне, увитой плющом? — сухо спросил Мартин Вуд.

— То же, что и обо всем прочем,— отвечал доктор.— В этом заброшенном доме, вместилище старых преданий и предрассудков, вообще не думают, там только грезят и отдаются на волю судьбы. Должно быть, она принимает и семейный договор, и мужа из колоний как одно из проявлений рока, тяготеющего над семьей Дарнуэев. Право, я думаю, если он окажется одноглазым горбатым негром, да еще убийцей

вдобавок, она воспримет это как еще один штрих, завершающий мрачную картину.

— Слушая вас, мой лондонский друг составит себе не слишком веселое представление о наших знакомых, — рассмеялся Вуд. — А я-то хотел представить его им. Художнику просто грех не посмотреть семейные портреты Дарнуэв. Но если австралийское вторжение в самом разгаре, нам, видимо, придется отложить визит.

— Нет, нет! Ради бога, навестите их, — сказал доктор Барнет, и в голосе его прозвучали теплые нотки. — Все, что может хоть немного окрасить их безрадостную жизнь, облегчает мою задачу. Очень хорошо, что объявился этот кузен из колоний, но его одного, пожалуй, недостаточно, чтобы оживить здешнюю атмосферу. Чем больше посетителей, тем лучше. Пойдемте, я сам вас представлю.

Подойдя ближе к дому, они увидели, что он стоит как бы на острове — со всех сторон его окружал глубокий ров, наполненный морской водой. По мосту они перешли на довольно широкую каменную площадку, исчерченную большими трещинами, сквозь которые пробивались ростки сорной травы. В сероватом свете сумерек каменный дворик казался голым и пустынным; Пейн никогда бы раньше не поверил, что крохотный кусочек пространства может с такой полной передачей самый дух запустения. Площадка служила как бы огромным порогом к входной двери, расположенной под низкой, тюдоровской аркой; дверь, открытая настежь, чернела, словно вход в пещеру.

Доктор, не задерживаясь, повел их прямо в дом, и тут еще одно неприятно поразило Пейна. Он ожидал, что придется подниматься по узкой винтовой лестнице в какую-нибудь полуразрушенную башню, но оказалось, что первые же ступеньки ведут не вверх, а куда-то вниз. Они миновали несколько коротких лестничных переходов, потом большие сумрачные комнаты; если бы не потемневшие портреты на стенах и не запыленные книжные полки, можно было бы подумать, что они идут по средневековым подземным темницам. То здесь, то там свеча в старинном подсвечнике вырывала из мрака случайную подробность истлевшей роскоши. Но Пейна угнетало не столько

это мрачное искусственное освещение, сколько просачивающийся откуда-то тусклый отблеск дневного света. Пройдя в конец длинного зала, Пейн заметил единственное окно — низкое, овальное, в прихотливом стиле конца XVII века. Это окно обладало удивительной особенностью: через него виднелось не небо, а только его отражение — бледная полоска дневного света, как в зеркале, отражалась в воде рва, под тенью нависшего берега. Пейну пришла на ум легендарная хозяйка шалотского замка, которая видела мир лишь в зеркале. Хозяйке *этого* замка мир являлся не только в зеркальном, но к тому же и в перевернутом изображении.

— Так и кажется, — тихо сказал Вуд, — что дом Дарнуэв рухнет — и в переносном и в прямом смысле слова. Что его медленно засасывает болото или сыпучий песок и со временем над ним зеленой крышей сомкнется море.

Даже невозмутимый доктор Барнет слегка вздрогнул, когда к ним неслышно приблизился кто-то. Такая тишина царила в комнате, что в первую минуту она показалась им совершенно пустой. Между тем в ней было три человека — три сумрачные неподвижные фигуры в сумрачной комнате, одетые в черное и похожие на темные тени. Когда первый из них подошел ближе, на него упал тусклый свет из окна, и вошедшие различили бескровное старческое лицо, почти такое же белое, как окаймлявшие его седые волосы. Это был старый Уэйн, дворецкий, оставшийся в замке *in loco parentis*¹ после смерти эксцентричного чудака — последнего лорда Дарнуэя. Если бы у него совсем не было зубов, он мог бы сойти за вполне благообразного старика. Но у него сохранился один-единственный зуб, который показывался изо рта всякий раз, как он начинал говорить, и это придавало старику весьма злобный вид. Встретив доктора и его друзей с изысканной вежливостью, он подвел их к тому месту, где неподвижно сидели двое в черном. Один, на взгляд Пейна, как нельзя лучше соответствовал сумрачной старине замка, хотя бы уже потому, что это был католический священник; он словно вышел из тайника, в каких скрывались

¹ Вместо отца (*лат.*).

в старые, темные времена гонимые католики. Пейн живо представил себе, как он бормочет молитвы, перебирает четки, служит мессу или делает еще что-нибудь унылое в этом унылом доме. Сейчас он, видимо, старался преподать религиозные утешения своей молодой собеседнице, но вряд ли сумел ее утешить или хотя бы ободрить. В остальном священник ничем не привлекал внимания: лицо у него было простое и маловыразительное. Зато лицо его собеседницы никак нельзя было назвать ни простым, ни маловыразительным. В темном обрамлении одежды, волос и кресла оно поражало ужасной бледностью и до ужаса живую красотой. Пейн долго не отрываясь смотрел на него; еще много раз в жизни суждено было ему смотреть и не насмотреться на это лицо.

Вуд приветливо поздоровался со своими друзьями и после нескольких учтивых фраз перешел к главной цели визита — осмотру фамильных портретов. Он попросил прощения за то, что позволил себе явиться в столь торжественный для семейства день. Впрочем, видно было, что их приходу рады. Поэтому он без дальнейших церемоний провел Пейна через большую гостиную в библиотеку, где находился тот портрет, который он хотел показать ему не просто как картину, но и как своего рода загадку. Маленький священник засеменял вслед за ними — он, по-видимому, разбирался не только в старых молитвах, но и в старых картинах.

— Я горжусь, что откопал портрет, — сказал Вуд. — По-моему, это Гольбейн¹. А если нет, значит, во времена Гольбейна жил другой художник, не менее талантливый.

Портрет, выполненный в жесткой, но искренней и сильной манере того времени, изображал человека, одетого в черное платье с отделкой из меха и золота. У него было тяжелое, полное, бледное лицо, а глаза острые и пронизательные.

— Какая досада, что искусство не остановилось, дойдя до этой ступени! — воскликнул Вуд. — Зачем ему было развиваться дальше? Разве вы не видите,

¹ Гольбейн Ганс Младший (1497—1543) — немецкий живописец и график.

что этот портрет реалистичен как раз в меру? Именно поэтому он и кажется таким живым. Посмотрите на лицо — как оно выделяется на темном, несколько неуверенном фоне! А глаза! Глаза, пожалуй, еще живее, чем лицо. Клянусь богом, они даже слишком живые. Умные, пронзительные — словно смотрят на вас сквозь прорези большой бледной маски.

— Однако скованность чувствуется в фигуре, — сказал Пейн. — На исходе средневековья художники, по крайней мере на севере, еще не вполне справлялись с анатомией. Обратите внимание на ногу — пропорции тут явно нарушены.

— Я в этом не уверен, — спокойно возразил Вуд. — Мастера, работавшие в те времена, когда реализм только начинался и им еще не начали злоупотреблять, писали гораздо реалистичней, чем мы думаем. Они передавали точно те детали, которые мы теперь воспринимаем как условность. Вы, может быть, скажете, что у этого типа брови и глаза посажены не совсем симметрично? Но если бы он вдруг появился здесь, вы бы увидели, что одна бровь у него действительно немного выше другой и что он хром на одну ногу. Я убежден, что эта нога намеренно сделана кривой.

— Да это просто дьявол какой-то! — вырвалось вдруг у Пейна. — Не при вас будь сказано, ваше преподобие...

— Ничего, ничего, я верю в дьявола, — ответил священник и непонятно улыбнулся. — Любопытно, кстати, что, по некоторым преданиям, черт тоже хромой.

— Помилуйте, — запротестовал Пейн, — не хотите же вы сказать, что это сам черт? Да кто он наконец, черт его побори?

— Лорд Дарнуэй, живший во времена короля Генриха Седьмого и короля Генриха Восьмого, — отвечал его друг. — Между прочим, о нем тоже сохранились любопытные предания. С одним из них, очевидно, связана надпись на раме. Подробнее об этом можно узнать из заметок, оставленных кем-то в старинной книге, которую я тут случайно нашел. Очень интересная история.

Пейн приблизился к портрету и склонил голову набок, чтобы удобнее было прочесть старинную над-

пись по краям рамы. Это было, в сущности, четверостишие, и, если отбросить устаревшее написание, оно выглядело примерно так:

В седьмом наследнике возникну вновь
И в семь часов исчезну без следа.
Не сдержит гнева моего любовь,
Хозяйке сердца моего — беда.

— От этих стихов прямо жуть берет, — сказал Пейн, — может быть, потому что я их не понимаю.

— Вы еще не то скажете, когда поймете, — тихо промолвил Вуд. — В тех заметках, которые я нашел, подробно рассказывается, как этот красавец умышленно убил себя таким образом, что его жену казнили за убийство. Следующая запись, сделанная много позднее, говорит о другой трагедии, происшедшей через семь поколений. При короле Георге еще один Дарнуэй покончил с собой и оставил для жены яд в бокале с вином. Оба самоубийства произошли вечером в семь часов. Отсюда, очевидно, следует заключить, что этот тип действительно возрождается в каждом седьмом поколении и, как гласят стихи, доставляет немало хлопот той, которая необдуманно решилась выйти за него замуж.

— Н-да, пожалуй, не слишком хорошо должен чувствовать себя очередной седьмой наследник, — заметил Пейн.

Голос Вуда сник до шепота:

— Тот, что сегодня приезжает, как раз седьмой.

Гарри Пейн сделал резкое движение, словно стремясь сбросить с плеч какую-то тяжесть.

— О чем мы говорим? Что за бред! — воскликнул он. — Мы образованные люди и живем, насколько мне известно, в просвещенном веке! До того как я попал сюда и надыхался этим проклятым, промозглым воздухом, я никогда бы не поверил, что смогу всерьез разговаривать о таких вещах.

— Вы правы, — сказал Вуд. — Когда поживешь в этом подземном замке, многое начинаешь видеть в ином свете. Мне пришлось немало повозиться с картиной, пока я ее реставрировал, и, знаете, она стала как-то странно действовать на меня. Лицо на

холсте иногда кажется мне более живым, чем мертвенные лица здешних обитателей. Оно, словно талисман или магнит, повелевает стихиями, предопределяет события и судьбы. Вы, конечно, скажете — игра воображения?

— Что за шум? — вдруг вскопчил Пейн.

Они прислушались, но не услышали ничего, кроме отдаленного глухого рокота моря; затем им стало казаться, что сквозь этот рокот звучит голос, сначала приглушенный, потом все более явственный. Через минуту они были уже уверены: кто-то кричал около замка.

Пейн нагнулся и выглянул в низкое овальное окно, то самое, из которого не было видно ничего, кроме отраженного в воде неба и полоски берега. Но теперь перевернутое изображение как-то изменилось. От нависшей тени берега шли еще две темные тени — отражение ног человека, стоявшего высоко на берегу. Сквозь узкое оконное отверстие виднелись только эти ноги, чернеющие на бледном, мертвенном фоне вечернего неба. Головы не было видно — она словно уходила в облака, и голос от этого казался еще страшнее: человек кричал, а что он кричал, они не могли ни расслышать как следует, ни понять. Пейн, изменившись в лице, пристально всмотрелся в сумерки и каким-то не своим голосом сказал:

— Как странно он стоит!

— Нет, нет! — поспешно зашептал Вуд. — В зеркале все выглядит очень странно. Это просто зыбь на воде, а вам кажется...

— Что кажется? — резко спросил священник.

— Что он хром на левую ногу.

Пейн с самого начала воспринял овальное окно как некое волшебное зеркало, и теперь ему почудилось, что он видит в нем таинственные образы судьбы. Помимо человека, в воде обрисовывалось еще что-то непонятное: три тонкие длинные линии на бледном фоне неба, словно рядом с незнакомцем стояло трехногое чудовище — гигантский паук или птица. Затем этот образ сменился другим, более реальным; Пейн подумал о треножнике языческого жертвенника. Но тут странный предмет исчез, а человеческие ноги ушли из поля зрения.

Пейн обернулся и увидел бледное лицо дворецкого; рот его был полуоткрыт, и из него торчал единственный зуб.

— Это он. Пароход из Австралии прибыл сегодня утром.

Возвращаясь из библиотеки в большую гостиную, они услышали шаги незнакомца, который шумно спускался по лестнице; он тащил за собой какие-то вещи, составлявшие его небольшой багаж. Увидев их, Пейн облегченно рассмеялся. Таинственный треножник оказался всего-навсего складным штативом фотоаппарата, да и сам человек выглядел вполне реально и по-земному. Он был одет в свободный темный костюм и серую фланелевую рубашку, а его тяжелые ботинки довольно непочтительно нарушали тишину старинных покоев. Когда он шел к ним через большой зал, они заметили, что он прихрамывает. Но не это было главным: Пейн и все присутствующие не отрываясь смотрели на его лицо.

Он, должно быть, почувствовал что-то странное и неловкое в том, как его встретили, но явно не понимал, в чем дело. Девушка, помолвленная с ним, была красива и, видимо, ему понравилась, но в то же время как будто испугала его. Дворецкий приветствовал наследника со старинной церемонностью, но при этом смотрел на него точно на привидение. Взгляд священника был непроницаем и уже поэтому действовал угнетающе. Мысли Пейна неожиданно получили новое направление: во всем происходящем ему почудилась какая-то ирония — злобная ирония в духе древнегреческих трагедий. Раньше незнакомец представлялся ему дьяволом, но действительность оказалась, пожалуй, еще страшнее: он был воплощением слепого рока. Казалось, он шел к преступлению с чудовищным неведением Эдипа. К своему фамильному замку он приблизился в полной безмятежности и остановился, чтобы сфотографировать его, но даже фотоаппарат приобрел вдруг сходство с треножником трагической пифии.

Однако немного позже, прощаясь, Пейн с удивлением заметил, что австралиец не так уж слеп к окружающей обстановке. Он сказал, понизив голос:

— Не уходите... или хотя бы поскорее приходите

снова. Вы похожи на живого человека. От этого дома у меня кровь стынет в жилах.

Когда Пейн выбрался из подземных комнат и вдохнул полной грудью ночной воздух и свежий запах моря, ему представилось, что он оставил позади царство сновидений, где события нагромождаются одно на другое тревожно и неправдоподобно. Приезд странного родственника из Австралии казался слишком неожиданным. В его лице, как в зеркале, повторялось лицо, написанное на портрете, и совпадение пугало Пейна, словно он встретился с двухголовым чудовищем. Впрочем, не все в этом доме было кошмаром, и не лицо австралийца глубже всего врезалось ему в память.

— Так вы говорите, — сказал Пейн доктору, когда они вместе шли по песчаному берегу вдоль темнеющего моря, — вы говорите, что есть семейное соглашение, в силу которого молодой человек из Австралии помолвлен с мисс Дарнуэй? Это прямо роман какой-то!

— Исторический роман, — сказал доктор Барнет. — Дарнуэй погрузились в сон несколько столетий тому назад, когда существовали обычаи, о которых мы теперь читаем только в книгах. У них в роду, кажется, и впрямь есть старая семейная традиция: соединять узами брака — дабы не дробить родовое имущество — двоюродных или троюродных братьев и сестер, если они подходят друг другу по возрасту. Очень глупая традиция, кстати сказать. Частые браки внутри одной семьи по закону наследственности неизбежно приводят к вырождению. Может, поэтому род Дарнуэев и пришел в упадок.

— Я бы не сказал, что слово «вырождение» уместно по отношению ко всем членам этой семьи, — сухо ответил Пейн.

— Да, пожалуй, — согласился доктор. — Наследник не похож на выродка, хоть он и хромой.

— Наследник! — воскликнул Пейн, вдруг рассердившись без всякой видимой причины. — Ну, знаете!.. Если, по-вашему, наследница похожа на выродка, то у вас у самого выродился вкус.

Лицо доктора помрачнело.

— Я полагаю, что на этот счет мне известно несколько больше, чем вам, — резко ответил он.

Они расстались, не проронив больше ни слова: каждый чувствовал, что был бессмысленно груб и потому сам напоролся на бессмысленную грубость. Пейн был предоставлен теперь самому себе и своим мыслям, ибо его друг Вуд задержался в замке из-за каких-то дел, связанных с картинами.

Пейн широко воспользовался приглашением немого перепуганного кузена из колоний. За последние две-три недели он гораздо ближе познакомился с темными покоями замка Дарнуэв; впрочем, нужно сказать, что его старания развлечь обитателей замка были направлены не только на австралийского кузена. Печальная мисс Дарнуэй не меньше нуждалась в развлечении, и он готов был на все лады служить ей. Между тем совесть Пейна была не совсем спокойна, да и неопределенность положения несколько смущала его. Проходили недели, а из поведения нового Дарнуэя так и нельзя было понять, считает он себя связанным старым соглашением или нет. Он задумчиво бродил по темным галереям и часами простаивал перед зловещей картиной. Старые тени дома-тюрьмы уже начали сгущаться над ним, и от его австралийской жизнерадостности не осталось и следа. А Пейну все не удавалось выведать то, что было для него самым важным. Однажды он попытался открыть сердце Мартину Вуду, возившемуся, по своему обыкновению, с картинами, но разговор не принес ничего нового и обнадеживающего.

— По-моему, вам нечего соваться, — отрезал Вуд, — они ведь помолвлены.

— Я и не стану соваться, если они помолвлены. Но существует ли помолвка? С мисс Дарнуэй я об этом, конечно, не говорил, но я часто вижу ее, и мне ясно, что она не считает себя помолвленной, хотя, может, и допускает мысль, что какой-то уговор существовал. А кузен тот вообще молчит и делает вид, будто ничего нет и не было. Такая неопределенность жестоко отзывается на всех.

— И в первую очередь на вас, — резко сказал Вуд. — Но если хотите знать, что я думаю об этом, извольте, я скажу: по-моему, он просто боится.

— Боится, что ему откажут? — спросил Пейн.

— Нет, что ответят согласием, — ответил Вуд. —

Да не смотрите на меня такими страшными глазами! Я вовсе не хочу сказать, что он боится мисс Дарнуэй, — он боится картины.

— Картины? — переспросил Пейн.

— Проклятия, связанного с картиной. Разве вы не помните надпись, где говорится о роке Дарнуэев?

— Помню, помню. Но согласитесь, даже рок Дарнуэев нельзя толковать двояко. Сначала вы говорили, что я не вправе на что-либо рассчитывать, потому что существует соглашение, а теперь вы говорите, что соглашение не может быть выполнено потому, что существует проклятие. Но если проклятие уничтожает соглашение, то почему она связана им? Если они боятся пожениться, значит, каждый из них свободен в своем выборе — и дело с концом. С какой стати я должен считаться с их семейными обычаями больше, чем они сами? Ваша позиция кажется мне шаткой.

— Что и говорить, тут сам черт ногу сломит, — раздраженно сказал Вуд и снова застучал молотком по подрамнику.

И вот однажды утром новый наследник нарушил свое долгое и непостижимое молчание. Сделал он это несколько неожиданно, со свойственной ему прямолинейностью, но явно из самых честных побуждений. Он открыто попросил совета, и не у кого-нибудь одного, как Пейн, а сразу у всех. Он обратился ко всему обществу, словно депутат парламента к избирателям, «раскрыл карты», как сказал он сам. К счастью, молодая хозяйка замка при этом не присутствовала, что очень порадовало Пейна. Впрочем, надо сказать, австралиец действовал чисто-сердечно; ему казалось вполне естественным обратиться за помощью. Он собрал нечто вроде семейного совета и положил, вернее, швырнул свои карты на стол с отчаянием человека, который дни и ночи напролет безуспешно бьется над неразрешимой задачей. С тех пор как он приехал сюда, прошло немного времени, но тени замка, низкие окна и темные галереи странным образом изменили его — увеличили сходство, мысль о котором не покидала всех.

Пятеро мужчин, включая доктора, сидели вокруг стола, и Пейн рассеянно подумал, что единственное

яркое пятно в комнате — его собственный полосатый пиджак и рыжие волосы, ибо священник и старый слуга были в черном, а Вуд и Дарнуэй всегда носили темно-серые, почти черные костюмы. Должно быть, именно этот контраст и имел в виду молодой Дарнуэй, назвав Пейна единственным в доме живым человеком. Но тут Дарнуэй круто повернулся в кресле, заговорил — и художник сразу понял, что речь идет о самом страшном и важном на свете.

— Есть ли во всем этом хоть крупинка истины? — говорил австралиец. — Вот вопрос, который я все время задаю себе, задаю до тех пор, пока мысли не начинают мешаться у меня в голове. Никогда я не предполагал, что смогу думать о подобных вещах, но я думаю о портрете, и о надписи, и о совпадении, или... называйте это как хотите — и весь холодею. Можно ли в это верить? Существует ли рок Дарнуэев, или все это дикая, нелепая случайность? Имею я право жениться, или я этим навлеку на себя и еще на одного человека что-то темное, страшное и неведомое?

Его блуждающий взгляд скользнул по лицам и остановился на спокойном лице священника; казалось, он теперь обращался только к нему. Трезвого и здравого Пейна возмутило, что человек, восставший против суеверий, просит помощи у верного слугителя суеверия. Художник сидел рядом с Дарнуэем и вмешался, прежде чем священник успел ответить.

— Совпадения эти, правда, удивительны, — сказал Пейн с нарочитой небрежностью. — Но ведь все мы... — Он вдруг остановился, словно громом пораженный.

Услышав слова художника, Дарнуэй резко обернулся, левая бровь у него вздернулась, и на мгновение Пейн увидел перед собой лицо портрета; зловещее сходство было так поразительно, что все невольно содрогнулись. У старого слуги вырвался глухой стон.

— Нет, это безнадежно, — хрипло сказал он. — Мы столкнулись с чем-то слишком страшным.

— Да, — тихо согласился священник. — Мы действительно столкнулись с чем-то страшным, с самым

страшным из всего, что я знаю, — с глупостью.

— Как вы сказали? — спросил Дарнуэй, не сводя с него глаз.

— Я сказал — с глупостью, — повторил священник. — До сих пор я не вмешивался, потому что это не мое дело. Я тут человек посторонний, временно заменяю священника в здешнем приходе и в замке бывал как гость по приглашению мисс Дарнуэй. Но если вы хотите знать мое мнение, что ж, я вам охотно отвечу. Разумеется, никакого рока Дарнуэв нет и ничто не мешает вам жениться по собственному выбору. Ни одному человеку не может быть предопределено совершить даже самый ничтожный грех, не говоря уже о таком страшном, как убийство или самоубийство. Вас нельзя заставить поступать против совести только потому, что ваше имя Дарнуэй. Во всяком случае, не больше, чем меня, потому что мое — Браун. Рок Браунов, — добавил он не без иронии, — или еще лучше: «Зловещий рок Браунов».

— И это вы, — изумленно воскликнул австралиец, — вы советуете мне так думать об этом?

— Я советую вам думать о чем-нибудь другом, — весело отвечал священник. — Почему вы забросили молодое искусство фотографии? Куда девался ваш аппарат? Здесь внизу, конечно, слишком темно, но на верхнем этаже, под широкими сводами, можно устроить отличную фотостудию. Несколько рабочих в мгновение ока соорудят там стеклянную крышу.

— Помилуйте, — запротестовал Вуд, — уж от вас-то я меньше всего ожидал такого кощунства по отношению к прекрасным готическим сводам! Они едва ли не лучшее из того, что ваша религия дала миру. Казалось бы, вы должны с почтением относиться к зодчеству. И я никак не пойму: откуда у вас такое пристрастие к фотографии?

— У меня пристрастие к дневному свету, — ответил отец Браун. — В особенности здесь, где его так мало. Фотография же связана со светом. А если вы не понимаете, что я готов сровнять с землей все готические своды в мире, чтобы сохранить покой даже одной человеческой душе, то вы знаете о моей религии еще меньше, чем вам кажется.

Австралиец вскочил на ноги, словно почувствовал неожиданный прилив сил.

— Вот это я понимаю! Вот это настоящие слова! — воскликнул он. — Хотя, признаться, я никак не ожидал услышать их от вас. Знаете что, дорогой патер, я вот возьму и сделаю одну штуку — докажу, что я еще не совсем потерял присутствие духа.

Старый слуга не сводил с него испуганного, настороженного взгляда, словно в бунтарском порыве молодого человека таилась гибель.

— Боже, — пробормотал он, — что вы хотите сделать?

— Сфотографировать портрет, — отвечал Дарнуэй.

Не прошло, однако, и недели, а грозовые тучи катастрофы снова нависли над замком и, затмив солнце здравомыслия, к которому тщетно взывал священник, вновь погрузили дом в черную тьму рока. Оборудовать студию оказалось очень нетрудно. Она ничем не отличалась от любой другой студии — пустая, просторная и полная дневного света. Но когда человек попадал в нее прямо из сумрака нижних комнат, ему начинало казаться, что он мгновенно перенесся из темного прошлого в блистательное будущее.

По предложению Вуда, который хорошо знал замок и уже отказался от своих эстетических претензий, небольшую комнату, уцелевшую среди развалин второго этажа, превратили в темную лабораторию. Дарнуэй, удалившись от дневного света, подолгу возился здесь при свете красной лампы. Буд однажды сказал, смеясь, что красный свет примирил его с вандализмом — теперь эта комната с кровавыми бликами на стенах стала не менее романтична, чем пещера алхимика.

В день, избранный Дарнуэем для фотографирования таинственного портрета, он встал с восходом солнца и по единственной винтовой лестнице, соединявшей нижний этаж с верхним, перенес портрет из библиотеки в свою студию. Там он установил его на мольберте, а напротив водрузил штатив фотоаппарата. Он сказал, что хочет дать снимок с портрета одному известному антиквару, который писал

когда-то о старинных вещах в замке Дарнуэй. Но всем было ясно, что антиквар — только предлог, за которым скрывается нечто более серьезное. Это был своего рода духовный поединок — если не между Дарнуэем и бесовской картиной, то, во всяком случае, между Дарнуэем и его сомнениями. Он хотел столкнуть трезвую реальность фотографии с темной мистикой портрета и посмотреть, не рассеет ли солнечный свет нового искусства ночные тени старого.

Может быть, именно потому Дарнуэй и предпочел делать все сам, без посторонней помощи, хотя из-за этого ему пришлось потратить гораздо больше времени. Во всяком случае, те, кто заходил к нему в комнату, встречали не очень приветливый прием: он суетился около своего аппарата и ни на кого не обращал внимания. Пейн принес ему обед, поскольку Дарнуэй отказался сойти вниз; некоторое время спустя слуга поднялся туда и нашел тарелки пустыми, но когда он их уносил, то вместо благодарности услышал лишь невнятное мычание. Пейн поднялся посмотреть, как идут дела, но вскоре ушел, так как фотограф был явно не расположен к беседе. Заглянул наверх и отец Браун: он хотел вручить Дарнуэю письмо от антикара, которому предполагалось послать снимок с портрета. Но положил письмо в пустую ванночку для проявления пластинок, а сам спустился вниз; своими же мыслями о большой стеклянной комнате, полной дневного света и страстного упорства — о мире, который, в известном смысле, был создан им самим, — он не поделился ни с кем. Впрочем, вскоре ему пришлось вспомнить, что он последним сошел по единственной в доме лестнице, соединяющей два этажа, оставив наверху пустую комнату и одинокого человека. Гости и домочадцы собрались в примыкавшей к библиотеке гостиной, у массивных часов черного дерева, похожих на гигантский гроб.

— Ну как там Дарнуэй? — спросил Пейн немного погодя. — Вы ведь недавно были у него?

Священник провел рукой по лбу.

— Со мной творится что-то неладное, — с грустной улыбкой сказал он. — А может быть, меня ослепил яркий свет и я не все видел как следует. Но,

честное слово, в фигуре у аппарата мне на мгновение почудилось что-то очень странное.

— Так ведь это его хромая нога, — поспешно ответил Барнет. — Совершенно ясно.

— Что ясно? — спросил Пейн резко, но в то же время понизив голос. — Мне лично далеко не все ясно. Что нам известно? Что у него с ногой? И что было с ногой у его предка?

— Как раз об этом-то и говорится в книге, которую я нашел в семейных архивах, — сказал Вуд. — Подождите, я вам сейчас ее принесу. — И он скрылся в библиотеке.

— Мистер Пейн, думается мне, неспроста задал этот вопрос, — спокойно заметил отец Браун.

— Сейчас я вам все выложу, — проговорил Пейн еще более тихим голосом. — В конце концов ведь нет ничего на свете, чему нельзя было бы подыскать вполне разумное объяснение; любой человек может загримироваться под портрет. А что мы знаем об этом Дарнуэ! Ведет он себя как-то необычно...

Все изумленно посмотрели на него, и только священник, казалось, был невозмутим.

— Дело в том, что портрет никогда не фотографировали, — сказал он. — Вот Дарнуэй и хочет это сделать. Я не вижу тут ничего необычного.

— Все объясняется очень просто, — сказал Вуд с улыбкой; он только что вернулся и держал в руках книгу.

Но не успел художник договорить, как в больших черных часах что-то щелкнуло — один за другим последовало семь мерных ударов. Одновременно с последним наверху раздался грохот, потрясший дом, точно раскат грома. Отец Браун бросился к винтовой лестнице и взбежал на первые две ступеньки, прежде чем стих этот шум.

— Боже мой! — невольно вырвалось у Пейна. — Он там совсем один!

— Да, мы найдем его там одного, — не оборачиваясь сказал отец Браун и скрылся наверху.

Все остальные, опомнившись после первого потрясения, сломя голову устремились вверх по лестнице и действительно нашли Дарнуэя одного. Он был распростерт на полу среди обломков рухнувшего

аппарата; три длинные ноги штатива смешно и жутко торчали в разные стороны, а черная искривленная нога самого Дарнуэя беспомощно вытянулась на полу. На мгновение эта темная груда показалась им чудовищным пауком, стиснувшим в своих объятиях человека. Достаточно было одного прикосновения, чтобы убедиться: Дарнуэй был мертв. Только портрет стоял невредимый на своем месте, и глаза его светились зловещей улыбкой.

Час спустя отец Браун, пытавшийся водворить порядок в доме, наткнулся на слугу, что-то бормотавшего себе под нос так же монотонно, как отстукивали время часы, пробившие страшный час. Слов священник не расслышал, но он и так знал, что повторяет старик:

В седьмом наследнике возникну вновь
И в семь часов исчезну без следа.

Он хотел было сказать что-нибудь утешительное, но старый слуга вдруг опамятовался, лицо его исказилось гневом, бормотание перешло в крик.

— Это все вы! — закричал он. — Вы и ваш дневной свет! Может, вы и теперь скажете, что нет никакого рока Дарнуэев?

— Я скажу то же, что и раньше, — мягко ответил отец Браун. И, помолчав, добавил: — Надеюсь, вы исполните последнее желание бедного Дарнуэя и проследите за тем, чтобы фотография все-таки была отправлена по назначению.

— Фотография! — воскликнул доктор. — А что от нее проку? Да, кстати, как ни странно, а никакой фотографии нет. По-видимому, он так и не сделал ее, хотя целый день провозился с аппаратом.

Отец Браун резко обернулся.

— Тогда сделайте ее сами, — сказал он. — Бедный Дарнуэй был абсолютно прав: портрет необходимо сфотографировать. Это крайне важно.

Когда доктор, священник и оба художника покинули дом и мрачной процессией медленно шли через коричнево-желтые пески, поначалу все хранили молчание, словно оглушенные ударом. И правда, было что-то подобное грому среди ясного неба в том, что странное пророчество свершилось именно в тот мо-

мент, когда о нем меньше всего думали; когда доктор и священник были преисполнены здравомыслия, а комната фотографа наполнена дневным светом. Они могли сколько угодно здраво мыслить и рассуждать, но седьмой наследник вернулся среди бела дня и в семь часов среди бела дня погиб.

— Теперь, пожалуй, никто уже не будет сомневаться в существовании рока Дарнуэев,— сказал Мартин Вуд.

— Я знаю одного человека, который будет,— резко ответил доктор.— С какой стати я должен поддаваться предрассудкам, если кому-то пришло в голову покончить с собой?

— Так вы считаете, что Дарнуэй совершил самоубийство? — спросил священник.

— Я уверен в этом,— ответил доктор.

— Возможно, что и так.

— Он был один наверху, а рядом в темной комнате имелся целый набор ядов. Вдобавок это свойственно Дарнуэям.

— Значит, вы не верите в семейное проклятие?

— Я верю только в одно семейное проклятие,— сказал доктор,— в их наследственность. Я вам уже говорил. Они все какие-то сумасшедшие. Иначе и быть не может: когда у вас от бесконечных браков внутри одного семейства кровь застаивается в жилах, как вода в болоте, вы неизбежно обречены на вырождение, нравится вам это или нет. Законы наследственности неумолимы, научно доказанные истины не могут быть опровергнуты. Рассудок Дарнуэев распадается, как распадается их родовой замок, изъеденный морем и соленым воздухом. Самоубийство... Разумеется, он покончил с собой. Более того: все в этом роду рано или поздно кончат так же. И это еще лучшее из всего, что они могут сделать.

Пока доктор рассуждал, в памяти Пейна с удивительной ясностью возникло лицо дочери Дарнуэев,— выступившая из непроницаемой тьмы маска, бледная, трагическая, но исполненная слепящей, почти бессмертной красоты. Пейн открыл рот, хотел что-то сказать, но почувствовал, что не может произнести ни слова.

— Понятно, — сказал отец Браун доктору. — Так вы, значит, все-таки верите в предопределение?

— То есть как это «верите в предопределение»? Я верю только в то, что самоубийство в данном случае было неизбежно — оно обусловлено научными факторами.

— Признаться, я не вижу, чем ваше научное суеверие лучше суеверия мистического, — отвечал священник. — Оба они превращают человека в паралитика, неспособного пошевелить пальцем, чтобы позаботиться о своей жизни и душе. Надпись гласила, что Дарнуэи обречены на гибель, а ваш научный гороскоп утверждает, что они обречены на самоубийство. И в том и в другом случае они оказываются рабами.

— Помните, вы говорили, что придерживаетесь рационального взгляда на эти вещи, — сказал доктор Барнет. — Разве вы не верите в наследственность?

— Я говорил, что верю в дневной свет, — ответил священник громко и отчетливо. — И я не намерен выбирать между двумя подземными ходами суеверия — оба они ведут во мрак. Вот вам доказательство: вы все даже не догадываетесь о том, что действительно произошло в доме.

— Вы имеете в виду самоубийство? — спросил Пейн.

— Я имею в виду убийство, — ответил отец Браун. И хотя он сказал это только чуть-чуть громче, голос его, казалось, прокатился по всему берегу. — Да, это было убийство. Но убийство, совершенное человеческой волей, которую господь бог сделал свободной.

Что на это ответили другие, Пейн так никогда и не узнал, потому что слово, произнесенное священником, очень странно подействовало на него: оно его взбудоражило, точно призывный звук фанфар, и пригвоздило к месту. Спутники Пейна ушли далеко вперед, а он все стоял неподвижно — один среди песчаной равнины; кровь забурила в его жилах, и волосы, что называется, шевелились на голове. В то же время его охватило необъяснимое счастье. Психологический процесс, слишком сложный, чтобы

в нем разобраться, привел его к решению, которое еще не поддавалось анализу. Но оно несло с собой освобождение. Постояв еще немного, он повернулся и медленно пошел обратно, через пески, к дому Дарнуэв.

Решительными шагами, от которых задрожал старый мост, он пересек ров, спустился по лестнице, прошел через всю анфиладу темных покоев и наконец достиг той комнаты, где Аделаида Дарнуэй сидела в ореоле бледного света, падавшего из овального окна, словно святая, всеми забытая и покинутая в долине смерти. Она подняла на него глаза, и удивление, засветившееся на ее лице, сделало это лицо еще более удивительным.

— Что случилось?— спросила она.— Почему вы вернулись?

— Я вернулся за спящей красавицей,— ответил он, и в голосе его послышался смех.— Этот старый замок погрузился в сон много лет тому назад, как говорит доктор, но вам не следует притворяться старой. Пойдемте наверх, к свету, и вам откроется правда. Я знаю одно слово, страшное слово, которое разрушит злые чары.

Она ничего не поняла из того, что он сказал. Однако встала, последовала за ним через длинный зал, поднялась по лестнице и вышла из дома под вечернее небо. Зброшенный, опустелый парк спустился к морю; старый фонтан с фигурой тритона еще стоял на своем месте, но весь позеленел от времени, и из высохшего рога в пустой бассейн давно уже не лилась вода. Пейн много раз видел этот печальный силуэт на фоне вечернего неба, и он всегда казался ему воплощением погибшего счастья. Пройдет еще немного времени, думал Пейн, и бассейн снова наполнится водой, но это будет мутно-зеленая горькая вода моря, цветы захлебнутся в ней и погибнут среди густых цепких водорослей. И дочь Дарнуэв обручится — обручится со смертью и роком, глухим и безжалостным, как море. Однако теперь Пейн смело положил большую руку на бронзового тритона и потряс его так, словно хотел сбросить с пьедестала злое божество мертвого парка.

— О чем вы? — спокойно спросила она.— Что это за слово, которое освободит нас?

— Это слово — «убийство», — отвечал он, — и оно несет с собой освобождение, чистое, как весенние цветы. Нет, нет, не подумайте, что я убил кого-то. Но после страшных снов, мучивших вас, вещь, что кто-то может быть убит, уже сама по себе — освобождение. Не понимаете? Весь этот кошмар, в котором вы жили, исходил от вас самих. Рок Дарнуэев был в самих Дарнуэях; он распускался, как страшный ядовитый цветок. Ничто не могло избавить от него, даже счастливая случайность. Он был неотвратим, будь то старые предания Уэйна или новомодные теории Барнета... Но человек, который погиб сегодня, не был жертвой мистического проклятия или наследственного безумия. Его убили. Конечно, это — большое несчастье, *requiescat in pace*¹, но это и счастье, потому что пришло оно извне, как луч дневного света.

Вдруг она улыбнулась.

— Кажется, я поняла, хотя говорите вы как безумец. Кто же убил его?

— Я не знаю, — ответил он спокойно. — Но отец Браун знает. И он сказал, что убийство совершила воля, свободная, как этот морской ветер.

— Отец Браун — удивительный человек, — промолвила она не сразу. — Только он один как-то скрашивал мою жизнь, до тех пор пока...

— Пока что? — переспросил Пейн, порывисто наклонился к ней и так толкнул бронзовое чудовище, что оно качнулось на своем пьедестале.

— Пока не появились вы, — сказала она и снова улыбнулась.

Так пробудился старый замок. В нашем рассказе мы не собираемся описывать все стадии этого пробуждения, хотя многое произошло еще до того, как на берег спустилась ночь. Когда Гарри Пейн наконец снова отправился домой, он был полон такого счастья, какое только возможно в этом брэнном мире. Он шел через темные пески — те самые, по которым часто бродил в столь тяжелой тоске, но теперь в нем все ликовало, как море в час полного прилива. Он представлял себе, что замок снова утопает в цветах, бронзовый тритон сверкает, как

¹ Мир праху его (лат.).

золотой божок, а бассейн наполнен прозрачной водой или вином. И весь этот блеск, все это цветение раскрылись перед ним благодаря слову «убийство», смысла которого он все еще не понимал. Он просто принял его на веру и поступил мудро — ведь он был одним из тех, кто чуток к голосу правды.

Прошло больше месяца, и Пейн наконец вернулся в свой лондонский дом, где у него была назначена встреча с отцом Брауном: художник привез с собой фотографию портрета. Его сердечные дела подвигались успешно, насколько позволяла тень недавней трагедии, — потому она и не слишком омрачала его душу; впрочем, он все же помнил, что это — тень семейной катастрофы. Последнее время ему пришлось заниматься слишком многими делами, и лишь после того как жизнь в доме Дарнуэв вошла в свою колею, а роковой портрет был водворен на прежнее место в библиотеке, ему удалось сфотографировать его при вспышке магния. Но перед тем как отослать снимок антиквару, как и было договорено, он привез показать его священнику, который настоятельно просил об этом.

— Никак не пойму вас, отец Браун, — сказал Пейн. — У вас такой вид, словно вы давно разгадали эту загадку.

Священник удрученно покачал головой.

— В том-то и дело, что нет, — ответил он. — Должно быть, я непроходимо глуп, так как не понимаю, совершенно не понимаю одной элементарнейшей детали в этой истории. Все ясно до определенного момента, но потом... Дайте-ка мне взглянуть на фотографию. — Он поднес ее к глазам и близко-руко прищурился. — Нет ли у вас лупы? — спросил он мгновенно спустя.

Пейн дал ему лупу, и священник стал пристально разглядывать фотографию; затем он сказал:

— Посмотрите, вот тут книга, на полке, возле самой рамы портрета... Читайте название: «Жизнь папессы Иоанны». Гм, интересно... Стоп! А вон и другая над ней, что-то про Исландию. Так и есть! Господи! И обнаружить это таким странным образом! Какой же я осел, что не заметил их раньше, еще там!

— Да что вы такое обнаружили? — нетерпеливо спросил Пейн.

— Последнее звено, — сказал отец Браун. — Теперь мне все ясно, теперь я понял, как разворачивалась вся эта печальная история с самого начала и до самого конца.

— Но как вы это узнали? — настойчиво спросил Пейн.

— Очень просто, — с улыбкой отвечал священник. — В библиотеке Дарнуэв есть книги о папессе Иоанне и об Исландии и еще одна, название которой, как я вижу, начинается словами: «Религия Фридриха...» — а как оно кончается — не так уж трудно догадаться. — Затем, заметив нетерпение своего собеседника, священник заговорил уже более серьезно, и улыбка исчезла с его лица: — Собственно говоря, эта подробность не так уж существенна, хотя она и оказалась последним звеном. В этом деле есть детали куда более странные. Начнем с того, что, конечно, очень удивит вас. Дарнуэй умер не в семь часов вечера. Он был мертв с самого утра.

— Удивит — знаете ли, слишком мягко сказано, — мрачно ответил Пейн, — ведь и вы и я видели, как он целый день расхаживал по комнате.

— Нет, этого мы не видели, — спокойно возразил отец Браун. — Мы оба видели или, вернее, предполагали, что видим, как он весь день возился со своим аппаратом. Но разве на голове у него не было темного покрывала, когда вы заходили в комнату? Когда я туда зашел, это было так. И недаром мне показалось что-то странное в его фигуре. Дело тут не в том, что он был хромой, а скорее в том, что он хромым не был. Он был одет в такой же темный костюм. Но если вы увидите человека, который пытается принять позу, свойственную другому, то вам обязательно бросится в глаза некоторая напряженность и неестественность всей фигуры.

— Вы хотите сказать, — воскликнул Пейн, содрогнувшись, — что это был не Дарнуэй?

— Это был убийца, — сказал отец Браун. — Он убил Дарнуэя еще на рассвете и спрятал труп в темной комнате, а она — идеальный тайник, потому что туда обычно никто не заглядывает, а если и загля-

нет, то все равно немного увидит. Но в семь часов вечера убийца бросил труп на пол, чтобы можно было все объяснить проклятием Дарнуэев.

— Но позвольте,— воскликнул Пейн,— какой ему был смысл целый день стеречь мертвое тело? Почему он не убил его в семь часов вечера?

— Разрешите мне, в свою очередь, задать вам вопрос,— ответил священник.— Почему портрет так и не был сфотографирован? Да потому, что преступник поспешил убить Дарнуэя до того, как тот успел это сделать. Ему, очевидно, было важно, чтобы фотография не попала к антиквару, хорошо знавшему реликвии дома Дарнуэев.

Наступило молчание; затем священник продолжал более тихим голосом:

— Разве вы не видите, как все это просто? Вы сами в свое время сделали одно предположение, но действительность оказалась еще проще. Вы сказали, что любой человек может придать себе сходство с портретом. Но ведь еще легче придать портрету сходство с человеком... Короче говоря, никакого рока Дарнуэев не было. Не было старинной картины, не было старинной надписи, не было предания о человеке, лишившем жизни свою жену. Но был другой человек, очень жестокий и очень умный, который хотел лишить жизни своего соперника, чтобы похитить его невесту.— Священник грустно улыбнулся Пейну, словно успокаивая его.— Вы, наверно, сейчас подумали, что я имею в виду вас,— сказал он.— Не только вы посещали этот дом из романтических побуждений. Вы знаете этого человека или, вернее, думаете, что знаете. Но есть темные бездны в душе Мартина Вуда, художника и любителя старины, о которых никто из его знакомых даже не догадывается. Помните, его пригласили в замок, чтобы реставрировать картины? На языке обветшалых аристократов это значит, что он должен был узнать и доложить Дарнуэям, какими сокровищами они располагают. Они ничуть бы не удивились, если бы в замке обнаружился портрет, которого раньше никто не замечал. Но тут требовалось большое искусство, и Вуд его проявил. Пожалуй, он был прав, когда говорил, что если это не Гольбейн, то мастер, не уступающий ему в гениальности.

— Я потрясен,— сказал Пейн,— но очень многое мне еще непонятно. Откуда он узнал, как выглядит Дарнуэй? Каким образом он убил его? Врачи так и не разобрались в причине смерти.

— У мисс Дарнуэй была фотография австралийца, которую он прислал ей еще до своего приезда,— сказал священник.— Ну, а когда стало известно, как выглядит новый наследник, Вуду нетрудно было узнать и все остальное. Мы не знаем многих деталей, но о них можно догадаться. Помните, он часто помогал Дарнуэю в темной комнате, а ведь там легче легкого, скажем, уколоть человека отравленной иглой, когда к тому же под рукой всевозможные яды. Нет, трудность не в этом. Меня мучило другое: как Вуд умудрился быть одновременно в двух местах? Каким образом он сумел вытащить труп из темной комнаты и так прислонить его к аппарату, чтобы он упал через несколько секунд, и в это же самое время разыскивать в библиотеке книгу? И я, старый дурак, не догадался взглянуть повнимательнее на книжные полки! Только сейчас, благодаря счастливой случайности, я обнаружил вот на этой фотографии простейший факт — книгу о папессе Иоанне.

— Вы приберегли под конец самую таинственную из своих загадок,— сказал Пейн.— Какое отношение к этой истории может иметь папесса Иоанна?

— Не забудьте и про книгу об Исландии, а также о религии какого-то Фридриха. Теперь весь вопрос только в том, что за человек был покойный лорд Дарнуэй.

— И только-то? — растерянно спросил Пейн.

— Он был большой оригинал, широко образованный и с чувством юмора. Как человек образованный, он, конечно, знал, что никакой папессы Иоанны никогда не существовало. Как человек с чувством юмора, он вполне мог придумать заглавие: «Змея Исландии»,— их ведь нет в природе. Я осмелюсь восстановить третье заглавие: «Религия Фридриха Великого», которой тоже никогда не было. Так вот, не кажется ли вам, что все эти названия как нельзя лучше подходят к книгам, которые не книги, или, вернее, к книжным полкам, которые не книжные полки.

— Стойте! — воскликнул Пейн.— Я понял. Это потайная лестница...

— ...ведущая наверх, в ту комнату, которую Вуд сам выбрал для лаборатории,— сказал священник.— Да, именно потайная лестница — и ничего тут не поделаешь. Все оказалось весьма банальным и глупым; а глупее всего, что я не разгадал этого сразу. Мы все попались на удочку старинной романтики — были тут и приходящие в упадок дворянские семейства, и разрушающиеся фамильные замки... Так разве могло обойтись дело без потайного хода? Это был тайник католических священников, и, честное слово, я заслужил, чтобы меня туда запрятали.

Из сборника
«ТАЙНА ОТЦА БРАУНА»



ТАЙНА ОТЦА БРАУНА

Фламбо — один из самых знаменитых преступников Франции, а впоследствии частный сыщик в Англии, давно уже бросил обе эти профессии. Говорили, что преступное прошлое не позволяло ему стать строгим к преступнику. Так или иначе, покинув стезю романтических побегов и сногшибательных приключений, он поселился, как ему и подобало, в Испании, в собственном замке. Замок, однако, был весьма основателен, хотя и невелик, а на буром холме чернел квадрат виноградника и зеленели полосы грядок. Несмотря на свои бурные похождения, Фламбо обладал свойством, присущим многим латинянам и незнакомым, например, американцам: он умел уйти от суеты. Так владелец крупного отеля мечтает завести на старости маленькую ферму, а лавочник из французского местечка останавливается в тот самый миг, когда мог бы стать мерзавцем-миллионером и скупить все лавки до единой, и проводит остаток дней дома за домино. Случайно и почти внезапно Фламбо влюбился в испанку, женился на ней, приобрел поместье и зажил семейной жизнью, не обнаруживая ни малейшего желания вновь пуститься в странствия. Но в одно прекрасное утро семья его заметила, что он сильно возбужден и встревожен. Он вышел погулять с мальчиками, но вскоре обогнал их и бросился вниз с холма навстречу какому-то человеку, пересекавшему долину, хотя человек этот казался не больше черной точки.

Точка постепенно увеличивалась, почти не меняя очертаний,— попросту говоря, она оставалась все такой же черной и круглой. Черная сутана не была тут в диковинку, но сутана приезжего выглядела как-то особенно буднично и в то же время приветливо по сравнению с одеждами местного духовенства, изобличая в новоприбывшем жителя британских

островов. В руках он держал короткий пухлый зонтик с тяжелым круглым набалдашником, при виде которого Фламбо чуть не расплакался от умиления, ибо этот зонтик фигурировал во многих их совместных приключениях былых времен. Священник был английским другом Фламбо, отцом Брауном, который давно собирался приехать — и все никак не мог. Они постоянно переписывались, но не видались несколько лет.

Вскоре отец Браун очутился в центре семейства, которое было так велико, что казалось целым племенем. Его познакомили с деревянными позолоченными волхвами, которых дарят детям на рождество; познакомили с собакой, кошкой и обитателями скотного двора; познакомили с соседом, который, как и сам Браун, отличался от здешних жителей и манерами и одеждой.

На третий день пребывания гостя в маленьком замке туда явился посетитель и принялся отвешивать испанскому семейству поклоны, которым позавидовал бы испанский гранд. То был высокий, седовласый, очень красивый джентльмен с ослепительно сверкающими ногтями, манжетами и запонками. Однако в его длинном лице не было и следа той томности, которую наши карикатуристы связывают с белоснежными манжетами и маникюром. Лицо у него было удивительно живое и подвижное, а глаза смотрели зорко и прямо, что весьма редко сочетается с седыми волосами. Это одно могло бы уже определить национальность посетителя, равно как и некоторая гнусавость, портившая его изысканную речь, и слишком близкое знакомство с европейскими достопримечательностями. Да, это был сам Грэндисон Чейс из Бостона, американский путешественник, отдыхающий от путешествий в точно таком же замке на точно таком же холме. Здесь, в своем поместье, он наслаждался жизнью и считал своего радушного соседа одной из местных древностей. Ибо Фламбо, как мы уже говорили, удалось глубоко пустить в землю корни, и казалось, что он провел века среди своих виноградников и смоковниц. Он вновь назывался своим настоящим именем — Дюрок, ибо «Фламбо», то есть «факел», было только псевдонимом, под которым такие, как он, ведут войну с об-

ществом. Он обожал жену и детей, из дому уходил только на охоту и казался американскому путешественнику воплощением той респектабельной жизнерадостности, той разумной любви к достатку, которую американцы признают и почитают в средиземноморских народах. Камень, прикатившийся с Запада, был рад отдохнуть возле южного камня, который успел обрасти таким пышным мхом.

Мистеру Чейсу довелось слышать о Брауне, и он заговорил с ним особым тоном, к которому прибегал при встрече со знаменитостями. Инстинкт интервьюера — сдержанный, но неукротимый — проснулся в нем. Он вцепился в Брауна, как щипцы в зуб, — надо признать, абсолютно без боли и со всей ловкостью, свойственной американским дантистам.

Они сидели во дворике, под навесом, — в Испании часто входят в дом через наполовину крытые внутренние дворики. Смеркалось. После заката в горах сразу становится холодно, и потому здесь стояла небольшая печка, мигая красным глазом, словно гном, и рисуя на плоских плитах рдеющие узоры. Но ни один отсвет огня не достигал даже нижних кирпичей высокой голой стены, уходившей над ними в темно-синее небо. В полумраке смутно вырисовывались широкие плечи и большие, как сабли, усы Фламбо, который то и дело поднимался, цедил из бочки темное вино и разливал его в бокалы. Священник, склонившийся над печкой, казался совсем маленьким в его тени. Американец ловко нагнулся вперед, опершись локтем о колено; его тонкое, острое лицо было освещено, глаза по-прежнему сверкали умом и любопытством.

— Смею заверить вас, сэр, — говорил он, — что ваше участие в расследовании убийства человека о двух бородах — одно из величайших достижений научного сыска.

Отец Браун пробормотал что-то невнятное, а может быть, застонал.

— Мы знакомы, — продолжал американец, — с достижениями Дюпена, Леккока, Шерлока Холмса, Ника Картера и прочих вымышленных сыщиков. Но мы видим, что ваш метод очень отличается от методов других детективов — как вымышленных, так

и настоящих. Кое-кто даже высказывал предположение, что у вас просто нет метода.

Отец Браун помолчал, потом слегка шевельнулся — или просто подвинулся к печке — и сказал:

— Простите... Да... Нет метода... Боюсь, что у них нет разума...

— Я имел в виду строго научный метод,— продолжал его собеседник.— Эдгар По в превосходных диалогах пояснил метод Дюпена, всю прелесть его железной логики. Доктору Уотсону приходилось выслушивать от Холмса весьма точные разъяснения с упоминанием мельчайших деталей. Но вы, отец Браун, кажется, никому не открыли вашей тайны. Мне говорили, что вы отказались читать в Америке лекции на эту тему.

— Да,— ответил священник, хмуро глядя на печку,— отказался.

— Ваш отказ вызвал массу толков! — подхватил Чейс.— Кое-кто у нас говорил, что ваш метод нельзя объяснить, потому что он больше, чем метод. Говорили, что вашу тайну нельзя раскрыть, так как она — оккультная.

— Какая она? — переспросил отец Браун довольно хмуро.

— Ну, непонятна для непосвященных,— пояснил Чейс.— Надо вам сказать, у нас в Штатах как следует поломали голову над убийством Галлупа и Штейна, и над убийством старика Мертона, и над двойным преступлением Дэлмона. А вы всегда попадали в самую гущу и раскрывали тайну, но никому не говорили, откуда вам все известно. Естественно, многие решили, что вы, так сказать, все знаете не глядя. Карлотта Браунсон иллюстрировала эпизодами из вашей деятельности свою лекцию о формах мышления. А «Общество сестер-духовидиц» в Индианополисе...

Отец Браун все еще глядел на печку; наконец он сказал громко, но так, словно его никто не слышал:

— Ох! К чему это?!

— Этому горю не поможешь! — добродушно улыбнулся мистер Чейс.— У наших духовидиц хватка железная. По-моему, хотите покончить с болтовней — откройте вашу тайну.

Отец Браун шумно вздохнул. Он уронил голову на руки, словно ему стало трудно думать. Потом поднял голову и глухо сказал:

— Хорошо! Я открою тайну.

Он обвел потемневшими глазами темнеющий дворик — от багровых глаз печки до древней стены, над которой все ярче блистали ослепительные южные звезды.

— Тайна... — начал он и замолчал, точно не мог продолжать. Потом собрался с силами и сказал: — Понимаете, всех этих людей убил я сам.

— Что? — сдавленным голосом спросил Чейс.

— Я сам убил всех этих людей, — кротко повторил отец Браун. — Вот я и знал, как все было.

Грэндисон Чейс выпрямился во весь свой огромный рост, словно подброшенный медленным взрывом. Не сводя глаз с собеседника, он еще раз спросил недоверчиво:

— Что?

— Я тщательно подготовил каждое преступление, — продолжал отец Браун. — Я упорно думал над тем, как можно совершить его, — в каком состоянии должен быть человек, чтобы его совершить. И когда я знал, что чувствую точно так же, как чувствовал убийца, мне становилось ясно, кто он.

Чейс прерывисто вздохнул.

— Ну и напугали вы меня! — сказал он. — Я на минуту поверил, что вы действительно их поубивали. Я так и увидел жирные заголовки во всех наших газетах: «Сыщик в сутане — убийца. Сотни жертв отца Брауна». Что ж, это хороший образ... Вы хотите сказать, что каждый раз пытались восстановить психологию...

Отец Браун сильно ударил по печке своей короткой трубкой, которую только что собирался набить. Лицо его искривилось, а это бывало с ним очень редко.

— Нет, нет, нет! — сказал он чуть ли не гневно. — Никакой это не образ. Вот что получается, когда заговоришь о серьезных вещах... Просто хоть не говори! Стоит завести речь о какой-нибудь нравственной истине, и вам сейчас же скажут, что вы выражаетесь образно. Один человек — настоящий, двуногий — сказал мне как-то: «Я верю в святого

духа лишь в духовном смысле». Я его, конечно, спросил: «А как же еще в него верить?» — а он решил, что я сказал ему, будто надо верить только в эволюцию, или в этическое единомыслие, или еще в какую-то чушь. Еще раз повторяю — я видел, как я сам, как мое «я» совершало все эти убийства. Разумеется, я не убивал моих жертв физически — но ведь дело не в том, их мог убить и кирпич. Я думал и думал, как человек доходит до такого состояния, пока не начинал чувствовать, что сам дошел до него, не хватает последнего толчка. Это мне посоветовал один друг — хорошее духовное упражнение. Кажется, он его нашел у Льва Тринадцатого, которого я всегда почитал.

— Боюсь, — недоверчиво сказал американец, глядя на священника, как на дикого зверя, — что вам придется еще многое объяснить мне, прежде чем я пойму, о чем вы говорите. Наука сыска...

Отец Браун нетерпеливо целкнул пальцами.

— Вот оно! — воскликнул он. — Вот где наши пути расходятся. Наука — великая вещь, если это наука. Настоящая наука — одна из величайших вещей в мире. Но какой смысл придают этому слову в девяти случаях из десяти, когда говорят, что сыск — наука, криминология — наука? Они хотят сказать, что человека можно изучать снаружи, как огромное насекомое. По их мнению, это беспристрастно, а это просто бесчеловечно. Они глядят на человека издали, как на ископаемое; они разглядывают «преступный череп», как рог у носорога. Когда такой ученый говорит о «типе», он имеет в виду не себя, а своего соседа — обычно бедного. Конечно, иногда полезно взглянуть со стороны, но это — не наука, для этого как раз нужно забыть то небольшое, что мы знаем. В другом нужно увидеть незнакомца и подивиться хорошо знакомым вещам. Можно сказать, что у людей — короткий выступ посреди лица или что мы впадаем в беспамятство раз в сутки. Но то, что вы назвали моей тайной, — совсем, совсем другое. Я не изучаю человека снаружи. Я пытаюсь проникнуть внутрь. Это гораздо больше, правда? — И — внутри человека. Я поселяюсь в нем, у меня его руки, его ноги, но я жду до тех пор, покуда я не начну думать его думы, терзаться его страстями,

пылать его ненавистью, покуда не взгляну на мир его налитыми кровью глазами и не найду, как он, самого короткого и прямого пути к луже крови. Я жду, пока не стану убийцей.

— О! — произнес мистер Чейс, мрачно глядя на него. — И это вы называете духовным упражнением?

— Да, — ответил Браун. — Именно это. — Он помолчал, потом заговорил снова: — Это такое упражнение, что лучше бы мне о нем не рассказывать. Но, понимаете, не могу же я вас так отпустить. Вы еще скажете там, у себя, что я умею колдовать или занимаюсь телепатией. Я плохо объяснил, но все это сушая правда. Человек никогда не будет хорошим, пока не поймет, какой он плохой или каким плохим он мог бы стать; пока он не поймет, как мало права у него ухмыляться и толковать о «преступниках», словно это обезьяны где-нибудь в дальнем лесу; пока он не перестанет так гнусно обманывать себя, так глупо болтать о «низшем типе» и «порочном черепе»; пока он не выжмет из своей души последней капли фарисейского елеса; пока надеется загнать преступника и накрыть его сачком, как насекомое.

Фламбо подошел ближе, наполнил большой бокал испанским вином и поставил его перед своим другом; точно такой же бокал стоял перед американцем. Потом Фламбо заговорил — впервые за весь вечер:

— Отец Браун, кажется, привез с собой много новых тайн. Мы вчера как раз говорили о них. За то время, что мы с ним не встречались, ему пришлось столкнуться с занятными людьми.

— Да, я слышал об этих историях! — сказал Чейс, задумчиво поднимая бокал. — Но у меня нет к ним ключа. Может быть, вы мне кое-что разъясните? Может быть, вы расскажете, как вы проникали в душу преступника?

Отец Браун тоже поднял бокал, и в мерцании огня вино стало прозрачным, как кроваво-алый витраж с изображением мученика. Алое пламя приковало его взор: он не мог отвести от него глаз, словно в чаше плескалась, как море, кровь всех людей на свете, а его душа, как пловец, смиренно углублялась во тьму чудовищных помыслов, глубже самых страшных чудищ, на самое илистое дно.

В этой чаше, как в алом зеркале, он увидел много событий. Преступления последних лет промелькнули перед ним пурпурными тенями; то, о чем его просили рассказать, заплясало перед ним; он снова видел все, о чем рассказано в этой книге.

Вот алое вино обернулось алым закатом над красно-бурыми песками, над бурыми фигурками людей; один человек лежал, другой спешил к нему. Вот закат раскололся, и алые фонарики повисли на деревьях сада, алые блики заплясали в пруду. Вот свет фонариков слился в огромный прозрачный рубин, освещающий все вокруг, словно алое солнце, кроме тени высокого человека в высокой древней митре. Вот блеск угас, и только пламя рыжей бороды плескалось на ветру, над серой бесприютностью болот. Все это можно было увидеть и понять иначе; но сейчас, отвечая на вызов, он вспомнил это так — и образы стали складываться в доводы и сюжеты.

— Да,— сказал он, медленно поднося бокал к губам,— я как сейчас помню...

ЗЕРКАЛО СУДЬИ

Джеймс Бэгшоу и Уилфред Андерхилл были старыми друзьями и очень любили совершать ночные прогулки, во время которых мирно беседовали, бродя по лабиринту тихих, словно вымерших улиц большого городского предместья, где оба они жили. Первый из них — рослый, темноволосый, добродушный мужчина с узкой полоской усов на верхней губе — служил профессиональным сыщиком в полиции; второй, невысокий блондин с пронизательным, резко очерченным лицом, был любитель, который горячо увлекался розыском преступников. Читатели этого рассказа, написанного с подлинно научной точностью, будут поражены, узнав, что говорил профессиональный полисмен, любитель же слушал его с глубокой почтительностью.

— Наша работа, пожалуй, единственная на свете,— говорил Бэгшоу,— в том смысле, что действия профессионала люди заведомо считают ошибочными.

Воля ваша, но никто не станет писать рассказ о парикмахере, который не умеет стричь, и клиент вынужден прийти к нему на помощь, или об извозчике, который не в состоянии править лошадью до тех пор, пока седок не разъяснит ему извозчицью премудрость в свете новейшей философии. Но при всем том я отнюдь не намерен отрицать, что мы часто склонны избирать наиболее проторенный путь или, иными словами, безуспешно действуем в соответствии с общепринятыми правилами. Но ошибка писателей заключается в том, что они упорно не дают нам возможности успешно действовать в согласии с общепринятыми правилами.

— Без сомнения, — заметил Андерхилл, — Шерлок Холмс, будь он сейчас здесь, сказал бы, что действует в согласии с правилами и по законам логики.

— Возможно, он был бы недалек от истины, — подтвердил полисмен, — но я имел в виду правила, которым следует многочисленная группа людей. Не-что вроде работы в армейском штабе. Мы собираем и накапливаем информацию.

— А вам не кажется, что и в детективных романах это не исключено? — осведомился его друг.

— Что ж, давайте возьмем в виде примера любое из вымышленных дел, раскрытых Шерлоком Холмсом и Лестрадом, профессиональным сыщиком. Предположим, Шерлок Холмс может догадаться, что совершенно незнакомый ему человек, который переходит улицу, — иностранец, просто-напросто потому, что тот, опасаясь попасть под автомобиль, смотрит направо, а не налево, хотя в Англии движение левостороннее. Право, я охотно допускаю, что Холмс вполне способен сделать подобную догадку. И я глубоко убежден, что Лестраду подобная догадка никогда и в голову не придет. Но при этом не следует упускать из виду тот факт, что полисмен хоть и не может порой догадаться, зато вполне может заведомо знать наверняка. Лестрад мог точно знать, что этот прохожий — иностранец, хотя бы уже потому, что полиция, в которой он служит, обязана следить за иностранцами. Мне могут возразить, что полиция следит за всеми без различия. Поскольку я полисмен, меня радует, что полиция знает так много: ведь всякий стремится работать на совесть. Но я к тому же

гражданин своей страны и порой задаюсь вопросом — а не слишком ли много знает полиция?

— Да неужели вы можете всерьез утверждать, — воскликнул Андерхилл с недоверием, — что знаете все о любом встречном, который попадаетея вам на любой улице? Допустим, вон из того дома сейчас выйдет человек, — разве вы и про него все знаете?

— Безусловно, если он хозяин дома, — отвечал Бэгшоу. — Этот дом арендует литератор, румын по национальности, английский подданный, обычно он живет в Париже, но сейчас временно переселился сюда, чтобы поработать над какой-то пьесой в стихах. Его имя и фамилия — Озрик Орм, он принадлежит к новой поэтической школе, и стихи его неудобочитаемы, — разумеется, насколько я лично могу об этом судить.

— Но я имел в виду всех людей, которых встречаешь на улице, — возразил его собеседник. — Я думал о том, до чего все кажется странным, новым, безликим: эти высокие, глухие стены, эти дома, которые утопают в садах, их обитатели. Право же, вы не можете знать их всех.

— Я знаю некоторых, — отозвался Бэгшоу. — Вот за этой оградой, вдоль которой мы сейчас идем, находится сад, принадлежащий сэру Хэмфри Гвинну, хотя обыкновенно его называют просто судья Гвинн: он — тот самый старый судья, который поднял такой шум по поводу шпионажа во время мировой войны. Соседним домом владеет богатый торговец сигарами. Родом он из Латинской Америки, смуглый такой, сразу видна испанская кровь, но фамилия у него чисто английская — Буллер. А вон тот дом, следующий по порядку... постойте, вы слышали шум?

— Я слышал какие-то звуки, — ответил Андерхилл, — но, право, понятия не имею, что это было.

— Я знаю, что это было, — сказал сыщик. — Это были два выстрела из крупнокалиберного револьвера, а потом — крик о помощи. И донеслись эти звуки из сада за домом, который принадлежит судье Гвинну, из этого рая, где всегда царят мир и законность. — Он зорко оглядел улицу и добавил: — А в ограде одни-единственные ворота, и, чтобы до них добраться, надо сделать крюк в добрых полмили. Право

же, будь эта ограда чуть пониже или я чуть полегче, тогда дело другое, но все равно я попытаюсь.

— Вон место, где ограда и впрямь пониже,— сказал Андерхилл,— и рядом дерево, оно там как нельзя более кстати.

Они пустились бежать вдоль ограды и действительно увидели место, где ограда круто понижалась, словно уходя в землю до половины, а дерево в саду, усеянное ярчайшими цветами, простирало наружу ветви, золотистые при свете одинокого уличного фонаря. Бэгшоу ухватился за кривой сук и перебрал ногу через невысокую ограду; мгновение спустя друзья уже стояли в саду, до колен утопая в ковре из цепких, стелющихся трав.

В этот ночной час сад судьи Гвинна выглядел весьма своеобразно. Он был обширен и тянулся по незастроенной окраине города, прилегая к высокому темному дому, который стоял последним, в конце улицы. Дом этот можно назвать темным в самом прямом смысле слова, потому что ставни были закрыты наглухо и ни один луч света не проникал наружу сквозь их щели, по крайней мере, со стороны палисадника. Зато в самом саду, который прилегал к дому и, казалось, тем более должен бы быть окутан тьмой, кое-где мерцали, догорая, искры, как будто после фейерверка: словно гигантская огненная ракета упала и рассыпалась меж деревьев. Продвигаясь вперед, друзья обнаружили, что это светились гирлянды цветных лампочек, которыми были унизаны деревья, подобно драгоценным плодам Аладдина, но в особенности свет изливался из круглого озерца или пруда, в воде которого блестели и переливались бледные, разноцветные огоньки, будто и там тоже горели лампочки.

— Может быть, у него торжественный прием? — спросил Андерхилл.— Похоже, что сад иллюминирован.

— Нет,— возразил Бэгшоу.— Просто у него такая прихоть, и, думается мне, он предпочитает наслаждаться этим зрелищем в одиночестве. Обожает забавляться своей собственной маленькой электрической сетью, а щит с переключателями находится вон в той отдельной пристройке или флигеле, где он работает и хранит свои бумаги. Буллер, близкий его

приятель, утверждает, что, когда горят цветные лампы, обычно это верный признак того, что его лучше не беспокоить.

— Нечто вроде красного сигнала, предупреждающего об опасности,— заметил Андерхилл.

— Боже правый! Боюсь, что это и есть именно такой сигнал!

Тут сыщик пустился бежать во весь дух.

А еще через мгновение Андерхилл сам увидел то, что видел его друг. Мерцающее световое кольцо, похожее на нимб, иногда окружающий луну, а здесь окаймлявшее круглый пруд, прерывали две черные черты, или полосы,— как оказалось, то были две длинные черные ноги человека, который лежал ничком у пруда, уронив голову в воду.

— Скорей! — отрывисто вскрикнул сыщик. — Кажется мне...

Голос его смолк в отдалении, потому что он уже мчался во весь дух через широкую лужайку, едва различимую при слабом электрическом освещении, и дальше напрямик через весь сад к пруду, у которого лежал неизвестный человек. Андерхилл рысцой последовал по его стопам, но вдруг испугался, потому что произошла неожиданность. Бэгшоу, который по прямой линии, как стрела, летел к незнакомцу, распростертому подле светящегося пруда, круто свернул в сторону и, еще прибавив прыти, помчался к дому. Андерхилл никак не мог сообразить, почему его друг так резко и внезапно переменял направление. Но еще через секунду, когда сыщик нырнул в тень дома, оттуда, из мрака, послышалась возня, сопровождаемая ругательствами; а потом Бэгшоу вновь вынырнул оттуда, волоча за собою упирающегося человечка, щуплого и рыжеволосого. Пойманный, видимо, хотел скрыться за домом, но острый слух сыщика уловил шорох его шагов, едва слышный, словно трепыхание птички в кустах.

— Андерхилл, сделайте милость,— сказал сыщик,— бегите к пруду и посмотрите, что и как. Ну, а вы кто такой будете? — спросил он, резко останавливаясь.— Имя, фамилия?

— Майкл Флуд,— отвечал незнакомец вызывающим тоном. Был он маленький, тщедушный, с непомерно длинным крючковатым носом на узком и су-

хом, словно пергаментном личике, бледность которого была особенно заметна, оттененная огненно-рыжей шевелюрой. — Я тут, смею заверить, ни при чем. Когда я пришел, он уже лежал мертвый, и мне стало страшно. Я из газеты, хотел взять у него интервью.

— Когда вы, газетчики, берете интервью у знаменитостей, — заметил Бэгшоу, — разве принято у вас перелезать для этого через садовую ограду?

И он сурово указал на двойную цепочку следов, тянувшихся по аллее к цветочной клумбе.

Человечек, назвавшийся Флудом, тоже напустил на себя суровое выражение.

— Газетному репортеру порой приходится перелезать через ограды, чтобы взять интервью, — сказал он. — Я долго стучал в парадную дверь, но так и не достучался. Дело в том, что лакей отлучился куда-то.

— А почему вы знаете, что он отлучился? — спросил сыщик, глядя на него с подозрением.

— Да потому, — отвечал Флуд с явно напускным хладнокровием, — что не я один лазаю через садовые ограды. Весьма вероятно, что и вы сделали то же самое. Во всяком случае, и лакей это сделал, я только минуту назад видел, как он спрыгнул с ограды возле самой калитки, по ту сторону сада.

— Но отчего же он не воспользовался калиткой? — продолжал допрос Бэгшоу.

— А я почему знаю? — огрызнулся Флуд. — Вероятно, оттого, что она заперта. Но спрашивайте у него, а не у меня, вон он как раз возвращается.

И в самом деле, близ дома показалась еще чья-то смутная тень, едва различимая в полутьме, пронизанной слабым электрическим светом, а потом стал виден широкоплечий человек в красной жилетке, надетой поверх заношенной до невероятия ливреи. Он торопливо, но спокойно и уверенно приближался к боковой дверке дома, когда окрик Бэгшоу заставил его остановиться. Он неохотно подошел, и можно было теперь разглядеть желтоватое лицо с азиатскими чертами, которым вполне соответствовали прилизанные иссиня-черные волосы.

Бэгшоу резко повернулся к человеку, назвавшему себя Флудом.

— Может ли кто-нибудь в этой округе удостоверять вашу личность?

— Таких и по всей стране немного отыщется, — недовольно буркнул Флуд. — Я только недавно переехал сюда из Ирландии. Единственный, кого я знаю в здешних краях, это священник церкви святого Доминика отец Браун.

— Вы оба извольте оставаться здесь, — сказал Бэгшоу. И добавил, обращаясь к лакею: — Но вас я прошу пойти в дом, позвонить по телефону в церковь святого Доминика и попросить отца Брауна приехать сюда как можно скорее. Да смотрите, без фокусов.

Пока энергичный сыщик принимал меры на случай возможного бегства задержанных, его друг, как ему и было сказано, поспешил на место, где разыгралась трагедия. Место это выглядело довольно странно: поистине, не будь трагедия столь ужасна, она представлялась бы в высшей степени фантастической. Мертвый человек (при самом беглом осмотре сразу же стало ясно, что он действительно мертв) лежал, уронив голову в пруд, и мерцающее искусственное освещение окружало его голову каким-то подобием святотатственного нимба. Лицо у него было изможденное и неприятное, голова почти облысела, только по бокам еще курчавились редкие пряди: седоватые, со стальным отливом, они завивались колечками, и хотя висок разможила пуля, Андерхилл сразу узнал черты, которые видел на многочисленных портретах сэра Хэмфри Гвинна. На покойном был фрак, и его длинные, тонкие, как у паука, ноги чернели, раскинутые в разные стороны на крутом берегу, с которого он упал. Словно по роковой, поистине дьявольской прихоти, кровь медленно сочилась в светящуюся воду, и струйка змеилась, прозрачно-алая, как предзакатное облако.

Андерхилл сам не мог бы сказать, сколько времени он простоял, глядя на зловещий труп, а потом поднял голову и увидел, что над ним, у края обрывистого берега, появились четверо незнакомцев. Он ожидал прихода Бэгшоу и пойманного ирландца и легко догадался, кто человек в красной жилетке. Но в четвертом из них была какая-то странная и смешная торжественность, непостижимым образом

совмещавшая несовместимое. Он был приземист, круглолиц и носил шляпу, напоминавшую черный нимб. Андерхилл догадался, что перед ним священник; но при этом ему почему-то вспомнилась старая, почерневшая от времени гравюра, на которой была изображена «Пляска смерти».

Потом он услышал, как Бэгшоу сказал священнику:

— Я очень рад, что вы можете удостоверить личность этого человека, но все же прошу иметь в виду, что он тем не менее остается под некоторым подозрением. Конечно, вполне может статься, что он невиновен: но как бы то ни было, а в сад он проник необычным способом.

— Я и сам считаю его невиновным,— сказал священник бесстрастным голосом.— Но, разумеется, я могу и ошибаться.

— А почему, собственно, вы считаете его невиновным?

— Именно потому, что он проник в сад столь необычным способом,— отвечал церковнослужитель.— Понимаете ли, сам я проник сюда способом вполне обычным. Но очень похоже, что я чуть ли не единственный попал сюда так, как это принято. В наши дни самые достойные люди перелезают в сад через ограду.

— А что вы называете обычным способом? — осведомился сыщик.

— Ну, как вам сказать,— отвечал отец Браун с самой истовой откровенностью.— Я вошел через парадную дверь. Обычно я вхожу в дома именно таким путем.

— Прошу прощения,— заметил Бэгшоу,— но не так уж важно, каким путем вошли сюда вы, если только у вас нет желания сознаться в убийстве.

— А по-моему, это очень важно,— мягко возразил священник.— Дело в том, что, когда я входил в парадную дверь, мне бросилось в глаза нечто такое, чего остальные, по всей вероятности, не могли видеть.

— Что же это было?

— Совершеннейший разгром,— все так же мягко объяснил отец Браун.— Большое зеркало в конце коридора разбито, пальма опрокинута, пол усеян

черепками глиняного горшка. И я сразу понял, что случилось неладное.

— Вы правы,— согласился Бэгшоу, помолчав немного.— Если вы все это видели, тут налицо прямая связь с преступлением.

— А если тут налицо связь с преступлением,— продолжал священник вкрадчиво,— то вполне можно предположить, что некий человек никак с этим преступлением не связан. И человек этот — мистер Майкл Флуд, который проник в сад через стену, а потом пытался выбраться отсюда столь же необычным способом. Именно необычность поведения убеждает меня в его невиновности.

— Войдемте в дом,— сказал Бэгшоу отрывисто.

Когда они переступили порог боковой двери, пропустив лакея вперед, Бэгшоу отстал на несколько шагов и тихо заговорил со своим другом.

— Этот лакей ведет себя как-то странно,— сказал он.— Утверждает, что его фамилия Грин, но я сомневаюсь в его правдивости: несомненно лишь одно — он действительно служил у Гвинна, и, по всей видимости, другой постоянной прислуги здесь не было. Но, к величайшему моему удивлению, он клянется, что его хозяин вообще не был в саду, ни живой, ни мертвый. Говорит, будто старый судья уехал на званый обед в Юридическую коллегия и должен был вернуться лишь через несколько часов, потому-то, мол, сам он и позволил себе ненадолго отлучиться из дома.

— А объяснил ли он,— спросил Андерхилл,— что побудило его отлучиться столь странным образом?

— Нет, во всяком случае, сколько-нибудь вразумительного объяснения из него так и не удалось вытянуть,— отвечал сыщик.— Право же, я его не понимаю. Он чего-то смертельно боится.

За боковой дверью начиналась длинная, тянувшаяся через все здание, прихожая, куда вела со стороны фасада парадная дверь, над которой было старомодное, полукруглое оконце, одним своим видом нагонявшее тоску. Сероватые проблески рассвета уже мерцали среди темноты, словно блики какого-то унылого, тусклого восхода, а прихожую слабо освещала одна-единственная лампа под аба-

журом, тоже весьма старомодным, которая стояла на полке в дальнем углу. При неверном ее свете Бэгшоу увидел тот полнейший разгром, о котором говорил Браун. Высокая пальма с длинными веерообразными листьями была опрокинута, от горшка из темно-красной глины остались одни черепки. Черепки эти усеивали ковер вперемешку со слабо поблескивающими осколками разбитого зеркала, а пустая рама так и осталась висеть тут же, на стене. Перпендикулярно этой стене, от боковой дверки, в которую они вошли, тянулся в глубь дома широкий коридор. В дальнем его конце виднелся телефон, по которому лакей и вызвал сюда священника; еще дальше через приотворенную дверь виднелись тесно сомкнутые ряды толстенных книг в кожаных переплетах, и ясно было, что дверь эта ведет в кабинет судьи.

Бэгшоу стоял, глядя себе под ноги, на глиняные черепки, смешанные с осколками зеркального стекла.

— Вы совершенно правы,— сказал он священнику.— Здесь была настоящая схватка. По всей видимости — схватка между Гвинном и его убийцей.

— Мне в самом деле кажется,— скромно заметил священник,— что здесь имело место некое происшествие.

— Да, происшествие действительно имело место, и ясно, какое именно,— подтвердил сыщик.— Убийца вошел через парадную дверь и застал Гвинна в доме. Вероятно, сам Гвинн его и впустил, завязалась смертельная борьба, и, по-видимому, был сделан случайный выстрел, который вдребезги разнес зеркало, хотя его могли разбить и ударом ноги или как-нибудь еще. Гвинну удалось вырваться, и он ринулся в сад, где преследователь настиг его у пруда и пристрелил. Я полагаю, что картина преступления уже восстановлена, но, разумеется, мне необходимо тщательно осмотреть все остальные комнаты.

В остальных комнатах не удалось, однако, обнаружить ничего интересного, хотя Бэгшоу многозначительно указал на заряженный автоматический пистолет, который он отыскал в библиотеке, обшаривая ящики письменного стола.

— Похоже, что судья ожидал покушения,— сказал сыщик,— но странно, что он не взял с собой оружия, когда вышел к дверям.

Наконец они вернулись в прихожую и направились к парадной двери, причем отец Браун рассеянно скользил взглядом вокруг себя. Два коридора, оклеенных одинаковыми выцветшими обоями с невзрачным серым рисунком, словно подчеркивали пышность пыльных и грязных безделушек викторианских времен, а также позеленевшей от времени старинной бронзовой лампы и тусклой позолоченной рамы, в которую было вставлено разбитое зеркало.

— Есть примета, что разбитое зеркало предвещает несчастье,— сказал он.— Но тут весь дом — словно предвестие беды. Удивительно, что даже сама мебель...

— Как странно,— перебил его Бэгшоу.— Я думал, парадная дверь заперта, а она только на щеколде.

Ему никто не ответил: все вышли за дверь и очутились во втором саду, перед домом, сад этот был поменьше и попроще, здесь пестрели цветы, а в одном конце рос забавно подстриженный кустарник с круглой аркой, похожей на зеленую пещеру, куда вели полуобрушенные ступеньки.

Отец Браун подошел к арке и заглянул внутрь. Потом он вдруг исчез из виду, а через несколько мгновений остальные услышали у себя над головами его голос, спокойный и ровный, словно он беседовал с кем-то на верхушке дерева. Сыщик направился следом и обнаружил, что скрытая лестница поднималась к некоему подобию обветшавшего мостика, повисшего над темным и пустынным уголком сада. Мостик огибал дом, и оттуда открывался вид на цветные огоньки, мерцавшие наверху и внизу. Возможно, мостик этот был плодом какой-то странной фантазии архитектора, которому вздумалось построить над лужайкой нечто вроде аркады с галереей поверху. Бэгшоу подумал, что в этом тупике прелюбопытно застать человека в столь ранний час, перед рассветом, но не стал тратить время на дальнейшие раздумья. Он рассматривал человека, которого они со священником здесь застали.

Человек этот стоял к ним спиной, низкорослый, в сером костюме, и единственное, что выделялось в его внешности, была густая шевелюра, ярко-жел-

тая, как головка огромного расцветающего лютика. Она действительно выделялась, словно гигантский нимб, и, когда он медленно и угрюмо повернулся к ним лицом, это сходство произвело какое-то ошеломляющее и неожиданное впечатление. Такой нимб мог бы окружать удлинненное, кроткое, как у ангела, лицо; но у этого человека лицо было злобное и морщинистое, с мощными челюстями и коротким носом, какие бывают у боксеров после перелома.

— Насколько я понимаю, это мистер Орм, знаменитый поэт, — произнес отец Браун невзмутимо, словно представлял их друг другу в светской гостиной.

— Кто бы он ни был, — сказал Бэгшоу, — я вынужден беспокоить его и пригласить вниз, где ему придется ответить на несколько вопросов.

Там, в углу старого сада, ранним утром, когда серые сумерки обволакивали густые кусты, скрывавшие вход на полуобрушенную галерею, и позже, при самых различных обстоятельствах и на различных стадиях официального следствия, которое приобрело все более серьезный оборот, обвиняемый отрицал решительно все, утверждая, что лишь намеревался зайти к сэру Хэмфри Гвинну, но это ему не удалось, потому что, сколько он ни звонил у двери, никто не открыл на его звонки. Когда ему указали, что дверь, собственно, не была заперта, он насмешливо хмыкнул. Когда ему намекнули, что час для такого посещения был выбран необычайно поздний, он презрительно фыркнул. То немногое, что удалось из него вытянуть, звучало крайне туманно либо потому, что он действительно почти не умел говорить по-английски, либо же потому, что он ловко притворялся, будто крайне плохо знает этот язык. Убеждения его носили нигилистический и разрушительный характер, и такую же направленность усматривали в его стихах те читатели, которые способны были их понять; представлялось вполне вероятным, что дела, которые он имел с судьей, равно как и ссора между ним и упомянутым судьей, были связаны с анархическими идеями. Всякий знал, что Гвинна преследовала навязчивая идея, — ему с недавних пор всюду чудились большевистские шпионы, как некогда чудились

германские. И все же одно совпадение, замеченное почти сразу же после поимки его соседа, укрепило в Бэгшоу мысль, что к делу следует отнестись серьезно. Когда они вышли через ворота на улицу, им случайно попался навстречу другой сосед убитого судьи, торговец сигарами Буллер, которого нетрудно было узнать по смуглому сварливому лицу и неизменной орхидее в петлице: он был известным знатоком по части выращивания этих цветов. Ко всеобщему удивлению он приветствовал поэта, тоже своего соседа, как ни в чем не бывало, словно заведомо ожидал его здесь встретить.

— Привет, а вот и я! — вскричал он. — Видно, ваш разговор со стариком Гвинном изрядно затянулся?

— Сэр Хэмфри Гвинн мертв, — сказал Бэгшоу. — Я веду следствие и вынужден просить у вас объяснений.

Буллер застыл на месте, словно окаменев, видимо, изумленный до глубины души. Кончик его раскуренной сигары мерно вспыхивал и тускнел, но смуглое лицо скрывалось в тени; наконец он заговорил, резко переменив тон.

— Я хотел только сказать, — выдавил он из себя, — что два часа назад, когда я шел мимо, мистер Орм входил вот в эти ворота, вероятно, намереваясь повидаться с сэром Хэмфри.

— Но он утверждает, что так и не повидался с ним, — заметил Бэгшоу. — Даже в дом не входил.

— Долгонько же ему пришлось проторчать под дверью, — сказал Буллер.

— Да, — согласился отец Браун, — и вам долгонько пришлось проторчать на улице.

— Я ушел к себе, — сказал торговец сигарами. — Написал несколько писем, а потом снова вышел их отослать.

— Придется вам дать показания несколько позже, — сказал Бэгшоу. — Доброй ночи... или, вернее, доброго утра.

Процесс Озрика Орма, обвиняемого в убийстве Хэмфри Гвинна, вызвал газетную шумиху, которая не утихала много недель подряд. Все пути обрывались на загадке: что же было в течение двух часов,

с той минуты, когда Буллер видел, как Орм входил в ворота, и до того, как отец Браун застал его в саду, где он, по-видимому, и провел целых два часа. Времени этого было вполне достаточно, чтобы совершить добрых полдюжины убийств; и обвиняемый вполне мог бы совершить их просто от нечего делать, ибо он не сумел сколько-нибудь вразумительно объяснить, что же он все-таки делал. Прокурор доказывал, что он имел полную возможность убить судью, так как парадная дверь была на щеколде, а боковая, ведущая в большой сад, и вовсе открыта. Суд с напряженным интересом выслушал Бэгшоу, который восстановил картину схватки в прихожей, после чего остались столь явные следы; к тому же впоследствии полиция нашла пулю, которая попала в зеркало. И, наконец, зеленая арка, благодаря которой обнаружили подсудимого, была очень похожа на тайное укрытие. С другой стороны, сэр Мэттью Блейк, талантливый и опытный адвокат, вывернул этот довод буквально наизнанку: он осведомился, для чего, спрашивается, человеку самому лезть в ловушку, откуда заведомо нет выхода, хотя не в пример благо-разумней было бы попросту выскользнуть на улицу. Сэр Мэттью Блейк также очень искусно воспользовался тайной, которая по-прежнему окутывала причину убийства. Воистину поединок по этому вопросу между сэром Мэттью Блейком и сэром Артуром Трейверсом, столь же блестящим юристом, выступавшим в роли обвинителя, окончился в пользу подсудимого. Сэр Артур мог лишь выдвинуть предположение о большевистском заговоре, но предположение это представлялось довольно шатким. Зато когда перешли к рассмотрению загадочных действий, которые Орм совершил в ночь убийства, обвинитель сумел выступить с гораздо большим эффектом.

Подсудимый был вызван для дачи свидетельских показаний, в сущности, лишь поскольку его проницательный адвокат полагал, что отсутствие таковых произведет неблагоприятное впечатление, — однако Орм отмалчивался, когда его допрашивал защитник, так же упорно, как и в ответ на вопросы прокурора. Сэр Артур Трейверс постарался извлечь из этого непоколебимого молчания возможно больше выгод,

но заставить Орма заговорить так и не удалось. Сэр Артур был высок ростом, худощав, с длинным, мертвенно-бледным лицом и казался прямой противоположностью сэру Мэттью Блейку, этому здоровяку с блестящими птичьими глазами. Но если сэр Мэттью держался уверенно и задиристо, как петух, то сэра Артура скорее можно было сравнить с журавлем или аистом: когда он подавался вперед, осыпая поэта вопросами, длинный его нос удивительно походил на клюв.

— Итак, вы утверждаете перед присяжными, — спросил он тоном, в котором проскрипнуло явное недоверие, — что даже не входили в дом покойного судьи?

— Нет! — коротко отвечал Орм.

— Однако, насколько я понимаю, вы собирались с ним повидаться. Вероятно, вам нужно было повидаться с ним безотлагательно. Ведь недаром вы прождали два долгих часа у парадной двери?

— Да, — последовал ответ.

— И при этом вы даже не заметили, что дверь не заперта?

— Нет, — сказал Орм.

— Но что же, объясните на милость, делали вы битых два часа в чужом саду? — настойчиво допытывался обвинитель. — Ведь делали же вы там что-нибудь, позвольте полюбопытствовать?

— Да.

— Быть может, это тайна? — осведомился сэр Артур со злорадством.

— Это тайна для вас, — отвечал поэт.

За эту мнимую тайну и ухватился сэр Артур, соответственно построив свою обвинительную речь. Со смелостью, которую многие из присутствующих сочли поистине наглою, он самую таинственность поступка Орма, этот главный и наиболее убедительный довод защитника, использовал в своих целях. Он преподнес этот поступок как первый, еще смутный признак некоего обширного, тщательно подготовленного заговора, жертвой которого пал пламенный патриот, задушенный, так сказать, щупальцами гигантского спрута.

— Да! — воскликнул обвинитель прерывающимся от негодования голосом. — Мой уважаемый и

высокоученый коллега совершенно прав! Мы не знаем в точности причины убийства верного сына нашего отечества. Равно не узнаем мы причины убийства следующего патриота. Возможно, мой высокоученый коллега сам падет жертвой своих заслуг перед государством и той ненависти, которую разрушительные силы ада питают к законоблудителям, тогда он будет убит и тоже никогда не узнает причины убийства. Добрую половину почтеннейшей публики, присутствующей здесь, в этом зале, зарежут ночью, во сне, и мы опять-таки не узнаем причины. Мы никогда не узнаем причины и не арестуем бандитов, а страна наша превратится в пустыню, поскольку адвокатам позволено прекращать судебные разбирательства, используя давным-давно отживший свой век довод о невыясненной «причине», хотя все прочие факты, относящиеся к делу, все вопиющие несообразности, все очевидные умолчания свидетельствуют, что перед нами Каин собственной персоной.

— Никогда еще не видал, чтобы сэр Артур так волновался,— рассказывал позднее Бэгшоу в узком кругу друзей.— Некоторые утверждают, что он впервые преступил все и всяческие границы, и полагают, что прокурору не пристало подобная мстительность. Но должен признать, в этом жалком дьяволе с желтой шевелюрой поистине было нечто омерзительное, и впечатление это невольно повлияло на обвинительную речь. Мне все время смутно вспоминалось то, что Де Куинси¹ написал о мистере Уильямсе, этом гнусном убийце, который умертвил целых два семейства. Помнится, Де Куинси писал, что у этого самого Уильямса волосы были неестественно яркого желтого цвета, потому что он выкрасил их каким-то хитрым составом, рецепт которого вывез из Индии, где даже лошадей умеют красить хоть в зеленый, хоть в синий цвет. А потом воцарилось невероятное гробовое молчание, как в доисторической пещере; не скрою, это на меня сильно подействовало, и в скором времени я почувал, что на скамье подсудимых сидит настоящее чудо-

¹ Де Куинси Томас (1785—1859) — английский писатель, автор очерков «Убийство как одно из изящных искусств».

вище. Если такое чувство появилось лишь под воздействием красноречия сэра Артура, вся ответственность за то, что он вложил в свою речь столько страсти, падала исключительно на него.

— Не забывайте, ведь он был другом покойного Гвинна,— ввернул Андерхилл, стараясь объяснить пылкость прокурора.— Один мой знакомый видел, как они недавно пьянствовали вдвоем после какого-то званого обеда. Смею полагать, что именно поэтому он вел себя столь несдержанно при разборе дела. Но мне представляется сомнительным, вправе ли кто-нибудь руководствоваться при подобных обстоятельствах личными чувствами.

— На это он не пошел бы ни в коем случае,— возразил Бэгшоу.— Готов биться об заклад, что сэр Артур Трейверс никогда не стал бы руководствоваться только личными чувствами, сколь бы сильны они ни были. Он слишком дорожит своим общественным положением. Ведь он из числа тех людей, которых не удовлетворяет даже удовлетворенное честолюбие. Право, я не знаю другого подобного человека, который прилагал бы столько усилий, лишь бы сохранить достигнутое. Нет, поверьте, вы извлекли ложную мораль из его страстной проповеди. Если он упорно продолжал в том же духе, стало быть, он совершенно убежден в своей правоте и надеется возглавить какое-то политическое движение против заговора, о котором шла речь. У него непременно были веские причины требовать осуждения Орма и не менее веские причины полагать, что требование это будет удовлетворено. Ведь факты говорят в его пользу. И такая самоуверенность не сулит обвиняемому ничего хорошего.

Тут он увидел среди собравшихся тихого, незаметного человека.

— Ну-с, отец Браун,— сказал он с улыбкой,— каково ваше мнение относительно того, как ведется у нас судебный процесс?

— Ну-с,— отвечал ему в тон отец Браун,— пожалуй, меня более всего поражает прелюбопытное обстоятельство: оказывается, парик может преобразить человека до неузнаваемости. Вот вы удивлялись, что обвинитель метал громы и молнии. А мне

доводилось видеть, как он на минутку снимал свой парик, и, право же, передо мной оказывался совершенно другой человек. Начнем с того, что он совсем лысый.

— Боюсь, что это никак не могло помешать ему метать громы и молнии, — возразил Бэгшоу. — Едва ли мыслимо построить защиту на том факте, что обвинитель лыс, ведь верно?

— Верно, но лишь отчасти, — добродушно отозвался отец Браун. — Говоря откровенно, я размышлял о том, как, в сущности, мало люди одного круга знают о людях, принадлежащих к совершенно иному кругу. Допустим, я оказался бы среди людей, слыхом не слыхавших про Англию. Допустим, я рассказал бы им, что у меня на родине живет человек, который даже под страхом смерти не задаст ни одного вопроса, покуда не водрузит на голову сооружение из конского волоса с мелкими косичками на затылке и седоватыми кудряшками по бокам, как у пожилой матроны викторианских времен. Они сочли бы это нелепой прихотью. А ведь прокурор отнюдь не склонен к прихотям, он всего-навсего привержен к светским условностям. Но те люди сочли бы это прихотью, поскольку понятия не имеют об английских юристах и вообще не знают даже, что такое юрист. Ну а юрист, в свою очередь, не знает, что такое поэт. Он не понимает, что прихоть одного поэта вовсе не представляется другим поэтам прихотью. Ему кажется нелепым, что Орм гулял по изумительно красивому саду два часа, предаваясь полнейшему безделью. Боже правый! Да ведь поэт примет как должное, если узнает, что некто бродил по этому саду целых десять часов подряд, сочиняя стихотворение. Даже защитник Орма решительно ничего тут не понял. Ему и в голову не пришло задать обвиняемому вопрос, который напрашивается сам собой.

— Что же это за вопрос? — осведомился Бэгшоу.

— Помилуйте, разумеется, надо было спросить, какое стихотворение он сочинял в ту ночь, — ответил отец Браун, начиная терять терпение, — какая именно строчка ему не удавалась, какого эпитета он искал, какого совершенства стремился достичь. Будь в суде люди с образованием, способные понять, что

такое литература, они сообразили бы без малейшего труда, что Орм занимался там настоящей работой. Фабриканта вы непременно спросили бы, как идут дела у него на фабрике. Но никого не интересуют обстоятельства, при которых создаются стихи. Ведь сочинять стихи — все равно что предаваться безделью.

— Ваши доводы превосходны, — сказал сыщик, — но зачем же тогда он скрывался? Зачем залез по винтовой лесенке наверх и торчал там — ведь лесенка эта никуда не вела?

— Помилосердствуйте, да именно затем, что она никуда не вела, это яснее ясного! — воскликнул отец Браун, приходя в волнение. — Ведь всякий, кто хоть мельком видел галерею над садом, уводящую в полуночную тьму, легко может понять, что творческую душу неудержимо повлечет туда, как малого ребенка.

Он умолк и стоял, помаргивая, в полнейшем молчании, а потом сказал извиняющимся тоном:

— Простите великодушно, хотя мне кажется странным, что ни один из присутствовавших не принял во внимание столь простых обстоятельств дела. Но было еще одно немаловажное обстоятельство. Разве вы не знаете, что поэт, как и художник, находит один-единственный ракурс. Всякое дерево, или, скажем, пасущаяся корова, или проплывающее над головой облачко в известном отношении исполнены глубокого смысла: точно так же буквы составляют слово, только лишь если их поставить в строго определенном порядке. Ну вот, исключительно с той высокой галереи можно было увидеть сад в нужном ракурсе. Вид, который открывался оттуда, так же невообразим, как четвертое измерение. Это было нечто вроде колдовской перспективы: вроде взгляда на небо сверху вниз, когда звезды словно растут на деревьях, а светящийся пруд подобен луне, упавшей на землю, как в волшебной сказке из тех, что рассказывают детям на сон грядущий. Орм мог бы созерцать все это до бесконечности. Скажите вы ему, что путь этот никуда не ведет, поэт ответил бы, что он уже привел его на самый край света. Но неужели вы полагаете, что он мог бы вымолвить такое, когда давал свидетельские показания? И если бы даже

у него язык повернулся это вымолвить, что сказали бы вы сами? Вот вы рассуждаете о том, что человека должны судить равные ему. Так почему же среди присяжных не было поэтов?

— Вы говорите так, будто вы сами поэт,— сказал Бэгшоу.

— Благодарение господу, это не так,— ответил отец Браун.— Благодарение всемилостивому господу, священник оказался милосердней поэта. Избави вас бог узнать, какое испепеляющее, какое жесточайшее презрение испытывает этот поэт ко всем вам,— лучше уж броситься в Ниагарский водопад.

— Возможно, вы глубже меня знаете творческую душу,— сказал Бэгшоу после продолжительного молчания.— Но в конечном счете мой ответ проще простого. Вы способны лишь утверждать, что он мог бы сделать то, что сделал, и при этом не совершить преступления. Но в равной мере можно принять за истину, что он, однако же, преступление совершил. И позвольте спросить, кто, кроме него, мог совершить это преступление?

— А вы не подозреваете лакея по фамилии Грин? — спросил отец Браун задумчиво.— Ведь он дал довольно путанные показания.

— Вон что,— перебил его Бэгшоу.— По-вашему, стало быть, выходит, что преступление совершил Грин.

— Я глубоко убежден в обратном,— возразил священник.— Я только спросил ваше мнение относительно этого странного происшествия. Ведь отлучался он по пустячной причине, просто-напросто захотел выпить, или пошел на свидание, или что-нибудь в этом роде. Но вышел он в калитку, а обратно перелез через садовую изгородь. Иными словами, это значит, что дверь он оставил открытой, а когда вернулся, она была уже заперта. Почему? Да потому — что Некий Незнакомец уже вышел через нее.

— Убийца,— неуверенно пробормотал сыщик.— Вы знаете, кто он?

— Я знаю, как он выглядит,— отвечал отец Браун невозмутимо.— Только это одно я и знаю наверняка. Он, так сказать, у меня на глазах входит

в парадную дверь при свете лампы, тускло горящей в прихожей: я вижу его, вижу, как он одет, вижу даже черты его лица!

— Как прикажете вас понимать?

— Он очень похож на сэра Хэмфри Гвинна, — отвечал священник.

— Что за чертовщина, в самом-то деле? — спросил Бэгшоу. — Ведь я же видел, Гвинн лежал мертвый, уронив голову в пруд.

— Ну да, это само собою, — отвечивал отец Браун.

Помолчав, он продолжал неторопливо:

— Вернемся к вашей гипотезе, превосходной во всех отношениях, хотя я лично не вполне с вами согласен. Вы предполагаете, что убийца вошел через парадную дверь, застал судью в прихожей, затеял с ним борьбу и разбил вдребезги зеркало, после чего судья бежал в сад, где его и пристрелили. Однако же мне все это кажется мало правдоподобным. Допустим, судья и в самом деле пятился через всю прихожую, а затем через коридор, но все равно у него была возможность избрать один из двух путей к отступлению: он мог направиться либо в сад, либо же — во внутренние комнаты. Вероятнее всего, он избрал бы путь, который ведет внутрь дома, не так ли? Ведь там, в кабинете, лежал заряженный пистолет, там же у него и телефонный аппарат стоит. Да и лакей его был там, или, по крайней мере, он имел основания так думать. Более того, даже к своим соседям он оказался бы тогда ближе. Так почему он отворил дверь, которая ведет в сад, теряя драгоценные секунды, и выбежал на зады, где не от кого было ждать помощи?

— Но ведь нам точно известно, что он вышел из дома в сад, — нерешительно промолвил его собеседник. — Это известно нам совершенно точно, ведь там его и нашли.

— Нет, он не выходил из дома по той простой причине, что его в доме не было, — возразил отец Браун. — С вашего позволения, я имею в виду ночь убийства. Он был тогда во флигеле. Уж это я, словно астролог, сразу прочитал в темноте по звездам, да, по тем красным и золотым звездочкам, которые мерцали в саду. Ведь щит включения находится во фли-

геле: лампочки не светились бы вообще, не будь сэра Хэмфри во флигеле. Потом он пытался укрыться в доме, вызвать по телефону полицию, но убийца застрелил его на крутом берегу пруда.

— А как же тогда разбитый цветочный горшок, и опрокинутая пальма, и осколки зеркала? — вскричал Бэгшоу. — Да ведь вы сами все это обнаружили! Вы сами сказали, что в прихожей была жестокая схватка.

Священник смущенно моргнул.

— Да неужели? — произнес он едва слышно. — Право, не может быть, чтобы я такое сказал. Во всяком случае, у меня и в мыслях этого не было. Насколько мне помнится, я сказал только, что в прихожей нечто произошло. И там действительно нечто произошло, но это была не схватка.

— В таком случае, почему же разбито зеркало? — резко спросил Бэгшоу.

— Потому что в него попала пуля, — внушительно отвечал отец Браун. — Пулю эту выпустил преступник. А пальму, вероятно, опрокинули разлетевшиеся куски зеркала.

— Ну и куда еще мог он палить, кроме как в Гвинна? — спросил сыщик.

— Право, это уже принадлежит к области метафизики, — произнес церковнослужитель скучающим голосом. — Разумеется, в известном смысле он метил в Гвинна. Но дело в том, что Гвинна там не было, и, значит, выстрелить в него убийца никак не мог. Он был в прихожей один.

Священник умолк на мгновение, потом продолжал невозмутимо:

— Вот у меня перед глазами зеркало, то самое, что висело тогда в углу, еще целехонькое, а над ним длиннолистная пальма. Вокруг полумрак, в зеркале отражаются серые, однообразные стены, и вполне может почудиться, что там коридор. И еще может почудиться, будто человек, отраженный в зеркале, идет из внутренних комнат. Бполне может также почудиться, будто это хозяин дома — если только отражение имело с ним хотя бы самое отдаленное сходство.

— Подождите! — вскричал Бэгшоу. — Я, кажется, начинаю...

— Вы начинаете все понимать сами,— сказал отец Браун.— Вы начинаете понимать, отчего все, подозреваемые в этом убийстве, заведомо невиновны. Ни один из них ни при каких обстоятельствах не мог принять свое отражение за Гвинна. Орм сразу узнал бы свою шапку желтых волос, которую никак не спутаешь с лысиной. Флуд увидел бы рыжую шевелюру, а Грин — красную жилетку. К тому же все трое низкого роста и одеты скромно, а потому ни один из них не счел бы свое отражение за высокого, худощавого, пожилого человека во фраке. Тут нужно искать кого-то другого, такого же высокого и худощавого. Поэтому я и сказал, что знаю внешность убийцы.

— И что же вы хотите этим доказать? — спросил Бэгшоу, пристально глядя на него.

Священник издал отрывистый, хрипловатый смешок, который резко отличался от его обычного мягкого голоса.

— Я хочу доказать, что ваше предположение смехотворно и попросту немыслимо,— отвечал он.

— Как вас понимать?

— Я намерен построить защиту обвиняемых,— сказал отец Браун,— на том факте, что прокурор лыс.

— Господи боже! — тихо промолвил сыщик и встал, озираясь по сторонам.

А отец Браун возобновил свою речь и произнес невозмутимым тоном:

— Вы проследили действия многих людей, причастных к этому делу: вы, полисмены, очень интересовались поступками поэта, лакея и журналиста из Ирландии. Но вы совершенно забыли о поступках самого убитого. Между тем его лакей был искренне удивлен, когда узнал, что хозяин возвратился так неожиданно. Ведь судья уехал на званый обед, который не мог быстро кончиться, поскольку там присутствовали все светила юриспруденции, а Гвинн вдруг уехал оттуда домой. Он не захворал, потому что не просил вызвать врача: можно сказать почти с уверенностью, что он поссорился с кем-то из выдающихся юристов. Среди этих юристов нам и следовало в самую первую очередь искать его недруга. Итак, судья вернулся домой и ушел в свой флигель,

где хранил все личные бумаги, касавшиеся государственной измены. Но выдающийся юрист, который знал, что в этих бумагах содержатся какие-то улики против него, сообразил последовать за судьей, намеревавшимся его уличить. Он тоже был во фраке, только в кармане этого фрака лежал револьвер. Вот и вся история: никто даже не заподозрил бы истины, если б не зеркало.

Мгновение он задумчиво вглядывался в даль, а потом заключил:

— Странная это штука — зеркало: рама, как у обыкновенной картины, а между тем в ней можно увидеть сотни различных картин, причем очень живых и мгновенно исчезающих навеки. Да, было нечто странное в зеркале, что висело в конце этого коридора с серыми стенами, под зеленой пальмой. Можно сказать, это было волшебное зеркало, ведь у него совсем особая судьба, потому что отражения, которые в нем появлялись, пережили его и витали в воздухе среди сумерек, наполнявших дом, словно призраки, или, по крайней мере, остались, словно некая отвлеченная схема, словно основа доказательства. По крайней мере, мы могли, будто с помощью заклинания, вызвать из небытия то, что увидел сэр Артур Трейверс. Кстати, в словах, которые вы сказали о нем, была доля истины.

— Рад это слышать, — отозвался Бэгшоу несколько угрюмо, но добродушно. — Какие же это слова?

— Вы сказали, — объяснил священник, — что у сэра Артура, вероятно, есть веские причины постараться отправить Орма на виселицу.

Неделю спустя священник снова встретился с сыщиком и узнал, что соответствующие власти уже начали новое дознание, но оно было прервано сенсационным событием.

— Сэр Артур Трейверс... — начал отец Браун.

— Сэр Артур Трейверс мертв, — коротко сказал Бэгшоу.

— Вот как! — произнес священник прерывающимся голосом. — Стало быть, он...

— Да, — подтвердил Бэгшоу, — он снова выстрелил в того же самого человека, только уже не отраженного в зеркале.

ТАЙНА ФЛАМБО

— Те убийства, в которых я играл роль убийцы... — сказал отец Браун, ставя бокал с вином на стол.

Красные тени преступлений вереницей пронеслись перед ним.

— Правда, — продолжал он, помолчав, — другие люди совершали преступление раньше и освободили меня от физического участия. Я был, так сказать, на положении дублера. В любой момент я был готов сыграть роль преступника. По крайней мере, я вменил себе в обязанность знать эту роль назубок. Сейчас я вам поясню: когда я пытался представить себе то душевное состояние, в котором крадут или убивают, я всегда чувствовал, что я сам способен украсть или убить только в определенных психологических условиях — именно таких, а не иных, и притом не всегда наиболее очевидных. Тогда мне, конечно, становилось ясно, кто преступник, и это не всегда был тот, на кого падало подозрение.

Например, легко было решить, что мятежный поэт убил старого судью, который терпеть не мог мятежников. Но мятежный поэт не станет убивать за это; вы поймете почему, если влезете в его шкуру. Вот я и влез, сознательно стал пессимистом, поборником анархии, одним из тех, для кого мятеж — не торжество справедливости, а разрушение. Я постарался избавиться от крох трезвого здравомыслия, которые мне посчастливилось унаследовать или собрать. Я закрыл и завесил все окошки, через которые светит сверху добрый дневной свет. Я представил себе ум, куда проникает только багровый свет снизу, раскалывающий скалы и разверзающий пропасти в небе. Но самые дикие, жуткие видения не помогли мне понять, зачем тому, кто так видит, губить себя, вступать в конфликт с презренной полицией, убивая одного из тех, кого сам он считает старыми дураками. Он не станет это делать, хотя и призывает к насилию в своих стихах. Он потому и не станет, что пишет стихи и песни. Тому, кто может выразить себя в песне, незачем выражать себя в убийстве. Стихи для него — истинные события, они нужны ему, еще и еще. Потом я подумал о другом пессимисте: о том,

кто охраняет этот мир, потому что полностью от него зависит. Я подумал, что, если бы не благодать, я сам бы стал, быть может, человеком, для которого реален только блеск электрических ламп; мирским светским человеком, который живет только для этого мира и не верит в другой; тем, кто может вырвать из тьмы крошечной только успех и удовольствия. Вот кто пойдет на все, если встанет под угрозу его единственный мир! Не мятежник, а мещанин способен на любое преступление, чтобы спасти свою мещанскую честь. Представьте себе, что значит разоблачение для преуспевающего судьи. Ведь вышло бы наружу то, чего его мир, его круг действительно не терпит — государственная измена. Если б я оказался на его месте и у меня была бы под рукой только его философия, один бог знает, чего бы я натворил.

— Многие скажут, что ваше упражнение мрачно, — сказал Чейс.

— Многие думают, — серьезно ответил Браун, — что милосердие и смирение мрачны. Не будем об этом спорить. Я ведь просто отвечаю вам, рассказываю о своей работе. Ваши соотечественники оказали мне честь: им интересно, как мне удалось предотвратить ошибки правосудия. Что ж, скажите им, что мне помогла мрачность. Все ж лучше, чем магия!

Чейс задумчиво хмурился и не спускал глаз со священника. Он был достаточно умен, чтобы понять его, и в то же время слишком разумен, чтобы все это принять. Ему казалось, что он говорит с одним человеком — и с сотней убийц. Было что-то жуткое в маленькой фигурке, скрючившейся, как гном, над крошечной печкой. Странно было думать, что в этой круглой голове кроется такая бездна безумия и потенциальных преступлений. Казалось, густой мрак за его спиной населен темными тенями, духами зловещих преступников, не смеющих перешагнуть через магический круг раскаленной печки, но готовых ежеминутно растерзать своего властелина.

— Мрачно, ничего не поделаешь, — признался Чейс. — Может, это не лучше магии. Одно скажу: вам, наверное, было интересно. — Он помолчал. — Не знаю, какой из вас преступник, но писатель из вас вышел бы очень хороший.

— Я имею дело только с истинными происшеств-

виями,— ответил Браун.— Правда, иногда труднее вообразить истинное происшествие, чем вымышленное.

— В особенности когда это сенсационное преступление,— сказал Чейс.

— Мелкое преступление гораздо труднее вообразить, чем крупное,— ответил священник.

— Не понимаю,— промолвил Чейс.

— Я имею в виду заурядные преступления, вроде кражи драгоценностей,— сказал отец Браун.— Например, изумрудного ожерелья, или рубина, или искусственных золотых рыбок. Трудность тут в том, что нужно ограничить, принизить свой разум. Вдохновенные, искренние шарлатаны, спекулирующие высшими понятиями, не способны на такой простой поступок. Я был уверен, что пророк не крал рубина, а граф не крал золотых рыбок. А вот человек вроде Бэнкса мог украсть ожерелье. Для тех, других, драгоценность — кусок стекла, а они умеют смотреть сквозь стекло. Для пошлого же, мелкого человека драгоценный камень — это рыночная ценность.

Стало быть, вам нужно обкорнать свой разум, стать ограниченным. Это ужасно трудно. Но иногда вам приходят на помощь какие-нибудь мелочи и проливают свет на тайну. Так, например, человек, который хвастает, что он «вывел на чистую воду» профессора черной и белой магии или еще какого-нибудь жалкого фокусника, всегда ограничен. Он из того сорта людей, которые «видят насквозь» несчастного бродягу и, рассказывая про него небывлицы, окончательно губят его. Иногда очень тяжело влезать в такую шкуру. И вот когда я понял, что такое ограниченный ум, я уже знал, где искать его. Тот, кто пытался разоблачить пророка, украл рубин; тот, кто издевался над оккультными фантазиями своей сестры, украл ожерелье. Такие люди всегда равнодушны к драгоценностям, они не могут, как шарлатаны высшей марки, подняться до презрения к ним. Ограниченные, неумные преступники всегда рабы всевозможных условностей. Оттого они и становятся преступниками.

Правда, нужно очень стараться, чтобы низвести себя до такого низкого уровня. Для того чтобы стать рабом условностей, надо до предела напрягать вообра-

жение. Нелегко стремиться к дрянной безделушке, как к величайшему благу. Но это можно... Вы можете сделать так: вообразите себя сначала ребенком-сладкоежкой; думайте о том, как хочется взять в лавке какие-нибудь сласти; о том, что есть одна вкусная вещь, которая вам особенно по душе... Потом отнимите от всего этого ребяческую поэзию; погасите сказочный свет, освещавший в детских грезах эту лавку; вообразите, что вы хорошо знаете мир и рыночную стоимость сластей... Сузьте ваш дух, как фокус камеры... И вот — свершилось!

Он говорил так, словно его посетило видение.

Грэндисон Чейс все еще смотрел на него, хмурясь, с недоверием и с интересом. На секунду в его глазах даже зажглась тревога. Казалось, потрясение, испытанное им при первых признаниях священника, еще не улеглось. Он твердил себе, что он, конечно, не понял, что он ошибся, что Браун, разумеется, не может быть чудовищным убийцей, за которого он его на минуту принял. Но все ли ладно с этим человеком, который так спокойно говорит об убийствах и убийцах? А может, все-таки он чуточку помешан?

— Не думаете ли вы, — сказал он отрывисто, — что эти ваши опыты, эти попытки перевоплотиться в преступника, делают вас чрезмерно снисходительным к преступлению?

Отец Браун выпрямился и заговорил более четко:

— Как раз наоборот! Это решает всю проблему времени и греха: вы, так сказать, раскаиваетесь впрок.

Воцарилось молчание. Американец глядел на высокий навес, простирившийся до половины двора; хозяин, не шевелясь, глядел в огонь. Вновь раздался голос священника; теперь он звучал иначе — казалось, что он доносится откуда-то снизу.

— Есть два пути борьбы со злом, — сказал он. — И разница между этими двумя путями, быть может, глубочайшая пропасть в современном сознании. Одни боятся зла, потому что оно далеко. Другие — потому что оно близко. И ни одна добродетель, и ни один порок не отдалены так друг от друга, как эти два страха.

Никто не ответил ему, и он продолжал так

же весомо, словно ронял слова из расплавленного олова:

— Вы называете преступление ужасным потому, что вы сами не могли бы совершить его. Я называю его ужасным потому, что представляю, как бы мог совершить его. Для вас оно вроде извержения Везувия; но, право же, извержение Везувия не так ужасно, как, скажем, пожар в этом доме. Если бы тут внезапно появился преступник...

— Если бы тут появился преступник, — улыбнулся Чейс, — то вы, я думаю, проявили бы к нему чрезмерную снисходительность. Вы, вероятно, стали бы ему рассказывать, что вы сами преступник, и объяснили, что ничего нет естественней, чем ограбить своего отца или зарезать мать. Честно говоря, это, по-моему, непрактично. От подобных разговоров ни один преступник никогда не исправится. Все эти теории и гипотезы — пустая болтовня. Пока мы сидим здесь, в уютном, милом доме мосье Дюрока, и знаем, как мы все добропорядочны, мы можем себе позволить роскошь поболтать о грабителях, убийцах и тайнах их души. Это щекочет нервы. Но те, кому действительно приходится иметь дело с грабителями и убийцами, ведут себя совершенно иначе. Мы сидим в полной безопасности у печки и знаем, что наш дом не горит. Мы знаем, что среди нас нет преступника.

Мосье Дюрок, чье имя только что было упомянуто, медленно поднялся с кресла; его огромная тень, казалось, покрыла все кругом, и сама тьма стала темнее.

— Среди нас есть преступник, — сказал он. — Я — Фламбо, и за мной по сей день охотится полиция двух полушарий.

Американец глядел на него сверкающими оставившимися глазами; он не мог ни пошевелиться, ни заговорить.

— В том, что я говорю, нет ни мистики, ни метафор, — сказал Фламбо. — Двадцать лет я крал этими самыми руками, двадцать лет я удираю от полиции на этих самых ногах. Вы, надеюсь, согласитесь, что это большой стаж. Вы, надеюсь, согласитесь, что мои судьи и преследователи имели дело с настоящим преступником. Как вы считаете, могу я знать, что они думают о преступлении? Сколько проповедей

произносили праведники, сколько почтенных людей обливало меня презрением! Сколько поучительных лекций я выслушал! Сколько раз меня спрашивали, как я мог пасть так низко! Сколько раз мне твердили, что ни один мало-мальски достойный человек не способен опуститься в такие бездны греха! Что вызывала во мне эта болтовня, кроме смеха? Только мой друг сказал мне, что он знает, почему я краду. И с тех пор я больше не крал.

Отец Браун поднял руку, словно хотел остановить его. Грэндисон Чейс глубоко, со свистом вздохнул.

— Все, что я вам сказал, правда! — закончил Фламбо. — Теперь вы можете выдать меня полиции.

Воцарилось мертвое молчание; только из высокого темного дома доносился детский смех да в хлеву хрюкали большие серые свиньи. А потом вдруг звенящий обидой голос нарушил тишину. То, что сказал Чейс, могло бы показаться неожиданным всякому, кто незнаком с американской чуткостью и не знает, как близка она к чисто испанскому рыцарству.

— Мосье Дюрок! — сказал Чейс довольно сухо. — Мы с вами, смею надеяться, друзья, и мне очень больно, что вы сочли меня способным на столь грязный поступок. Я пользовался вашим гостеприимством и вниманием вашей семьи. Неужели я могу сделать такую мерзость только потому, что вы по вашей доброй воле посвятили меня в небольшую часть вашей жизни? К тому же вы защищали друга. Ни один джентльмен не предаст другого при таких обстоятельствах. Лучше уж просто стать доносчиком и продавать за деньги человеческую кровь. Неужели вы себе можете представить подобного Иуду?

— Кажется, я могу, — сказал отец Браун.

Из сборника
«СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
С ОТЦОМ БРАУНОМ»





СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ С ОТЦОМ БРАУНОМ

Было бы нечестно, повествуя о приключениях Отца Брауна, умолчать о той скандальной истории, в которую он оказался однажды замешан. И по сей день есть люди — наверно, даже среди его прихожан, — утверждающие, что имя его запятнано. Случилось это в Мексике, в живописной придорожной гостинице с несколько сомнительной репутацией, как выяснилось позже. По мнению некоторых, в тот раз пристрастие к романтике и сочувствие человеческим слабостям толкнули отца Брауна на совершенно безответственный и даже безнравственный поступок. Сама по себе история очень проста, своей простотой-то она и удивительна.

Троя погибла из-за Елены, этот же прискорбный случай произошел по вине прекрасной Гипатии Поттер.

Американцы отличаются особым талантом (который европейцы не всегда умеют ценить) создавать авторитеты снизу, так сказать, по инициативе широкой публики. Как все хорошее на свете, такой порядок имеет свои светлые стороны; одна из них, уже отмеченная мистером Уэллсом и другими, состоит, например, в том, что человек может пользоваться влиянием, не занимая при этом никакого поста. Красивая женщина играет роль некоронованной королевы, даже если она не кинозвезда и не стопроцентная американка по Гибсону. И вот среди красавиц, имевших счастье — или несчастье — быть у всех на виду, оказалась некая Гипатия Хард. Она уже прошла подготовку под карточку цветистых комплиментов в разделах светской хроники местных газет и достигла положения особы, у которой стремятся получить интервью настоящие журналисты. Очаровательно улыбаясь, она успела высказаться о Войне и Мире, о Патриотизме и Сухом законе, об Эволюции и Библии. Ни один из этих вопросов не

затрагивал основ ее популярности, да и трудно, пожалуй, сказать, на чем она, собственно, основывалась, эта ее популярность. Красота и богатый папаша — не редкость у нее на родине, но в ней было еще что-то особо притягательное для блуждающего ока прессы. Почти никто из поклонников в глаза ее не видел и даже не надеялся увидеть, и ни один не рассчитывал извлечь для себя пользу из доходов ее отца. Ее популярность была просто романтической легендой, современным субститутом мифологии; и на этом фундаменте впоследствии выросла другая романтическая легенда, более красочная и бурная, героиней которой предстояло ей стать и которая, как думали многие, вдребезги разнесла репутацию отца Брауна, а также и некоторых других людей.

Те, кому американская сатира дала презвище «сестер-плакальщиц»¹, вынуждены были принять — одни восторженно, другие покорно — ее брак с одним весьма достойным и всеми уважаемым бизнесменом по фамилии Поттер. Считалось позволительным даже называть ее иногда миссис Поттер, при этом само собой разумелось, конечно, что ее муж — всего только муж миссис Поттер.

И тут разразился большой скандал, превзошедший самые заманчивые опасения ее недругов и друзей. Имя Гипатии Поттер стали связывать с именем некоего литератора, проживавшего в Мексике, американца по подданству, но весьма латинского американца по духу. К сожалению, его пороки, как и ее добродетели, всегда служили лакомой пищей для газетных репортеров. Это был не кто иной, как — прославленный — или обесславленный — Рудель Романес, поэт, чьи книги завоевали всемирную популярность благодаря изъятиям из библиотек и преследованиям со стороны полиции. Как бы то ни было, но ясная и мирная звезда Гипатии Поттер блистала теперь на небосводе в непосредственной близости с этой кометой. Он действительно походил на комету, поскольку был волосат и горяч; первое явствовало из портретов, второе — из стихов. И как всякая комета, он обладал разрушительной силой:

¹ «Сестры-плакальщицы» — насмешливое название американских журналисток сентиментального направления.

за ним в виде огненного хвоста тянулась цепь разводов, что одни объясняли его успехами в роли любовника, а другие — провалами в роли мужа. Гипатии приходилось нелегко. Человек, который должен на глазах у публики вести безупречную личную жизнь, испытывает свои трудности — чувствует себя манекеном в витрине, где для всеобщего обозрения оборудован уютный домашний уголок. Газетные репортеры публиковали какие-то туманные фразы относительно Великого Закона Любви и Высшего Самовыражения. Язычники ликовали. «Сестры-плакальщицы» допустили в своих комментариях нотку романтического сожаления, у некоторых из них — наиболее закаленных — даже хватило смелости процитировать строки из известного стихотворения Мод Мюллер о том, что на свете нет слов печальнее, чем: «Это могло бы быть...» А мистер Эгер П. Рок, ненавидевший «сестер-плакальщиц» праведной лютой ненавистью, заявил, что по данному поводу он полностью солидарен с Брет-Гартом, предложившим свой вариант известного стихотворения:

Куда печальнее нам видеть вещи суждено.
Так есть, однако ж быть так не должно.

Ибо мистер Рок был твердо — и справедливо — убежден в том, что очень многого не должно было бы быть.

Он беспощадно и яростно критиковал деградацию общества на страницах газеты «Миннеаполисский метеор» и вообще был человек смелый и честный. Быть может, в своем негодовании он проявлял некоторую односторонность, но это чувство было у него здоровой реакцией на сентиментальную манеру современной прессы и так называемого общественного мнения смешивать праведное и неправедное. И прежде всего он боролся против того святотатственного ореола славы, которым окружаются бандиты и гангстеры. Правда, в своем раздражении он чересчур склонен был исходить из предпосылки, что все гангстеры — латиноамериканцы, а все латиноамериканцы — гангстеры. Однако этот его предрассудок, хотя, быть может, и отдающий провинцией, все же производил освежающее впечатление в той атмосфере восторженно-трусливого поклонения героям, когда

профессиональный убийца почитался как законодатель мод, если только, по отзывам печати, он улыбался неотразимой улыбкой и носил безупречный смокинг.

К моменту, когда, собственно, начинается эта история, предубеждения против латиноамериканцев переполнили душу мистера Рока, потому что он как раз находился на их территории; решительно и гневно шагая вверх по холму, он направлялся к белому зданию отеля в живописном кольце пальм, где, по слухам, остановились Поттеры и, стало быть, находился двор таинственной королевы Гипатии. Эгер Рок даже с виду был типичный пуританин, скорей даже, пожалуй, мужественный пуританин XVII столетия, а не один из тех менее жестоковых и более грамотных их потомков, которые расплодись в XX веке. Если б ему сказали, что его необычная старомодная черная шляпа, обычный хмурый взор и суровое, как из камня высеченное лицо набрасывают мрачную тень на солнечные пальмы и виноградники, он, несомненно, был бы польщен. Влево и вправо устремлял он взор, горящий неусыпным подозрением. И вдруг на гребне холма, впереди себя, на фоне субтропического заката увидел силуэты двух фигур в таких позах, которые и у менее подозрительного человека могли бы возбудить кое-какие подозрения.

Один из тех двоих выглядел сам по себе примечательно. Он стоял как раз в том месте, где дорога переваливает через холм, четко рисуясь на фоне неба над долиной, словно нарочно выбрал и эту позицию, и эту позу. Закутанный в широкий черный плащ, в байроническом стиле, он высоко вскинул голову, которая в своей темной красе была удивительно похожа на голову Байрона. Те же выющиеся волосы, те же глубоко вырезанные ноздри, и даже нечто вроде того же презрения к миру и негодования сквозило во всей его фигуре. В руке он сжимал довольно длинную палку, или, вернее, трость с острым наконечником, какими пользуются альпинисты, и сейчас она казалась фантастическим подобием копья. Впечатление это еще усиливалось благодаря контрасту с комическим обликом второго человека, державшего в руке зонт. Это был совершенно новый,

тщательно свернутый зонт, совсем не такой, например, как знаменитый зонт отца Брауна. И сам приземистый, толстый человечек с бородкой был одет аккуратно, точно клерк, в легкий воскресный костюм. Но прозаический его зонт был угрожающе поднят, словно изготовлен к нападению. Защищаясь, высокий человек с палкой быстро шагнул ему навстречу, но тут вся сцена вдруг приобрела комический вид: зонт сам собой раскрылся, заслонив своего упавшего владельца, и противник его оказался в позе рыцаря, пронзающего копьем карикатурное подобие щита. Но он не стал заходить дальше и вонзать копье глубже; выдернув острие своей трости, он с раздражением отвернулся и зашагал по дороге прочь. Коротенький человечек поднялся с земли, аккуратно сложил зонт и тоже зашагал по дороге, но в противоположном направлении, к отелю. Рок не слышал ни слова из того, что было сказано сторонами этого нелепого вооруженного конфликта, но, идя по дороге вслед за коротеньким бородатым человеком, он о многом успел подумать. Романтический плащ и несколько опереточная красота одного из них в сочетании со стойкой самообороной другого как нельзя лучше совпадали с той историей, ради которой он приехал в Мексику, и он заключил, что этих двоих зовут Романес и Поттер. Догадка его полностью подтвердилась, когда, войдя из-под колоннады в вестибюль, он услышал голос бородатого, звучавший не то сварливо, не то повелительно. Повидимому, он говорил с управляющим или с кем-то из прислуги и, насколько разобрал Рок, предостерегал их против какого-то весьма опасного субъекта, появившегося в округе.

— Даже если он уже побывал в отеле, — говорил бородатый в ответ на какие-то неразборчивые возражения, — я все же настаиваю, чтобы больше его не впускали. За такими типами должна следить полиция, и, уж во всяком случае, я не позволю, чтобы он докучал леди.

В мрачном молчании слушал его Рок, и уверенность его росла; затем он проскользнул через вестибюль к нише, где находилась книга для записи приезжих, и, раскрыв ее на последней странице, убедился, что «тип» действительно побывал в отеле:

имя Руделя Романеса, этой романтической знаменитости, было вырисовано в книге крупными буквами иностранного вида, а немного пониже, довольно близко друг от друга, стояли имена Гипатии Поттер и Элиса Т. Поттера, выписанные добропорядочным и вполне американским почерком.

Эгер Рок недовольно озирался и повсюду вокруг себя, даже в небогатой внутренней отделке отеля, видел то, что было ему больше всего ненавистно. Может быть, и неразумно негодовать из-за того, что на апельсиновых деревьях — даже на тех, что растут в кадках, — зреют апельсины; еще того неразумнее возмущаться, что ими пестрят старенькие занавески и выпцветшие обои. Но для него, как ни странно, эти узоры в виде красно-золотых солнц, перемежающихся кое-где серебряными лунами, были квинт-эссенцией всего самого недопустимого. Они воплощали в его глазах слабохарактерность и падение нравов, которые он, исходя из своих принципов, осуждал в современном обществе и которые он, исходя из своих предрассудков, связывал с теплом и негой юга. Его раздражал даже вид потемневшего полотна, на котором неясно вырисовывался неизменный пастушок Ватто¹ со своей гитарой, или голубой кафель с обязательным купидончиком верхом на дельфине. Здравый смысл мог бы подсказать ему, что все эти предметы он, наверное, не раз видел в витринах магазинов на Пятой авеню, однако здесь они были для него дразнящими голосами сирен — исчадий языческого Средиземноморья. Внезапно все вокруг него переменилось, как меняется неподвижное отражение в зеркале, когда по нему промелькнет быстролетная тень, и комнату наполнило чье-то требовательное присутствие. Он медленно, даже нехотя, обернулся и понял, что перед ним — знаменитая Гипатия, о которой он столько читал и слышал в течение многих лет.

Гипатия Поттер, урожденная Хард, обладала той особенной красотой, в применении к которой эпитет «лучистая» сохраняет свое первоначальное, прямое значение: ее воспетая газетчиками Индивидуальность

¹ Ватто Антуан (1684—1721) — французский художник.

исходила от нее в виде ослепительных лучей. Она не стала бы менее красивой и сделалась бы, кое на чей вкус, только более привлекательной, если бы не столь щедро одаривала всех этими лучами, но ее учили, что подобная замкнутость — чистейший эгоизм. Она могла бы сказать, что целиком отдала себя на службу обществу; правильнее было бы сказать, что она, наоборот, обрела себя на службе обществу; но так или иначе служила она обществу вполне добросовестно. И поэтому ее ослепительные голубые глаза действительно разили, точно мифические стрелы Купидона, которые убивают на расстоянии. Впрочем, цели, которых она при этом добивалась, носили абстрактный характер, выходящий за пределы обычного кокетства. От белокурых, почти бесцветных волос, уложенных вокруг головы в виде ангельского нимба, казалось, исходила электрическая радиация. Когда же она поняла, что стоящий перед ней незнакомец — не кто иной, как мистер Эгер Рок из «Миннеаполисского метеора», ее глаза заработали, как сверхмощные прожекторы, обшаривающие горизонты Соединенных Штатов.

Однако на этот раз, как вообще иногда случалось, прекрасная дама ошиблась. Сейчас Эгер Рок не был Эгером Роком из «Миннеаполисского метеора». Он был просто Эгером Роком, и в душе его возник могучий и чистый моральный порыв, не имевший ничего общего с грубой деятельностью газетного репортера. Сложное, смешанное — рыцарское и национальное — чувство красоты и вдруг родившаяся потребность немедленно совершить какой-нибудь высоконравственный поступок, — также черта национальная, — придали ему храбрости выступить в новой возвышенно-оскорбительной роли. Он припомнил другую Гипатию, прекрасную последовательницу неоплатоников, припомнил свой любимый эпизод из романа Кингсли ¹, где молодой монах бросает героине упрек в распутстве и идолопоклонстве. И, остановившись перед Гипатией Поттер, строго и твердо произнес:

— Прошу прощенья, мадам, но я хотел бы сказать вам несколько слов с глазу на глаз.

¹ Кингсли Чарльз (1819—1875) — английский писатель и англиканский священник.

— Ну, что ж,— ответила она, обводя комнату своим сияющим взором,— только можно ли считать, что мы с вами здесь с глазу на глаз?

Рок тоже оглядел комнату, но не увидел никаких признаков жизни, кроме апельсиновых деревьев в кадках да еще одного предмета, который был похож на огромный черный гриб, но оказался шляпой какого-то священника, флегматично курившего черную мексиканскую сигару и в остальном столь же неподвижного, как и всякое растение. Задержав взгляд на тяжелых, невыразительных чертах его лица, Рок отметил про себя деревенскую неотесанность, довольно обычную для священников латинских и в особенности латиноамериканских стран, и, рассмеявшись, слегка понизил голос:

— Ну, не думаю, чтоб этот мексиканский падре понимал наш язык. Где этим ленивым увальням выучить какой-нибудь язык, кроме своего! Конечно, я не поклянусь, что он мексиканец, он может быть кем угодно: метисом или мулатом, например. Но что это не американец, я ручаюсь,— среди нашего духовенства нет таких низкосортных типов.

— Собственно говоря,— произнес низкосортный тип, вынув изо рта черную сигару,— я англичанин. Моя фамилия Браун. Но могу, если угодно, уйти отсюда, чтобы не мешать вам.

— Если вы англичанин,— в сердцах обратился к нему Рок,— вы должны испытывать естественный нордический протест против всего этого безобразия. Довольно, если я скажу, что здесь, в окрестностях отеля, бродит чрезвычайно опасный человек, высокого роста, в плаще, как эти безумные стихотворцы со старинных портретов.

— Ну, это еще мало о чем говорит,— мягко заметил священник,— такие плащи здесь носят очень многие, потому что после захода солнца сразу становится холодно.

Рок метнул на него мрачный настороженный взгляд, как будто бы подозревал тут какую-то увертку в пользу широкополых шляп и лунного света.

— Дело не только в плаще,— проворчал он,— хотя, конечно, надет он был странно. Весь облик этого человека — театральный, вплоть до его проклятой театральной красоты. И если вы позволите,

мадам, я бы действительно советовал вам не иметь с ним ничего общего, вздумай он сюда явиться. Ваш муж уже приказал служащим отеля не впускать его...

Но тут Гипатия вскочила и каким-то странным жестом закрыла лицо, запустив пальцы в волосы. Казалось, тело ее сотрясали рыдания, но когда она снова взглянула на Рока, обнаружилось, что она хохочет.

— Ах, какие же вы смешные! — проговорила она и, что было совсем не в ее стиле, со всех ног бросилась к двери и исчезла.

— Этот смех похож на истерику, — немного смутившись, заметил Рок и растерянно обратился к маленькому священнику: — Понимаете, я считаю, что раз вы англичанин, то, во всяком случае, должны быть на моей стороне против разных этих латинян. Право, я не из тех, кто разглагольствует об англосаксах, но ведь есть же такая наука, как история. Всегда можно доказать, что цивилизацию Америке дала Англия.

— Следует также признать, дабы смирить нашу гордыню, — сказал отец Браун, — что Англии цивилизацию дали латиняне.

И опять у Рока появилось неприятное чувство, что собеседник в чем-то скрыто и неуловимо его опровергает, отстаивая ложные позиции; и он буркнул, что не понимает, о чем идет речь.

— А как же, был, например, один такой латинянин, или, может, правильнее сказать, итальяшка, по имени Юлий Цезарь; его еще потом зарезали: сами знаете, как они любят поножовщину. И был другой, по имени Августин¹, который принес христианство на наш маленький остров. Без этих двух невелика была бы сейчас наша цивилизация.

— Ну, это все древняя история, — раздраженно сказал журналист. — А я интересуюсь современностью. И я вижу, что эти негодяи несут язычество в нашу страну и уничтожают остатки христианства. И к тому же уничтожают остатки нашего здравого

¹ А в г у с т и н — монах Бенедиктинского ордена, посланный в VI в. в Англию папой Григорием I для насаждения христианства среди англосаксов; впоследствии — первый архиепископ Кентерберийский.

смысла. Установившиеся обычаи, твердые общественные порядки, традиционный образ жизни фермеров, какими были наши отцы и деды, — все, все превращается в этакую горячую кашу, сдобренную нездоровыми чувствами и сенсациями по поводу разводов кинозвезд, и теперь глупые девчонки стали считать, что брак — это всего лишь способ получить развод.

— Совершенно верно, — сказал отец Браун. — Разумеется, в этом я полностью с вами согласен. Но не будем судить слишком строго. Возможно, что южане действительно несколько более подвержены слабостям такого рода. Нельзя забывать, однако, что и у северян есть свои слабости. Может быть, здешняя атмосфера в самом деле излишне располагает к простой романтике...

Но при последнем слове извечное негодование вновь забушевало в груди Эгера Рока.

— Ненавижу романтику, — провозгласил он, ударив кулаком по столу. — Вот уже сорок лет, как я изгоняю это безобразие со страниц тех газет, для которых работаю. Стоит любому проходиму удрать с какой-нибудь буфетчицей, и это уже называют тайным романтическим браком или еще того глупее. И вот теперь нашу собственную Гипатию Хард, дочь порядочных родителей, пытаются втянуть в безнравственный романтический бракоразводный процесс, о котором газеты раструбят по всему миру с таким же восторгом, как об августейшем бракосочетании. Этот безумный поэт Романес преследует ее, и можете не сомневаться, вслед за ним сюда передвинется прожектор всеобщего внимания, словно он — кумир экрана, из тех, что у них именуются Великими Любовниками. Я его видел по дороге — у него лицо настоящего киногероя. Ну, а мои симпатии — на стороне порядочности и здравого смысла. Мои симпатии на стороне бедного Поттера, простого, честного биржевого маклера из Питсбурга, полагающего, что он имеет право на собственный домашний очаг. И он борется за него. Я слышал, как он кричал на служащих, чтобы они не впускали того негодяя. И правильно делал. Народ здесь, в отеле, на мой взгляд, хитрый и жуликоватый, но он их припугнул как следует.

— Я склонен разделить ваше мнение об управляющем и служащих этого отеля, — отозвался отец Браун. — Но ведь нельзя же судить по ним обо всех мексиканцах. Кроме того, по-моему, джентльмен, о котором вы говорите, не только припугнул их, но и подкупил, раздав немало долларов, чтобы переманить их на свою сторону. Я видел, как они запирали двери и очень оживленно шептались друг с другом. Кстати сказать, у вашего простого честного приятеля, видимо, куча денег.

— Я не сомневаюсь, что дела его идут успешно, — сказал Рок. — Он принадлежит к типу наших преуспевающих толковых бизнесменов. А вы что, собственно, хотите этим сказать?

— Я думал, может быть, мои слова натолкнул вас на другую мысль, — ответил отец Браун и, простившись с тяжеловесной учтивостью, вышел из комнаты.

Вечером за ужином Рок внимательно следил за Поттерами. Его впечатления обогатились, хотя ничто не поколебало его уверенности в том, что зло угрожает дому Поттера. Сам Поттер оказался человеком, заслуживающим более пристального внимания: журналист, который вначале счел его простым и прозаичным, теперь с удовольствием обнаружил черты утонченности в том, кого он считал героем, или, вернее, жертвой происходящей трагедии. Действительно, лицо у Поттера было интеллигентное и умное, однако с озабоченным и временами раздраженным выражением. У Рока создалось впечатление, что этот человек оправляется после недавней болезни; его неопределенного цвета волосы были редкими и довольно длинными, как будто бы их давно не стригли, а всяма необычного вида борода тоже казалась какой-то запущенной. За столом он два раза обратился к своей жене с какими-то резкими язвительными замечаниями, а больше возился с желудочными пилюлями и другими изобретениями медицинской науки. Однако по-настоящему озабочен он был, разумеется, лишь той опасностью, что грозила извне. Его жена подыгрывала ему в великолепной, хотя, может быть, слегка снисходительной манере Терпеливой Гризельды, но глаза ее тоже беспрестанно устремлялись на двери и ставни, как будто бы она боялась и в то же время ждала вторже-

ния. После загадочной истерики, которую наблюдал у нее Рок, он имел основания опасаться, что чувства ее имеют противоречивую природу.

Но главное событие, о котором ведется здесь речь, произошло поздно ночью. В полной уверенности, что все уже разошлись спать, Рок решил наконец подняться к себе в номер, но, проходя через холл, с удивлением заметил отца Брауна, который сидел в уголке под апельсиновым деревом и невозмутимо читал книгу. Они обменялись пожеланиями спокойной ночи, и журналист уже поставил ногу на первую ступеньку лестницы, как вдруг наружная дверь подпрыгнула на петлях и заходила под яростными ударами, которые кто-то наносил снаружи; громовой голос, перекрывая грохот ударов, потребовал, чтоб дверь немедленно открыли. Журналист почему-то был уверен, что удары наносились заостренной палкой вроде альпенштока. Перегнувшись через перила, он увидел, что на первом этаже, где свет уже был погашен, взад и вперед снуют слуги, проверяют запоры, но не снимают их; удостоверившись в этом, он немедленно поднялся к себе в номер. Здесь он сразу уселся за стол и с яростным воодушевлением принялся писать статью для своей газеты.

Он описывал осаду отеля; его дешевую пышность; атмосферу порока; хитрые увертки священника; и сверх всего ужасный голос, проникающий извне, подобно вою волка, рыщущего вокруг дома. И вдруг мистер Рок выпрямился на своем стуле. Прозвучал протяжный, дважды повторенный свист, который был ему вдвойне ненавистен, потому что напоминал и сигнал заговорщиков, и любовный призыв птиц. Наступила полная тишина, Рок замер, вслушиваясь. Спустя несколько мгновений, он вскочил, так как до него донесся новый шум. Что-то пролетело, с легким шелестом рассекая воздух, и упало с отчетливым стуком — какой-то предмет швырнули в окно. Повинуясь зову долга, Рок спустился вниз — там было темно и пусто, вернее, почти пусто, потому что маленький священник по-прежнему сидел под апельсиновым деревцем и при свете настольной лампы читал книгу.

— Вы, видимо, поздно ложитесь спать, — сердито заметил Рок.

— Страшная распущенность, — сказал отец Браун, с улыбкой поднимая голову, — читать «Экономику ростовщичества» глубокой ночью.

— Все двери заперты, — сказал Рок.

— Крепко-накрепко, — подтвердил священник. — Кажется, ваш бородатый приятель принял необходимые меры. Кстати сказать, он немного напуган. За обедом он был сильно не в духе, на мой взгляд.

— Вполне естественно, когда у человека прямо на глазах дикари в этой стране пытаются разрушить его семейный очаг.

— Было бы лучше, — возразил отец Браун, — если бы человек, вместо того чтобы оборонять свой очаг от нападения извне, постарался укрепить его изнутри, вы не находите?

— О, я знаю все ваши казуистические увертки, — ответил его собеседник. — Может быть, он и был резковат со своей женой, но ведь право на его стороне. Послушайте, вы мне кажетесь не таким уж простачком. Вы, наверно, знаете больше, чем говорите. Что, черт возьми, здесь происходит? Почему вы тут сидите всю ночь и наблюдаете?

— Потому что я подумал, — добродушно ответил отец Браун, — что моя спальня может понадобиться.

— Понадобиться? Кому?

— Дело в том, что миссис Поттер нужна была отдельная комната, — с безмятежной простотой объяснил отец Браун. — Ну, я и уступил ей мою, потому что там можно открыть окно. Сходите посмотрите, если угодно.

— Ну, нет. У меня найдется для начала забота поважнее, — скрежеща зубами, проговорил Рок. — Вы можете откалывать свои обезьяньи шутки в этом мексиканском обезьяннике, но я-то еще не потерял связи с цивилизованным миром.

Он ринулся к телефонной будке, позвонил в свою редакцию и поведал им по телефону историю о том, как преступный священник оказывал содействие преступному поэту. Затем он устремился вверх по лестнице, вбежал в номер, принадлежавший священнику, и при свете единственной свечи, оставленной владельцем на столе, увидел, что все окна в номере раскрыты настежь.

Он успел еще заметить, как нечто, напоминающее веревочную лестницу, соскользнуло с подоконника, и, взглянув вниз, увидел на газоне перед домом смеющегося мужчину, который сворачивал длинную веревку. Смеющийся мужчина был высок и черно-волос, а рядом с ним стояла светловолосая, но также смеющаяся дама. На этот раз мистер Рок не мог утешаться даже тем, что смех ее истеричен. Слишком уж естественно он звучал. И мистер Рок в ужасе слушал, как звенел этот смех на дорожках сада, по которым она уходила в темноту зарослей со своим трубадуром.

Эгер Рок повернул к священнику лицо — не лицо, а грозный лик Страшного суда.

— Вся Америка узнает об этом, — произнес он. — Вы, попросту говоря, помогли ей сбежать с ее кудрявым любовником.

— Да, — сказал отец Браун. — Я помог ей сбежать с ее кудрявым любовником.

— Вы, считающий себя слугой Иисуса Христа! — воскликнул Рок. — Вы похваляетесь своим преступлением!

— Мне случалось раз или два быть замешанным в преступлениях, — мягко возразил священник. — К счастью, на этот раз обошлось без преступления. Это просто тихая семейная идиллия, которая кончается при теплом свете домашнего очага.

— Кончается веревочной лестницей, а надо бы веревочной петлей, — сказал Рок. — Ведь она же замужняя женщина.

— Конечно.

— Ну, и разве долг не предписывает ей находиться там, где ее муж?

— Она находится там, где ее муж, — сказал отец Браун.

Собеседник его пришел в ярость.

— Вы лжете! — воскликнул он. — Бедный толстяк и сейчас еще храпит в своей постели.

— Вы, видимо, неплохо осведомлены о его личной жизни, — сочувственно заметил отец Браун. — Вы бы, наверно, могли издать жизнеописание Человека с Бородой. Единственное, чего вы так и не удосужились узнать про него, так это — его имя.

— Вздор,— сказал Рок.— Его имя записано в книге для приезжих.

— Вот именно,— кивнул священник.— Такими большими буквами: Рудель Романес. Гипатия Поттер, которая приехала к нему сюда, смело поставила свое имя чуть пониже, так как намерена была убежать с ним, а ее муж поставил свое имя чуть пониже ее имени, в знак протеста, когда настиг их в этом отеле. Тогда Романес (у которого, как у всякого популярного героя, презирающего род человеческий, куча денег) подкупил этих негодяев в отеле, и они заперли все двери, чтобы не впустить законного мужа. А я, как вы справедливо заметили, помог ему войти.

Когда человек слышит нечто, переворачивающее все в мире вверх ногами: что хвост виляет собакой, что рыба поймала рыбака, что земля вращается вокруг луны,— проходит время, прежде чем он может всерьез переспросить, не ослышался ли он. Он еще держится за мысль, что все это абсолютно противоречит очевидной истине. Наконец Рок произнес:

— Вы что, хотите сказать, что бородатый человек — это романтик Рудель, о котором так много пишут, а кудрявый парень — мистер Поттер из Питсбурга?

— Вот именно,— подтвердил отец Браун.— Я догадался с первого же взгляда. Но потом удостоверился.

Некоторое время Рок размышлял, а затем проговорил:

— Не знаю, может быть, вы и правы. Но как такое предположение могло прийти вам в голову перед лицом фактов?

Отец Браун как-то сразу смутился; он опустился на стул и с бессмысленным видом уставился перед собой. Наконец легкая улыбка обозначилась на его круглом и довольно глупом лице, и он сказал:

— Видите ли, дело в том, что я не романтик.

— Черт вас знает, что вы такое,— грубо встал Рок.

— А вот *вы* — романтик,— сочувственно продолжал отец Браун.— Вы, например, видите человека с поэтической внешностью и думаете, что он — поэт. А вы знаете, как обычно выглядят поэты?

Сколько недоразумений породило одно совпадение в начале девятнадцатого века, когда жили три красавца, аристократа и поэта: Байрон, Гете и Шелли! Но в большинстве случаев, поверьте, человек может написать: «Красота запечатлела у меня на устах свой пламенный поцелуй», — или что там еще писал этот толстяк, отнюдь не отличаясь при этом красотой. Кроме того, представляете ли вы себе, какого возраста обычно достигает человек к тому времени, когда слава его распространяется по всему свету? Уотс ¹ нарисовал Суинберна с пышным ореолом волос, но Суинберн был лысым еще до того, как его поклонники в Америке или в Австралии впервые услышали об его гиацинтовых локонах. И Д'Аннунцио ² тоже. Собственно говоря, у Романеса до сих пор внешность довольно примечательная — вы сами можете в этом убедиться, если приглядитесь внимательнее. У него лицо человека, обладающего утонченным интеллектом, как оно и есть на самом деле. К несчастью, подобно многим другим обладателям утонченного интеллекта, он глуп. Он опустил и погряз в эгоизме и заботах о собственном пищеварении. И честолюбивая американская дама, полагавшая, что побег с поэтом подобен воспарению на Олимп к девяти музам, обнаружила, что одного дня с нее за глаза довольно. Так что к тому времени, когда появился ее муж и штурмом взял отель, она была счастлива вернуться к нему.

— Но муж? — недоумевал Рок. — Этого я никак в толк не возьму.

— А-а, не читайте так много современных эротических романов, — сказал отец Браун и опустил веки под пламенным протестующим взором своего собеседника. — Я знаю, все эти истории начинаются с того, что сказочная красавица вышла замуж за старого борова-финансиста. Но почему? В этом, как и во многих других вопросах, современные романы крайне несовременны. Я не говорю, что этого никогда не бывает, но этого почти не бывает в настоящее время, разве что по собственной вине

¹ Уотс Джордж Фредерик (1817—1904) — английский художник и скульптор.

² Д'Аннунцио Габриеле (1863—1938) — итальянский писатель.

героини. Теперь девушки выходят замуж за кого хотят, в особенности избалованные девушки вроде Гипатии. За кого же они выходят? Такая красивая и богатая мисс обычно окружена толпой поклонников, кого же она выберет? Сто шансов против одного, что она выйдет замуж очень рано и выберет себе самого красивого мужчину из тех, с кем ей придется встречаться на балах или на теннисном корте. И, знаете ли, обыкновенные бизнесмены бывают иногда красивыми. Явился молодой бог (по имени Поттер), и ее совершенно не интересовало, кто он: маклер или взломщик. Но при данном окружении, согласитесь сами, гораздо вероятнее, что он окажется маклером. И не менее вероятно, что его будут звать Поттером. Видите, вы оказались таким неизлечимым романтиком, что целую историю построили на одном предположении, будто человека с внешностью молодого бога не могут звать Поттером. Поверьте, имена даются людям вовсе не так уж закономерно.

— Ну? — помолчав, спросил журналист. — А что же, по-вашему, произошло потом?

Отец Браун порывисто поднялся со стула; пламя свечи дрогнуло, и тень от его короткой фигуры, протянувшись через всю стену, достигла потолка, вызывая странное впечатление, словно соразмерность вещей в комнате вдруг нарушилась.

— А,— пробормотал он,— в этом-то все зло. В этом настоящее зло. И оно куда опаснее, чем старые индейские демоны, таящиеся в здешних джунглях. Вы вот подумали, что я выгораживаю латиноамериканцев со всей их распущенностью, так вот, как это ни странно,— и он посмотрел на собеседника сквозь очки совиными глазами,— как это ни невероятно, но в определенном смысле вы правы. Вы говорите: «Долой романтику». А я говорю, что готов иметь дело с настоящей романтикой, тем более что встречается она не часто, если не считать пламенных дней ранней юности. Но, говорю я, уберите «интеллектуальное единение», уберите «платонические союзы», уберите «высший закон самоосуществления» и прочий вздор, тогда я готов встретить лицом к лицу нормальный профессиональный риск в моей работе. Уберите любовь, которая на самом деле не

любовь, а лишь гордыня и тщеславие, реклама и сенсация, и тогда мы готовы бороться с настоящей любовью, — если в этом возникнет необходимость, — а также с любовью, которая есть вожделение и разврат. Священникам известно, что у молодых людей бывают страсти, точно так же, как докторам известно, что у них бывает корь. Но Гипатии Поттер сейчас по меньшей мере сорок, и она влюблена в этого маленького поэта не больше, чем если бы он был издателем или агентом по рекламе. В том-то и все дело: он создавал ей рекламу. Ее испортили ваши газеты, жизнь в центре всеобщего внимания, постоянное желание видеть свое имя в печати, пусть даже в какой-нибудь скандальной истории, лишь бы она была в должной мере «психологична» и шикарна. Желание уподобиться Жорж Санд, чье имя навеки связано с Альфредом де Мюссе. Когда ее романтическая юность прошла, Гипатия впала в грех, свойственный людям зрелого возраста, — в грех рассудочного честолюбия. У самой у нее рассудка — кот заплакал, но для рассудочности рассудок ведь не обязателен.

— На мой взгляд, она очень неглупа, в некотором смысле, — заметил Рок.

— Да, в некотором смысле, — согласился отец Браун. — В одном-единственном смысле — в практическом. В том смысле, который ничего общего не имеет со здешними ленивыми нравами. Вы посылаете проклятия кинозвездам и говорите, что ненавидите романтику. Неужели вы думаете, что кинозвезду, в пятый раз выходящую замуж, свела с пути истинного романтика? Такие люди очень практичны, практичнее, чем вы, например. Вы говорите, что преклоняетесь перед простым, солидным бизнесменом. Что же вы думаете, Рудель Романес — не бизнесмен? Неужели вы не понимаете, что он сумел оценить — не хуже, чем она, — все рекламные возможности своего последнего громкого романа с известной красавицей? И он прекрасно понимал также, что позиции у него в этом деле довольно шаткие. Поэтому он и суетился так, и прислугу в отеле подкупил, чтобы они заперли все двери. Я хочу только сказать вам, что на свете было бы гораздо меньше скандалов и неприятностей, если бы люди не идеализировали

грех и не стремились прославиться в роли грешников. Может быть, эти бедные мексиканцы кое-где и живут, как звери, или, вернее, грешат, как люди, но, по крайней мере, они не увлекаются «идеалами». В этом следует отдать им должное.

Он снова уселся так же внезапно, как и встал, и рассмеялся, словно прося извинения у собеседника.

— Ну вот, мистер Рок,— сказал он,— вот вам мое полное признание, ужасная история о том, как я содействовал побегу влюбленных. Можете с ней делать все, что хотите.

— В таком случае,— заявил мистер Рок, поднимаясь,— я пройду к себе в номер и внесу в свою статью кое-какие поправки. Но прежде всего мне нужно позвонить в редакцию и сказать, что я наговорил им кучу вздора.

Не более получаса прошло между первым звонком Рока, когда он сообщил о том, что священник помог поэту совершить романтический побег с прекрасной дамой, и его вторым звонком, когда он объяснил, что священник помешал поэту совершить упомянутый поступок, но за этот короткий промежуток времени родился, разросся и разнесся по миру слух о скандальном происшествии с отцом Брауном. Истина и по сей день отстает на полчаса от клеветы, и никто не знает, где и когда она ее настигнет. Благодаря болтливости газетчиков и стараниям врагов первоначальную версию распространили по всему городу еще раньше, чем она появилась в печати. Рок незамедлительно выступил с поправками и опровержениями, объяснив в большой статье, как все происходило на самом деле, однако отнюдь нельзя утверждать, что противоположная версия была тем самым уничтожена. Просто удивительно, какое множество людей прочитали первый выпуск газеты и не читали второго. Все вновь и вновь, во всех отдаленных уголках земного шара, подобно пламени, вспыхивающему из-под почерневшей золы, оживало «Скандальное происшествие с отцом Брауном, или Патер разрушает семью Поттера». Неутомимые защитники из партии сторонников отца Брауна гонялись за ней по всему свету с опровержениями, разо-

блечениями и письмами протеста. Иногда газеты печатали эти письма, иногда — нет. И кто бы мог сказать, сколько оставалось на свете людей, слышавших эту историю, но не слышавших ее опровержения? Можно было встретить целые кварталы, население которых все поголовно было убеждено, что мексиканский скандал — такое же бесспорное историческое событие, как Пороховой заговор¹. Кто-нибудь просвещал наконец этих простых, честных жителей, но тут же обнаруживалось, что старая версия опять возродилась в небольшой группе вполне образованных людей, от которых уж, казалось, никак нельзя было ожидать такого неразумного легковерия.

Видно, так и будут вечно гоняться друг за другом по свету два отца Брауна: один — бессовестный преступник, скрывающийся от правосудия, второй — страдалец, сломленный клеветой и окруженный ореолом реабилитации. Ни тот, ни другой не похож на настоящего отца Брауна, который вовсе не сломлен; шагая по жизни своей не слишком-то изящной походкой, несет он в руке неизменный зонтик, немало повидавший на своем веку, к людям относится доброжелательно и принимает мир как товарища, но не как судьбу делам своим.

ПРОКЛЯТАЯ КНИГА

Профессор Опеншоу всегда выходил из себя и громко возмущался, если его называли спиритом или хотя бы подозревали в доверии к спиритизму. Однако он громыхал и тогда, когда его подозревали в недоверии к спиритизму. Он гордился тем, что посвятил себя изучению потусторонних явлений; гордился он и тем, что ни разу не дал понять, верит он в них или нет. Больше всего на свете он любил рассказывать кружку убежденных спиритов

¹ Пороховой заговор — неудавшееся покушение на жизнь английского короля Якова I Стюарта, совершенное католиками 5 ноября 1605 г.

о том, как разоблачал медиума за медиумом и раскрывал обман за обманом. Действительно, он был на редкость зорким сыщиком, если что-нибудь казалось ему подозрительным; а медиум всегда казался ему подозрительным и никогда не внушал доверия. Он говорил, что однажды разоблачил шарлатана, выступавшего в обличьях то женщины, то седовласого старца, то темно-коричневого брамина. От этих его рассказов спиритам становилось не по себе — для того он, в сущности, и рассказывал; но придрататься было не к чему — ведь ни один спирит не отрицает существования шарлатанов. Правда, из неторопливых повествований профессора можно было заключить, что все спириты — шарлатаны.

Но горе тому простодушному, доверчивому материалисту (а материалисты, как правило, доверчивы и простодушны), который, воспользовавшись опытом Опеншоу, станет утверждать, что привидений не бывает, а спиритизм — суеверие, вздор или, если хотите, чушь. Профессор повернет свои пушки на сто восемьдесят градусов и сметет его с лица земли канонадой фактов и загадок, о которых незадачливый скептик в жизни не слышал. Он засыплет его градом дат и деталей; он разоблачит все естественные толкования; он расскажет обо всем, кроме одного: верит ли в духов он сам, Джон Оливер Опеншоу. Ни спириты, ни скептики так этого и не узнали.

Профессор Опеншоу — высокий, худой человек со светлой львиной гривой и властными голубыми глазами — разговаривал со своим другом, отцом Брауном, у входа в отель, где оба провели ночь и только что позавтракали. Накануне профессора задержал допоздна один из его опытов, и сейчас он еще не пришел в себя — и борьба со спиритами, и борьба со скептиками всегда выводила его из равновесия.

— Я на вас не сержусь, — смеялся он. — Вы в спиритизм не верите, даже если вам привести неоспоримые факты. Но меня вечно спрашивают, что я хочу доказать; никто не понимает, что я ученый. Ученый ничего не хочет доказать. Он ищет.

— Но еще не нашел, — сказал отец Браун.

Профессор нахмурился и помолчал.

— Ну, кое-что я уже нащупал, — сказал он на-

конец.— И выводы мои не так отрицательны, как думают. Мне кажется, потусторонние явления ищут не там, где нужно. Все это чересчур театрально, бьет на эффект — всякие там сияния, трубные звуки, голоса. Вроде старых мелодрам или историй о фамильном привидении. Если бы вместо историй они обратились к истории, думаю, они могли бы кое-что доказать. Потусторонние явления...

— Явления...— перебил его отец Браун,— или, скорее, появления...

Рассеянный взгляд профессора внезапно сосредоточился, словно он вставил в глаз увеличительное стекло. Так смотрел он на подозрительных медиумов; не надо думать, однако, что Браун был хоть немного похож на медиума,— просто профессора поразило, что его друг подумал почти о том же, о чем думал он сам.

— Появления...— пробормотал он.— Как странно, что вы сказали именно это. Чем больше я узнаю, тем больше склонен считать, что появлениями духов занимаются слишком много. Вот если бы присмотрелся к исчезновению людей...

— Совершенно верно,— сказал отец Браун.— Ведь в сказках не так уж много говорится о появлении фей или духов. Зато немало есть преданий о том, как духи или феи уносили людей. Уж не занялись ли вы Килмени ¹ или Томом Стихоплетом? ²

— Я занялся обычными современными людьми — теми, о которых мы читаем в газетах,— отвечал Опеншоу.— Удивляйтесь, если хотите,— да, я увлекаюсь исчезновением людей, и довольно давно. Честно говоря, нетрудно вскрыть обман, когда появляются духи. А вот исчезновение человека я никак не могу объяснить натуральным образом. В газетах часто пишут о людях, исчезнувших без следа. Если б вы знали подробности... Да что там, как раз сегодня я получил еще одно подтверждение. Достоинейший старый миссионер прислал мне прелюбопытное письмо. Сейчас он придет ко мне в контору... Не позавтра-

¹ К и л м е н и — героиня одной из песен поэмы шотландского поэта Джеймса Хогга (1770—1835) «Пробуждение королевы».

² Т о м С т и х о п л е т — Томас из Эрселдуна, полулегендарный шотландский поэт XIII в. По преданию, его полюбила и увела за собой королева эльфов.

каете ли вы со мной сегодня? Я расскажу вам, что из этого вышло, — вам одному.

— Спасибо, с удовольствием, — застенчиво отвечал Браун. — Я непременно приду. Разве что феи меня утащат...

Они расстались. Опеншоу свернул за угол и пошел к себе в контору; он снимал ее неподалеку, главным образом для того, чтобы издавать «Записки», в которых печатались очень сухие и объективные статьи о психологии и спиритизме. Его единственный клерк сидел в первой комнате и подбирал какие-то данные. Проходя мимо, профессор спросил его, не звонил ли мистер Прингл. Не отрываясь от бумаг, секретарь ответил, что не звонил, и профессор прошествовал в свой кабинет.

— Кстати, Бэрридж, — сказал он не оборачиваясь, — если он придет, пошлите его прямо ко мне. Работайте, работайте. Данные нужны мне к вечеру. Уйду — положите их ко мне на стол.

И он вошел в кабинет, размышляя над проблемой, о которой напомнило ему имя Прингла или, точнее, которой это имя даровало жизнь. Даже самый беспристрастный агностик — все же человек; и не исключено, что письмо миссионера казалось ему столь важным, потому что оно подтверждало его собственные гипотезы. Опустившись в глубокое мягкое кресло, против которого висел портрет Монтеня¹, профессор принялся снова за письмо преподобного Прингла. Никто лучше его не разбирался в эпистолярном стиле сумасшедших. Он знал, что их письма дотошны, растянуты, многословны, а почерк — неразборчив и замысловат. Льюк Прингл писал не так. В его послании, напечатанном на машинке, сообщалось деловито и коротко, что он видел, как исчез человек, а это, по-видимому, входит в компетенцию профессора, известного своими исследованиями потусторонних явлений. Все это понравилось профессору, и он не разочаровался, когда, подняв глаза, увидел перед собой преподобного Льюка Прингла.

— Ваш секретарь сказал мне, чтобы я шел прямо сюда, — сказал посетитель, улыбаясь широкой, прият-

¹ Монтень Мишель (1533—1592) — французский философ-скептик.

ной улыбкой. Улыбка эта пряталась в зарослях бакенбард и рыжей с проседью бороды. Столь буйная растительность нередко украшает лица белых, живущих в диких джунглях; но глаза над вздернутым носом нельзя было назвать дикими.

Опеншоу пробуравил вошедшего недоверчивым взглядом и, как ни странно, не увидел в нем ни шарлатана, ни маньяка. Он был абсолютно в этом уверен. Такие бороды бывают у сумасшедших, но таких глаз у сумасшедших не бывает: глаза серьезных обманщиков и серьезных безумцев не смеются так просто и приветливо. Человек с такими глазами может быть насмешливым веселым жителем предместья; ни один профессиональный шарлатан не позволит себе выглядеть так несолидно. Посетитель был в потертом плаще, застегнутом на все пуговицы, и только мятая широкополая шляпа выдавала его принадлежность к духовенству. Миссионеры из заброшенных уголков мира не всегда одеты, как духовные лица.

— Вы, наверное, думаете, что вас опять хотят надуть, — весело сказал Прингл. — Вы уж простите, профессор, что я смеюсь. Я понимаю, что вы мне не доверяете. Что ж, все равно я буду об этом рассказывать всем, кто разбирается в таких делах. Ничего не поделаешь — было! Ну ладно, пошутили — и хватит, веселого тут мало. Короче говоря, был я миссионером в Ниа-Ниа. Это в Западной Африке. Дремучий лес, и только двое белых — я и местная военная власть, капитан Уэйлс. Мы с ним подружились, хотя он был — как бы это сказать? — туповат. Такой, знаете, типичный солдат, как говорится, «трезвый человек». Потому-то я и удивляюсь — люди этого типа мало думают и редко во что-нибудь верят. Как-то он вернулся из инспекции и сказал, что с ним случилась странная штука. Помню, мы сидели в палатке, он держал книгу в кожаном переплете, а потом положил ее на стол, рядом с револьвером и старым арабским ятаганом (кажется, очень ценным и древним). Он сказал, что книга принадлежит какому-то человеку с парохода, который он осматривал. Этот человек уверял, что книгу нельзя открывать, — иначе вас утащат черти или что-то в этом роде. Уэйлс, конечно, посмеялся над ним, назвал суеверным тру-

сом — в общем, слово за слово, и тот открыл книгу. Но тут же уронил, двинулся к борту...

— Минутку,— перебил профессор, сделавший в блокноте две-три пометки.— Сначала скажите: говорил ли тот человек, откуда у него книга?

— Да,— совершенно серьезно ответил Прингл.— Если не ошибаюсь, он сказал, что везет ее в Лондон владельцу, некоему Хэнки, востоковеду, который и предупредил его об опасности. Хэнки — настоящий ученый и большой скептик, то-то и странно. Но суть происшествия много проще: человек открыл книгу, перешагнул через борт и исчез.

Профессор не отвечал. Наконец он спросил:

— Вы этому верите?

— Еще бы! — ответил Прингл.— Верю по двум причинам. Во-первых, Уэйлс был туп, как пробка, а в его рассказе есть одна деталь, достойная поэта. Он сказал, что тот человек исчез за бортом, но всплеска не было.

Профессор снова углубился в заметки.

— А вторая причина? — спросил он.

— Вторая причина заключается в том,— отвечал преподобный Льюк Прингл,— что я это видел собственными глазами.

Он помолчал, потом продолжил свой обстоятельный рассказ. В его речи не было и следа того нетерпения, которое проявляет сумасшедший или просто убежденный человек, пытаясь убедить собеседника.

— Итак, он положил книгу на стол, рядом с ятаганом. Я стоял у входа в палатку, спиной к нему, и смотрел в лес. А он стоял у стола и ругался — дескать, стыдно в двадцатом веке бояться каких-то книг. «Какого черта! — говорит.— Возьму и открою». Мне как-то стало не по себе, и я сказал, что лучше б вернуть ее как есть доктору Хэнки. Но он не мог успокоиться: «А что тут плохого?» Я ответил: «Как — что? вспомните про пароход». Он молчит. Я думал, ему нечего ответить, и пристал к нему из чистого тщеславия: «Как вы это объясните? Что там произошло?» А он молчит и молчит. Я обернулся — и вижу: его нет.

В палатке никого не было. Открытая книга — на столе, переплетом кверху. Ятаган — на полу, а

в холсте — дыра, как будто ее проткнули клинком. Через дыру виден только лес. Я подошел, посмотрел, и мне показалось, знаете, что растения не то примяты, не то поломаны. С тех пор я Уэйлса не видел и ничего о нем не слышал.

Книгу я с опаской взял, завернул и повез в Англию. Сперва я думал отдать ее доктору Хэнки. Но тут я прочитал в вашей газете про ваши исследования и решил пойти к вам. Говорят, вы человек объективный, вас не проведешь...

Профессор Опеншоу отложил карандаш и пристально посмотрел на человека, сидевшего по другую сторону стола. В этом долгом взгляде он сконцентрировал весь свой опыт общения с самыми разными типами мошенников и даже с наиболее редкими типами честных людей. В любом другом случае он решил бы сразу, что все это — сплошная ложь. Он хотел решить так и сейчас. Но рассказчик мешал ему — такие люди если лгут, лгут иначе. В отличие от шарлатанов Прингл совсем не старался казаться честным, и, как ни странно, казалось, что он действительно честен, хотя что-то внешнее, постороннее припуталось тут. Может быть, хороший человек просто помешался невинным образом? Нет, и тут симптомы не те. Он спокоен и как-то безразличен; в сущности, он и не настаивает на своем пунктике, если это вообще пунктик.

— Мистер Прингл, — сказал профессор резко, как юрист, задающий свидетелю каверзные вопросы. — Где сейчас эта книга?

Из бороды снова вынырнула улыбка и осветила лицо, столь серьезное во время рассказа.

— Я оставил ее в соседней комнате, — сказал Прингл. — Конечно, это опасно. Но я выбрал из двух зол меньшее.

— О чем вы говорите? — спросил профессор. — Почему вы не принесли ее сюда?

— Я боялся, что вы ее откроете, — ответил миссионер. — Я думал, надо вам сперва рассказать. — Он помолчал, потом добавил: — Там был только ваш секретарь. Кажется, он довольно тихий — что-то пишет, считает.

— Ну, за Бэббеджа можно не беспокоиться! Ваша книга в полной безопасности. Его фамилия — Бэр-

ридж, но я часто зову его Бэббедж¹. Не такой он человек, чтобы заглядывать в чужие пакеты. Его и человеком не назовешь — настоящая счетная машина. Пойдемте возьмем книгу. Я подумаю, как с ней быть. Скажу вам откровенно, — и он пристально взглянул на собеседника, — я еще не знаю, стоит ли ее открыть или лучше отослать этому доктору Хэнки.

Они вышли в проходную комнату. Но не успела закрыться дверь, как профессор вскрикнул и кинулся к столу секретаря. Стол был на месте — секретаря не было. Среди обрывков оберточной бумаги лежала книга в кожаном переплете; она была закрыта, но почему-то чувствовалось, что закрылась она только что. В щироком окне, выходящем на улицу, зияла дыра, словно сквозь нее пролетел человек. Больше ничего не осталось от мистера Бэрриджа.

И Прингл и профессор словно окаменели; наконец профессор очнулся, медленно обернулся к Принглу и протянул ему руку. Сейчас он еще больше походил на судью.

— Мистер Прингл, — сказал он, — простите меня. Простите мне вольные и невольные мысли. Настоящий ученый обязан считаться с такими фактами.

— Мне кажется, — неуверенно сказал Прингл, — нам надо бы кое-что уточнить. Может, вы позвоните ему? А вдруг он дома.

— Я не знаю номера, — рассеянно ответил Опеншоу. — Кажется, он живет где-то в Хэмстеде. Если он не вернется, его друзья или родные позвонят сюда.

— А могли бы мы, — спросил Прингл, — описать его приметы для полиции?

— Для полиции! — встрепенулся профессор. — Приметы... Да вроде бы у него нет примет. Вот разве только очки. Знаете, такой бритый молодой человек... Полиция... м-да... Послушайте, что же нам делать? Какая дурацкая история!

— Я знаю, что мне делать, — решительно сказал преподаватель Прингл. — Сейчас же отнесу книгу доктору Хэнки и спрошу его обо всем. Он живет недалеко. Потом я вернусь и скажу, что он ответил.

¹ Бэббедж Чарльз (1792—1871) — знаменитый английский математик, изобретатель счетной машины.

— Хорошо, хорошо...— проговорил профессор, устало опускаясь в кресло; кажется, он был рад, что другой взял на себя ответственность. Шаги беспокойного миссионера простучали по лестнице, а профессор все сидел не двигаясь и смотрел в пустоту, словно впал в транс.

Он еще не очнулся, когда быстрые шаги снова простучали по ступенькам и в контору вошел Прингл. Профессор сразу увидел, что книги с ним нет.

— Хэнки ее взял, — серьезно сказал Прингл. — Обещал ею заняться. Он просит нас прийти через час. Он специально повторил, профессор, что просит вас прийти вместе со мной.

Опеншоу молча смотрел в пространство. Потом спросил:

— Кто этот чертов доктор Хэнки?

— Вы так это сказали, как будто он и вправду сам черт, — улыбнулся Прингл. — Наверное, многие о нем так думают. Он занимается тем же, что и вы. Только он известен в Индии — он изучал там магию и все эти штуки. А здесь его мало знают. Он маленький, желтый, хромой и очень сердитый. Кажется, в Лондоне он просто врач, и ничего плохого о нем не скажешь, разве только что он один слышал хоть немного об этом проклятом деле.

Профессор Опеншоу тяжело поднялся и подошел к телефону. Он позвонил Брауну и сказал, что завтрак заменяется обедом, потому что ему надо посетить ученого из Индии. Потом он снова опустился в кресло, закурил сигару и погрузился в неизвестные нам размышления.

Отец Браун ждал профессора в вестибюле ресторана, где они условились пообедать, среди зеркал и пальм. Он знал о сегодняшнем свидании Опеншоу и, когда хмурые сумерки смягчили блеск стекла и зелени, решил, что непредвиденные осложнения задержали его друга. Он уже начал было сомневаться, придет ли профессор. Но профессор пришел, и с первого взгляда стало ясно, что подтвердились худшие подозрения: взор его блуждал, волосы были всклокочены — они с Принглом добрались все-таки до северных окраин, где жилые кварталы перемежаются

пустошами, особенно мрачными в непогоду, разыскали дом — он стоял немного в стороне — и прочитали на медной дверной табличке: «Дж.-И. Хэнки, доктор медицины, член Королевского научного общества». Но они не увидели Дж.-И. Хэнки, доктора медицины. Они увидели только то, о чем им говорило жуткое предчувствие. В самой обычной гостиной лежала на столе проклятая книга — казалось, кто-то только что открыл ее. Дверь в сад была распахнута настежь, и нечеткий след уходил вверх по крутой садовой дорожке. Трудно было представить себе, что хромой человек взбежал по ней, и все же бежал хромой — отпечаток одной ноги был неправильной формы. Затем шел только неправильный след, словно кто-то прыгал на одной ноге; затем следы обрывались. Больше нечего было узнавать о докторе Хэнки. Несомненно, он занялся книгой. Он нарушил запрет и пал жертвой рока.

Они вошли в ресторан, и Прингл немедленно положил книгу на столик, словно она жгла ему пальцы. Священник с интересом взглянул на нее; на переплете были вытеснены строки:

Кто в книгу эту заглянуть дерзнет,
Того Крылатый Ужас унесет...

Дальше шло то же самое по-гречески, по-латыни и по-французски.

Принглу и Опеншоу хотелось пить — они еще не успокоились. Профессор кликнул лакея и заказал коктейль.

— Надеюсь, вы с нами пообедаете, — обратился он к миссионеру. Но Прингл вежливо отказался.

— Вы уж простите, — сказал он. — Я хочу сравниться с этой книгой один на один. Не разрешите ли воспользоваться вашей конторой часа на два?

— Боюсь, что она заперта, — ответил Опеншоу.

— Вы забыли, что там разбито окно. — И преподобный Льюк Прингл, улыбнувшись еще шире, чем обычно, исчез в темноте.

— Странный он все-таки, — сказал профессор, озабоченно хмурясь.

Он обернулся и с удивлением увидел, что Браун беседует с лакеем, который принес коктейль. На-

сколько он понял, речь шла о сугубо частных делах, — священник упоминал о каком-то ребенке и выражал надежду, что опасность миновала. Профессор спросил, откуда он знает лакея. Священник ответил просто:

— Я тут обедаю каждые два-три месяца, и мы иногда разговариваем.

Профессор обедал здесь пять раз в неделю, но ему ни разу и в голову не пришло поговорить с лакеем. Он задумался, но размышления его прервал звонок, и его позвали к телефону. Голос был глухой, — быть может, в трубку попадала борода. Но слова доказывали ясно, что говорит Прингл.

— Профессор! — сказал голос. — Я больше не могу. Я загляну в нее. Сейчас я у вас в конторе, книга лежит передо мной. Мне хочется с вами попрощаться на всякий случай. Нет, не стоит меня отговаривать. Вы все равно не успеете. Вот я открываю книгу. Я...

Профессору показалось, что он слышит что-то, — может быть, резкий, хотя и почти беззвучный толчок.

— Прингл! Прингл! — закричал он в трубку, но никто не ответил.

Он повесил трубку и, обретя снова академическое спокойствие (а может, спокойствие отчаяния), вернулся и тихо сел к столику. Потом — бесстрастно, словно речь шла о провале какого-нибудь дурацкого трюка на спиритическом сеансе, — рассказал во всех подробностях таинственное дело.

— Так исчезло пять человек, — закончил он. — Все эти случаи поразительны. Но поразительней всего случай с Бэрриджем. Он такой тихоня, работяга... Как это могло с ним случиться?

— Да, — ответил Браун. — Странно, что он так поступил. Человек он на редкость добросовестный. Шутки для него шутками, а дело делом. Почти никто не знал, как он любит шутки и розыгрыши.

— Бэрридж! — воскликнул профессор. — Ничего не понимаю! Разве вы с ним знакомы?

— Как вам сказать... — беззаботно ответил Браун. — Не больше, чем с этим лакеем. Понимаете, мне часто приходилось дожидаться вас в конторе, и мы с ним, конечно, разговаривали. Он человек занятый. Помню, он как-то говорил, что собирает ненужные вещи. Ну, коллекционеры ведь тоже собирают вся-

кий хлам. Помните старый рассказ о женщине, которая собирала ненужные вещи?

— Я не совсем вас понимаю, — сказал Опеншоу. — Хорошо, пускай он шутник (вот уж никогда бы не подумал!). Но это не объясняет того, что случилось с ним и с другими.

— С какими другими? — спросил Браун.

Профессор уставился на него и сказал отчетливо, как ребенку:

— Дорогой мой отец Браун, исчезло пять человек.

— Дорогой мой профессор Опеншоу, никто не исчез.

Браун смотрел на него приветливо и говорил четко, и все же профессор не понял. Священнику пришлось сказать еще отчетливей:

— Я повторяю: никто не исчез. — Он немного помолчал, потом прибавил: — Мне кажется, самое трудное — убедить человека, что ноль плюс ноль плюс ноль равняется нулю. Люди верят в самые невероятные вещи, если они повторяются. Вот почему Макбет поверил предсказаниям трех ведьм, хотя первая сказала то, что он и сам знал, а третья — то, что зависело только от него. Но в вашем случае промежуточное звено — самое слабое.

— О чем вы говорите?

— Вы сами ничего не видели. Вы не видели, как человек исчез за бортом. Вы не видели, как человек исчез из палатки. Вы все это знаете со слов Прингла, которые я сейчас обсуждать не буду. Но вы никогда бы ему не поверили, если б не исчез ваш секретарь. Совсем как Макбет: он не поверил бы, что будет королем, если бы не сбылось предсказание и он не стал бы кавдорским таном.

— Возможно, вы правы, — сказал профессор, медленно кивая. — Но когда он исчез, я понял, что Прингл не лжет. Вы говорите, я сам ничего не видел. Это не так, я видел — Бэрридж действительно исчез.

— Бэрридж не исчезал, — сказал отец Браун. — Наоборот.

— Что значит «наоборот»?

— То значит, что он, скорее, появился, — сказал священник. — В вашем кабинете появился рыжий

бородатый человек и назвался Принглом. Вы его не узнали потому, что ни разу в жизни не удосужились взглянуть на собственного секретаря. Вас сбил с толку незатейливый маскарад.

— Пойдите... — начал профессор.

— Могли бы вы назвать его приметы? — спросил Браун. — Нет, не могли бы. Вы знали, что он гладко выбрит и носит темные очки. Он их снял — и все, даже грима не понадобилось. Вы никогда не видели его глаз и не видели его души. А у него очень хорошие, веселые глаза. Он приготовил дурацкую книгу и всю эту бутафорию, спокойно разбил окно, нацепил бороду, надел плащ и вошел в ваш кабинет. Он знал, что вы на него не взглянули ни разу в жизни.

— Почему же он решил меня разыграть? — спросил Опеншоу.

— Ну, именно потому, что вы на него не смотрели, — сказал Браун, и рука его сжалась, словно он был готов стукнуть кулаком об стол, если бы разрешал себе столь резкие жесты. — Вы его называли счетной машиной. Ведь вам от него нужны были только подсчеты. Вы не заметили того, что мог заметить случайный посетитель за пять минут: что он умный; что он любит шутки; что у него есть своя точка зрения на вас, и на ваши теории, и на ваше умение видеть человека насквозь. Как вы не понимаете? Ему хотелось доказать, что вы не узнаете даже собственного секретаря! У него было много забавных замыслов. Например, он решил собирать ненужные вещи. Слышали вы когда-нибудь рассказ о женщине, которая купила две самые ненужные вещи — медную табличку врача и деревянную ногу? Из них ваш изобретательный секретарь и создал достопочтенного Хэнки — это было не трудней, чем создать Уэйлса. Он поселил доктора у себя...

— Вы хотите сказать, что он повел меня к себе домой? — спросил Опеншоу.

— А разве вы знали, где он живет? — сказал священник. — Не думайте, я совсем не хочу принижать вас и ваше дело. Вы — настоящий искатель истины, а вы знаете, как я это ценю. Вы разоблачили многих обманщиков. Но не надо присматриваться только к обманщикам. Взгляните, хотя бы между делом, на честных людей — ну, хотя бы на того лакея.

— Где теперь Бэрридж? — спросил профессор не сразу.

— Я уверен, что он вернулся в контору, — ответил Браун. — В сущности, он вернулся, когда Прингл открыл книгу и исчез.

Они опять помолчали. Потом профессор рассмеялся. Так смеются люди, достаточно умные, чтобы не бояться унижений. Наконец он сказал:

— Я это заслужил. Действительно, я не замечал самых близких своих помощников. Но согласитесь — было чего испугаться! Признайтесь, неужели вам ни разу не стало жутко от этой книги?

— Ну что вы! — сказал Браун. — Я открыл ее, как только увидел. Там одни чистые страницы. Понимаете, я не суверен.

Из сборника
«ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗНАЛ
СЛИШКОМ МНОГО»



ЛИЦО НА МИШЕНИ

Гарольд Марч, входивший в известность журналист-обозреватель, энергично шагал по вересковым пустошам плоскогорья, окаймленного лесами знаменитого имения «Торвуд-Парк». Это был привлекательный, хорошо одетый человек, с очень светлыми глазами и светло-пепельными вьющимися волосами. Он был еще настолько молод, что даже на этом приволье, солнечным и ветреным днем, помнил о политических делах и даже не старался их забыть. К тому же в «Торвуд-Парк» он шел ради политики. Здесь назначил ему свидание министр финансов сэр Говард Хорн, проводивший в те дни свой так называемый социалистический бюджет, о котором он и собирался рассказать в интервью с талантливым журналистом. Гарольд Марч принадлежал к тем, кто знает все о политике и ничего о политических деятелях. Он знал довольно много и об искусстве, литературе, философии, культуре — вообще почти обо всем, кроме мира, в котором жил.

Посреди залитых солнцем пустошей, над которыми свободно гулял ветер, Марч неожиданно набрел на узкую ложбину — русло маленького ручья, исчезавшего в зеленых тоннелях кустарника, словно в зарослях карликового леса. Марч глядел на ложбину сверху, и у него появилось странное ощущение: он показался себе великаном, обозревающим долину пигмеев. Но, когда он спустился к ручью, это ощущение исчезло: склоны были невысокие, не выше небольшого дома, но скалистые и обрывистые, с нависающими каменными глыбами. Он брел вдоль ручья, ведóмый праздным, но романтическим любопытством, смотрел на полосы воды, блестящие между большими серыми валунами и кустами, пушистыми и мягкими, как разросшийся зеленый мох, и теперь в его мозгу возник другой образ — ему стало казаться, что земля разверзлась и втянула его в таин-

ственный подземный мир. Когда же он увидел на большом валуне человека, похожего на большую птицу, темным пятном выделяющуюся на фоне серебристого ручья, у него появилось предчувствие, что сейчас завяжется самое необычное знакомство в его жизни.

Человек, по-видимому, удил рыбу или, по крайней мере, сидел в позе рыболова, только еще неподвижной, и Марч мог несколько минут разглядывать его, как статую. Незнакомец был светловолос, с очень бледным и апатичным лицом, тяжелыми веками и горбатым носом. Когда его лицо было затенено широкополой белой шляпой, светлые усы и худоба, вероятно, молодили его. Но теперь шляпа лежала рядом, видны были залысины на лбу и запавшие глаза, говорившие о напряженной мысли и, возможно, физическом недомогании. Но самое любопытное было не это: последив за ним, вы замечали, что, хотя он и выглядит рыболовом, он вовсе не удит рыбу.

Вместо удочки незнакомец держал в руках какой-то сачок — им пользуются иногда рыболовы, но этот больше походил на обыкновенную детскую игрушку для ловли бабочек и креветок. Время от времени он погружал свою снасть в воду, затем с серьезным видом разглядывал улов, состоявший из водорослей и ила, и тут же выбрасывал его обратно.

— Нет, ничего не выловил, — сказал он спокойно, как бы отвечая на немой вопрос. — Большею частью я выбрасываю обратно все, что попадется, особенно крупную рыбу. А вот мелкая живность меня интересует, — конечно, если удастся ее поймать.

— Наверное, вы ученый? — спросил Марч.

— Боюсь, что только любитель, — ответил странный рыболов. — Я, знаете ли, увлекаюсь фосфоресценцией, в частности, светящимися рыбами. Но появиться с таким светильником в обществе было бы, пожалуй, неловко.

— Да, я думаю, — невольно улыбаясь, сказал Марч.

— Довольно эксцентрично войти в гостиную с большой светящейся треской в руках, — продолжал незнакомец так же бесстрастно. — Но очень занятно, должно быть, носить ее вместо фонаря или пользо-

ваться кильками как свечами. Некоторые морские обитатели очень красивы — вроде ярких абажуров; голубая морская улитка мерцает, как звезда, а красные медузы сияют, как настоящие красные звезды. Разумеется, я не их здесь ищу.

Марч хотел было спросить, что же искал незнакомец, но, чувствуя себя неподготовленным к научной беседе на такую глубокую тему, как глубоководные, заговорил о более обычных вещах.

— Живописное местечко, — сказал он, — эта ложбинка и ручеек. Напоминает места, описанные Стивенсоном, где непременно что-то должно слушаться.

— Да, — ответил незнакомец. — Я думаю, все потому, что это место само живет, если можно так выразиться, а не просто существует. Возможно, именно это Пикассо и некоторые кубисты пытаются выразить углами и ломаными линиями. Посмотрите на эти обрывы, крутые у основания. Они выступают под прямым углом к поросшему травой склону, а тот как бы устремляется к ним. Это как немая схватка. Как волна, застывшая у берега.

Марч посмотрел на низкий выступ скалы над зеленым склоном и кивнул. Его заинтересовал человек, только что проявивший познания в науке и с такой легкостью перешедший к искусству; и он спросил, нравятся ли ему художники-кубисты.

— На мой взгляд, в кубистах мало кубизма, — ответил незнакомец. — Я хочу сказать, что их живопись недостаточно объемна. Сводя предметы к математике, они делают их плоскими. Отнимите живые изгибы у этой ложбины, упростите ее до прямого угла, и она делается плоской, как чертеж на бумаге. Чертежи, конечно, красивы, но красота их — совсем другая. Они воплощают неизменные вещи — спокойные, незыблемые математические истины, — именно это называют белым сиянием...

Прежде чем он успел произнести следующее слово, что-то произошло — так быстро, что они и понять ничего не успели. Из-за нависшей скалы послышался шум, словно сюда мчался поезд, и на самом ее краю появился большой автомобиль. Черный на фоне солнца, он казался боевой колесницей богов, несущейся к гибели. Марч инстинктивно протянул руку, как

бы тщетно пытаюсь удержать падающую со стола чашку.

Одно короткое мгновение казалось, что автомобиль, как воздушный корабль, летит с обрыва, потом — что само небо описывает круг, словно колесо велосипеда, и вот машина, уже разбитая, лежала в высокой траве, и струйка серого дыма медленно поднималась над нею в затихшем воздухе. Немного ниже, на крутом зеленом склоне, раскинув руки и ноги, запрокинув голову, лежал седой человек.

Чудаковатый рыболов бросил сачок и побежал к месту катастрофы; журналист последовал за ним. Когда они приблизились, мотор еще бился и громыхал, иронически и жутко оттеняя неподвижность тела.

Человек был мертв. Кровь стекала на траву из раны на затылке, но лицо, обращенное к солнцу, осталось нетронутым, и от него нельзя было отвести глаз. Такие лица кажутся неуловимо знакомыми: широкое, квадратное, с большой обезьяньей челюстью; большой рот сжат так крепко, что кажется прямой линией; ноздри короткого носа круто изогнуты, словно с жадностью втягивают воздух. Особенно поражали брови — одна была вскинута значительно выше и под более острым углом, чем другая. Марч подумал, что никогда не видел лица, до такой степени полного жизни, как это, мертвое. Энергичную живость, застывшую на нем, еще больше подчеркивал ореол седых волос. Из кармана торчали какие-то бумаги, и Марч извлек визитную карточку.

— Сэр Хэмфри Тернбул, — прочитал он вслух. — Я уверен, что где-то слышал эту фамилию.

Его спутник вздохнул, помолчал минуту, как бы обдумывая что-то, а затем сказал просто:

— Кончился, бедняга. — И прибавил несколько научных терминов.

Марч снова почувствовал превосходство своего собеседника.

— Учитывая обстоятельства, — продолжал этот необычайно осведомленный человек, — мы поступим лучше всего, если оставим тело как есть, пока не известят полицию. В сущности, я думаю, кроме полиции,

никому не следует ничего сообщать. Не удивляйтесь, если вам покажется, что я хочу скрыть это от соседей. — Затем, как бы желая объяснить свою несколько неожиданную откровенность, он сказал: — Я приехал в Торвуд повидаться с двоюродным братом; меня зовут Хорн Фишер¹. Подходящая фамилия для каламбура, правда?

— Сэр Говард Хорн ваш двоюродный брат? — спросил Марч. — Я тоже направляюсь в «Торвуд-Парк», к нему, разумеется, по делу. Он с исключительной твердостью защищает свои принципы. На мой взгляд, бюджет, который он отстаивает, — событие величайшего значения. Если бюджет провалится, это будет самый роковой провал в истории Англии. Вы, вероятно, тоже почитатель вашего великого родственника?

— До некоторой степени, — ответил Фишер. — Он великолепный стрелок. — Затем, словно искренне раскаиваясь в своем равнодушии, добавил чуть живее: — Нет, в самом деле, он замечательный стрелок!

Он вспрыгнул на камень, ухватился за уступ скалы и забрался наверх с ловкостью, которой никак нельзя было ожидать от такого вялого человека. Некоторое время он обозревал окрестность; его орлиный профиль резко вырисовывался на фоне неба. Марч наконец собрался с духом и вскарабкался вслед за ним.

Перед ними лежал сырой торфяной луг, на котором отчетливо выделялись следы колес злосчастной машины. Края обрыва были изломаны и раздроблены, словно их обгрызли гигантские каменные зубы; отбитые валуны всех форм и размеров валялись неподалеку, и трудно было поверить, что кто-нибудь мог среди бела дня намеренно заехать в такую ловушку.

— Ничего не понимаю, — сказал Марч. — Слепой он был, что ли? Или пьян до бесчувствия?

— Судя по виду, ни то, ни другое.

— Тогда это самоубийство.

— Не очень-то остроумно покончить с собой та-

¹ Ф и ш е р (от *англ.* fisher) — рыболлов.

ким способом,— заметил тот, которого звали Фишером.— К тому же я не представляю себе, чтобы бедняга Пагги вообще мог покончить самоубийством.

— Бедняга... кто? — спросил удивленный журналист.— Разве вы его знали?

— Никто не знал его как следует,— несколько туманно ответил Фишер.— Нет, один человек его, конечно, знал... В свое время старик наводил ужас в парламенте и в судах, особенно во время шумихи с иностранцами, которых выслали из Англии. Он требовал, чтобы одного из них повесили за убийство. Эта история так на него подействовала, что он вышел из парламента. С тех пор у него появилась привычка разъезжать в одиночестве на машине; на субботу и воскресенье он нередко приезжал в Торвуд. Не могу понять, почему ему понадобилось сломать себе шею почти у самых ворот. Я думаю, что Боров — то есть мой брат Говард — бывал здесь, чтобы видеться с ним.

— Разве «Торвуд-Парк» не принадлежит вашему двоюродному брату? — спросил Марч.

— Нет, раньше им владели Уинтропы, а теперь его купил один человек из Монреаля, по фамилии Дженкинс. Говарда привлекает сюда охота. Я вам уже говорил, что он прекрасный стрелок.

Эта дважды повторенная похвала по адресу государственного мужа резанула Гарольда Марча, словно Наполеона назвали выдающимся игроком в карты. Но не это занимало его теперь; среди множества новых впечатлений одна еще не совсем ясная мысль поразила его, и он поспешил поделиться ею с Фишером, словно боялся, что она исчезнет.

— Дженкинс... — повторил он.— Вы, конечно, имеете в виду не Джефферсона Дженкинса, общественного деятеля, который борется за новый закон о фермерских наделах? Простите меня, но встретиться с ним не менее интересно, чем с любым министром.

— Да, это Говард посоветовал ему заняться наделами,— сказал Фишер.— Шум по поводу улучшения породы скота надоед, и над этим уже посмеиваются. Ну, а звание пэра все же нужно к чему-то прицепить! Бедняга до сих пор не лорд... Э, да здесь еще кто-то есть!

Они шли по следам, оставленным машиной, все еще жужжавшей под обрывом, словно громадный жук, убивший человека. Следы привели их к перекрестку дорог, одна из которых шла к видневшимся вдали воротам парка. Было ясно, что машина мчалась сначала по длинной прямой дороге, а затем, вместо того чтобы свернуть влево, понеслась по траве к обрыву — к своей гибели. Но не это приковало внимание Фишера: на повороте дороги неподвижно, как указательный столб, высилась темная одинокая фигура. Это был рослый человек в грубом охотничьем костюме, с непокрытой головой и всклокоченными вьющимися волосами, придававшими ему довольно странный вид. Когда спутники подошли ближе, первое впечатление рассеялось; перед ними стоял обыкновенный джентльмен, который так поспешно вышел из дому, что не успел надеть шляпу и причесать волосы. Как издали, так и вблизи было видно, что он очень силен и красив животной красотой, хотя глубоко посаженные, запавшие глаза несколько облагораживали его внешность. Марч не успел разглядеть его, так как Фишер, к его удивлению, буркнул: «Хелло, Джон», — и, даже не сообщив ему о катастрофе по ту сторону скал, прошел мимо, словно тот действительно был указательным столбом. Сравнительно мелкий этот факт оказался первым звеном в цепи странных поступков нового знакомого.

Человек, мимо которого они прошли, весьма подозрительно посмотрел им вслед, но Фишер продолжал невозмутимо шагать по прямой дороге, ведущей к воротам большого поместья.

— Это Джон Берк, путешественник, — снисходительно объяснил он. — Я полагаю, вы слышали о нем: он охотник на крупного зверя. Жаль, я не мог остановиться и представить вас. Ну, думаю, вы увидите его позже.

— Я читал его книгу, — сказал заинтересованный Марч. — Чудесно описано, как они только тогда обнаружили слона, когда он громадной головой загородил им луну.

— Да, молодой Гокетт пишет прекрасно... Как, разве вы не знаете, что книгу Берка написал Гокетт? Берк только ружье умеет держать в руках, а ружьем книгу не напишешь. Но он тоже, по-свое-

му, талантлив. Отважен, как лев, даже еще отважнее.

— По-видимому, вы неплохо его знаете, — заметил, смеясь, совсем сбитый с толку Марч, — да и не только его.

Фишер наморщил лоб, и взгляд его стал странным.

— Я знаю слишком много, — сказал он. — Вот в чем моя беда. Вот в чем беда всех нас и всей этой ярмарки: мы слишком много знаем. Слишком много друг о друге, слишком много о себе. Потому я сейчас и заинтересован тем, чего не знаю.

— А именно? — спросил Марч.

— Почему умер Пагги.

Они прошли по дороге около мили, перебрасываясь замечаниями, и у Марча появилось странное чувство: ему стало казаться, что весь мир вывернут наизнанку. Мистер Хорн Фишер не старался чернить своих высокородных друзей и родных; о некоторых он говорил даже нежно. И тем не менее все они — и мужчины и женщины — предстали в совершенно новом свете; казалось, что они случайно носят имена, известные всем и каждому и мелькающие в газетах. Самые яростные нападки не показались бы Марчу такими мятежными, как эта холодная фамильярность. Она была подобна лучу дневного света, упавшему на театральную кулису.

Они дошли до ворот парка, но, к удивлению Марча, миновали их, и Фишер повел его дальше по бесконечной прямой дороге. До встречи с министром еще оставалось время, и Марч не прочь был посмотреть, чем кончатся приключения его нового знакомого. Спутники давно оставили позади поросшие вереском луга, и половина белой дороги стала серой от тени торвудских сосен. Деревья громадным серым барьером заслонили солнечный свет, и казалось, в глубине леса ясный день обернулся темной ночью. Однако вскоре между густыми соснами стали появляться просветы, похожие на окна из разноцветных стекол; лес поредел и отступил, и, по мере того как спутники продвигались дальше, его сменили рощицы, в которых, по словам Фишера, целыми днями охотились гости. Примерно через двести ярдов они подошли к первому повороту дороги.

Здесь стоял ветхий трактир с потускневшей вывеской «Виноградные гроздья». Потемневший от времени, почти черный на фоне лугов и неба, он манил путника не больше, чем виселица. Марч заметил, что тут, вероятно, вместо вина пьют уксус.

— Хорошо сказано, — ответил Фишер. — Так оно и было бы, если бы кому-нибудь пришло в голову спросить вина. Но пиво и бренди здесь хороши.

Марч с некоторым любопытством последовал за ним. Отвращение, охватившее Марча, отнюдь не рассеялось, когда он увидел длинного костлявого хозяина; молчаливый, с черными усами и беспокойно бегающими глазами, он никак не соответствовал романтическому типу добродушного деревенского кабатчика. Как ни был он скуп на слова, из него все же удалось извлечь кое-какие сведения.

Фишер начал с того, что заказал пиво и завел с ним пространную беседу об автомобилях. Можно было подумать, что он считает хозяина авторитетом, отлично разбирающимся в секретах мотора и в том, как надо и как не надо управлять машиной. Разговаривая, Фишер не спускал с него упорного взгляда блестящих глаз. Из всей этой довольно мудреной беседы можно было в конце концов заключить, что какой-то автомобиль остановился перед гостиницей около часу назад, из него вышел пожилой мужчина и попросил помочь наладить мотор. Кроме того, он наполнил флягу и взял пакет с сэндвичами. Сообщив это, не слишком радушный хозяин поспешно вышел и захлопал дверьми в темной глубине дома.

Скучающий взор Фишера блуждал по пыльной, мрачной комнате и наконец задумчиво остановился на чучеле птицы в стеклянном футляре, над которым на крюках висело ружье.

— Пагги любил пошутить, — заметил он, — правда, в своем, довольно мрачном, стиле. Но покупать сэндвичи, перед тем как собираешься покончить жизнь самоубийством, — пожалуй, слишком мрачная шутка.

— Если уж на то пошло, — ответил Марч, — покупать сэндвичи у дверей богатого дома тоже не совсем обычно.

— Да... да, — почти механически повторил Фи-

шер, и вдруг глаза его оживились, и он серьезно взглянул на собеседника.— Черт возьми, а ведь правда! Наводит на очень любопытные мысли, а?

Наступило молчание. Вдруг дверь так резко запахнулась, что Марч от неожиданности вздрогнул; в комнату стремительно вошел человек и направился к стойке. Он постучал по ней монетой и потребовал коньяку, не замечая Фишера и журналиста, которые сидели у окна за непокрытым деревянным столом. Когда же он повернулся к ним, у него был несколько озадаченный вид, а Марч с крайним удивлением услышал, что его спутник назвал его Боровом и представил как сэра Говарда Хорна.

Министр выглядел гораздо старше, чем на портретах в иллюстрированных журналах, где политических деятелей всегда омолаживают; его прямые волосы чуть тронула седина, но лицо было до смешного круглое, а римский нос и быстрые блестящие глаза невольно наводили на мысль о попугае. Кепи было сдвинуто на затылок, через плечо висело ружье. Гарольд Марч много раз старался представить себе встречу с известным политическим деятелем, но он никогда не думал, что увидит его в трактире, с ружьем через плечо и рюмкой в руке.

— Ты тоже гостишь у Джинка? — сказал Фишер.— Все как сговорились собраться у него.

— Да,— ответил министр финансов.— Здесь чудесная охота. Во всяком случае, для всех, кроме Джинка. У него самые лучшие угодья, а стреляет он — хуже некуда. Конечно, он славный малый, я ничего против него не имею. Только так и не научился держать ружье, все занимался упаковкой свинины или чем-то таким... Говорят, он сбил кокарду со шляпы своего слуги. Это в его стиле — нацепить кокарды на слуг!.. А еще он подстрелил петуха с флюгера на раззолоченной беседке. Пожалуй, больше он птиц не убивал. Вы туда идете?

Фишер довольно неопределенно ответил, что он придет, как только кое-что уладит, и министр финансов покинул трактир. Марчу показалось, что он был чем-то расстроен или раздражен, когда заказывал выпивку, но, поговорив с ними, успокоился; однако совсем не то ожидал от него услышать представитель

прессы. Через несколько минут они не спеша вышли. Фишер стал посреди дороги и принялся смотреть в ту сторону, откуда они начали свою прогулку. Затем они вернулись обратно ярдов на двести и снова остановились.

— Думаю, это и есть то самое место,— сказал он.

— Какое место? — спросил его спутник.

— Место, где его убили, беднягу,— печально ответил Фишер.

— Что вы хотите сказать? — спросил Марч.— Он же разбился о скалы за полторы мили отсюда.

— Нет,— ответил Фишер.— Он не разбился о скалы, он даже не падал на них. Разве вы не заметили, что его выбросило на склон, покрытый мягкой травой? Я сразу понял, что в него всадили пулю.— И, помолчав, добавил: — В тракторе он был жив, но умер задолго до того, как доехал до скал. Его застрелили, когда он вел машину вот на этом участке дороги; я полагаю, где-нибудь здесь. Машина покатила прямо, уже некому было затормозить или свернуть. Все очень хитро и умно придумано. Тело обнаружат далеко от места преступления и станут думать, как подумали и вы, что произошел несчастный случай. Убийца — тонкая bestия.

— Разве выстрела не услышали бы в кабачке или еще где-нибудь? — спросил Марч.

— Ну что ж, и слышали, но не обратили внимания,— продолжал добровольный следователь.— И тут убийца все рассчитал. Весь день здесь охотятся, и выбрать нужный момент совсем не трудно. Конечно, это мог придумать только опытный преступник. Но этим не исчерпываются его таланты.

— Что вы имеете в виду? — спросил Марч, и от недоброго предчувствия по его спине пробежали мурашки.

— Убийца — первоклассный стрелок,— сказал Фишер.

Он круто повернулся и пошел по узкой, поросшей травой тропинке, отделявшей большое поместье от заболоченных, покрытых пестрым вереском лугов. Марч от нечего делать побрел за Фишером. Они остановились у деревянного крашеного забора, вид-

невшегося через просветы в высоком бурьяне и боярышнике, и Фишер стал внимательно рассматривать доски. За забором поднимался ряд высоких, густых тополей. Они слабо качались на легком ветру; день склонялся к вечеру, и гигантские тени деревьев резко удлинились.

— Вы могли бы стать хорошим преступником? — дружелюбно спросил вдруг Фишер. — Боюсь, что я не мог бы. Но какой-нибудь взломщик четвертого разряда из меня, наверное, вышел бы.

И прежде чем его спутник успел ответить, он легко перемахнул через забор; Марч последовал за ним без особого усилия, но вконец сбитый с толку. Тополя росли так близко к забору, что они оба с трудом проскользнули между ними, а дальше видна была только высокая живая изгородь из лавров, блестящая под заходящим солнцем. Марч пробирался через преграды кустов и деревьев, и ему казалось, что впереди не лужайка, а дом с опущенными шторами. Ему казалось, что он влез в окно или в дверь и путь загродили груды мебели. Наконец они миновали изгородь и очутились на заросшей травой лужайке, которая зеленым уступом переходила в продолговатую площадку, по-видимому, крокетную. За ней тянулось небольшое строение — низкая оранжерея, похожая на стеклянный домик из сказки.

Фишер хорошо знал, как одиноки разбросанные службы большого имения. Он понимал, что эти постройки — насмешка над аристократией, гораздо более злая, чем поросшие сорняками развалины. Они не запущены, но заброшены, во всяком случае забыты. Их тщательно прибирают и украшают для хозяина, который никогда сюда не явится.

Однако, глядя с лужайки на площадку, Фишер обнаружил предмет, который, кажется, вовсе не ожидал увидеть: что-то вроде треноги, поддерживавшей большой диск, похожий на крышку круглого стола. Когда они подошли ближе, Марч понял, что это мишень. Она была старая и выцветшая; радужные краски концентрических кругов давно поблекли; вероятно, ее установили здесь в далекие времена королевы Виктории, когда в моде была стрельба из лука. В живом воображении Марча тотчас воз-

никили туманные видения дам в широких легких кринолинах и мужчин в диковинных шляпах, с бакенбардами, некогда посещавших заброшенный теперь сад.

Но тут его испугал Фишер, внимательно разглядывавший мишень.

— Взгляните,— закричал он,— кто-то основательно изрешетил ее пулями, и совсем недавно! Скорей всего, здесь тренировался старый Джинк.

— Пожалуй, ему еще долго придется тренироваться,— ответил, смеясь, Марч.— Ни одной пробоины у центра, разбросаны как попало.

— Как попало,— повторил Фишер, внимательно вглядываясь в мишень.

Казалось, он согласился со спутником, но Марч заметил, как заблестели под сонными веками его глаза и с каким трудом распрямил он сутулую спину.

— Извините, я немного задержу вас,— сказал Фишер, ощупывая карманы.— Кажется, у меня с собой кое-какие химикалии. Потом пойдем к дому.

Он снова склонился над мишенью и стал накладывать палец на пробоины какое-то снадобье, насколько Марч мог разглядеть, серую мазь. Уже надвигались сумерки, когда они по длинной зеленой аллее подошли к большому дому.

Однако необычный следователь не пожелал войти через парадную дверь. Они обогнули дом, отыскивали открытое окно и влезли в комнату, где, по-видимому, хранилось оружие. Вдоль одной из стен рядами стояли дробовики, а на столе лежали более тяжелые и грозные ружья.

— Это охотничьи ружья Берка,— сказал Фишер.— Я и не знал, что он хранит их здесь.

Он поднял одно, быстро осмотрел и, насупившись, положил обратно. Почти в тот же момент в комнату стремительно вошел незнакомый молодой человек, темноволосый, крепкий, с выпуклым лбом и бульдожьей челюстью. Коротко извинившись, он сказал:

— Я оставил здесь ружья майора Берка. Он уезжает вечером, хочет их упаковать.

И он унес оба ружья, даже не взглянув на Марча; из открытого окна они видели, как он шел по тускло

освященному саду. Фишер снова выбрался в сад через окно и постоял, глядя ему вслед.

— Это и есть Гокетт, о котором я вам говорил, — сказал он. — Я знал, что он вроде секретаря у Берка, возится с его бумагами, но не думал, что он возится и с ружьями. Он заботливый домовый, на все руки мастер. Такого можно знать годами и не догадаться, что он чемпион по шахматам.

Они пошли вслед за Гокеттом и вскоре увидели на лужайке оживленно болтающих гостей. Среди них выделялся мощный охотник на крупную дичь.

— Между прочим, — заметил Фишер, — помните, мы говорили о Берке и Гокетте, и я сказал вам, что нельзя писать ружьем? Ну, теперь я не так уверен в этом. Слыхали вы когда-нибудь о художнике, который мог бы рисовать ружьем? Так вот, здесь глохнет такой гений.

Сэр Говард шумно и дружелюбно приветствовал Фишера и журналиста. Последнего представили майору Берку и мистеру Гокетту, а также (между прочим) хозяину, мистеру Дженкинсу, невзрачному человечку в добротном, но кричащем костюме, к которому все относились ласково и снисходительно, словно к ребенку.

Неугомонный министр финансов все еще говорил об охоте, о птицах, которых он убил, и о птицах, по которым промазал Дженкинс. Кажется, тут все помешались на таких шутках.

— Что там крупная дичь! — горячился он, наступая на Берка. — В крупную всякий попадет. Другое дело — мелкая, тут нужен настоящий стрелок.

— Совершенно верно, — вмешался Хорн Фишер. — Вот если бы из-за того куста выпорхнул гиппопотам или в имени разводили бы летающих слонов...

— Ну, тогда и Джинк подстрелил бы такую птичку! — воскликнул сэр Говард, весело хлопая хозяина по спине. — Он попал бы даже в стог сена или в гиппопотама.

— Послушайте, друзья, — сказал Фишер. — Пойдемте постреляем. Только не в гиппопотама. Я нашел очень любопытного зверя. Он всех цветов радуги, о трех ногах и об одном глазе.

— Это еще что такое? — хмуро спросил Берк.

— Пойдем, и увидите, — весело ответил Фишер.

В погоне за новыми впечатлениями люди, подобные этим, клюнут на любую нелепость. Так случилось и теперь. Гости снова вооружились и с серьезным видом двинулись вслед за гидом. У раззолоченной беседки сэр Говард задержался, с восхищением показывая пальцем на искривленного золотого петуха. Сумерки уже переходили в темноту, когда они добрались наконец до отдаленной лужайки, чтобы играть в новую бесцельную игру — стрелять по старым пробоинам.

Когда праздная компания полукругом сгрудилась против мишени, последние отблески света угасли на лужайке и тополя на фоне заката казались громадными черными перьями на пурпурном катафалке.

Сэр Говард похлопал хозяина по плечу, игриво подталкивая его вперед и уговаривая выстрелить первым. Плечо и рука Дженкинса, которых коснулся министр, казались неестественно напряженными и угловатыми. Мистер Дженкинс держал ружье еще более неуклюже, чем могли ожидать его насмешливые друзья.

И вдруг раздался страшный вопль. Он шел неведомо откуда и был так чудовищен, так не соответствовал обстановке, что издать его могло только фантастическое существо, пролетевшее в этот миг над ними или притаившееся неподалеку в темном лесу. Но Фишер знал, что он возник и замер на побелевших губах Джефферсона Дженкинса. И никто, взглянув в этот момент на лицо канадца, не назвал бы его невыразительным.

Как только все увидели, что́ стоит перед ними, майор Берк разразился потоком грубых, но добродушных ругательств. Мишень возвышалась над потемневшей травой, словно страшный, насмехающийся над ними призрак. У него были горящие, как звезды, глаза, очерченные огненными точками, вывороченные ноздри и большой растянутый рот. Над глазами светящимся пунктиром были обозначены седые брови, и одна из них поднималась вверх почти под прямым углом. Это была талантливая карикатура, выполненная яркими светящимися линиями, и Марч сразу узнал, кого она изображала. Мишень сияла в темноте мерцающим огнем и казалась чудовищем

со дна морского, выползшим в окутанный сумерками сад. Но у чудовища была голова убитого человека.

— Да ведь это всего-навсего светящаяся краска, — сказал Берк. — Старина Фишер выкинул трюк со своей фосфоресцирующей мазью.

— Очень похоже на нашего Пагги, — заметил сэр Говард. — Поразительное сходство, ничего не скажешь!

Все, кроме Дженкинса, рассмеялись. Когда смех умолк, он издал несколько странных звуков, какие, вероятно, издал бы зверь, если бы вздумал засмеяться. Хорн Фишер решительно подошел к Дженкинсу и сказал:

— Мистер Дженкинс, я должен немедленно поговорить с вами наедине.

Вскоре после этой странной и нелепой сцены, рассеявшей веселых гостей, Марч снова, как было условлено, встретился со своим новым другом у маленького ручья под нависшей скалой.

— Это я придумал такой трюк — намазал мишень фосфором, — мрачно сказал Фишер. — Надо было его напугать внезапно, иначе он не выдал бы себя. Он тренировался на этой мишени и, когда увидел в ней светящееся лицо своей жертвы, не мог сдержаться. Для моего внутреннего удовлетворения этого вполне достаточно.

— Боюсь, что я и сейчас толком не понимаю, — ответил Марч. — Что же он сделал и для чего?

— Вы должны понять, — мрачно улыбаясь, ответил Фишер. — Ведь это вы навели меня на след. Да, да, вы высказали очень тонкую мысль. Вы сказали, что человек, которому предстоит обедать в богатом доме, не станет брать с собой сандвичи. Вполне резонно, и отсюда вывод: хотя он и ехал туда, обедать там он не собирался. Или, по крайней мере, допускал, что не будет обедать. Дальше я подумал: должно быть, он знал, что ему предстоит неприятный визит, или что ему окажут не слишком радушный прием, или что сам он отклонит гостеприимство. Затем я вспомнил, что Тернбул в свое время был грозой людей с темным прошлым, — возможно, он и сюда

приехал, чтобы опознать и обвинить одного из них. С самого начала мне казалось вероятным, что таким может быть только хозяин, Дженкинс. А теперь я вполне убежден, что он и есть тот самый «нежелательный иностранец», над которым Тернбул требовал суда за совсем другие подвиги. Как видите, охотник держал про запас еще один выстрел.

— Но вы сказали, что убийца — первоклассный стрелок.

— Дженкинс отличный стрелок, — ответил Фишер. — Первоклассный стрелок, который притворился плохим. И знаете, что еще, кроме вашей фразы, натолкнуло меня на подозрение? Рассказы моего кузена. Дженкинс сбил кокарду и прострелил флюгер — надо быть первоклассным стрелком, чтобы стрелять так. Надо стрелять очень метко, чтобы попасть в кокарду, а не в голову или шляпу. Если бы эти промахи были действительно случайными, только один шанс из тысячи, что они поразили бы именно такие заметные мишени. Дженкинс потому их и выбрал. О петухе и кокарде рассказывали все, кому не лень. Потому-то он и не снимает с беседки исковерканный флюгер — хочет увековечить эту сказку, превратить ее в легенду, в броню. А сам сидит с ружьем в засаде и высматривает жертву.

Это еще не все. Посмотрите на беседку. Она тоже стоит внимания. В ней есть все, за что Дженкинса поднимают на смех, — и позолота, и кричащие цвета, вся та вульгарность, которая пристала выскочке. А выскочки, наоборот, всего этого избегают. В обществе их, слава богу, достаточно, и мы хорошо их знаем. Больше всего они боятся походить на выскочек. Обычно они только и думают, как бы усвоить хороший тон и не сделать промаха. Они отдаются на милость декораторов и прочих знатоков, которые все для них делают. Едва ли найдется хоть один миллионер, который отважился бы держать в своем доме стулья с позолоченными вензелями, как в той охотничьей комнате. То же самое с фамилией. Такие фамилии, как Тимкинс или Дженкинс, смешны, но не банальны; я хочу сказать, они банальны, но не распространены. Другими словами, они обыденны, но не обычны. Именно такую фамилию надо выбрать, если хочешь, чтобы она выглядела заурядной, но

на самом деле она совсем не заурядна. Много ли вы знаете Томкинсов? Эта фамилия встречается гораздо реже, чем, скажем, Тэлбот... А смешная одежда? Дженкинс одевается, как персонаж из «Панча»¹. Да он и есть персонаж из «Панча» — вымышленная личность. Он — мифическое животное. Его просто нет.

Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, что это значит — быть человеком, которого нет? То есть быть персонажем — и никогда не выходить из образа, подавлять свои достоинства, лишать себя радостей, а главное — скрывать свои таланты? Что такое быть лицемером наизусть, прячущим свой дар под личиной ничтожества? Он проявил большую изобретательность, нашел совершенно новую форму лицемерия. Хитрый негодяй может поддаться под блестящего джентльмена, или почтенного коммерсанта, или филантропа, или святошу, но кричащий клетчатый костюм смешного неотесанного невежды — это действительно ново. Такая маскировка должна очень тяготить человека одаренного. А этот ловкий проходимец поистине разносторонне одарен, он умеет не только стрелять, но и рисовать, и писать красками, и, быть может, даже играть на скрипке. И вот такому человеку нужно скрывать свои таланты, но он не может удержаться, чтобы не использовать их хотя бы тайно, без всякой пользы. Если он умеет рисовать, он будет машинально рисовать на промокательной бумаге. Я подозреваю, что этот подлец часто рисовал лицо несчастного Пагги на промокашке. Возможно, сначала он рисовал его кляксами, а позже — точками, или, вернее, дырками. Как-то в уединенном уголке сада он нашел заброшенную мишень и не мог отказать себе в удовольствии тайком пострелять, как некоторые тайком пьют. Вам показалось, что пробоины разбросаны как попало; они разбросаны, но отнюдь не случайно. Между ними нет двух одинаковых расстояний, все точки нанесены как раз там, куда он метил. Ничто не требует такой математической точности, как шарж. Я сам немного рисую, и уверяю вас, поставить точку как раз там, где вы хотите, — нелегкая задача, даже если вы рисуете

¹ «П а н ч» — английский сатирический журнал.

пером, а бумага лежит перед вами. И это чудо, если точки нанесены из ружья. Человек, способный творить такие чудеса, всегда будет стремиться к ним — хотя бы тайно.

Фишер замолчал, а Марч глубокомысленно заметил:

— Не мог же он убить его, как птицу, одним из тех дробовиков.

— Вот почему я пошел в охотничью комнату, — ответил Фишер. — Он застрелил его из охотничьего ружья, и Берку показалось, что он узнал звук, потому-то он и выбежал из дома без шляпы такой растерянный. Он ничего не увидел, кроме быстро промчавшегося автомобиля; некоторое время он смотрел ему вслед, а потом решил, что ему померещилось.

Они снова замолчали. Фишер сидел на большом камне так же неподвижно, как при их первой встрече, и смотрел на серебристо-серый ручей, убегавший под зеленые кусты.

— Теперь он, конечно, знает правду, — резко сказал Марч.

— Никто не знает правды, кроме меня и вас, — ответил Фишер, и мягкие нотки зазвучали в его голосе, — а я не думаю, чтобы мы с вами когда-нибудь поссорились.

— О чем вы? — изменившимся голосом спросил Марч. — Что вы сделали?

Хорн Фишер пристально смотрел на быстрый ручеек. Наконец он проговорил:

— Полиция установила, что произошла автомобильная катастрофа.

— Но вы ведь знаете, что это не так, — настаивал Марч.

— Я вам уже говорил, что знаю слишком много, — ответил Фишер, не сводя глаз с воды. — Я знаю об этом и о многом другом. Я знаю, чем и как живут люди этой среды и как у них все делается. Я знаю, что проходимцу Дженкинсу удалось внушить всем, что он заурядный и смешной человек. Если я скажу Говарду или Гокетту, что старина Джинк убийца, они, пожалуй, лопнут со смеху у меня на глазах. О, я не уверен, что их смех будет вполне безгрешен, хотя, по-своему, он может быть искренним. Им нужен

старый Джинк, они не могут без него обойтись. Я и сам не без греха. Я люблю Говарда и не хочу, чтобы он оказался на мели, а это непременно случится, если Джинк не заплатит за свой титул. На последних выборах они были чертовски близки к провалу, уверяю вас. Но главная причина моего молчания другая: его разоблачить невозможно. Мне никто не поверит, это слишком невыносимо. Сбитый набок флюгер мигом превратит все в веселую шутку.

— А вы не думаете, что молчать позорно? — спокойно спросил Марч.

— Я многое думаю. Я думаю, например, что, если когда-нибудь взорвут динамитом и пошлют к черту это хорошее, связанное крепким узлом общество, человечество не пострадает. Но не судите меня слишком строго за то, что я знаю это общество. Потому-то я и трачу время так бессмысленно — ловлю вонючую рыбу.

Наступило молчание. Фишер снова уселся на камень, затем добавил:

— Я же говорил вам — крупную рыбу приходится выбрасывать в воду.

ПРИЧУДА РЫБОЛОВА

Порой явление бывает настолько необычно, что его попросту невозможно запомнить. Если оно совершенно выпадает из общего порядка вещей и не имеет ни причин, ни следствий, дальнейшие события не воскрешают его в памяти; оно сохраняется лишь в подсознании, чтобы благодаря какой-нибудь случайности всплыть на поверхность лишь долгое время спустя. Оно ускользает, словно забытый сон...

В ранний час, на заре, когда тьма еще только переходила в свет, глазам человека, спускавшегося на лодке по реке в Западной Англии, представилось удивительное зрелище. Человек в лодке не грезил; право же, он давно освободился от грез, этот преуспевающий журналист Гарольд Марч, который намеревался взять интервью у нескольких политических деятелей в их загородных усадьбах. Однако случай, сви-

детелем которого он стал, был настолько нелеп, что вполне мог пригрезиться; и все же он попросту скользнул мимо сознания Марча, затерявшись среди дальнейших событий совершенно иного порядка, и журналист так и не вспомнил о нем до тех пор, пока долгое время спустя ему не стал ясен смысл происшедшего.

Белесый утренний туман стлался по полям и камышовым зарослям на одном берегу реки; по другому, у самой воды, тянулась темно-красная кирпичная стена. Бросив весла и продолжая плыть по течению, Марч обернулся и увидел, что однообразие этой бесконечной стены нарушил мост, довольно изящный мост в стиле восемнадцатого века, с каменными опорами, некогда белыми, но теперь посеревшими от времени. После разлива вода стояла еще высоко, и карликовые деревья глубоко погрузились в реку, а под аркой моста белел лишь узкий просвет.

Когда лодка вошла под темные своды моста, Марч заметил, что навстречу плывет другая лодка, в которой тоже всего один человек. Поза гребца мешала как следует его разглядеть; но как только лодка приблизилась к мосту, незнакомец встал на ноги и обернулся. Однако он был уже настолько близко от пролета, что казался черным силуэтом на фоне белого утреннего света, и Марч не увидел ничего, кроме длинных бакенбард или кончиков усов, придававших облику незнакомца что-то зловещее, словно из щек у него росли рога. Марч, разумеется, не обратил бы внимания даже на эти подробности, если бы в ту же секунду не произошло нечто необычайное. Поравнявшись с мостом, человек подпрыгнул и повис на нем, дрыгая ногами и предоставив пустой лодке плыть дальше. Какой-то миг Марчу были видны две черные болтающиеся ноги, затем — одна черная болтающаяся нога, и, наконец, — ничего, кроме бурного потока и бесконечной стены. Но всякий раз, как Марч вспоминал об этом событии долгое время спустя, когда ему уже стала известна связанная с ним история, оно неизменно принимало все ту же фантастическую форму, словно эти нелепые ноги были частью орнамента моста, чем-то вроде гротескного скульптурного украшения. А в то утро Марч

попросту поплыл дальше, оглядывая реку. На мосту он не увидел бегущего человека — должно быть, тот успел скрыться; и все же Марч почти бессознательно отметил про себя, что среди деревьев у въезда на мост, со стороны, противоположной стене, виднелся фонарный столб, а рядом с ним — широкая спина ничего не подозревавшего полисмена.

Покуда Марч добирался до святых мест своего политического паломничества, у него было немало забот, отвлекавших его от странного происшествия у моста: не так-то легко одному справиться с лодкой даже на столь пустынной реке. И в самом деле, он отправился один лишь благодаря непредвиденной случайности. Лодка была куплена для поездки, задуманной совместно с другом, которому в последнюю минуту пришлось изменить все свои планы. Гарольд Марч собирался совершить это путешествие по реке до Уилловуд-Плейс, где гостил в то время премьер-министр, со своим другом Хорном Фишером. Известность Гарольда Марча непрерывно росла; его блестящие политические статьи открывали ему двери все более влиятельных салонов; но он ни разу не встречался с премьер-министром. Едва ли хоть кому-нибудь из широкой публики был известен Хорн Фишер; но он знал премьер-министра с давних пор. Вот почему, если бы это совместное путешествие состоялось, Марч, вероятно, ощущал бы некоторую склонность поспешить, а Фишер — смутное желание продлить поездку. Ведь Фишер принадлежал к тому кругу людей, которые знают премьер-министра со дня своего рождения. Должно быть, они не находят в этом особого удовольствия; что же касается Фишера, то он как будто родился усталым. Этот высокий, бледный, бесстрастный человек с лысеющим лбом и светлыми волосами редко выражал досаду в какой-нибудь иной форме, кроме скуки. И все же он был, несомненно, раздосадован, когда, укладывая в свой легкий саквояж рыболовные снасти и сигары для предстоящей поездки, получил телеграмму из Уилловуда с просьбой немедленно выехать поездом, так как премьер-министр должен отбыть из имения в тот же вечер. Фишер знал, что Марч не сможет тронуться в путь раньше следующего дня; он любил Марча

и заранее предвкушал удовольствие, которое доставит им совместная прогулка по реке. Фишер не испытывал особой приязни или неприязни к премьер-министру, но зато испытывал сильнейшую неприязнь к тем нескольким часам, которые ему предстояло провести в поезде. Тем не менее он терпел премьер-министров, как терпел железные дороги, считая их частью того строя, разрушение которого отнюдь не входило в его планы. Поэтому он позвонил Марчу и попросил его, сопровождая просьбу множеством извинений, пересыпанных сдержанными проклятиями, спуститься вниз по реке, как было условлено, и в назначенное время встретиться в Уилловуде. Затем вышел на улицу, кликнул такси и поехал на вокзал. Там он задержался у киоска, чтобы пополнить свой легкий багаж несколькими дешевыми сборниками детективных историй, которые прочел с удовольствием, не подозревая, что ему предстоит стать действующим лицом не менее загадочной истории.

Незадолго до заката Фишер остановился у ворот парка, раскинувшегося на берегу реки; это была усадьба Уилловуд-Плейс, одно из небольших поместий сэра Исаака Гука, крупного судовладельца и газетного магната. Ворота выходили на дорогу со стороны, противоположной реке; но в пейзаже было нечто, постоянно напоминавшее путнику о близости реки. Сверкающие полосы воды, словно шпаги или копья, неожиданно мелькали среди зеленых зарослей; и даже в самом парке, разделенном на площадки и окаймленном живой изгородью из кустов и высоких деревьев, воздух был напоен журчанием воды. Первая зеленая лужайка, на которой очутился Фишер, была запущенным крокетным полем, где какой-то молодой человек играл в крокет сам с собой. Однако он занимался этим без всякого азарта, видимо, просто чтобы немного попрактиковаться; его болезненное красивое лицо выглядело скорее угрюмым, чем оживленным. Это был один из тех молодых людей, которые не могут нести бремя совести, предаваясь бездействию, и чье представление о всяком деле неизменно сводится к той или иной игре. Фишер сразу же узнал в темноволосом элегантном молодом человеке Джеймса Буллена, неизвестно почему прозванного

Бункером. Он приходился племянником сэру Исааку Гуку, но в данную минуту гораздо существенней было то, что он являлся к тому же личным секретарем премьер-министра.

— Привет, Бункер,— проронил Хорн Фишер.— Вас-то мне и нужно. Что, ваш патрон еще не отбыл?

— Он пробудет здесь только до обеда,— ответил Буллен, следя глазами за желтым шаром.— Завтра в Бирмингеме ему предстоит произнести большую речь, так что вечером он двинет прямо туда. Сам себя повезет. Я хочу сказать, сам поведет машину. Это единственное, чем он действительно гордится.

— Значит, вы останетесь здесь, у дядюшки, как и подобает пай-мальчику? — заметил Фишер.— Но что будет делать премьер в Бирмингеме без острот, которые нашептывает ему на ухо его блестящий секретарь?

— Бросьте свои насмешки,— сказал молодой человек по прозвищу Бункер.— Я только рад, что не придется тащиться следом за ним. Он ведь ничего не смыслит в маршрутах, расходах, гостиницах и тому подобных вещах, и я вынужден носить его повсюду, точно мальчик на побегушках. А что касается дяди, то, поскольку мне предстоит унаследовать усадьбу, приличие требует, чтобы я по временам бывал здесь.

— Ваша правда,— согласился Фишер.— Ну, мы еще увидимся. — И, миновав площадку, он двинулся дальше через проход в изгороди.

Он шел по поляне, направляясь к лодочной пристани, а вокруг него, по всему парку, где царила река, под золотым вечерним небосводом словно витал неуловимый аромат старины. Следующая зеленая лужайка сперва показалась Фишеру совершенно пустой, но затем в темном уголке, под деревьями, он неожиданно заметил гамак; человек, лежавший в гамаке, читал газету, свесив одну ногу и тихонько ею покачивая. Фишер и его окликнул по имени, и тот, соскользнув на землю, подошел ближе. Словно по воле рока на Фишера отовсюду веяло прошлым: эту фигуру вполне можно было принять за призрак вик-

торианских времен, явившийся с визитом к призракам крокетных ворот и молотков. Перед Фишером стоял пожилой человек с несуразно длинными бакенбардами, воротничком и галстуком причудливого, щегольского покроя. Сорок лет назад он был светским денди и ухитрился сохранить прежний лоск, пренебрегая при этом модами. В гамаке рядом с «Морнинг пост» лежал белый цилиндр.

Это был герцог Уэстморлендский, последний отпрыск рода, насчитывавшего несколько столетий, древность которого подтверждалась историей, а отнюдь не ухищрениями геральдики. Фишер лучше чем кто бы то ни было знал, как редко встречаются в жизни подобные аристократы, столь часто изображаемые в романах. Но, пожалуй, куда интереснее было бы узнать мнение мистера Фишера насчет того, обязан ли герцог всеобщим уважением своей безукоризненной родословной или же весьма крупному состоянию.

— Вы тут так удобно устроились, — сказал Фишер, — что я принял вас за одного из слуг. Я ищу кого-нибудь, чтобы отдать саквояж. Я уехал так поспешно, что не взял с собой камердинера.

— Представьте, я тоже, — не без гордости заявил герцог. — Не имею такого обыкновения. Единственный человек на свете, которого я не выношу, — это камердинер. С самых ранних лет я привык одеваться без чужой помощи и, кажется, неплохо справляюсь с этим. Быть может, теперь я снова впал в детство, но не до такой степени, чтобы меня одевали, как ребенка.

— Премьер-министр тоже не привез камердинера, но зато привез секретаря, — заметил Фишер. — А ведь эта должность куда хуже. Верно ли, что Харкер здесь?

— Сейчас он на пристани, — ответил герцог равнодушным тоном и снова уткнулся в газету.

Фишер миновал последнюю зеленую изгородь и вышел к берегу, оглядывая реку с лесистым островком напротив причала. И действительно, он сразу увидел темную худую фигуру человека, чья манера сутулиться чем-то напоминала стервятника; в судебных залах хорошо знали эту манеру, столь свойственную сэру Джону Харкеру, генеральному прокурору.

Лицо его хранило следы напряженного умственного труда: из трех бездельников, собравшихся в парке, он один самостоятельно проложил себе дорогу в жизни; к облысевшему лбу и впалым вискам прилипли блеклые рыжие волосы, прямые, словно проволочки.

— Я еще не видел хозяина,— сказал Хорн Фишер чуточку более серьезным тоном, чем до этого,— но надеюсь повидаться с ним за обедом.

— Видеть его вы можете хоть сейчас, но повидаться не выйдет,— заметил Харкер.

Он кивнул в сторону острова, и, всматриваясь в указанном направлении, Фишер разглядел выпуклую лысину и конец удилица, в равной степени неподвижно вырисовывавшиеся над высоким кустарником на фоне реки. Видимо, рыболов сидел, прислонившись к пню, спиной к причалу, и хотя лица не было видно, но по форме головы его нельзя было не узнать.

— Он не любит, чтобы его беспокоили, когда он рыбачит,— продолжал Харкер.— Старый чудак не ест ничего, кроме рыбы, и гордится тем, что ловит ее сам. Он, разумеется, ярый поборник простоты, как многие из миллионеров. Ему нравится, возвращаясь домой, говорить, что он сам обеспечил себе пропитание, как всякий труженик.

— Объясняет ли он при этом, каким образом удастся ему выдувать столько стеклянной посуды и обивать гобеленами свою мебель? — осведомился Фишер.— Или изготавливать серебряные вилки, выращивать виноград и персики, ткать ковры? Говорят, он всегда был занятым человеком.

— Не припомню, чтобы он говорил такое,— ответил юрист.— Но что означают эти ваши социальные нападки?

— Признаться, я устал от той «простой, трудовой жизни», которой живет наш узкий кружок,— сказал Фишер.— Ведь мы беспомощны почти во всем и поднимаем ужасный шум, когда удастся обойтись без чужой помощи хоть в чем-нибудь. Премьер-министр гордится тем, что обходится без шофера, но не может обойтись без мальчика на побегушках, и бедному Бункеру приходится быть каким-то гением-универсалом, хотя, видит бог, он совершенно не со-

здан для этого. Герцог гордится тем, что обходится без камердинера; однако он доставляет чертову пропасть хлопот множеству людей, вынуждая их добывать то невероятно старомодное платье, которое носит. Должно быть, им приходится обшаривать Британский музей или же разрывать могилы. Чтобы достать один только белый цилиндр, пришлось, наверное, снарядить целую экспедицию, ведь отыскать его было столь же трудно, как открыть Северный полюс. А теперь этот старикан Гук заявляет, что обеспечивает себя рыбой, хотя сам не в состоянии обеспечить себя ножами или вилками, которыми ее едят. Он прост, пока речь идет о простых вещах, вроде еды, но я уверен, он роскошествует, когда дело доходит до настоящей роскоши, и особенно — в мелочах. О вас я не говорю: вы достаточно потрудились, чтобы теперь разыгрывать из себя человека, который ведет трудовую жизнь.

— Порой мне кажется, — заметил Харкер, — что вы скрываете от нас одну ужасную тайну — умение быть иногда полезным. Не затем ли вы явились сюда, чтобы повидать премьера до его отъезда в Бирмингем?

— Да, — ответил Хорн Фишер, понизив голос. — Надеюсь, мне удастся поймать его до обеда. А потом он должен о чем-то переговорить с сэром Исааком.

— Смотрите! — воскликнул Харкер. — Сэр Исаак кончил удить. Он ведь гордится тем, что встает на заре и возвращается на закате.

И действительно, старик на острове поднялся на ноги и повернулся, так что стала видна густая седая борода и сморщенное личико со впалыми щеками, свирепым изгибом бровей и злыми, колючими глазами. Бережно неся рыболовные снасти, он начал переходить через мелкий поток по плоским камням несколько ниже причала. Затем направился к гостям и учтиво поздоровался с ними. В корзинке у Гука было несколько рыб, и он пребывал в отличном расположении духа.

— Да, — сказал он, заметив на лице Фишера вежливое удивление. — Я встаю раньше всех. Ранняя птичка съедает червя.

— На свою беду, — возразил Харкер, — червя съедает ранняя рыбка.

— Но ранний рыболов съедает рыбку, — угрюмо возразил старик.

— Насколько мне известно, сэр Исаак, вы не только встаете рано, но и ложитесь поздно, — вставил Фишер. — По-видимому, вы очень мало спите.

— Мне всегда не хватало времени для сна, — ответил Гук, — а сегодня вечером наверняка придется лечь поздно. Премьер-министр сказал, что желает со мной побеседовать. Так что, пожалуй, пора одеваться к обеду.

В тот вечер за обедом не было сказано ни слова о политике; произносились главным образом светские любезности. Премьер-министр лорд Меривейл, высокий худой человек с седыми волнистыми волосами, серьезно восхищался рыболовным искусством хозяина и проявленными им ловкостью и терпением; беседа мерно журчала, точно мелкий ручей между камнями.

— Конечно, нужно обладать терпением, чтобы выждать, пока рыба клюнет, — заметил сэр Исаак, — и ловкостью, чтобы вовремя ее подсесть, но мне обычно везет.

— А может крупная рыба уйти, оборвав леску? — спросил политический деятель с почтительным интересом.

— Только не такую, как у меня, — самодовольно ответил Гук. — Признаться, я неплохо разбираюсь в рыболовных снастях. Так что у рыбы скорей хватит сил стащить меня в реку, чем оборвать леску.

— Какая это была бы утрата для общества! — сказал премьер-министр, наклоняя голову.

Фишер слушал весь этот вздор с затаенным нетерпением, ожидая случая заговорить с премьер-министром, и, как только хозяин поднялся, вскочил с редким проворством. Ему удалось поймать лорда Меривейла, прежде чем сэр Исаак успел увести его для прощальной беседы. Фишер собирался сказать всего несколько слов, но сделать это было необходимо. Распахивая дверь перед премьером, он тихо произнес:

— Я виделся с Монтмирейлом: он говорит, что, если мы не заявим немедленно протест в защиту Дании, Швеция захватит порты.

Лорд Меривейл кивнул:

— Я как раз собираюсь выслушать мнение Гука по этому поводу.

— Мне кажется,— сказал Фишер с легкой усмешкой,— мнение его нетрудно предугадать.

Меривейл ничего не ответил и непринужденно последовал к дверям библиотеки, куда уже удалился хозяин. Остальные направились в бильярдную; Фишер коротко заметил юристу:

— Эта беседа не займет много времени. Практически они уже пришли к соглашению.

— Гук целиком поддерживает премьер-министра,— согласился Харкер.

— Или премьер-министр целиком поддерживает Гука,— подхватил Хорн Фишер и принялся бесцельно гонять шары по бильярдной доске.

На следующее утро Хорн Фишер по своей давней дурной привычке проснулся поздно и не торопился сойти вниз; должно быть, у него не было охоты полакомиться червяком. Видимо, такого желания не было и у остальных гостей, которые еще только завтракали, хотя время уже близилось к полудню. Вот почему первую сенсацию этого необычайного дня им не пришлось ждать слишком долго. Она явилась в облике молодого человека со светлыми волосами и открытым лицом, чья лодка, спустившись вниз по реке, причалила к маленькой пристани. Это был не кто иной, как журналист Гарольд Марч, друг мистера Фишера, начавший свой далекий путь на рассвете в то самое утро. Сделав остановку в большом городе и напившись там чаю, он прибыл в усадьбу к концу дня; из кармана у него торчала вечерняя газета. Он нагрянул в прибрежный парк подобно тихой и благовоспитанной молнии и к тому же сам не подозревал об этом.

Первый обмен приветствиями и рукопожатиями носил довольно банальный характер и сопровождался неизбежными извинениями за странное поведение хозяина. Он, разумеется, снова ушел с утра рыбачить, и его нельзя беспокоить прежде известного часа, хотя до того места, где он сидит, рукой подать.

— Видите ли, это его единственная страсть,— пояснил Харкер извиняющимся тоном,— но в конце концов он ведь у себя дома; во всех остальных отношениях он очень гостеприимный хозяин.

— Боюсь, — заметил Фишер, понизив голос, — что это уже скорее мания, а не страсть. Я знаю, как бывает, когда человек в таком возрасте начинает увлекаться чем-нибудь вроде этих паршивых речных рыбешек. Вспомните, как дядя Тэлбота собирал зубочистки, а бедный старый Баззи — образцы табачного пепла. В свое время Гук сделал множество серьезных дел, — он вложил немало сил в лесоторговлю со Швецией и в Чикагскую мирную конференцию, — но теперь мелкие рыбешки интересуют его куда больше крупных дел.

— Ну, полно вам, в самом деле, — запротестовал генеральный прокурор. — Так мистер Марч, чего доброго, подумает, что попал в дом к сумасшедшему. Поверьте, мистер Гук занимается рыболовством для развлечения, как и всяким другим спортом. Просто характер у него такой, что развлекается он несколько мрачным способом. Но держу пари, если бы сейчас пришли важные новости относительно леса или торгового судоходства, он тут же бросил бы свои развлечения и всех рыб.

— Право, не знаю, — заметил Хорн Фишер, лениво поглядывая на остров.

— Кстати, что новенького? — спросил Харкер у Гарольда Марча. — Я вижу у вас вечернюю газету, одну из тех предприимчивых вечерних газет, которые выходят по утрам.

— Здесь начало речи лорда Меривейла в Бирмингеме, — ответил Марч, передавая ему газету. — Только небольшой отрывок, но, мне кажется, речь неплохая.

Харкер взял газету, развернул ее и заглянул в отдел экстренных сообщений. Как и сказал Марч, там был напечатан лишь небольшой отрывок. Но отрывок этот произвел на сэра Джона Харкера необычайное впечатление. Его насупленные брови поднялись и задрожали, глаза прищурились, а жесткая челюсть на секунду отвисла. Он как бы мгновенно постарел на много лет. Затем, стараясь придать голосу уверенность и твердой рукой передавая газету Фишеру, он сказал просто:

— Что ж, можно держать пари. Вот важная новость, которая дает вам право побеспокоить старика.

Хорн Фишер заглянул в газету, и его бесстрастное, невыразительное лицо также переменялось. Даже в этом небольшом отрывке было два или три крупных заголовка, и в глаза ему бросилось: «Сенсационное предостережение правительству Швеции» и «Мы протестуем».

— Что за черт, — произнес он свистящим шепотом.

— Нужно немедленно сообщить Гуку, иначе он никогда не простит нам этого, — сказал Харкер. — Должно быть, он сразу же пожелает видеть премьера, хотя теперь, вероятно, уже поздно. Я иду к нему сию же минуту, и, держу пари, он тут же забудет о рыбах. — И он торопливо зашагал вдоль берега к переходу из плоских камней.

Марч глядел на Фишера, удивленный тем переполохом, который произвела газета.

— Что все это значит? — вскричал он. — Я всегда полагал, что мы должны заявить протест в защиту датских портов, это ведь в наших общих интересах. Какое дело до них сэру Исааку и всем остальным? По-вашему, это плохая новость?

— Плохая новость, — повторил Фишер тихо, с передаваемой интонацией в голосе.

— Неужели это так скверно? — спросил Марч.

— Так скверно! — подхватил Фишер. — Нет, почему же, это великолепно. Это грандиозная новость. Это превосходная новость. В том-то вся и штука. Она восхитительна. Она бесподобна. И вместе с тем она совершенно невероятна.

Он снова посмотрел на серо-зеленый остров, на реку и хмурым взглядом обвел изгороди и полянки.

— Этот парк мне словно приснился, — проговорил Фишер, — и кажется, я действительно сплю. Но трава зеленеет, вода журчит, и в то же время случилось нечто необычайное.

Как только он произнес это, из прибрежных кустов, прямо над его головой, появилась темная сутулая фигура, похожая на стервятника.

— Вы выиграли пари, — сказал Харкер каким-то резким, каркающим голосом. — Старый дурак ни о чем не хочет слышать, кроме рыбы. Он выругался и заявил, что знать ничего не желает о политике.

— Я так и думал,— скромно заметил Фишер.— Что же вы намерены делать?

— По крайней мере, воспользуюсь телефоном этого старого осла,— ответил юрист.— Необходимо точно узнать, что случилось. Завтра мне самому предстоит докладывать правительству.— И он торопливо направился к дому.

Наступило молчание, которое Марч в глубоком замешательстве не решался нарушить, а затем в глубине парка показались нелепые бакенбарды и неизменный белый цилиндр герцога Уэстморленда. Фишер поспешил ему навстречу с газетой в руке и в нескольких словах рассказал о сенсационном отрывке. Герцог, который неторопливо брел по парку, вдруг остановился как вкопанный и несколько секунд напоминал манекен, стоящий у двери какой-нибудь лавки древностей. Затем Марч услышал его голос, высокий, почти истерический:

— Но нужно показать ему это, нужно заставить его понять! Я уверен, что ему не объяснили как следует! — Затем более ровным и даже несколько напыщенным тоном герцог произнес: — Я пойду и скажу ему сам.

В числе необычайных событий дня Марч надолго запомнил эту почти комическую сцену: пожилой джентльмен в старомодном белом цилиндре, осторожно переступая с камня на камень, переходил речку, словно Пикадилли. Добравшись до острова, он исчез за деревьями, а Марч и Фишер повернулись навстречу генеральному прокурору, который вышел из дома с выражением мрачной решимости на лице.

— Все говорят,— сообщил он,— что премьер-министр произнес самую блестящую речь в своей жизни. Заключительная часть потонула в бурных и продолжительных аплодисментах. Продажные финансисты и героические крестьяне. На сей раз мы не оставим Данию без защиты.

Фишер кивнул и поглядел в сторону реки, откуда возвращался герцог; вид у него был несколько озадаченный. В ответ на расспросы он доверительно сообщил осипшим голосом:

— Право, я боюсь, что наш бедный друг не в себе.

Он отказался слушать: он... э-э... сказал, что я распугаю рыбу.

Человек с острым слухом мог бы расслышать, как мистер Фишер пробормотал что-то по поводу белого цилиндра, но сэр Джон Харкер вмешался в разговор более решительно:

— Фишер был прав. Я не поверил своим глазам, но факт остается фактом: старик совершенно поглощен рыбной ловлей. Даже если дом загорится у него за спиной, он не сдвинется с места до самого заката.

Фишер тем временем взобрался на невысокий пригорок и бросил долгий испытующий взгляд, но не в сторону острова, а в сторону отдаленных лесистых холмов, окаймлявших долину. Вечернее небо, безоблачное, как и накануне, простиралось над окружающей местностью, но на западе оно теперь отливало уже не золотом, а бронзой; тишину нарушало лишь монотонное журчание реки. Внезапно у Хорна Фишера вырвалось приглушенное восклицание, и Марч вопросительно поглядел на него.

— Вы говорили о скверных вестях,— сказал Фишер.— Что ж, вот действительно скверная весть. Боюсь, что это очень скверное дело.

— О какой вести вы говорите? — спросил Марч, угадывая в его тоне что-то странное и зловещее.

— Солнце село,— ответил Фишер.

Затем он продолжал с видом человека, сознающего, что он изрек нечто роковое:

— Нужно, чтобы туда пошел кто-нибудь, кого он действительно выслушает. Быть может, он безумец, но в его безумии есть логика. Почти всегда в безумии есть логика. Именно это и сводит человека с ума. А Гук никогда не остается там после заката, так как в парке быстро темнеет. Где его племянник? Мне кажется, племянника он действительно любит.

— Смотрите! — воскликнул внезапно Марч.— Он уже побывал там. Вон он возвращается.

Взглянув на реку, они увидели фигуру Джеймса Буллена, темную на фоне заката; он торопливо и неловко перебирался с камня на камень. Один раз он поскользнулся, и все услышали негромкий всплеск. Когда он подошел к стоявшим на берегу, его оливковое лицо было неестественно бледным.

Остальные четверо, собравшись на прежнем месте, воскликнули почти в один голос:

— Ну, что он теперь говорит?

— Ничего. Он не говорит... ничего.

Фишер секунду пристально глядел на молодого человека, затем словно стряхнул с себя оцепенение и, сделав Марчу знак следовать за ним, начал перебираться по камням. Вскоре они были уже на проторенной тропинке, которая огибала остров и вела к тому месту, где сидел рыболов. Здесь они остановились и молча стали глядеть на него.

Сэр Исаак Гук все еще сидел, прислонившись к пню, и по весьма основательной причине. Кусок его прекрасной, прочной лески был скручен и дважды захлестнут вокруг шеи, а затем дважды — вокруг пня за его спиной. Хорн Фишер кинулся к рыболову и притронулся к его руке: она была холодна, как рыба кровь.

— Солнце село, — произнес Фишер тем же злобным тоном, — и он никогда больше не увидит восхода.

Десять минут спустя все пятеро, глубоко потрясенные, с бледными, настороженными лицами, снова собрались в парке. Прокурор первый пришел в себя; речь его была четкой, хотя и несколько отрывистой.

— Необходимо оставить тело на месте и вызвать полицию, — сказал он. — Мне кажется, я могу собственной властью допросить слуг и посмотреть, нет ли каких улик в бумагах несчастного. Само собой, джентльмены, все вы должны оставаться в усадьбе.

Вероятно, быстрые и суровые распоряжения законника вызвали у остальных такое чувство, словно захлопнулась ловушка или западня. Во всяком случае, Буллен внезапно вспыхнул или, вернее, взорвался, потому что голос его прозвучал в тишине парка подобно взрыву.

— Я даже не дотронулся до него! — закричал он. — Клянусь, я не причастен к этому!

— Кто говорит, что вы причастны? — спросил Харкер, пристально взглянув на него. — Отчего вы орете, прежде чем вас ударили?

— А что вы так смотрите на меня? — выкрикнул

молодой человек со злобой. — Думаете, я не знаю, что мои проклятые долги и виды на наследство вечно у вас на языке?

К великому удивлению Марча, Фишер не принял участия в этой стычке. Он отвел герцога в сторону и, когда они отошли достаточно далеко, чтобы их не услышали, обратился к нему с необычайной простотой:

— Уэстморленд, я намерен перейти прямо к делу.

— Ну, — отозвался тот, бесстрастно уставившись ему в лицо.

— У вас были причины убить его.

Герцог продолжал глядеть на Фишера, но, казалось, лишился дара речи.

— Я надеюсь, что у вас были причины убить его, — продолжал Фишер мягко. — Дело в том, что стечение обстоятельств несколько необычное. Если у вас были причины совершить убийство, вы, по всей вероятности, не виновны. Если же у вас их не было, то вы, по всей вероятности, виновны.

— О чем вы, черт побери, болтаете? — спросил герцог, расвирепев.

— Все очень просто, — ответил Фишер. — Когда вы пошли на остров, Гук был либо жив, либо уже мертв. Если он был жив, его, по-видимому, убили вы: в противном случае непонятно, что заставило вас промолчать. Но если он был мертв, а у вас имелись причины его убить, вы могли промолчать из страха, что вас заподозрят. — Выдержав паузу, он рассеянно заметил: — Кипр — прекрасный остров, не так ли? Романтическая обстановка, романтические люди. На молодого человека это действует опьяняюще.

Герцог вдруг стиснул пальцы и хрипло сказал:

— Да, у меня была причина.

— Тогда все в порядке, — вымолвил Фишер, протягивая ему руку с видом величайшего облегчения. — Я был совершенно уверен, что это сделали не вы: вы перепугались, когда увидели, что случилось, и это только естественно. Словно сбился дурной сон, верно?

Во время этой странной беседы Харкер, не обращая внимания на выходку оскорбленного Буллена,

вошел в дом и тотчас же возвратился очень оживленный, с пачкой бумаг в руке.

— Я вызвал полицию,— сказал он, останавливаясь и обращаясь к Фишеру,— но, кажется, я уже проделал за них главную работу. По-моему, все ясно. Тут есть один документ...

Он осекся под странным взглядом Фишера, который заговорил, в свою очередь:

— Ну, а как насчет тех документов, которых тут нет? Я имею в виду те, которых уже нет.— Помолчав, он добавил: — Карты на стол, Харкер. Просматривая эти бумаги с такой поспешностью, не старались ли вы найти нечто такое, что... что желали бы скрыть?

Харкер и бровью не повел, но осторожно покоился на остальных.

— Мне кажется,— успокоительным тоном продолжал Фишер,— именно поэтому вы и солгали нам, будто Гук жив. Вы знали, что вас могут заподозрить, и не осмелились сообщить об убийстве. Но поверьте мне, теперь гораздо лучше сказать правду.

Осунувшееся лицо Харкера внезапно покраснело, словно озаренное каким-то адским пламенем.

— Правду! — вскричал он.— Вашему брату легко говорить правду! Каждый из вас родился в сорочке и чванится незапятнанной добродетелью только потому, что ему не пришлось украсть эту сорочку у другого. Я же родился в пимликских мебелированных комнатах и должен был сам добыть себе сорочку! А если человек, пробивая себе в юности путь, нарушит какой-нибудь мелкий и, кстати, весьма сомнительный закон, всегда найдется старый вампир, который воспользуется этим и всю жизнь будет сосать из него кровь.

— Гватемала, не так ли? — сочувственно заметил Фишер.

Харкер вздрогнул от неожиданности. Затем он сказал:

— Очевидно, вы знаете все, как господь всеведущий.

— Я знаю слишком много,— ответил Хорн Фишер,— но, к сожалению, совсем не то, что нужно.

Трое остальных подошли к ним, но прежде чем

они успели приблизиться, Харкер сказал голосом, который снова обрел твердость:

— Да, я уничтожил одну бумагу, но зато нашел другую, которая, как мне кажется, снимает подозрение со всех нас.

— Прекрасно, — отозвался Фишер более громким и бодрым тоном, — давайте посмотрим.

— Поверх бумаг сэра Исаака, — пояснил Харкер, — лежало письмо от человека по имени Хуго. Он грозился убить нашего несчастного друга именно таким способом, каким тот действительно был убит. Это сумасбродное письмо, полное издевок, — можете взглянуть сами, — но в нем особо упоминается о привычке Гука удить рыбу на острове. И главное, человек этот сам признает, что пишет, находясь в лодке. А так как, кроме нас, на остров никто не ходил, — тут губы его искривила отталкивающая улыбка, — преступление мог совершить только человек, приплывший в лодке.

— Постоите-ка! — вскричал герцог, и в лице его появилось что-то похожее на оживление. — Да ведь я хорошо помню человека по имени Хуго. Он был чем-то вроде личного камердинера или телохранителя сэра Исаака: ведь сэр Исаак все-таки опасался покушения. Он... он не пользовался особой любовью у некоторых людей. После какого-то скандала Хуго был уволен, но я его хорошо помню. Это был высоченный венгерец с длинными усами, торчавшими по обе стороны лица...

Словно какой-то луч света мелькнул в памяти Гарольда Марча и вырвал из тьмы утренний пейзаж, подобный видению из забытого сна. По-видимому, это был водный пейзаж: залитые луга, низенькие деревья и темный пролет моста. И на какое-то мгновение он снова увидел, как человек с темными, похожими на рога усами прыгнул на мост и скрылся.

— Бог мой! — воскликнул он. — Да ведь я же встретил убийцу сегодня утром!

В конце концов Хорн Фишер и Гарольд Марч все-таки провели день вдвоем на реке, так как вскоре после прибытия полиции маленькое общество распалось. Было объявлено, что показания Марча снимают подозрение со всех присутствующих и подтверждают улики против бежавшего Хуго. Хорн Фишер

сомневался, будет ли венгерец когда-нибудь пойман; видимо, Фишер не имел особого желания распутывать это дело, так как облокотился на борт лодки и, покуривая, наблюдал, как колышутся камыши, медленно уплывающая назад.

— Это он хорошо придумал — прыгнуть на мост, — сказал Фишер. — Пустая лодка мало о чем говорит. Никто не видел, чтобы он причаливал к берегу, а с моста он сошел, если можно так выразиться, не входя на него. Он опередил преследователей на двадцать четыре часа, а теперь сбреет усы и скроется. По-моему, есть все основания надеяться, что ему удастся уйти.

— Надеяться? — повторил Марч и перестал грести.

— Да, надеяться, — повторил Фишер. — Прежде всего, я не намерен участвовать в вендетте только потому, что кто-то прикончил Гука. Вы, вероятно, уже догадались, что за птица был этот Гук. Простой, энергичный промышленный магнат оказался подлым кровопийцей и вымогателем. Почти о каждом ему была известна какая-нибудь тайна: одна из них касалась бедняги Уэстморленда, который в юности женился на Кипре, и могла скомпрометировать герцогиню, другая — Харкера, рискнувшего деньгами своего клиента в самом начале карьеры. Поэтому-то они и перепугались, когда увидели, что он мертв. Они чувствовали себя так, словно сами совершили это убийство во сне. Но, признаться, есть еще одна причина, по которой я не хочу, чтобы наш венгерец был повешен.

— Что ж это за причина? — спросил Марч.

— Дело в том, что Хуго не совершал убийства, — ответил Фишер.

Гарольд Марч вовсе оставил весла, и некоторое время лодка плыла по инерции.

— Знаете, я почти ожидал чего-нибудь в этом роде, — сказал он. — Это было никак не обоснованно, но предчувствие висело в воздухе подобно грозовой туче.

— Напротив, необоснованно было бы считать Хуго виновным, — возразил Фишер. — Разве вы не видите, что они осуждают его на том же основании, на котором оправдали всех остальных? Харкер и

Уэстморленд молчали потому, что нашли Гука убитым и знали, что имеются документы, которые могут навлечь на них подозрение. Хуго тоже нашел его убитым и тоже знал, что имеется письмо, которое может навлечь на него подозрение. Это письмо он сам написал накануне.

— Но в таком случае, — сказал Марч, — нахмурившись, — в какой же ранний час было совершено убийство? Когда я встретил Хуго, едва начинало светать, а ведь от острова до моста путь не близкий.

— Все объясняется очень просто, — сказал Фишер. — Преступление было совершено не утром. Оно было совершено не на острове.

Марч глядел в искрящуюся воду и молчал, но Фишер продолжал так, словно ему задали вопрос:

— Всякое умно задуманное убийство непременно использует характерные, хотя и необычные, причудливые стороны обычной ситуации. В данном случае характерно было убеждение, что Гук встает раньше всех, имеет давнюю привычку удить рыбу на острове и проявляет недовольство, когда его беспокоят. Убийца задушил его в доме вчера ночью, а затем под покровом темноты перетащил труп вместе с рыболовными снастями через ручей, привязал к дереву и оставил под открытым небом. Весь день рыбу на острове удил мертвец. Затем убийца вернулся в дом или, вероятнее всего, пошел прямо в гараж и укатил в своем автомобиле. Убийца сам водит машину. — Фишер взглянул в лицо другу и продолжал: — Вы ужасаетесь, и история в самом деле ужасна. Но не менее ужасно и другое. Представьте себе, что какой-нибудь человек, преследуемый вымогателем, который разрушил его семью, убьет негодяя. Вы ведь не откажете ему в снисхождении! А разве не заслуживает снисхождения тот, кто избавил от вымогателя не семью, а целый народ?

— Предостережение, сделанное Швеции, по всей вероятности, предотвратит войну, а не развяжет ее, и спасет много тысяч жизней, гораздо более ценных, чем жизнь этого удава. О, я не философствую и не намерен всерьез оправдывать убийцу, но то рабство, в котором находился он сам и его народ, в тысячу

раз труднее оправдать. Если бы у меня хватило проницательности, я догадался бы об этом еще за обедом по его вкрадчивой, жестокой усмешке. Помните, я пересказывал вам этот дурацкий разговор о том, как старому Исааку всегда удается подсечь рыбу? В определенном смысле этот мерзавец ловил на удочку не рыб, а людей.

Гарольд Марч взялся за весла и снова начал грести.

— Да, помню, — ответил он. — И еще речь шла о том, что крупная рыба может оборвать леску и уйти.

ДУША ШКОЛЬНИКА

Чтобы проследить необычный и запутанный маршрут, проделанный за день дядей и племянником (или, точнее говоря, племянником и дядей), понадобилась бы большая карта Лондона. Племянник, свободный от уроков в тот день, считал себя большим докой по части техники и машин, эдаким богом-повелителем кебов, трамваев, поездов подземки и прочего транспорта, а дядя был при нем, в лучшем случае, жрецом, благоговейно служащим ему и приносящим жертвенные дары. Проще говоря, школьник был важен, как юный принц, совершающий путешествие, а его старший родственник оказался в ранге слуги, который, однако, оплачивает все расходы как хозяин. Школьник был известен миру под именем Саммерса Младшего, а друзьям — как Физик, что свидетельствовало об единственной пока дани общества его успехам в области любительской фотографии и электротехники. Дядя, преподобный Томас Твиффорд, был художавым, живым, седовласым и румяным стариком. В небольшом кругу церковных археологов, которые были единственными в мире людьми, способными понять и оценить собственные научные открытия, он занимал признанное и достойное место. Придирчивый человек наверняка заподозрил бы, что путешествие по Лондону нужно скорее дяде, чем племяннику. На самом деле священник действовал из самых лучших и отеческих побуждений. И все же, как многие умные люди, он не смог устоять перед

соблазном потешить себя игрушками, под тем предлогом, что развлекает ребенка. Его игрушками были короны и митры, скипетры и государственные мечи, и он, конечно, везде задерживался около них, убеждая себя, что мальчику необходимо познакомиться со всеми лондонскими достопримечательностями. И к концу дня, после долгого, утомительного обеда, он, в завершение путешествия, еще больше уступил своей слабости и решил посетить место, в которое не заманишь ни одного нормального мальчика. На северном берегу Темзы незадолго перед этим было обнаружено таинственное подземелье, по предположению — часовня, где не было в буквальном смысле слова ничего, кроме одной серебряной монеты. Но знатоку-ценителю эта монета казалась ценнее и привлекательнее Кохинора¹. Она была римской; говорили, что на ней изображен апостол Павел, и потому она вызывала ожесточенные споры, касающиеся ранней Британской Церкви. Вряд ли кто-нибудь станет отрицать, что Саммерса Младшего эти споры трогали весьма мало.

Да и вообще интересы и увлечения Саммерса Младшего уже несколько часов удивляли и забавляли его дядюшку. Племянник проявлял удивительное невежество и удивительную осведомленность английского школьника, который в некоторых вопросах куда сильнее многих взрослых. Например, в Хэмптон-Корте² он решил, что на воскресенье может забыть о кардинале Уолси и Вильгельме Оранском, но его невозможно было оттащить от электрических проводов и звонков соседнего отеля. Его порядком ошеломило Вестминстерское аббатство, что не удивительно с тех пор, как оно стало складом самых больших и самых плохих скульптур восемнадцатого столетия; зато он мгновенно разобрался в вестминстерских омнибусах — как разбирался во всех лондонских, цвета и номера которых он знал не хуже, чем геральдист знает геральдику. Он возмущился бы, если бы вы незначай спугали светло-зеленый падингтонский с

¹ Кохинор — знаменитый индийский бриллиант, в XIX в. стал одним из сокровищ британской короны.

² Хэмптон-Корт — дворец на Темзе, построен кардиналом Уолси.

темно-зеленым бейзуотерским, как возмутился бы его дядюшка, если бы вы спутали византийскую икону с католической статуей.

— Ты коллекционируешь омнибусы, как марки? — спросил он у племянника. — Для них, пожалуй, нужен довольно большой альбом. Или ты хранишь их в столе?

— Я храню их в голове, — с законной твердостью отвечал племянник.

— Что ж, это делает тебе честь, — заметил неподобный Томас Твифорд. — Наверное, не стоит и спрашивать, почему ты выбрал именно омнибусы из тысячи других вещей. Едва ли это пригодится тебе в жизни, разве что ты станешь помогать на улицах старушкам путать омнибусы, советуя им выбрать не тот, что надо. Сейчас, кстати, мы вынуждены покинуть один из них, ибо нам пора выходить. Я хочу показать тебе так называемую монету святого Павла.

— Она такая же большая, как собор святого Павла? — смиренно спросил отрок, когда они выходили.

У входа в подземелье их взоры привлек необычный человек, которого, судя по всему, привело сюда то же нетерпеливое желание. Это был темнолицый худой мужчина в длинном черном одеянии, похожем на сутану, но в странной черной шапочке, каких священнослужители не носят, напоминающей скорее всего древние головные уборы персов и вавилонян. Смешная черная борода росла лишь справа и слева по подбородку, а большие, странно посаженные глаза напоминали плоские очи древних египетских профилей. Дядя с племянником не успели рассмотреть его, как он нырнул в дверной проем, куда стремились и они.

Здесь, наверху, о существовании подземного святилища свидетельствовала лишь крепкая дощатая будка, какие нередко строят для военных и прочих государственных надобностей; деревянный пол ее, вернее, настил, был потолком раскопанного подземелья. Снаружи стоял часовой, а внутри за столом что-то писал офицер англо-индийских войск в немалом чине. Да, любители достопримечательностей сразу убеждались, что эту достопримечательность охраняют чрезвычайно строго. Я сравнивал серебря-

ную монету с Кохинором и пришел к выводу, что в одном они действительно схожи: по какой-то исторической случайности монета, как и бриллиант, была в числе королевских драгоценностей или, во всяком случае, королевских сокровищ,— до тех пор, пока один из принцев крови не вернул ее, совершенно официально, в святилище, где, как считали ученые, ей и полагалось быть. По этой и по другим причинам хранили ее с величайшими предосторожностями. Ходили странные слухи о том, что шпионы проносят в святилище взрывчатку, пряча ее в одежде и в личных вещах,— и начальство на всякий случай издало один из тех приказов, которые проходят как волны по бюрократической глади: посетителей обязали переодеваться в казенные власняницы, а когда это вызвало ропот — хотя бы выворачивать карманы в присутствии дежурного офицера. Нынешний дежурный, полковник Моррис, оказался невысоким энергичным человеком с суровым дубленным лицом и живыми насмешливыми глазами; противоречие это объяснялось тем, что он смеялся над приказами и строго следил за их неукоснительным выполнением.

— Лично я абсолютно равнодушен ко всяким этим монетам,— признался он, когда Твиффорд, с которым он был немного знаком, приступил было к нему с профессиональными расспросами,— но я ношу королевский мундир и мне не до шуток, когда дядя короля оставляет здесь монету под мою личную ответственность. А сам я на все эти святые мощи, реликвии и прочее смотрю по-вольтерьянски, так сказать, скептически.

— Не вижу, почему скептику легче верить в королевское семейство, чем в Святое Семейство,— отвечал Твиффорд.— Но карманы я, конечно, выверну, дабы вы убедились, что там нет бомбы.

Небольшая горка карманных мелочей, которую оставил на столе священник, состояла главным образом из бумаг, трубки с кисетом, нескольких римских и древнесаксонских монет, букинистических каталогов и церковных брошюр.

Содержимое карманов племянника, естественно, образовало несколько бóльшую кучу; в нее входили стеклянные шарики, моток бечевки, электрический

фонарик, магнит, рогатка и, конечно, большой складной нож — сложный агрегат, который он решил, по-видимому, продемонстрировать более детально — и стал показывать клещи-кусачки, коловорот для продырявливания дерева, а главное — инструмент для изымания камешков из лошадиных подков. Некоторым отсутствием лошадей он пренебрегал, ибо мыслил их лишь как легко заменимый придаток к замечательному инструменту.

Когда же очередь дошла до человека в черном, он не стал выворачивать карманов, а только вытянул руки ладонями кверху.

— У меня ничего нет,— сказал он.

— Боюсь, вам все же придется опустошить карманы, чтобы я мог удостовериться в этом,— довольно резко ответил полковник.

— У меня нет карманов,— сказал незнакомец.

Мистер Твифорд оглядел опытным взглядом его черное одеяние.

— Вы монах? — произнес он, несколько озадаченный.

— Я маг, — отвечал незнакомец.— Вы слышали, надеюсь, о магии? Я — волшебник.

— Ну да?! — вытаращил глаза Саммерс Младший.

— Раньше я был монахом,— продолжал незнакомец.— Но теперь я, как вы бы сказали, беглый монах. Да, я бежал в вечность. Однако монахи знают одну полезную истину: высшая жизнь чужда всякой собственности. У меня нет карманных денег и нет карманов, но все звезды на небе мои.

— Вам их не достать,— заметил полковник, явно радуясь за звезды.— Я знавал немало магов в Индии, видел фокусы с манго, и все такое прочее. Там они все мошенники, вы уж мне поверьте! Сам их часто разоблачал. Это было забавно. Гораздо забавнее, чем торчать здесь, во всяком случае... А вот идет мистер Саймон, он вас проводит в наш старый погреб.

Мистер Саймон, официальный хранитель и гид, оказался молодым человеком с преждевременной сединой; к его большому рту совсем не шли смешные темные усики с нафабранными концами, которые, казалось, случайно прилепились к верхней губе,

словно бы черная муха уселась ему на лицо. Он говорил очень правильно, как говорят чиновники, окончившие Оксфорд; и очень уныло, как все наемные гиды.

Они спустились по темной каменной лестнице, внизу Саймон нажал какую-то кнопку, и распахнулась дверь в темное помещение, вернее, в помещение, где только что было темно. Когда тяжелая, железная дверь отворилась, вспыхнул почти ослепительный свет, что привело в бурный восторг Физика, который тут же спросил, связаны ли как-то дверь и электричество.

— Да, это единая система,— ответил Саймон.— Она была смонтирована в тот день, когда его высочество положил сюда реликвию. Видите, монета заперта в стеклянной витрине и лежит точно так, как он ее здесь оставил.

Действительно, одного взгляда было достаточно, чтобы убедиться в том, что хранилище реликвии столь же прочно, сколь и просто. Большое стекло в железной раме отделяло угол комнаты, где стены были кирпичные, каменные, а потолок деревянный. Не было никакой возможности открыть витрину, не зная секрета — разве что разбить стекло, что, несомненно, разбудило бы — если бы даже он заснул — ночного сторожа, который всегда находился неподалеку... Глядя пристальней, можно было бы обнаружить еще более хитроумные приспособления, но взгляд преподобного Томаса Твифорда был прикован к тому, что его интересовало гораздо больше, — к тусклому серебряному диску, отчетливо выделявшемуся на гладком черном бархате.

— Монета святого Павла, отчеканенная, по преданию, в память посещения апостолом Павлом Британии, хранилась в этой часовне до восьмого века, — говорил Саймон четким и бесцветным голосом. — В девятом веке, как предполагается, ее захватили варвары, и она возвратилась сюда после обращения северных готов в христианство, как сокровище готских королей. Его королевское высочество герцог Готландский хранил ее самолично, а когда решил выставить ее для всеобщего обозрения, сам же и положил сюда. Она была сразу же навечно замурована стеклом, вот так.

В этот момент, как на грех, Саммерсу Младшему, чьи мысли, по одному ему понятным причинам, витали вдальеке от религиозных войн девятого столетия, попался на глаза маленький проводок, торчавший на месте отколовшегося кусочка стены, и он с неуместным воплем бросился к нему.

— Ого! А с чем он соединяется?..

Несомненно, с чем-то он соединялся, ибо не успел Физик дернуть за него, как весь склеп погрузился во тьму, словно находившиеся там в один миг ослепли, а в следующую секунду послышался глухой треск захлопнувшейся двери.

— Не волнуйтесь, сейчас все будет в порядке, — произнес гид своим бесстрастным голосом. И вскоре добавил: — Я полагаю, нас хватятся рано или поздно и постараются открыть дверь. Придется немного подождать.

Все помолчали, потом раздался голос неугомонного Физика:

— Вот попались! А я, как назло, наверху фонарик оставил...

— Кажется, — произнес мистер Твифорд со свойственной ему сдержанностью, — мы уже убедились в твоей любви к электричеству... — И после некоторой паузы добавил более миролюбиво: — А мне вот жаль, что я оставил трубку. Хотя, надо признаться, курить здесь не очень весело. В темноте все не так, как на свету.

— Да, в темноте все не так, — послышался третий голос — человека, назвавшегося магом. Голос был очень музыкальный и совсем не вязался с мрачным обликом его обладателя, сейчас невидимого. — Вы, должно быть, и не представляете, как страшна эта истина. Все, что вы видите наяву, — лишь изображения, созданные солнцем, — и лица, и утварь, и цветы, и деревья. А самих вещей вы, быть может, и не знаете. Быть может, там, где вы только что видели стол или стул, сейчас стоит что-то другое. Лицо вашего друга может оказаться совсем другим в темноте.

Короткий непонятный шум внезапно нарушил тишину подвала. Твифорд испугался на мгновение, а потом резко сказал:

— Вы не находите, что сейчас не время пугать ребенка?

— Это кто ребенок?! — негодуяще воскликнул Саммерс Младший ломающимся, петушиным голосом. — И кто это испугался? Только не я!

— Что ж, я буду молчать, — произнес третий голос. — Молчание и созидает и разрушает.

Желанная тишина восстановилась на довольно длительное время, пока наконец священник не спросил шепотом гида:

— Мистер Саймон, я полагаю, с вентиляцией здесь все в порядке?

— Да, — громко ответил тот, — у самой двери камин, наружу идет дымоход.

Грохот прыжка и упавшего стула со всей очевидностью показали, что нетерпеливый представитель подрастающего поколения снова куда-то кинулся. Послышался вопль.

— Дымоход! Так что ж я раньше... — И еще какие-то ликующие, полузадушенные вопли.

Преподобный Твифорд неоднократно взывал в пустоту и темноту, прокладывая ощупью путь к камину, и, увидев слабый диск дневного света, решил, что беглец не погиб. Возвращаясь к людям, стоявшим у витрины, он споткнулся об упавший стул, почти сразу пришел в себя и открыл было рот, чтобы заговорить с Саймоном, но так и замер, ибо в тот же миг его ослепил яркий свет. Глянув через чье-то плечо в сторону выхода, он увидел, что дверь открыта.

— Да, они нас хватились наконец, — сказал он Саймону.

Человек в черном стоял у стены, улыбаясь застывшей улыбкой.

— Вот полковник Моррис, — продолжал Твифорд, по-прежнему обращаясь к Саймону. — Кто-нибудь должен сказать ему, как выключился свет. Вы скажете?

Но Саймон молчал. Он стоял, как статуя, вперив неподвижный взгляд в черный бархат за стеклом; он глядел на бархат, так как больше смотреть было не на что. Монета святого Павла исчезла.

С полковником Моррисом было два новых посетителя, видимо, туристы, которых он хотел присоединить к экскурсии. Впереди неторопливо шел высокий лысый человек с огромным носом, а за ним —

кудрявый блондин помоложе с ясными, почти детскими глазами. Саймон едва ли их заметил; он вряд ли сознавал, что при свете его застывшая поза выглядит несколько странно, но быстро опомнился, виновато взглянул на них и, увидев старшего из новоприбывших, еще больше побледнел.

— Да это же Хорн Фишер! — воскликнул он и тихо добавил: — У меня беда, Фишер.

— Здесь, кажется, и впрямь пахнет тайной, которую неплохо бы разгадать, — откликнулся тот, кого назвали Фишером.

— Ее никому не разгадать, — сказал бледный Саймон, — разве что вам под силу. И никому больше.

— Почему же... Я мог бы, — раздался голос рядом с ними, и, обернувшись, они, к своему удивлению, увидели человека в черном.

— Вы?! — вспыхнул полковник. — Как же вы думаете начать розыски?

— А я и не собираюсь ничего искать, — ответил незнакомец звонким, как колокольчик, голосом. — Я не сыщик, а маг — один из тех, кого вы разоблачали в Индии, полковник.

Наступило молчание, но Хорн Фишер, ко всеобщему удивлению, сказал:

— Ладно. Поднимемся наверх, пусть он попробует. — Хорн Фишер остановил Саймона, который хотел нажать на выключатель: — Не надо, пусть свет горит — для пущей безопасности.

— Да теперь отсюда нечего уносить, — горько вздохнул Саймон.

— Уносить нечего, — сказал Фишер, — а принести можно.

Твифорд уже взбежал по лестнице, горя желанием разузнать что-нибудь о племяннике, и, действительно, получил известие от него, правда, несколько необычным путем, которое озадачило и утешило священника. На верхней площадке лежал бумажный дротик, которыми школьники швыряют друг в друга, когда в классе нет учителя. Этот влетел, очевидно, в окно и оказался посланием, начертанным ученическими каракулями: «Дорогой дядя, я в порядке. Встретимся в гостинице. Саммерс».

Мистер Твифорд все же немного успокоился и снова обратил свои мысли к драгоценной реликвии, ко-

торая в его сердце оспаривала первенство у любимого племянника. Не опомнившись как следует, он оказался среди людей, горячо обсуждавших исчезновение монеты, и быстро поддался общему возбуждению. Однако мысли о мальчике не покидали его, и он снова и снова терялся в догадках, где же Саммерс и что тот понимает под словами «Я в порядке».

Между тем Хорн Фишер озадачил присутствующих своим новым тоном и поведением. Он поговорил с полковником о военном деле и о разных технических нововведениях и продемонстрировал удивительные познания и в тонкостях воинской дисциплины, и в электротехнике. Он поговорил со священником и выказал поразительную осведомленность в религиозных вопросах и исторических событиях, связанных с реликвией. Он поговорил с человеком, назвавшимся магом, и не только удивил, но и шокировал всех своими знаниями самых диких видов восточного оккультизма и духовидения. Больше того — в этой последней из сфер расследования он, очевидно, готов был зайти дальше всего, ибо открыто поощрял мага и явно приготовился следовать за ним куда угодно.

— С чего же вы думаете начать? — спросил он с подчеркнутой любезностью, чрезвычайно рассердившей полковника.

— Все дело в особой силе, в создании условий для воздействия этой силы, — любезно отвечал посвященный, словно не слыша гневных замечаний полковника о том, что к нему самому следовало бы применить силу. — У вас на Западе ее принято называть «животным магнетизмом». Однако она — много больше. Для начала нужно найти очень впечатлительного человека и погрузить его в транс. Он будет как бы мостом для этой силы, ее средством связи. Сила воздействует на него извне — он как бы в электрошоке — и пробуждает в нем высшие чувства, раскрывает спящий глаз разума.

— Я очень впечатлительный, — сказал Фишер то ли простодушно, то ли насмешливо. — Почему бы вам не открыть глаз разума во мне? Мой друг, присутствующий здесь Гарольд Марч, может подтвердить, что я иногда даже вижу в темноте.

— Все видят только в темноте, — сказал маг.

Тяжелые вечерние облака сгустились над деревянным домиком, в маленьком оконце были видны их рваные края, подобные пурпурным рогам и хвостам, словно где-то рядом бродили хищные чудовища. Но багрянец быстро тускнел и становился темно-серым; приближалась ночь.

— Не зажигайте света, — спокойно и уверенно проговорил маг, заметив, что кто-то потянулся к выключателю. — Я ведь сказал вам, что все происходит только в темноте.

Каким образом эта нелепая сцена могла произойти именно в кабинете полковника Морриса, навсегда осталось загадкой для многих ее участников, включая и самого полковника. Они вспоминали ее, как страшный сон, им неподвластный. Возможно, на них и в самом деле действовал магнетизм, которым владел странный незнакомец. Во всяком случае, одного из них он загипнотизировал. Ибо Хорн Фишер свалился в кресло и лежал там, свесив ноги и уставившись в пустоту, а маг гипнотизировал его, делая пассы, — взмахивая руками, как зловещими черными крыльями. Полковник закурил сигару. Воинственный пыл его поубавился, и он воспринимал происходящее как очередной заскок высокородных эксцентриков, утешаясь тем, что успел послать за полицией, которая прекратит весь этот маскарад.

— Да, я вижу карманы, — говорил между тем Хорн Фишер. — Я вижу много карманов, но все они пусты. Нет, погодите... я вижу один не пустой карман.

В тишине послышался слабый шорох, и маг сказал:

— Можете вы увидеть, что в этом кармане?

— Да, — последовал ответ. — Там два блестящих предмета. По-моему, они из стали. Один — погнут или искривлен.

— Пользовались ли им, чтобы переместить реликвию из подвала?

— Да.

Наступила новая пауза, и первый голос сказал:

— А не видите ли вы самой реликвии?

— Я вижу что-то блестящее на полу, как бы тень или призрак монеты. Оно сейчас вот там, в углу, за столом.

Все молча обернулись, онемев от изумления. В углу, позади стола, на деревянной полке слабо светилось круглое пятнышко. Это было единственное пятно света в комнате. Сигара полковника погасла.

— Оно указывает Путь,— вещал между тем оракул.— Духи указывают Путь к раскаянию и побуждают вора вернуть украденное... Больше я ничего не вижу...— И голос постепенно замер в тяжелой тишине.

Ее нарушило звяканье металла о дерево. Что-то завертелось и шлепнулось — словно на пол швырнули полупенсовую монету.

— Зажгите свет! — воскликнул Фишер довольно громко и даже весело, вскакивая на ноги с несбыточной для него резвостью.— Мне нужно уходить, но я все-таки хотел бы взглянуть на нее... Я ведь для этого и пришел.

Свет зажгли, и он увидел то, что хотел: монета святого Павла лежала на полу у его ног.

— ...Что до той вещицы,— объяснил Фишер, пригласивший Марча и Твифорда на ленч примерно через месяц,— мне просто захотелось сыграть с этим магом в его собственную игру.

— Я думал, что вы решили поймать его в его же ловушку,— сказал Твифорд.— И до сих пор ничего не понимаю. Но, признаться, он с самого начала вызвал у меня подозрение. Я не хочу сказать, что он вор в вульгарном смысле слова. Среди полицейских бытует мнение, что деньги крадут только из-за самих денег, но ведь эту монету можно было похитить из религиозной мании. Беглому монаху, ставшему вольным мистиком, она могла понадобиться для какой-нибудь высшей цели.

— Нет,— ответил Фишер.— Беглый монах — не вор. Во всяком случае, монеты он не крал. И даже в заведомой лжи его обвинить трудно, так как в одном отношении он оказался целиком прав.

— В чем же именно? — спросил Марч.

— Он сказал, что во всем повинен магнетизм. Так оно и было. Кража была совершена при помощи обыкновенного магнита.

Затем, увидев неподдельное изумление на лицах собеседников, он добавил:

— Это был игрушечный магнит вашего племянника, мистер Твифорд.

— Простите,— возразил Марч.— Коль скоро это так, выходит, кражу совершил школьник!

— Вот именно,— задумчиво произнес Фишер.— Только вот какой школьник?..

— Что вы хотите сказать?!

— Душа школьника — любопытная штука,— продолжал Фишер все так же раздумчиво.— Она способна пережить многое, кроме лазания по дымоходам. Человек может поседеть в боях, а душа у него останется все та же — мальчишеская. Человек может вернуться во славе из Индии, а у него — душа школьника, и она ждет только случая, чтобы проявить себя. Это во много раз сильнее, если школьник — еще и скептик: ведь скепсис чаще всего — упрямое мальчишество. Вот вы сейчас сказали, что это можно было сделать из религиозной мании. А вы слышали когда-нибудь об антирелигиозной мании? Поверьте, она существует и свирепствует всего сильнее среди тех, кто любит разоблачать индийских факиров.

— Неужели вы думаете,— сказал Твифорд,— что реликвию похитил полковник Моррис?

— Только он один мог воспользоваться магнитом,— ответил Хорн Фишер.— Ваш племянник любезно оставил ему много полезных вещей. В его распоряжении оказался моток бечевки и, заметьте, инструмент для просверливания отверстий в дереве. Кстати, с этой дыркой в полу я немного схитрил... Там просто были пятна света, они проникли сквозь нее и блестели, как новенький шиллинг.

Твифорд подскочил в кресле.

— Почему же,— крикнул он не своим голосом,— почему вы сказали... что там сталь?

— Я сказал, что вижу два кусочка стали,— ответил Фишер.— Гнутый кусок — это был магнит вашего племянника. Другой кусок — монета.

— Но она же серебряная,— возразил археолог.

— В том-то вся и штука,— пояснил Фишер,— она была только покрыта тонким слоем серебра.

Наступило тягостное молчание; наконец Гарольд Марч произнес:

— А где же, в таком случае, настоящая реликвия?

— Там, где она и была последние пять лет,— ответил Хорн Фишер.— В Небраске. У выжившего из ума американского миллионера по фамилии Вендем.

Гарольд Марч хмуро уставился в скатерть. Затем он сказал:

— Кажется, я начинаю понимать. Дело было так. Полковник Моррис просверлил дырку в потолке подвала и выудил монету бечевкой с магнитом. На такие трюки способны только ненормальные люди, но я догадываюсь, почему он спятил,— нелегко сторожить подделку, если сам об этом догадываешься, а доказать — не можешь. И вот появился случай в этом убедиться. И он решился, как в былые времена, подшутить над магом. Да, теперь мне многое ясно. Одного я никак не возьму в толк: как вообще вместо реликвии здесь оказалась поддельная монета?

Фишер, не шелохнувшись, долго смотрел на него сквозь полуопущенные веки.

— Были предприняты все меры предосторожности,— сказал он.— Герцог сам принес реликвию и сам ее запер...

Марч молчал, а Твифорд пробормотал, запинаясь:

— Я вас не понимаю. Это ерунда какая-то. Вы не можете говорить яснее?

— Ну что ж,— сказал Фишер со вздохом.— Самая главная ясность в том, что дело это — грязное. Все это знают, кто хоть как-то с этим связан. Но так уж оно повелось, и не нам их судить. Влюбишься в заморскую принцессу, пустую и надутую, как кукла,— и пропал. На сей раз герцог пропал надолго и всерьез.

— Не знаю, была ли это благопристойная морганатическая связь, но нужно быть сущим болваном, чтобы швырять тысячи на таких женщин. Под конец это превратилось в неприкрытый шантаж. Но старый осел, к его чести, не стал выкачивать деньги из налогоплательщиков. Выручил его американец. Вот и все...

— Ну, я счастлив, что мой племянник не причастен к этому,— произнес преподобный Томас Твиффорд.— И если высший свет таков, я надеюсь, что он никогда не будет с ним связан...

— Уж кто-кто, а я-то знаю,— сказал Фишер,— что иногда приходится быть с ним связанным.

Саммерс Младший и вправду был совершенно с этим не связан, и высокая его доблесть отчасти в том и состояла, что он не был связан ни с этой историей и ни с какой другой. Он пулей пролетел сквозь все хитросплетения нечестной политики и злой иронии и вылетел с другой стороны, влекомый своей невинной целью. С трубы, по которой он вылез на волю, он увидел новый омнибус, цвет и марка которого были ему еще незнакомы, как видит натуралист новую птицу или неведомый цветок. И он кинулся за ним и уплыл на этом волшебном корабле.

«БЕЛАЯ ВОРОНА»

Гарольд Марч и те немногие, кто поддерживал знакомство с Хорном Фишером, замечали, что при всей своей общительности он довольно одинок. Они встречали его родных, но ни разу не видели членов его семьи. Его родственники и свойственники пронизывали весь правящий класс Великобритании, и казалось, что почти со всеми он дружит или хотя бы ладит. Он отлично знал вице-королей, министров и важных персон и мог потолковать с каждым из них о том, к чему собеседник относился серьезно. Так, он беседовал с военным министром о шелковичных червях, с министром просвещения — о сыщиках, с министром труда — о лиможских эмалях, с министром религиозных миссий и нравственного совершенства (надеюсь, я не спутал?) — о прославленных мимах последних четырех десятилетий. А поскольку первый был ему кузеном, второй — троюродным братом, третий — зятем, а четвертый — мужем тетки, эта гибкость способствовала, бесспорно, укреплению семей-

ных уз. Однако Гарольд Марч считал, что у Фишера нет ни братьев, ни сестер, ни родителей, и очень удивился, когда узнал его брата — очень богатого и влиятельного, хотя, на взгляд Марча, гораздо менее интересного. Сэр Генри Гарленд Фишер (после его фамилии шла еще длинная вереница имен) занимал в министерстве иностранных дел какой-то пост, куда более важный, чем пост министра. Держался он очень вежливо, тем не менее Марчу показалось, что он смотрит сверху вниз не только на него, но и на собственного брата. Последний, надо сказать, чутьем угадывал чужие мысли и сам завел об этом речь, когда они вышли из высокого дома на одной из фешенебельных улиц.

— Как, разве вы не знаете, что в нашей семье я дурак? — спокойно промолвил он.

— Должно быть, у вас очень умная семья, — с улыбкой заметил Марч.

— Вот она, истинная любезность! — отозвался Фишер. — Полезно получить литературное образование. Что ж, пожалуй, «дурак» слишком сильно сказано. Я в нашей семье банкрот, неудачник, «белая ворона».

— Не могу себе представить, — сказал журналист. — На чем же вы срезались, как говорят в школе?

— На политике, — ответил Фишер. — В ранней молодости я выставил свою кандидатуру и прошел в парламент «на ура», огромным большинством. Разумеется, с тех пор я жил в неизвестности.

— Боюсь, я не совсем понял, при чем тут «разумеется», — засмеялся Марч.

— Это и понимать не стоит, — сказал Фишер. — Интересно другое. События разворачивались, как в детективном рассказе. К тому же тогда я впервые узнал, как делается современная политика. Если хотите, расскажу.

Дальше вы прочитаете то, что он рассказал, — правда, здесь это меньше похоже на притчу и на беседу.

Те, кому в последние годы довелось встречаться с сэром Генри Гарлендом Фишером, не поверили бы, что когда-то его звали Гарри. На самом же деле

в юности он был очень ребячлив, а присущая ему толстокожесть, принявшая ныне форму важности, проявлялась тогда в неумной веселости. Друзья сказали бы, что он стал таким непробиваемо взрослым, потому что смолоду был по-настоящему молод. Враги сказали бы, что он сохранил былую легкость в мыслях, но утратил добродушие. Как бы то ни было, история, поведенная Хорном Фишером, началась тогда, когда юный Гарри стал личным секретарем лорда Солтауна. Дальнейшая связь с министерством иностранных дел перешла к нему как бы по наследству от этого великого человека, вершившего судьбы империи. В Англии было три или четыре таких государственных деятеля; огромная его работа оставалась почти неведомой, а из него можно было выудить только грубые и довольно циничные шутки. Тем не менее, если бы лорд Солтаун не обедал как-то у Фишеров и не сказал там одной фразы, простая застольная острота не породила бы детективного рассказа.

Кроме лорда Солтауна, в гостиной были только Фишеры, — второй гость, Эрик Хьюз, удалился сразу после обеда, покинув своих сотрапезников за кофе и сигарами. Он очень серьезно и красноречиво говорил за столом, но, отобедав, немедленно ушел на какое-то деловое свидание. Это было весьма для него характерно. Редкая добросовестность уживалась в нем с позерством. Он не пил вина, но слегка пьянел от слов. Портреты его и слова красовались в то время на первых страницах всех газет: он оспаривал на дополнительных выборах место, прочно забронированное за сэром Фрэнсисом Вернером. Все говорили о его громовой речи против засилья помещиков; даже у Фишеров все говорили о ней — кроме Хорна, который, притулившись в углу, мешал кочергой в камине. Тогда, в молодости, он был не вялым, а скорее угрюмым. Определенных занятий он не имел, рылся в старинных книгах и — один из всей семьи — не претендовал на политическую карьеру.

— Мы здорово ему обязаны, — говорил Эштон Фишер. — Он вдохнул новую жизнь в нашу старую партию. Эта кампания против помещиков бьет в большое место. Она расшевелила остатки нашей демократии. Актом о расширении полномочий местного

совета мы, в сущности, обязаны ему. Он, можно сказать, диктует законы раньше, чем попал в парламент.

— Ну, это и впрямь легче,— беспечно сказал Гарри.— Держу пари, что лорд в этом графстве большая шишка, поважнее совета. Вернер сидит крепко. Все эти сельские местности, что называется, реакционны. Тут ничего не попишешь, сколько ни ругай аристократов.

— А ругает он их мастерски,— заметил Эптон.— У нас никогда не было такого удачного митинга, как в Баркингтоне, хотя там всегда проходили конституционалисты. Когда он сказал: «Сэр Фрэнсис кичится голубой кровью — так покажем ему, что у нас красная кровь!» — и повел речь о мужестве и свободе, его чуть не вынесли на руках.

— Говорит он хорошо,— пробурчал лорд Солтаун, впервые проявляя интерес к беседе.

И тут заговорил столь же молчаливый Хорн, не отводя задумчивых глаз от пламени в камине.

— Я одного не понимаю,— сказал он.— Почему людей не ругают за то, за что их следует ругать?

— Эге,— насмешливо откликнулся Гарри,— значит, и тебя пробрало?

— Возьмите Вернера,— продолжал Хорн.— Если мы хотим напасть на него, почему не напасть прямо? Зачем присваивать ему романтический титул реакционного аристократа? Кто он такой? Откуда он взялся? Фамилия у него как будто старинная, но что-то я о ней не слышал. К чему говорить о его голубой крови? Да будь она хоть желтая с прозеленью — какое нам дело? Мы знаем одно: прежний владелец земли, Гокер, каким-то образом промотал свои деньги и, наверное, деньги второй жены и продал поместье человеку по фамилии Вернер. На чем же тот разбогател? На керосине? На поставках для армии?

— Не знаю,— сказал Солтаун, задумчиво глядя на Хорна.

— В первый раз слышу, что вы чего-то не знаете! — воскликнул пылкий Гарри.

— И это еще не все,— продолжал Хорн, внезапно обретший дар слова.— Если мы хотим, чтобы деревня голосовала за нас, почему мы не выдвинем кого-

нибудь хоть немного знакомого с деревней? Горожанам мы вечно долбим о репе и свинарниках. А с крестьянами почему-то говорим исключительно о городском благоустройстве. Почему не раздать землю арендаторам? Зачем припутывать сюда совет графства?

— Три акра и корову! — выкрикнул Гарри (точнее, издал то самое, что называют в парламентских отчетах ироническим возгласом).

— Да, — упрямо ответил его брат. — Ты думаешь, земледельцы и батраки не предпочтут три акра земли и корову трем акрам бумаги с советом в придачу? Почему не учредить крестьянскую партию? Ведь старая Англия славилась йоменами — мелкими землевладельцами. И почему не преследовать таких, как Вернер, за их настоящие пороки? Ведь он так же чужд Англии, как американский нефтяной трест!

— Вот сам и возглавил бы этих йоменов, — засмеялся Гарри. — Ну и потеха!.. Вы не находите, лорд Солтаун? Хотел бы я посмотреть, как мой братец поведет в Сомерсет веселых молодцов с самострелами! Конечно, все будут в зеленом сукне, а не в шляпах и пиджаках.

— Нет, — ответил старик Солтаун. — Это не потеха. По-моему, это чрезвычайно серьезная и разумная мысль.

— Ах ты черт! — воскликнул Гарри и удивленно воззрился на него. — Я только что сказал, что вы в первый раз чего-то не знаете. А теперь скажу, что вы впервые не поняли шутки.

— Я за свою жизнь навидался всякого, — довольно сухо сказал старик. — Столько раз я говорил неправду, что она мне порядком надоела. И все-таки должен сказать, что неправда неправде рознь. Дворяне лгут, как школьники, потому что держатся друг за друга и в какой-то мере друг друга выгораживают. Но убей меня бог, если я понимаю, зачем нам лгать ради каких-то проходимцев, которые пекутся только о себе. Они нас не выгораживают, а просто-напросто выпирают. Если такой человек, как ваш брат, захочет пройти в парламент от йоменов, дворян, якобитов или староангличан, я скажу, что это великолепно!

Секунду все молчали. Вдруг Хорн вскочил, вся его вялость исчезла.

— Я готов хоть завтра! — воскликнул он. — Вероятно, никто из вас меня не поддержит?

Тут Генри Фишер показал, что в его экспансивности есть и хорошие стороны. Он повернулся к брату и протянул ему руку.

— Ты молодчина, — сказал он. — И я тебя поддержу, даже если другие не поддержат... Поддержим его, а? Я понимаю, куда клонит лорд Солтаун. Разумеется, он прав. Он всегда прав.

— Значит, я еду в Сомерсет, — сказал Хорн Фишер.

— Это по пути в Вестминстер, — улыбнулся лорд Солтаун.

И вот через несколько дней Хорн Фишер прибыл в городок одного из западных графств и сошел на маленькой станции. С собой он вез легкий чемоданчик и легкомысленного брата. Не надо думать, что брат только и умел что зубоскалить, — он поддерживал нового кандидата не просто весело, но и с толком. Сквозь его шутливую фамильярность просвечивало горячее сочувствие. Он всегда любил своего спокойного и чудаковатого брата, а теперь, по-видимому, стал его уважать. По мере того как кампания развертывалась, уважение перерастало в пламенное восхищение. Гарри был молод и еще мог обожать застрельщика в предвыборной игре, как обожает школьник лучшего игрока в крикет.

Надо сказать, восхищаться было чем. Трехсторонний спор разгорался — и не только родным, но и чужим открывались неведомые дотоле достоинства младшего Фишера. У фамильного очага просто вырвалось на волю то, о чем он долго размышлял: он давно лелеял мысль выставить новое крестьянство против новой плутократии. Всегда — и в те дни, и позже — он изучал не только нужную тему, но и все, что попадалось под руку. Обращения его к толпе блистали красноречием, ответы на каверзные вопросы блистали юмором. Природа с избытком наделила его этими двумя насущными для политика талантами. Разумеется, он знал о деревне гораздо больше, чем кандидат ре-

формистов Хьюз или кандидат конституционалистов сэр Фрэнсис Вернер. Он изучал ее так пылко и основательно, как им и не снилось. Вскоре он стал глашатаям народных чаяний, никогда еще не выходявших в мир газет и речей. Он умел увидеть проблему с неожиданной точки зрения; он приводил доказательства и доводы, привычные не в устах джентльмена, а за кружкой пива в захолустном кабаке; воскрешал полузабытые надежды; мановением руки или словом переносил людей в далекие века, когда деды их были свободными. Такого еще не видали, и страсти накалялись.

Людей просвещенных его мысли поражали новизной и фантастичностью. Люди невежественные узнавали то, что давно думали сами, но никогда не надеялись услышать. Все увидели вещи в новом свете и никак не могли понять, закат это или заря нового дня.

Успеху способствовали и обиды, которых крестьяне натерпелись от Вернера. Разъезжая по фермам и постоялым дворам, Фишер убедился, что сэр Фрэнсис очень дурной помещик. Как он и предполагал, тот воцарился тут недавно и не совсем достойным способом. Историю его воцарения хорошо знали в графстве, и, казалось бы, она была вполне ясна. Прежний помещик Гокер — человек распутный и темный — не ладил с первой женой и, по слухам, свел ее в могилу. Потом он женился на красивой и богатой даме из Южной Америки. Должно быть, ему удалось в кратчайший срок спустить и ее состояние, так как он продал землю Вернеру и переселился в Америку, вероятно, в поместье жены. Фишер подметил, что распущенность Гокера вызывала гораздо меньше злобы, чем деловитость Вернера. Насколько он понял, новый помещик занимался, в основном, сделками и махинациями, успешно лишая ближних спокойствия и денег. Фишер наслушался про него всякого; только одного не знал никто, даже сам Солтаун. Никак не удавалось выяснить, откуда Вернер взял деньги на покупку земли.

«Должно быть, он особенно тщательно это скрывает, — думал Хорн Фишер. — Наверное, очень стыдится. Черт! Чего же в наши дни может стыдиться человек?»

Он перебирал подлости, одна страшней и чудовищней другой; древние, гнусные формы рабства и ведовства мерещились ему, а за ними — не менее мерзкие, хотя и более модные пороки. Образ Вернера преображался, чернел все гуще на фоне чудовищных сцен и чужих небес.

Погрузившись в размышления, он шел по улице и вдруг увидел соперника, столь непохожего на него. Эрик Хьюз садился в машину, договаривая что-то на ходу своему агенту; белокурые волосы развевались, лицо у него было возбужденное, как у студента-старшекурсника. Завидев Фишера, Хьюз дружески помахал рукой. Но агент — коренастый, мрачный человек по фамилии Грайс — взглянул на него недружелюбно. Хьюз был молод, искренне увлекался политикой и знал к тому же, что с противником можно встретиться на званом обеде. Но Грайс был угрюмый сельский радикал, ревностный нонконформист, один из тех немногих счастливцев, у которых совпали дело и хобби. Когда машина тронулась, он повернулся спиной и зашагал, насвистывая, по крутой улочке. Из кармана у него торчали газеты.

Фишер задумчиво поглядел ему вслед и вдруг, словно повинуясь порыву, двинулся за ним. Они прошли сквозь суету базара, меж корзин и тележек, миновали деревянную вывеску «Зеленого дракона», свернули в темный переулок, вынырнули из-под арки и снова нырнули в лабиринт мощенных булыжником улиц. Решительный, коренастый Грайс важно выступал впереди, а тощий Фишер скользил за ним словно тень в ярком солнечном свете. Наконец они подошли к бурому кирпичному дому; медная табличка у дверей извещала, что в нем живет мистер Грайс. Хозяин дома обернулся и с удивлением увидел своего преследователя.

— Не разрешите ли побеседовать с вами, сэр? — вежливо осведомился Фишер.

Агент удивился еще больше, но кивнул и любезно провел гостя в кабинет, заваленный листовками и увешанный пестрыми плакатами, сочетавшими имя Хьюза с высшим благом человечества.

— Мистер Хорн Фишер, если не ошибаюсь, — сказал Грайс. — Ваш визит, конечно, большая честь для меня. Однако не буду лукавить: меня совсем не

радует, что вы вступили в спор. Да вы и сами знаете. Мы здесь храним верность старому знамени свободы, а вы являетесь и ломаете наши боевые ряды.

Мистер Элайджа Грайс не любил милитаризма, но питал пристрастие к военным метафорам. У него была квадратная челюсть, грубое лицо и драчливо взлохмаченные брови. В политику он ввязался чуть не мальчишкой, знал все и вся и отдал политической борьбе свое сердце.

— Вероятно, вы думаете, что меня гложет честолюбие,— сказал Хорн Фишер, как всегда, с расстановкой.— Мечу, так сказать, в диктаторы. Что ж, сниму с себя это подозрение. Просто я хочу кое-чего добиться. Но сам делать ничего не хочу. Я очень редко хочу что-нибудь делать. И я пришел сюда, чтобы сказать: я готов немедленно прекратить борьбу, если вы мне докажете, что мы оба добиваемся одного и того же.

Агент реформистов растерянно взглянул на него, но Фишер не дал ему ответить и продолжал так же медленно:

— Как ни трудно в это поверить, я еще не потерял совести и меня терзают сомнения. Например, мы оба хотим провалить Вернера, но как? Я слышал о нем пропасть сплетен, но можно ли пользоваться сплетнями? Я хочу вести себя честно и с вами и с ним. Если хоть часть слухов верна, перед ним надо закрыть дверь парламента, как закрыли бы дверь любого клуба. Но если они неверны, я не хочу ему вредить.

Тут боевой огонек вспыхнул в глазах Грайса, и он заговорил пылко, если не сказать — гневно. Он-то не сомневался, что все рассказы верны, и подкрепил их собственными. Вернер не только жесток, но и подл, он разбойник и кровопийца, он дерет с крестьян три шкуры, и всякий порядочный человек вправе от него отвернуться. Он выжил старика Уилкинса с земли подло, как карманный вор; он довел до богадельни тетку Биддл; а когда он вел тяжбу с Длинным Адамом, браконьером, судьи краснели за него.

— Так что, если вы встанете под старое знамя,— бодро закончил Грайс,— и свалите такого мерзавца, вы об этом не пожалеете!

— Но раз все это правда, — сказал Фишер, — вы расскажете ее?

— То есть как это? Сказать правду? — удивился Грайс.

— Сказали же вы мне, — ответил Фишер. — Расклейте по городу плакаты про старика Уилкинса. Заполните газеты гнусной историей с тетушкой Биддл. Изобличите Вернера публично, призовите его к ответу, расскажите про браконьера, которого он преследовал. А кроме того, разузнайте, как он добыл деньги, чтобы купить землю, и открыто расскажите об этом. Тогда я стану под старое знамя и спущу свой маленький вымпел.

Агент смотрел на него кислотовато, хотя и дружелюбно.

— Ну, знаете!.. — протянул он. — Такие вещи приходится делать по правилам, как положено, а то никто ничего не поймет. У меня очень большой опыт, и я боюсь, что ваш способ не годится. Люди понимают, когда мы обличаем помещиков вообще; но личные выпады делать непорядочно. Это — удар ниже пояса.

— У старого Уилкинса, наверное, пояса нет и в помине, — сказал Фишер. — Вернер может бить его куда попало, никто и слова не скажет. Очевидно, главное — иметь пояс. А пояса бывают только у важных персон. Может быть, — задумчиво прибавил он, — так и надо толковать старинное выражение «препоясанный граф», смысл которого всегда ускользал от меня.

— Я хочу сказать, что нельзя переходить на личности, — хмуро сказал Грайс.

— А тетушка Биддл и Адам-браконьер не личности, — сказал Фишер. — Что ж, видимо, не приходится спрашивать, каким образом Вернер сколотил деньги и стал... личностью.

Грайс по-прежнему смотрел на него из-под нависших бровей, но странный огонек в его глазах стал светлее. Наконец он заговорил другим, более спокойным тоном:

— Послушайте, а вы мне нравитесь. Я думаю, вы действительно человек честный и стоите за народ. Может быть, вы гораздо честнее, чем сами думаете. Тут нельзя действовать напролом, так что лучше не

вставайте под наше знамя, играйте на свой страх и риск. Но я уважаю вас и вашу смелость и окажу вам на прощанье хорошую услугу. Я не хочу, чтобы вы ломались в открытую дверь. Вы спрашиваете, каким образом новый помещик добыл деньги и как разорился старый? Отлично. Я скажу вам кое-что ценное. Очень немногие об этом знают.

— Спасибо,— серьезно сказал Фишер.— Что же это такое?

— Буду краток,— ответил Грайс.— Новый помещик был очень беден, когда получил земли. Старый помещик был очень богат, когда их потерял.

Фишер в раздумье глядел на него, а он резко отвернулся и принялся перебирать бумаги на письменном столе. Кандидат снова поблагодарил его, простился и вышел на улицу, по-прежнему в большой задумчивости.

Раздумья его, по-видимому, привели к какому-то решению, и, ускорив шаг, он вышел на дорогу, ведущую к воротам огромного парка, принадлежавшего сэру Фрэнсису. День был солнечный, и ранняя зима походила на позднюю осень, а в темных лесах еще пестрели кое-где красные и золотые листья, словно последние клочки заката. Путь пролегал через пригорки, и Фишер увидел сверху, у самых своих ног, длинный классический фасад, усеянный окнами. Но когда дорога спустилась к ограде поместья, за которой высились деревья, он сообразил, что до ворот усадьбы добрых полмили. Он пошел вдоль ограды и через несколько минут увидел, что в одном месте в стене образовалась брешь и ее, по-видимому, чинят. В серой каменной кладке, будто темная пещера, зиял большой пролом, но, приглядевшись, Фишер рассмотрел за ним шелестящие в полутьме деревья. Этот неожиданный пролом был словно заколдованный вход в сказочную страну.

Он прошел через этот темный и незаконный ход так же свободно, как входят в собственный дом, думая, что это укоротит путь. Довольно долго он не без труда пробирался по темному лесу; наконец внизу, сквозь деревья, замерцали непонятные серебряные полосы. Тут он вышел на свет и очутился на крутом обрыве. Внизу, по краю красивого озера, вилась тропинка. Пелена воды, мерцавшая сквозь деревья, была до-

вольно широка и длинна, а со всех сторон ее окружала стена леса — не только темного, но и жуткого. На одном конце тропинки стояла статуя безголовой нимфы, на другом — две классические урны; мрамор был изъеден непогодой и испещрен зелеными и серыми пятнами. Сотня признаков — мелких, но красноречивых — говорила о том, что Фишер забрел в дальний, заброшенный уголок парка. Посреди озера виднелся остров, а на острове — павильон, задуманный, видимо, в стиле античного храма, хотя дорические колонны соединяла глухая стена. Нужно сказать, что остров только казался островом: от берега к нему шла перемычка из плоских камней, превращавшая его в полуостров. И разумеется, храм только казался храмом: Фишер прекрасно знал, что никакой бог не обитал никогда под его сенью.

«Вот почему все эти классические украшения садов так унылы, — подумал он. — Унылее Стоунхенджа и пирамид. Мы не верим в египетских богов, египтяне же верили, и я думаю, даже друиды верили в друидизм. Но дворянин восемнадцатого столетия, построивший эти храмы, верил в Венеру или Меркурия не больше нашего. Отражение в озере этих бледных колонн поистине только тень тени. В век разума сады заселяли каменными нимфами, но за всю историю не было людей, которые так мало надеялись бы встретить живую нимфу в лесу».

Монолог его был прерван грохотом, похожим на удар грома. Эхо мрачно гудело вокруг печального озера, и Фишер понял, что кто-то выстрелил из ружья. Странные мысли закружились в его мозгу, но он тут же засмеялся: невдалеке, на тропинке, лежала убитая птица.

В ту же минуту он увидел и нечто другое, куда более загадочное. Храм окружало кольцо густых деревьев с темной листвой, и Фишер заметил, что листва как будто зашевелилась. Он был прав: какой-то оборванный человек выступил из тени храма и шагал к берегу по плоским камням. Даже сверху он казался на удивление высоким, и Фишер увидел, что под мышкой он держит ружье. В памяти сразу всплыли слова: «Длинный Адам, браконьер».

Мгновенно сообразив, что делать, Фишер прыгнул с обрыва и побежал вокруг озера к началу пере-

шейка. Он понимал: если браконьер дойдет до суши, он может немедленно скрыться в чаще. Фишер вступил на плоские камни, и Адам оказался в ловушке; ему оставалось одно — вернуться к храму. Так он и сделал. Прислонившись к стене широкой спиной, он ждал, приготовившись к защите. Он был довольно молод; над тонким худым лицом пламенели лохматые волосы, а выражение его глаз испугало бы всякого, кто очутился бы с ним наедине на пустынном острове.

— Здравствуйте, — приветливо сказал Фишер. — Я было принял вас за убийцу. Но вряд ли эта куропатка кинулась между нами из любви ко мне, как романтическая героиня. Так что вы, вероятно, браконьер?

— Не сомневаюсь, что вы назовете меня браконьером, — ответил незнакомец, и Фишера удивило, что такое пугало говорит изысканно и резко, как те, кто блюдет свою утонченность среди необразованных людей. — Я имею полное право стрелять тут дичь. Но я прекрасно знаю, что люди вашего сорта считают меня вором. Полагаю, вы постараетесь упереть меня в тюрьму.

— Тут есть небольшие осложнения, — ответил Фишер. — Начать с того, что вы мне польстили: я не егеря, и уж никак не три егеря, а только они справились бы с вами. Есть у меня еще одна причина не тащить вас в тюрьму.

— Какая? — спросил Адам.

— Да просто я с вами согласен, — ответил Фишер. — Не знаю, какие у вас права, но мне всегда казалось, что браконьер совсем не то, что вор. Трудно понять, что человек получает в собственность любую птицу, которая пролетит над его садом. С таким же основанием можно сказать, что он владеет ветром или может расписаться на утреннем облаке. И еще одно: если мы хотим, чтобы бедные уважали собственность, мы должны дать им свою собственность. Вам следовало бы иметь хоть клочок собственной земли, и я вам его дам, если смогу.

— Дадите мне клочок земли!.. — повторил Длинный Адам.

— Простите, что я говорю с вами, как на митинге, — сказал Фишер, — но я политический дея-

тель совершенно нового типа и говорю одно и то же публично и в частной беседе. Я повторял это сотням людей по всему графству и повторяю вам на этом странном островке, среди унылого пруда. Это поместье я разделил бы на мелкие участки и роздал бы их всем, даже браконьерам. Человек вроде вас должен иметь свой уголок, чтобы разводить там... не фазанов, конечно, а хотя бы цыплят.

Адам внезапно выпрямился. Он побледнел и вспыхнул, словно его оскорбили.

— «Цыплят!» — презрительно и гневно повторил он.

— А что ж? — спросил невозмутимый кандидат. — Разве куроводство слишком скромный удел для браконьера?

— Я не браконьер! — закричал Адам, и его гневный голос раскатился по пустынному лесу, как эхо выстрела. — Эта мертвая куропатка — моя. Земля, на которой вы стоите, — моя. У меня отнял землю преступник куда похуже браконьеров. Сотни лет тут было только одно поместье, и если вы или всякие там нахалы попытаетесь разрезать его, как пирог... если я услышу еще раз о вас и ваших идиотских планах...

— Довольно бурный митинг у нас получается, — заметил Хорн Фишер. — Ладно, говорите. Что же случится, если я попытаюсь честно распределить это поместье между честными людьми?

Браконьер ответил спокойно и зло:

— Тогда между нами не будет куропатки.

С этими словами он повернулся спиной, показывая, видимо, что разговор окончен, прошел мимо храма в дальний конец островка, остановился и стал смотреть в воду. Фишер последовал за ним, заговорил снова, но ответа не получил и пошел к берегу. Проходя мимо храма, он подметил в нем кое-какие странности. Обычно такие строения хрупки, как декорация, и он думал, что этот классический храм только декорация, пустая скорлупа. Но оказалось, что за путаницей серых сучьев, похожих на каменных змей, под зелеными куполами листьев стоит весьма основательная постройка. Особенно удивился Фишер, что в плотной, серовато-белой стене — всего одна дверь с большим ржавым засовом, который, однако, не задви-

нут. Он обошел храм кругом и не нашел никаких отверстий, кроме маленькой отдушины под самой крышей.

Он задумчиво вернулся по камням на берег озера и сел на каменные ступеньки между двумя погребальными урнами. Потом достал сигарету и задумчиво закурил; вынув записную книжку, он стал что-то писать и переписывать, пока не получилось следующее:

- «1) Гокер не любил свою первую жену;
- 2) На второй жене он женился из-за денег;
- 3) Длинный Адам говорит, что поместье, в сущности, принадлежит ему;
- 4) Длинный Адам бродит на острове вокруг храма, похожего на тюрьму;
- 5) Гокер не был беден, когда потерял поместье;
- 6) Вернер был беден, когда его приобрел».

Он серьезно смотрел на эти заметки, потом горько улыбнулся, бросил сигарету и пошел напрямик к усадьбе. Вскоре он напал на тропинку, и та, извиваясь между клумбами и подстриженными кустами, привела его к длинному классическому фасаду. Дом подходил не на жилище, а на общественное здание, со сланное в глушь.

Прежде всего Фишер увидел дворецкого, казавшегося гораздо старше здания, ибо дом был построен в XVIII веке, а лицо под неестественным бурым париком бороздили морщины тысячелетней давности. Только глаза навывкате блестели живо и даже гневно. Фишер взглянул на дворецкого, остановился и сказал:

— Простите, не служили ли вы при покойном мистере Гокере?

— Да, сэр, — серьезно ответил слуга. — Моя фамилия Эшер. Чем могу служить?

— Проводите меня к сэру Фрэнсису, — ответил гость.

Сэр Фрэнсис Вернер сидел в удобном кресле у маленького столика в большой, украшенной шпалерами комнате. На столике стояла бутылка, рюмка с остатками зеленого ликера и чашка черного кофе. Помещик был одет в удобный серый костюм, к которому не очень шел тускло-красный галстук; но, взглянув на завитки его усов и на прилизанные волосы, Фи-

шер понял, что у сэра Фрэнсиса совсем другое имя — Франц Вернер.

— Мистер Хорн Фишер? — спросил хозяин. — Прошу вас, присядьте.

— Нет, благодарю, — ответил Фишер. — Боюсь, что визит мой не дружеский, так что я лучше постою, если вы меня не выставите. Вероятно, вам известно, что я-то уже выставил... свою кандидатуру.

— Я знаю, что мы политические противники, — ответил Вернер, поднимая брови. — Но я думаю, будет лучше, если мы поведем борьбу по всем правилам — в старом, честном английском духе.

— Гораздо лучше, — согласился Фишер. — Это было бы очень хорошо, будь вы англичанин, и еще того прекрасней, если бы вы хоть раз в жизни играли честно. Буду краток. Мне не совсем известно, как смотрит закон на ту старую историю, но главная моя цель — не допустить, чтобы Англией правили такие, как вы. И потому, что бы ни говорил закон, лично я не скажу больше ни слова, если вы сейчас же снимете свою кандидатуру.

— Вы, очевидно, сумасшедший, — сказал Вернер.

— Может быть, я не совсем нормален, — печально сказал Фишер. — Я часто вижу сны, даже наяву. Иногда события как-то дwoятся для меня, словно это уже было когда-то. Вам никогда так не казалось?

— Надеюсь, вы не буйнопомешанный? — осведомился Вернер.

Но Фишер рассеянно глядел на гигантские золотые фигуры и коричнево-красный узор, испещрявший стены. Потом снова взглянул на Вернера и сказал:

— Мне все кажется, что это уже было, в этой самой украшенной шпалерами комнате, и мы с вами — два призрака, вернувшиеся на старое место. Только там, где сидите вы, сидел помещик Гокер, а там, где стою я, стояли вы. — Он помолчал секунду, потом прибавил просто: — И еще мне кажется, что я шантажист.

— Если вы шантажист, — сказал сэр Фрэнсис, — обещаю вам, что вы попадете в тюрьму.

Но на лицо его легла тень, словно отблеск зеленого напитка, мерцавшего в бокале. Фишер пристально посмотрел на него и сказал спокойно:

— Шантажисты не всегда попадают в тюрьму. Иногда они попадают в парламент. Но, хотя парламент и без того гниет, вы в него не попадете. Я не так преступен, как были вы, когда торговались с преступником. Вы принудили помещика отказаться от поместья. Я же прошу вас отказаться только от места в парламенте.

Сэр Фрэнсис Вернер вскочил и окинул взглядом старинные шпалеры в поисках звонка.

— Где Эшер? — крикнул он, побледнев.

— А кто такой Эшер? — кротко спросил Хорн. — Интересно, много ли он знает?

Рука Вернера выпустила шнур сонетки, глаза его налились кровью, и, постояв минуту, он выскочил из комнаты. Фишер удалился так же, как вошел; не найдя Эшера, он сам открыл парадную дверь и направился в город.

Вечером того же дня, прихватив с собою фонарь, он вернулся один в темный парк, чтобы прибавить последние звенья к цепи своих обвинений. Он многого еще не знал, но думал, что знает, где найти недостающие сведения. Надвигалась темная и бурная ночь, и дыра в стене была чернее черного, а чаща деревьев стала еще гуще и мрачнее. Пустынное озеро, серые урны и статуи наводили уныние даже днем; ночью же, перед бурей, казалось, что ты пришел к Ахерону¹ в стране погибших душ. Осторожно ступая по камням, Фишер все дальше и дальше углублялся в бездны тьмы, откуда уже не докричишься до страны живых. Озеро стало больше моря; черная, густая, вязкая вода дремала жутко и спокойно, словно смыла весь мир. Все двоилось, как в кошмаре, и Фишер очень обрадовался, что наконец дошел до заброшенного островка. Он узнал его по нависшему над ним сверхъестественному безмолвию; ему показалось, что шел он туда несколько лет.

Он взял себя в руки и, успокоившись, остановился под темным драконовым деревом, чтобы зажечь фо-

¹Ахерон — в греческой мифологии «река вечных страданий», через которую должны переплывать души умерших.

нарь, а потом направился к двери храма. Засовы не были заложены, и ему почудилось, что дверь открыта. Однако, присмотревшись, он понял, что это просто обман зрения: свет падал теперь под другим углом. Он стал внимательно исследовать ржавые болты и петли, как вдруг почувствовал, что очень близко, над самой головой, что-то есть. Что-то свисало с дерева — но то была не обломанная ветка. Он замер и похолодел: то были человеческие ноги, может быть, ноги мертвеца; но почти сразу понял, что ошибся. Человек — безусловно, живой — взмахнул ногами, спрыгнул и шагнул к непрошеному гостю. В ту же секунду ожили еще три или четыре дерева. Пять или шесть существ вывалились из странных гнезд. Ему показалось, что остров кишит обезьянами, но они бросились на него, схватили — и он понял, что это люди.

Он ударил переднего фонарем по лицу — тот упал и покотился по скользкой траве, но фонарь разбился, погас, и стало совсем темно. Второго человека Фишер швырнул о стену, и тот тоже упал. Третий и четвертый схватили Фишера за ноги и, как он ни отбивался, понесли к двери. Даже в суматохе драки он заметил, что дверь открыта. Кто-то руководил бандитами изнутри.

Войдя в дом, они швырнули его не то на скамью, не то на кровать, но он не ушибся, а упал на мягкие подушки. Бандиты обращались с ним очень грубо, вероятно, в спешке, и не успел он приподняться, как они кинулись к двери. Кто бы ни были эти люди, они бесчинствовали с явной неохотой и хотели поскорей отделаться. У Фишера мелькнула мысль, что настоящие преступники вряд ли впали бы в такую панику. Тяжелая дверь захлопнулась, заскрипели засовы, и застучали по камням быстрые шаги. И все-таки Фишер успел сделать то, что хотел. Подняться он не мог, но он вытянул ногу и зацепил ею, как крюком, за лодыжку последнего из выбегавших. Тот споткнулся, опрокинулся навзничь на пол тюрьмы, и тут захлопнулась дверь. Его сообщники не сообразили в спешке, что потеряли одного из своих.

Человек вскочил и отчаянно забарабанил в дверь руками и ногами. К Фишеру вернулось чувство юмо-

ра; он сел на диван небрежно, как всегда, и, слушая, как узник дубасит в дверь тюрьмы, задумался над новой загадкой.

Если человек хочет позвать товарищей, он не только колотит в дверь, но и кричит. Этот же барабанил вовсю руками и ногами, но из горла его не вылетело ни единого звука. В чем тут дело? Сначала Фишер подумал, что ему заткнули рот, но это было нелепо. Потом ему пришла в голову другая мысль: а может, с ним немой? Он не мог понять, почему это так гнусно, но ему стало совсем не по себе. Ему было как-то жутко остаться взаперти с глухонемым, словно эта болезнь постыдна, связана с другими ужасными уродствами. Словно тот, кого он не видел в темноте, слишком страшен, чтобы выйти на свет.

И тут его озарила здравая мысль. Все очень просто и довольно занятно. Человек молчит, потому что боится, как бы его не узнали по голосу. Он надеется уйти из этого темного места раньше, чем Фишер разгадает, кто он. Так кто же он? Несомненно одно: он — один из четырех или пяти человек, с которыми Фишер имел дело в этих местах в связи с последними странными событиями.

— Интересно, кто же вы такой... — сказал он вслух, лениво и любезно, как всегда. — Вряд ли стоит вас душить, чтобы узнать это: не так уж приятно провести ночь с трупом. К тому же трупом могу оказаться и я. Спичек у меня нет, фонарь я разбил... что ж, остается гадать. Кто же вы такой? Подумаем.

Тот, к кому он так любезно обращался, перестал барабанить в дверь и уныло забился в угол. Фишер тем временем продолжал:

— Может быть, вы браконьер, не признающий себя браконьером. Длинный Адам говорил, что он помещик. Надеюсь, он не посетует, если я ему скажу, что он прежде всего дурак. Можно ли рассчитывать, что Англия станет страной свободных крестьян, когда сами крестьяне заразились чванством и возомнили себя господами? Как установить демократию, если нет демократов? Вы хотите быть помещиком; вы согласны стать преступником. Знаете, в этом вы сходитесь с другим известным мне ли-

цом. Вот я и думаю: а вдруг вы и есть это самое «лицо»?

Он замолчал. В углу сопел незнакомец; отдаленный рокот проникал в отдушину над его головой. Наконец Хорн заговорил снова:

— Может, вы только слуга — скажем, тот зловещий тип, что служил и Гокеру и Вернеру... Если это так, вы единственный мост между ними. Зачем вы унижаетесь? Зачем вы служите подлому чужеземцу, когда видели последнего из нашей знати? Такие, как вы, обычно любят Англию. Разве вы ее не любите, Эшер? Наверное, мое красноречие ни к чему — вы совсем не Эшер. Скорее, вы сам Вернер. Да, на вас не стоит тратить красноречия. Вас все равно не пристыдишь. Бесплезно бранить вас за то, что вы губите Англию, да и не вас надо бранить. Это нас, англичан, надо ругать за то, что мы пустили таких гадов на стольные места наших королей и героев. Нет, лучше не буду думать, что вы — Вернер, а то без драки не обойтись. Кем же вы еще можете быть? Неужели вы из реформистов? Никогда не поверю, что вы — Грайс. Хотя есть у него во взгляде что-то такое одержимое... а люди идут на многое в этих подлых политических ссорах. А если вы не прислужник, значит, вы... Нет, не верю. Это не красная кровь свободы и мужества. Это не знамя демократии.

Он вскочил — и в ту же секунду над решеткой прогрехотал гром. Началась гроза, и его сознание озарилось новым светом. Он знал, что сейчас случится.

— Понимаете, что это значит? — крикнул он. — Сам господь подержит мне свечку, чтоб я увидел ваше чертово лицо!

Оглушительно ударил гром. Но за миг до него белый свет озарил комнату на ничтожную долю секунды.

Фишер увидел две вещи: черный узор решетки на белом небе и лицо в углу. То было лицо его брата.

Он выговорил имя, и воцарилась тишина, более жуткая, чем мрак. Потом Гарри Фишер встал, и голос его наконец прозвучал в этой ужасной комнате.

— Ты меня видел, — сказал он, — так что можно зажечь свет. Ты мог зажечь его и раньше, вот выключатель.

Он нажал кнопку, и все вещи в комнате стали четче, чем днем. Вещи эти, надо сказать, так поразили узника, что он забыл на минуту о своем открытии. Здесь была не камера, а, скорей, гостиная или даже будуар, если б не сигареты и вино на журнальном столике. Хорн пригляделся и понял, что вино и сигареты принесли недавно, а мебель стоит тут давно. Он заметил выцветший узор драпировки — и удивился окончательно.

— Эти вещи — из того дома? — сказал он.

— Правильно, — ответил Гарри. — Я думаю, ты понял, в чем тут дело.

— Да, — сказал Хорн. — И прежде чем перейти к более важному, скажу, что же я понял. Гокер был подлец и двоеженец. Его первая жена не умерла, когда он женился на второй. Он просто запер ее тут, на острове. Здесь она родила сына; теперь он бродит вокруг и зовется Длинным Адамом. Разорившийся делец Вернер пронюхал об этом и шантажом вынудил Гокера отдать ему поместье. Все это проще простого. Теперь перейдем к трудному. Какого черта ты напал на родного брата?

Генри Фишер ответил не сразу.

— Ты, наверное, не думал, что это я. Но, по совести, чего же ты мог ожидать?

— Боюсь, что я тебя не понимаю, — сказал Хорн.

— Чего ты мог ожидать, когда наломал столько дров? — заволновался Генри. — Мы все думали, что ты умный. Откуда нам знать, что ты... ну, что ты так провалишься?

— Странно, — нахмурился кандидат. — Не буду хвастать, но мне кажется, я совсем не провалился. Все митинги прошли «на ура», и мне обещали массу голосов.

— Еще бы! — мрачно сказал Генри. — Твои дурацкие акры и коровы произвели переворот. Вернеру не получить и голоса. Все пропало!

— О чем ты?

— О чем? Нет, ты правда не в себе! — искренне и звонко крикнул Генри. — Ты что думал, тебя и

впрямь прочат в парламент? Ты же взрослый, в конце концов! Пройти должен Вернер. Кому ж еще? В следующую сессию он должен получить финансы, а потом проверить египетский заем и еще разные штуки. Мы просто хотели, чтоб ты на всякий случай расколлот реформистов. Понимаешь, Хьюзу слишком повезло в Баркингтоне.

— Так...— сказал Хорн.— А ты, насколько мне известно, столп и надежда реформистов. Да, я действительно дурак.

Воззвание к партийной совести не имело успеха — столп реформистов думал о другом. Наконец он сказал не без волнения:

— Мне не хотелось тебе попадаться. Я знал, что ты расстроишься. Ты никогда бы меня не поймал, если б я не пришел проследить, чтоб тебя не обидели. Думал устроить все поудобней...— И голос его дрогнул, когда он сказал: — Я нарочно купил твои любимые сигареты.

Чувства — странная штука. Нелепость этой заботы растрогала Хорна Фишера.

— Ладно,— сказал он.— Не будем об этом говорить. Ты — самый добрый подлец и ханжа из всех, кто продавал совесть ради гибели Англии. Лучше сказать не могу. Спасибо за сигареты. Я закурю, если позволишь.

К концу рассказа Марч и Фишер вошли в один из лондонских парков, сели на скамью и увидели с пригорка зеленую даль под светлым, серым небом. Могло показаться, что последние фразы не совсем вытекают из вышеизложенных событий.

— С тех пор я так и жил в этой комнате. Я и теперь в ней живу. На выборах я победил, но не попал в парламент. Я остался там, на острове. У меня есть книги, сигареты, комфорт; я много знаю и многим занимаюсь, но ни один отзвук не долетает из склепа до внешнего мира. Там я, наверное, и умру.

И он улыбнулся, глядя на серый горизонт поверж зеленой громады парка.

БЕЗДОННЫЙ КОЛОДЕЦ

В оазисе, на зеленом островке, затерянном среди красно-желтых песчаных морей, которые простираются далеко на восток от Европы, можно наблюдать поистине фантастические контрасты, которые, однако, характерны для подобных краев, коль скоро международные договоры превратили их в форпосты британских колонизаторов. Место, о котором пойдет речь, широко известно среди археологов благодаря тому, что здесь есть нечто, едва ли достойное называться памятником древности, ибо представляет оно собою всего-навсего дыру, глубоко уходящую в землю. Но как бы то ни было, а это — круглая шахта, напоминающая колодец и, возможно, являющаяся частью какого-то крупного оросительного сооружения, которое построено так давно, что специалисты ожесточенно спорят, к какой же эпохе ее отнести; вероятно, нет ничего древнее на этой древней земле. Черное устье колодца зеленым кольцом обступают пальмы и суковатые грушевые деревья; но от надземной кладки не сохранилось ничего, кроме двух массивных, потрескавшихся валунов, которые возвышаются здесь, словно столбы ворот, ведущих в никуда; в их форме, по мнению археологов, наделенных особенно богатым воображением, угадываются порой, на восходе луны или на закате солнца, когда зрителем овладевает соответствующее настроение, смутные очертания, или образы, перед которыми бледнеют даже диковинные громады Вавилона; однако археологи более прозаического склада и в более прозаическое время суток, при дневном свете, не усматривают в них ровно ничего, кроме двух бесформенных каменных глыб. Правда, необходимо отметить, что англичане в большинстве своем весьма далеки от археологии. И многие из тех, кто приехал сюда по долгу службы или для отбывания воинской повинности, увлекаются чем угодно, только не археологическими изысканиями. А стало быть, мы ничуть не погрешим против истины, если скажем, что англичане, заброшенные в эту восточную глушь, с успехом превратили песчаный участок, поросший низкорослым кустарником, в небольшое

поле для игры в гольф; у одного его края находится довольно уютный клуб, а у другого — вышеупомянутая достопримечательность. И право же, игроки отнюдь не стремятся угодить мячом в эту допотопную пропасть: если верить легенде, она вообще не имеет дна, ну, а дно, которого нет, само собой разумеется, никак не может принести практической пользы. Если какой-либо спортивный снаряд попадает туда, можно считать его пропавшим в буквальном смысле слова. Но на досуге многие частенько прогуливаются вокруг этого колодца, болтают, покуривая, и только что один такой любитель прогулок пришел из клуба к колодцу, где застал другого, который задумчиво глядел в черную глубину.

Оба эти англичанина были одеты совсем легко и носили белые тропические шлемы, повязанные сверху тюрбанами, но этим, собственно говоря, сходство между ними исчерпывалось. И оба почти одновременно произнесли одно и то же слово; но произнесли они его отнюдь не одинаковым тоном.

— Слыхали новость? — спросил тот, что пришел из клуба. — Это изумительно.

— Изумительно, — повторил тот, что стоял у колодца.

Но первый произнес это слово так, как мог бы сказать юноша о девушке; второй же — как старик о погоде: вполне искренне, но явно без особенного воодушевления.

Соответственный тон был очень характерен для каждого. Первый, некто капитан Бойл, был по-мальчишески напорист, темноволос, черты его лица выдавали природную пылкость, которая присуща не спокойной сдержанности Востока, а скорее кипящему страстями и суетному Западу. Второй был постарше и явно жил здесь уже давно; это был гражданский чиновник Хорн Фишер; его печально опущенные веки и печально поникшие усы как бы подчеркивали неуместность пребывания англичанина на Востоке. Ему было так жарко, что в душе он ощущал лишь тоскливый холод.

Ни один не счел нужным пояснить, что же, собственно говоря, изумительно. Не было смысла попусту болтать о том, что известно всякому. Ведь о

блестящей победе над могучими соединенными силами турок и арабов, разбитых войсками, которыми командовал лорд Гастингс, ветеран многих не менее блестящих побед, кричали газеты по всей империи, и уж тем более все было известно в этом маленьком гарнизоне, расположенном столь близко от поля битвы.

— Право, никакая другая нация на это не способна! — горячо вскричал капитан Бойл.

А Хорн Фишер по-прежнему молча глядел в колодец; немного погодя он произнес:

— Мы и в самом деле владеем искусством не ошибаться. На этом и просчитались несчастные пруссаки. Они только и могли совершать ошибки да в них упорствовать. Поистине, чтобы не ошибаться, надо обладать особым талантом.

— Как вас понимать? — сказал Бойл. — О каких это ошибках вы говорите?

— Ну, всякий знает, ведь орешек-то был нам не по зубам, — отозвался Хорн Фишер. У мистера Фишера было обыкновение предполагать, будто всякий знает такие вещи, которые случается услышать одному человеку на миллион. — И поистине большое счастье, что Трейверс подоспел туда в самый решающий миг. Просто страшно подумать, как часто истинную победу одерживает у нас младший по чину, даже когда его начальник — великий человек. Взять хоть Колборна при Ватерлоо.

— Надо полагать, теперь мы изрядно расширили пределы империи, — заметил его собеседник.

— Да, пожалуй, Циммерны не прочь расширить их вплоть до самого канала, — произнес Фишер задумчиво, — хотя всякий знает, что расширение пределов в наше время далеко не всегда окупается.

Капитан Бойл нахмурился в некотором недоумении. Припомнив, что он в жизни не слышал ни о каких Циммернах, он мог только обронить небрежным тоном:

— Ну, нельзя же ограничиваться только Британскими островами.

Хорн Фишер улыбнулся: улыбка у него была очень приятная.

— Всякий здесь предпочел бы ограничиться Бри-

танскими островами,— сказал он.— Все спят и видят, как бы поскорей вернуться туда.

— Право, я решительно не понимаю, о чем это вы толкуете,— сказал молодой человек, подозревая какой-то подвох.— Можно подумать, что вы отнюдь не восхищены Гастингсом и... и вообще презираете все на свете.

— Я от него в совершенном восторге,— отозвался Фишер,— вне сомнения, более подходящего человека для такого дела найти трудно: это тонкий знаток мусульманской души, а потому он может сделать с ними все, что ему заблагорассудится. Именно по этой причине я считаю нежелательным сталкивать его с Трейверсом, особенно после недавних событий.

— Нет, я решительно не понимаю, к чему вы клоните,— откровенно признался его собеседник.

— Собственно говоря, тут и понимать нечего,— сказал Фишер небрежным тоном,— но давайте лучше оставим разговор о политике. Кстати, знаете ли вы арабскую легенду про этот колодец?

— К сожалению, я не знаток арабских легенд,— сказал Бойл, едва сдерживаясь.

— И напрасно,— заметил Фишер,— особенно если учесть ваши взгляды. Ведь лорд Гастингс тоже в своем роде арабская легенда. Пожалуй, в этом и заключено его подлинное величие. Если он утратит свою славу, нашему могуществу во всей Азии и Африке будет нанесен немалый ущерб. Ну а про дыру в земле рассказывают, что она ведет неведомо куда, и такая выдумка кажется мне очаровательной. Теперь легенда приобрела магометанскую окраску, но я не удивлюсь, если она восходит к глубокой древности и родилась задолго до Магомета. Повествует она про некоего султана, который прозвался Аладдин: разумеется, не тот, который завладел волшебной лампой, но очень на него похожий; он имел дело со злыми духами, или с великанами, или еще с кем-то вроде них. Говорят, он повелел великанам построить ему нечто наподобие пагоды, которая вознеслась бы превыше всех звезд небесных. Словом, высочайшее для величайшего, как утверждали люди, когда строили Вавилонскую башню. Но по срав-

нению со стариной Аладдином, строители Вавилонской башни были покорны и кротки, как агнцы. Они хотели всего-навсего соорудить башню высотой до неба, а ведь это сущий пустяк. Он же возмечтал о башне превыше неба, пожелал, чтобы она возносилась все вверх, вверх, до бесконечности. Но аллах поразил его громовым ударом, от которого разверзлась земля, и он полетел, пробивая в ней дыру, все вниз, вниз, до бесконечности, отчего образовался колодезь без дна, подобно задуманной им башне без вершины. И вечно низвергается с этой перевернутой башни душа султана, обуянная гордыней.

— Странный вы все-таки человек, — сказал Бойл, — рассказываете так серьезно, будто думаете, что кто-то поверит подобным басням.

— Быть может, я верю не в саму басню, а в ее мораль, — возразил Фишер. — Но вон идет леди Гастингс. Кажется, вы с ней знакомы?

Клуб любителей гольфа, как обычно бывает, служил не только нуждам этих любителей, но использовался также для многих иных целей, не имеющих к гольфу никакого отношения. Здесь сосредоточилась светская жизнь всего гарнизона. В отличие от штаба, где преобладал сугубо военный дух, при клубе имелись бильярдная, бар и даже превосходная специальная библиотека, предназначенная для тех сумасбродных офицеров, которые всерьез относились к своим служебным обязанностям. К их числу принадлежал и сам великий полководец, чья серебряно-седая голова с бронзовым лицом, словно голова орла, отлитого из бронзы, часто склонялась над картами и толстыми фолиантами в зале библиотеки. Великий Гастингс свято верил в силу науки и знания, равно как и в прочие незыблемые жизненные идеалы; он дал немало отеческих советов по этому поводу юному Бойлу, который, однако, значительно реже своего начальника появлялся в святыне премудрости. Но на сей раз молодой офицер после одного из таких случайных занятий вышел через застекленные двери библиотеки на поле для гольфа. Клуб, кстати сказать, был предназначен, главным образом, для того, чтобы здесь протекала светская жизнь не только мужчин, но и дам; в этой обстановке леди Гастингс игра-

ла роль королевы ничуть не хуже, чем в бальной зале своего дворца. Она была преисполнена возвышенных намерений и, как утверждали некоторые, питала возвышенную склонность к подобной роли. Эта леди была намного моложе своего супруга — очаровательная молодая женщина, чье очарование порой таило в себе нешуточную опасность; и теперь, когда она удалилась в сопровождении юного офицера, мистер Хорн Фишер проводил ее глазами, пряча язвительную усмешку. Потом он перевел скучающий взгляд на зеленые, усеянные колючками растения вблизи колодца: это были причудливые кактусы, у которых ветвистые побеги растут прямо один из другого, без веток или стеблей. При этом изощренному его воображению представилась зловещая, нелепая растительность, лишенная смысла и облика. На Западе всякая былинка, всякий кустик достигают цветения, которое венчает их жизнь и выражает их сущность. А тут как будто руки бесцельно росли из рук же или ноги из ног, словно бы в кошмарном сне.

— Мы только и делаем, что расширяем пределы империи, — сказал он с улыбкой; потом добавил, слегка погрузнев: — Но, в конце концов, я отнюдь не уверен в своей правоте.

Его рассуждения прервал зычный, но благодушный голос; он поднял голову и улыбнулся, увидев старого друга. Голос, право, был гораздо благодушней, чем лицо его обладателя, которое на первый взгляд могло показаться весьма суровым. Это было характерное лицо законоблюстителя с квадратными челюстями и густыми седеющими бровями; принадлежало оно выдающемуся юристу, хотя и служившему временно при военной полиции в этом диком и глухом уголке британских владений. Катберт Грейн, пожалуй, скорее, был криминалистом, нежели адвокатом или полисменом; но здесь, в захолустье, он с успехом справлялся за троих. Раскрытие целого ряда запутанных, совершенных с восточной хитростью преступлений помогло ему выдвинуться; но поскольку в здешних местах лишь очень немногие способны были понять или оценить страстное увлечение этой областью знаний, его тяготило духовное одиночество. В числе немногих ис-

ключений был Хорн Фишер, который обладал редкой способностью беседовать с любым человеком на любую тему.

— Ну-с, чем вы тут занимаетесь, ботаникой или, быть может, археологией? — полюбопытствовал Грейн.— Право, Фишер, мне никогда не постичь всей глубины ваших интересов. Должен сказать прямо, что то, чего вы не знаете, наверняка и знать не стоит.

— Вы ошибаетесь, — отозвался Фишер с несвойственной ему резкостью и даже горечью.— Как раз то, что я знаю, наверняка и знать не стоит. Это все темные стороны жизни, все тайные побуждения и грязные интриги, подкуп и шантаж, именуемые политикой. Уверяю вас, мне нечем гордиться, если я побывал на дне всех этих сточных канав, тут меня любой уличный мальчишка переплюнет.

— Как это понимать? Что с вами сегодня? — спросил его друг.— Раньше я за вами ничего такого не замечал.

— Я стыжусь самого себя, — отвечал Фишер.— Только что я окатил ледяной водой одного пылкого юношу.

— Но даже это объяснение трудно признать исчерпывающим, — заметил опытный криминалист.

— Понятное дело, в этом захолустье всякая дешевая газетная шумиха возбуждает пылкие чувства, — продолжал Фишер, — но пора бы мне усвоить, что в столь юном возрасте иллюзии легко принять за идеалы. И, уж во всяком случае, иллюзии эти лучше, чем действительность. Но испытываешь пренеприятное чувство ответственности, когда развенчиваешь в глазах юноши идеал, пускай самый ничтожный.

— Какого же рода эта ответственность?

— Тут очень легко столь же бесповоротно толкнуть его на куда худшую дорогу, — отвечал Фишер.— Дорогу поистине бесконечную — в бездонную яму, в такую же темную пропасть, как вот этот Бездонный Колодец.

В ближайшие две недели Фишер не виделся со своим другом, а потом встретил его в садике, разбитом при клубе, со стороны, противоположной

полю для гольфа, — в садике этом ярко пестрели и благоухали субтропические растения, озаренные заходящим солнцем. При этой встрече присутствовали еще двое мужчин, один из которых был недавно прославившийся заместитель главнокомандующего Том Трейверс, ныне известный каждому, худощавый, темноволосый, рано состарившийся человек, чей лоб прорезала глубокая морщина, а черные усы устрашающе топорщились, придавая лицу свирепое выражение. Все трое пили черный кофе, который им подал араб, временно служивший официантом при клубе, но всем знакомый и даже почитаемый как старый слуга генерала. Звали его Саид, и он выделялся среди своих соплеменников невероятно длинным желтоватым лицом и плоским, высоким лбом, какой изредка бывает у обитателей тех мест, причем, несмотря на добродушную улыбку, он странным образом производил зловещее впечатление.

— Почему-то этот малый всегда кажется мне подозрительным, — заметил Грейн, когда слуга ушел. — Сам понимаю, что это несправедливо, ведь он, без сомнения, горячо предан Гастингсу и даже, говорят, однажды спас ему жизнь. Но такое свойство присуще многим арабам — они хранят верность только одному человеку. Я не могу избавиться от ощущения, что всякому другому он готов перерезать глотку, и притом самым коварным образом.

— Помилуйте, — сказал Трейверс с кислой улыбкой, — коль скоро он не трогает Гастингса, прочее общественность не волнует.

Воцарилось неловкое молчание, и тут всем вспомнилась славная битва, а потом Хорн Фишер произнес, понизив голос:

— Газеты не представляют собой общественности, Том. На этот счет можете быть спокойны. А среди вашей общественности решительно все знают истинную правду.

— Пожалуй, сейчас нам не стоит больше говорить о генерале, — заметил Грейн. — Вон он как раз выходит из клуба.

— Но идет не сюда, — сказал Фишер. — Он просто-напросто провожает свою благоверную до автомобиля.

И в самом деле, при этих словах из дверей клуба вышла дама, причем супруг с поспешностью опередил ее и открыл перед ней садовую калитку. Она тем временем обернулась и что-то сказала человеку, который одиноко сидел в плетеном кресле за дверьми тенистой веранды,— только он и оставался в опустевшем клубе, если не считать троих, пивших кофе в саду. Фишер быстро взгляделся в темную дверь и узнал капитана Бойла.

В скором времени генерал вернулся и, ко всеобщему удивлению, поднимаясь по ступеням, в свою очередь, что-то сказал Бойлу. Потом он сделал знак Саиду, который проворно подал две чашки кофе, и оба они вошли в клуб, каждый с чашкой в руке. А еще недолгое время спустя в сгущавшихся сумерках блеснул луч белого света — это в библиотеке загорелась электрическая люстра.

— Кофе в сочетании с научными исследованиями,— мрачно сказал Трейверс.— Все прелести знаний и теоретической премудрости. Ну ладно, мне пора, меня тоже ждет работа.

Он неловко встал, распрощался со своими собеседниками и исчез в вечернем полумраке.

— Будем надеяться, что Бойл действительно увлечен научными исследованиями,— сказал Хорн Фишер.— Лично я не вполне за него спокоен. Но поговорим лучше о чем-нибудь другом.

Они разговаривали дольше, чем им, быть может, показалось, потому что уже наступила тропическая ночь и луна, во всем своем великолепии, заливала садик серебристым светом; но еще до того, как в этом свете можно было что-либо разглядеть, Фишер успел заметить, как люстра в библиотеке вдруг погасла. Он ждал, что двое мужчин выйдут в сад, но никто не показывался.

— Вероятно, пошли погулять по ту сторону клуба,— сказал он.

— Очень может статься,— отозвался Грейн.— Ночь обещает быть великолепной.

Вскоре после того как это было сказано, кто-то окликнул их из тени, которую отбрасывала стена клуба, и они с удивлением увидели Трейверса, который торопливо шел к ним, что-то выкрикивая на ходу.

— Друзья, мне нужна ваша помощь! — услышали они наконец. — Там, на поле для гольфа, случилось неладное!

Они поспешно прошли через клубную курительную и примыкавшую к ней библиотеку, словно ослепнув в прямом и переносном смысле слова. Однако Хорн Фишер, несмотря на свое напускное безразличие, обладал странным, почти непостижимым внутренним чутьем и уже понял, что произошел не просто несчастный случай. Он наткнулся на какой-то предмет в библиотеке и вздрогнул от неожиданности: предмет двигался, хотя мебели двигаться не положено. Но эта мебель двигалась, как живая, отступала и вместе с тем противилась. Тут Грейн включил свет, и Фишер обнаружил, что просто-напросто натолкнулся на вращающуюся книжную полку, которая описала круг и сама толкнула его; но уже тогда, невольно отпрянув, он как-то подсознательно почувствовал, что здесь кроется некая зловещая тайна. Таких вращающихся полок в библиотеке было несколько, и стояли они в разных местах; на одной из них оказались две чашки с кофе, на другой — большая открытая книга; как выяснилось, это было исследование Баджа, посвященное египетским иероглифам, прекрасное издание с цветными вклейками, на которых изображены причудливые птицы и идолы; Фишеру, когда он быстро проходил мимо, показалось странным, что именно эта книга, а не какое-нибудь сочинение по военной науке, лежит здесь, раскрытая на середине. Он заметил даже просвет на полке, в ровном ряду корешков, — место, откуда ее сняли; и просвет этот будто издевался над ним, как чье-то отвратительное лицо, оскалившее щербатые зубы.

Через несколько минут они уже были на другом конце поля, у Бездонного Колодца; и в нескольких шагах от него при лунном свете, который теперь по яркости почти не уступал дневному, они увидели то, ради чего так спешили сюда.

Великий лорд Гастингс лежал ничком, в позе странной и неподвижной, вывернув локоть согнутой руки и вцепившись длинными, костлявыми пальцами в густую, пышную траву. Неподалеку оказался Бойл, тоже недвижимый, но он стоял на четвереньках

и застывшим взглядом смотрел на труп. Возможно, это всего-навсего сказалось потрясение после несчастного случая; но было что-то неуклюжее и неестественное в позе человека, стоявшего на четвереньках, и в его лице с широко раскрытыми глазами. Он словно сошел с ума. А дальше не было ничего, только безоблачная синева знойного южного неба и край пустыни, да две потрескавшиеся каменные глыбы у колодца. При таком освещении и в этой обстановке легко могло померещиться, будто с неба смотрят огромные, жуткие лица.

Хорн Фишер наклонился и потрогал мускулистую руку, которая сжимала пучок травы; рука эта была холодна, как камень. Он опустился на колени подле тела и некоторое время внимательно его обследовал; потом встал и сказал с какой-то безысходной уверенностью:

— Лорд Гастингс мертв.

Наступило гробовое молчание; наконец Трейверс произнес хрипло:

— Грейн, это по вашей части. Попробуйте расспросить капитана Бойла. Он что-то бормочет, но я не понимаю ни единого слова.

Бойл кое-как совладал с собою, встал на ноги, но лицо его по-прежнему хранило выражение ужаса, словно он надел маску или самого его подменили.

— Я глядел на колодец, — сказал он, — а когда обернулся, лорд уже упал.

Лицо Грейна потемнело.

— Вы правы, это по моей части, — сказал он. — Прежде всего попрошу вас помочь мне отнести покойного в библиотеку, где я его хорошенько осмотрю.

Когда они положили труп в библиотеке, Грейн повернулся к Фишеру и сказал голосом, в котором уже снова звучала прежняя сила и уверенность:

— Сейчас я запрусь здесь и все обследую самым тщательным образом. Прошу вас остаться при остальных и подвергнуть Бойла предварительному допросу. Сам я потолкую с ним несколько позже. И позвоните в штаб, чтобы прислали полисмена: пускай явится немедленно и ждет, пока я его не позову.

После этого знаменитый криминалист, не тратя более слов, прошел в освещенную библиотеку и затворил за собой дверь, а Фишер, ничего не ответив, повернулся и тихо заговорил с Трейверсом.

— Право же любопытно,— сказал он,— что это случилось именно там, у колодца.

— Очень даже любопытно,— отозвался Трейверс,— если только колодец сыграл здесь какую-то роль.

— Думается мне,— заметил Фишер,— что роль, которой он здесь не сыграл, еще любопытней.

Высказав эту явную бессмыслицу, он повернулся к потрясенному Бойлу, взял его под руку, и они стали прохаживаться по залитому лунным светом полю, разговаривая вполголоса.

Уже занялась заря, которая подкралась как-то незаметно, и небо посветлело, когда Катберт Грейн погасил люстру в библиотеке и вышел оттуда. Фишер, угрюмый, как всегда, слонялся в одиночестве; полисмен, которого он вызвал, стоял навтыжку поодаль.

— Я попросил Трейверса проводить Бойла,— обронил Фишер небрежно.— Трейверс о нем позаботится. Ему надо хоть немного поспать.

— А удалось ли вам что-нибудь из него вытянуть?— осведомился Грейн.— Сказал он, что именно они с Гастингсом там делали?

— Да,— ответил Фишер,— он все объяснил вполне вразумительно. По его словам выходит, что, когда леди Гастингс уехала в автомобиле, генерал предложил ему выпить кофе в библиотеке и заодно навести кое-какие справки о здешних древностях. Бойл стал искать книгу Баджа на одной из вращающихся полок, но тут генерал сам нашел ее на стеллаже. Просмотрев несколько рисунков, они вышли, пожалуй, несколько внезапно, на поле для гольфа и пошли к древнему колодцу. Бойл заглянул в колодец, но вдруг услышал у себя за спиной глухой удар; он обернулся и увидел, что генерал лежит на том самом месте, где мы его нашли. Он быстро опустился на колени, чтобы осмотреть тело, но его сковал ужас, и он не мог ни приблизиться, ни прикоснуться к покойнику. Я не нахожу тут ничего удивительного: людей, потрясенных неожиданностью, порой находят в самых нелепых позах.

Грейн выслушал его внимательно, с мрачной улыбкой, помолчал немного, потом заметил:

— Ну, он вам изрядно наврал. Разумеется, это достохвально четкое и последовательное изложение случившегося, но о самом важном он умолчал.

— Вы там что-нибудь выяснили? — спросил Фишер.

— Решительно все, — ответил Грейн.

Некоторое время Фишер угрюмо молчал, а его собеседник продолжал толковать тихим, уверенным тоном:

— Вы были совершенно правы, Фишер, когда сказали, что этот юноша может сбиться с пути и очутиться на краю пропасти. Имеет или нет какое-либо отношение к этому делу влияние, которое вы, как вам кажется, на него оказали, но с некоторых пор Бойл переменял свое отношение к генералу в худшую сторону. Это пренеприятная история, и я не хочу тут особенно распространяться, но совершенно ясно, что и супруга генерала относилась к мужу без особой благосклонности. Не знаю, как далеко у них зашло, но, во всяком случае, они все скрывали: ведь леди Гастингс сегодня заговорила с Бойлом, дабы сообщить ему, что она спрятала в книге Баджа записку. Генерал слышал эти ее слова или же узнал об этом еще каким-то образом, немедленно взял книгу и нашел записку. Из-за этой записки он повздорил с Бойлом, и, само собой, сцена была весьма бурная. А Бойлу предстояло еще другое — ему предстояло сделать ужасный выбор: сохранить старику жизнь было для него равносильно гибели, а убить его значило восторжествовать и даже обрести счастье.

— Что ж, — промолвил Фишер, поразмыслив. — Я не могу винить его за то, что он предпочел не замечивать женщину в эту историю. Но как вы узнали про записку?

— Обнаружил ее у покойного генерала, — ответил Грейн. — А заодно я обнаружил и кое-что похуже. Тело лежало в такой позе, которая свидетельствует об отравлении неким азиатским ядом. Поэтому я осмотрел чашки с кофе, и моих познаний в химии оказалось достаточно, чтобы найти яд в гуще на дне одной из них. Стало быть, генерал подошел

прямо к полке, оставив свою чашку с кофе на стеллаже. Когда он повернулся спиной, Бойл сделал вид, будто рассматривает книги, и мог спокойно сделать с чашками все, что угодно. Яд начинает действовать минут через десять, и за эти десять минут оба как раз успели дойти до Бездонного Колодца.

— Так, — сказал Хорн Фишер. — Ну а при чем же тут Бездонный Колодец?

— Вы хотите доискаться, какое отношение к этому делу имеет Бездонный Колодец? — осведомился его друг.

— Ровно никакого, — решительно заявил Фишер. — Это представляется мне совершенно бессмысленным и невероятным.

— А почему, собственно, эта дыра вообще должна иметь какое-либо отношение к делу?

— Именно эта дыра в данном случае имеет особое значение, — сказал Фишер. — Но сейчас я не буду ни на чем настаивать. Кстати, мне нужно сообщить вам кое-что еще. Как я уже говорил, я отослал Бойла домой под присмотром Трейверса. Но в равной мере можно сказать, что я отослал Трейверса под присмотром Бойла.

— Неужели вы подозреваете Тома Трейверса? — воскликнул Грейн.

— У него гораздо больше причин ненавидеть генерала, чем у Бойла, — отозвался Хорн Фишер с каким-то странным бесстрашием.

— Дружище, неужели вы это серьезно? — вскричал Грейн. — Говорю вам, я обнаружил яд в одной из чашек.

— Само собой, тут не обошлось без Саида, — продолжал Фишер. — Он сделал это из ненависти, или, быть может, его подкупили. Мы же недавно согласились, что он, в сущности, способен на все.

— Но мы согласились также, что он не способен причинить зла своему хозяину, — возразил Грейн.

— Ну полно вам, в самом-то деле, — добродушно сказал Фишер. — Готов признать, что вы правы, но все-таки я хотел бы осмотреть библиотеку и кофейные чашки.

Он вошел в дверь, а Грейн повернулся к полисмену, по-прежнему стоявшему навытяжку, и дал

ему торопливо нацарапанную телеграмму, которую следовало отправить из штаба. Полисмен козырнул и поспешно удалился. Грейн пошел в библиотеку, где застал своего друга у стеллажа, на котором стояли пустые чашки.

— Вот здесь Бойл искал книгу Баджа или делал вид, будто ищет ее, если принять вашу версию, — сказал он.

С этими словами Фишер присел на корточки и стал осматривать книги на вращающейся полке; полка эта была не выше обычного стола. Через мгновение он подскочил, как ужаленный.

— Боже правый! — вскричал он.

Очень немногие, если вообще были такие люди, видели, чтобы мистер Хорн Фишер вел себя, как в эту минуту. Он метнул взгляд в сторону двери, убедился, что открытое окно ближе, выскочил через него одним гигантским прыжком, словно взяв барьер, и устремился, как будто на состязании в беге, по лужайке вслед за полисменом. Грейн, с недоумением проводив его глазами, вскоре снова увидел высокую фигуру Фишера, который лениво брел назад со свойственным ему спокойным равнодушием. Он флегматично обмахивался листком бумаги: это была телеграмма, каковую он с такой поспешностью перехватил.

— К счастью, я успел вовремя, — сказал он. — Надо спрятать все концы в воду. Пускай считают, что Гастингс умер от апоплексии или от разрыва сердца.

— Но в чем дело, черт побери? — спросил его друг.

— Дело в том, — отвечал Фишер, — что через несколько дней мы окажемся перед хорошеньким выбором: либо придется отправить на виселицу ни в чем не повинного человека, либо Британская империя полетит в преисподнюю.

— Уж не хотите ли вы сказать, — осведомился Грейн, — что это дьявольское преступление останется безнаказанным?

Фишер пристально поглядел ему в глаза.

— Наказание уже совершилось, — произнес он. И добавил после недолгого молчания: — Вы восстановили последовательность событий с поразитель-

ным искусством, старина, и почти все, о чем вы мне говорили, истинная правда. Двое с чашками кофе действительно вошли в библиотеку, поставили чашки на стеллаж, а потом вместе отправились к колодцу, причем один из них был убийцей и подсыпал яду в чашку другому. Но сделано это было не в то время, когда Бойл рассматривал книги на вращающейся полке. Правда, он действительно их рассматривал, искал сочинение Баджа со вложенной туда запиской, но я полагаю, что Гастингс уже переставил его на стеллаж. Одним из условий этой зловещей игры было то, что сначала он должен был найти книгу.

А как обычно ищут книгу на вращающейся полке? Никто не станет прыгать вокруг нее на четвереньках, подобно лягушке. Полку попросту толкают, чтобы она повернулась.

С этими словами он поглядел на дверь и нахмурился, причем под его тяжелыми веками блеснул огонек, который не часто можно было увидеть. Затянутое мистическое чувство, сокрытое под циничной внешностью, пробудилось и шевельнулось в глубине его души. Голос неожиданно зазвучал поиному, с выразительными интонациями, словно говорил не один человек, а сразу двое.

— Вот что сделал Бойл: он легонько толкнул полку, и она начала вращаться, незаметно, как земной шар. Да, весьма похоже на то, как вращается земной шар: ибо не рука Бойла направляла вращение. Бог, который предначертал орбиты всех небесных светил, коснулся этой полки, и она описала круг, дабы совершилась справедливая кара.

— Теперь наконец,— сказал Грейн,— я начинаю смутно догадываться, о чем вы говорите, и это приводит меня в ужас.

— Все проще простого,— сказал Фишер.— Когда Бойл выпрямился, случилось нечто, чего не заметил ни он, ни его недруг и вообще никто. А именно, две чашки кофе поменялись местами.

На каменном лице Грейна застыл безмолвный страх; ни один мускул не дрогнул, но заговорил он едва слышно, упавшим голосом.

— Понимаю,— сказал он.— Вы правы, чем мень-

ше будет огласки, тем лучше. Не любовник хотел избавиться от мужа, а... получилось совсем иное. И если станет известно, что такой человек решился на такое преступление, это погубит всех нас. Вы заподозрили истину с самого начала?

— Бездонный Колодец, как я вам уже говорил, — спокойно отвечал Фишер, — смутил меня с первой минуты, но отнюдь не потому, что он имеет к этому какое-то отношение, а именно потому, что он к этому никакого отношения не имеет.

Он умолк, словно взвешивая свои слова, потом продолжал:

— Когда убийца знает, что через десять минут недруг будет мертв, и приводит его к бездонной дыре, он наверняка задумал бросить туда труп. Что еще может он сделать? Даже у безмозглого чурбана хватило бы соображения так поступить, а Бойл далеко не глуп. Так почему же Бойл этого не сделал? Чем больше я об этом раздумывал, тем сильнее подозревал, что при убийстве произошла какая-то ошибка. Один привел другого к колодцу с намерением бросить туда его бездыханный труп. У меня уже была тогда смутная и тягостная догадка, что роли переменялись или перепутались, а когда я сам приблизился к полке и случайно повернул ее, мне вдруг сразу все стало ясно, потому что обе чашки снова описали круг, как луна на небе.

После долгого молчания Катберт Грейн спросил:

— А что же мы скажем газетным репортерам?

— Сегодня из Каира приезжает мой друг Гарольд Марч, — ответил Фишер. — Это очень известный и преуспевающий журналист. Но при всем том он человек в высшей степени порядочный, так что незачем даже открывать ему правду.

Через полчаса Фишер снова рассказывал взад-вперед у дверей клуба вместе с капитаном Бойлом, у которого теперь был окончательно ошеломленный и растерянный вид; пожалуй, это был вконец разочарованный и умудренный опытом человек.

— Что же со мной станется? — спрашивал он. — Падет ли на меня подозрение? Или я буду оправдан?

— Надеюсь и даже уверен,— отвечал Фишер,— что вас ни в чем и не заподозрят. А насчет оправдания не может быть и речи. Ведь против него не должно возникнуть даже тени подозрения, а стало быть, и против вас тоже. Малейшее подозрение против него, не говоря уж о газетной шумихе, и всех нас загонят с Мальты напрямик в Мандалей. Ведь он был героем и грозой мусульман. Право, его вполне можно назвать мусульманским героем на службе у Британской империи. Разумеется, он так успешно справлялся с ними благодаря тому, что в жилах у него была примесь мусульманской крови, которая досталась ему от матери, танцовщицы из Дамаска, это известно всякому.

— Да,— откликнулся Бойл, как эхо, глядя на Фишера округлившимися глазами. — Это известно всякому.

— Смее думать, что это нашло выражение в его ревности и мстительной злобе,— продолжал Фишер.— Но как бы там ни было, раскрытие совершенного преступления бесповоротно подорвало бы наше влияние среди арабов, тем более что в известном смысле это было преступление, совершенное вопреки гостеприимству. Вам оно отвратительно, а меня ужасает до глубины души. Но есть вещи, которые никак нельзя допустить, черт бы их взял, и пока я жив, этого не будет.

— Как вас понимать? — спросил Бойл, глядя на него с любопытством.— Вам-то что за дело до всего этого?

Хорн Фишер посмотрел на юношу загадочным взглядом.

— Вероятно, суть в том, что я считаю для нас необходимым ограничиться Британскими островами.

— Я решительно не могу вас понять, когда вы ведете такие речи,— сказал Бойл неуверенно.

— Неужели, по-вашему, Англия так мала,— отозвался Фишер, и в его холодном голосе зазвучали теплые нотки,— что не может оказать поддержку человеку на расстоянии нескольких тысяч миль? Вы прочли мне длинную проповедь о патриотических идеалах, мой юный друг, а теперь мы должны проявить свой патриотизм на практике, и никакая ложь

нам не поможет. Вы говорили так, будто за нами правота во всем мире, и впереди полное торжество, которое увенчают победы Гастингса. А я уверяю вас, что нет здесь за нами никакой правоты, кроме Гастингса. Вот единственное имя, которое нам оставалось твердить, как заклинание, но и это не выход из положения, нет, черт побери! Чего уж хуже, если шайка проклятых дельцов загнала нас сюда, где ничто не служит интересам Англии, и все силы ада восстают против нас просто потому, что Длинноносый Циммерн ссудил деньгами половину кабинета министров. Чего хуже, когда старый ростовщик из Багдада заставляет нас воевать ради своей выгоды: мы не можем воевать, после того как нам отсекли правую руку. Единственным нашим козырем был Гастингс, а также победа, которую в действительности одержал не он, а некто другой. Но пострадать пришлось Тому Трейверсу и вам тоже.

Он помолчал немного, потом указал на Бездонный Колодец и продолжал уже более спокойным тоном.

— Я вам говорил, — сказал он, — что не верю в мудреные выдумки насчет башни Аладдина. Я не верю в империю, которую можно возвысить до небес. Я не верю, что английский флаг можно возносить все ввысь и ввысь, как Вавилонскую башню. Но если вы думаете, будто я допущу, чтобы этот флаг вечно летел вниз все глубже и глубже, в Бездонный Колодец, во мрак бездонной пропасти, в глубины поражений и измен, под насмешки тех самых дельцов, которые высосали из нас все соки, — нет уж, этого я не допущу, смею заверить, даже если лорд-канцлера будут шантажировать два десятка миллионеров со всеми их грязными интригами, даже если премьер-министр женится на двух десятках дочерей американских ростовщиков, даже если Вудвилл и Карстертс завладеют пакетами акций двух десятков рудников и станут на них спекулировать. Если положение действительно шаткое, надо положиться на волю божию, но не нам это положение подрывать.

Бойл смотрел на Фишера в изумлении, которое граничило со страхом и даже с некоторым отвращением.

— А все-таки,— сказал он,— есть что-то ужасное в делах, которые вы знаете.

— Да, есть,— согласился Хорн Фишер.— И меня вовсе не радуют мои скромные сведения и соображения. Но поскольку в известной мере именно они могут спасти вас от виселицы, не думаю, чтобы у вас были основания для недовольства.

Тут, словно устыдившись этой своей похвальбы, он повернулся и пошел к Бездонному Колодцу.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Рекомендуя советским читателям в 1926 году русский перевод сборника рассказов Честертона «Человек, который знал слишком много», А. В. Луначарский усматривал достоинство честертоновской новеллистики в сочетании увлекательной оригинальной фабулы с острой социальных характеристик.

Рассказы Гилберта Кийта Честертона (1874—1936) действительно выделяются как самое ценное в обширном наследии этого весьма плодовитого писателя, сочинявшего и стихи, и романы, и трактаты на социально-политические, литературные и философские темы. Но если во многих крупных произведениях Честертона на первый план назойливо выпирает ложная тенденциозность, превращающая их в надуманную, искусственную романтическую аллегорю, сквозь которую лишь очень смутно проступают подлинные черты современности, то в его новеллах гораздо больше жизни и движения; излюбленные парадоксы Честертона облачаются здесь не в форму назидательных рассуждений, а вспыхивают целым фейерверком остро драматических ситуаций, внезапных поворотов сюжета, поразительных контрастов между видимостью и сущностью действующих лиц.

Перед читателями рассказов Честертона то и дело разверзаются моральные пропасти. Привычные авторитеты рушатся; отношения, освещенные вековыми традициями, оказываются фикцией. Многие из лучших его рассказов обязаны своим художественным эффектом резкости контраста между официальной репутацией и действительной сущностью изображаемых им лиц. Так, генерал Сент-Клэр, герой британских националистов, «делатель империи», прославленный посмертно как мученик патриотизма, был на самом деле бесчестным предателем, с которым расправились собственные солдаты и офицеры, убедившись в его измене («Сломанная шпага»).

Промышленного магната сэра Исаака Гука считают убитым слугой, в действительности же он был задушен своим «другом», премьер-министром, которого он шантажировал; попутно выясняется, что все без исключения гости, находившиеся в имени Гука, имели свои причины желать его смерти («Причуда рыболова»).

Чаще всего подобные преступления остаются у Честертона безнаказанными. «Крупная рыба может оборвать леску и уйти», — замечает один из выведенных им персонажей.

В этом отношении Честертон заметно отстает от старой, «классической» традиции английского детектива, которая, начиная с Коуна Дойля, создателя Шерлока Холмса, требовала посрамления преступника и восстановления прав буржуазного закона и частной собственности. Честертон позволяет себе иронизировать и над тем и над другим. Мир крупных дельцов-монополистов, финансовых и политических афер, капиталистической прессы и рекламы предстает в его рассказах в гротескном — порой комическом, а чаще всего зловещем облике.

Охотнее всего писатель пользуется образом чудовищного и нелепого маскарада. Смешным и отвратительным «ряженым» оказывается герцог Эксмур («Лиловый парик»). Выжига-стряпчий, мошеннически прибравший к рукам владенья и титул своего знатного хозяина, носит фантастический лиловый парик — доказательство его кровного родства с Эксмурями. В «Скандалном происшествии с отцом Брауном» перед нами своего рода буффонада, пародирующая сенсационные уголовные «боевики» буржуазной прессы. «Ненастоящим», фальшивым, основанным на ложных претензиях и дутых репутациях выглядит у Честертона мир больших денег и «высокой» политики.

Но Честертон изображает этот мир не как писатель-реалист, а как писатель-романтик. Типическому обобщению поступков и характеров живых людей он предпочитает произвольную и причудливую игру воображения. Его мало занимает социальная и психологическая мотивировка событий, раскрытие душевной жизни героев; для Честертон-художника гораздо важнее неожиданный драматический поворот сюжета, экстравагантная развязка, внезапно смещающая, наподобие землетрясения, реальные пропорции и соотношения явлений.

Нельзя не заметить, однако, что при всей своей эффектности романтические разоблачения Честертон не посягают на самое существо изображаемого им общественного строя. Трещины в земной коре, разверзающиеся в ходе описываемых им моральных катастроф, сглаживаются, едва успев возникнуть. Какие бы темные дела ни выходили вдруг на свет, какие бы злодейские лица ни выглядывали из-под почтенных масок, все в конце концов остается по-прежнему, да иначе, как видно, по мнению писателя, и быть не может.

Эти компромиссные, примирительные тенденции, умеряющие силу романтических выпадов Честертон против существующего положения вещей в описываемой им Англии, находят себе объяснение в общественных убеждениях писателя.

Вспоминая в «Автобиографии» период становления своих социально-политических взглядов на рубеже XIX—XX веков, Честертон писал, что «с неохотой называл себя империалистом». Как тогда, так и позднее он выступал сторонником мнимого «третьего пути» общественного развития, провозглашая себя борцом и против социализма, и против капиталистической «плутократии». Его программа, беспощадно высмеянная Бернардом Шоу, с которым Честертон не раз скрещивал оружие в публичных диспутах и печатной полемике, была своего рода романтической утопией реставрированного феодализма. В эпоху империализма и пролетарских революций Честертон выдвигал планы «разукрупнения» промышленности и децентрализации государства и мечтал о возрождении доброй старой крестьянской Англии. В отношении же нравственного «исправления» общества все свои надежды он возлагал на католицизм и сам в 1922 году принял католичество.

В этой программе возврата назад, к средневековью, было много бравады, но она, разумеется, не представляла никакой реальной опасности для столь шумно обличаемого им царства плутократов и монополистов. Большим младенцем, который и на старости лет тешит себя детскими сказками, назвал Честертон Бернард Шоу.

Реакционно-утопические идеи Честертон довольно полно развились уже в его первом, в своем роде программном романе «Наполеон из Ноттинг-хилла» (1904). Этот роман повествует о фантастической реставрации средневековых обычаев в Лондоне XXI века. Адам Уэйн — честолюбивый приказчик из мануфактурной лавки,

ставший городским головой Ноттинг-хилла, одного из лондонских предместий, вступает в бой против ополчения других районов столицы. Честертон с увлечением повествует о рукопашных схватках латников, вооруженных пиками и алебардами, разыгрывающихся на улицах «цивилизованного» Лондона, и о крушении буржуазно-демократической «законности», вытесняемой феодальным правом меча. «Наполеон из Ноттинг-хилла» написан в юмористическом тоне: вся история кровопролитных междоусобиц, изложенная в нем, оканчивается в конце концов лишь следствием грандиозной шутки, затеянной выборным «королем» — бывшим клерком Обероном Квинном, пожелавшим курьеза ради восстановить в лондонских муниципалитетах обычай «доброй старой веселой Англии». В шутливой форме здесь выражены, однако, весьма существенные для творчества Честертона мысли — презрение к буржуазно-демократическим свободам, уверенность в том, что поступательное развитие человечества может быть без труда остановлено и обращено вспять, к средневековью, и представление о народе как о скопище марионеток, легко подчиняющихся произволу исключительных личностей.

В романе «Человек, который был четвергом» (1908), впоследствии переделанном для сцены (в 20-х годах он ставился и в Москве на сцене Камерного театра), Честертон, пожалуй, с наибольшей откровенностью обнаруживает охранительную, реакционную сущность своих парадоксов. Написанная также в характерной для многих произведений писателя форме фантастически-эксцентричной буффонады, снабженная знаменательным подзаголовком «кошмар», книга вводит читателей в подпольный мир заговорщиков, врагов существующего строя. В этот мир случайно проникает герой, добропорядочный обыватель Гэбриел Сайм, «поэт законности... порядка... и благопристойности», добровольно ставший агентом сыскной полиции. Избранный в верховный совет бунтовщиков, члены которого из конспирации именуется по дням недели, Сайм — «человек, ставший четвергом», — ощущает себя вначале в гуще зловещих дел. Однако в первые же часы и дни своего нового существования он с возрастающим изумлением обнаруживает, что и все остальные «бунтовщики» также не революционеры, а законспирированные полицейские шпики. После многих комических недоразумений и авантур роман заканчивается колоссальным шутовским

маскарадом, во время которого выясняется, что глава тайного совета заговорщиков — «Воскресенье», толстяк-великан, обладающий фантастической вездесущностью и всеведением, — не кто иной, как шеф полиции. Замыслы подпольщиков оказываются блефом. По мысли автора, роман «Человек, который был четвергом» должен был, очевидно, явиться своего рода апофеозом существующего порядка и доказательством несостоятельности бунтарских посягательств на него.

Этическая программа Честертона полнее всего выразилась все в той же присущей его творчеству эксцентричной манере — в романе «Жив человек» (1912), своего рода манифесте честертоновского оптимизма. Герой романа, Инносент Смит (самое имя которого — «Innocent» — простик — кажется программным) вторгается, как ураган, в мирную, затхлую жизнь лондонского мещанского пансиона, опрокидывая все вверх дном и вовлекая всех в свои веселые дурачества. Смит — апостол воинствующего оптимизма. Еще в бытность студентом в Оксфорде он под дулом пистолета заставил своего профессора, поклонника унылой философии Шопенгауэра, спеть гимн в честь радостей жизни верхом на водосточной трубе. Его дальнейшие подвиги во славу бытия еще более эксцентричны: ему ничего не стоит обойти вокруг света, через Сибирь, Китай и Соединенные Штаты, чтобы испытать радость возвращения «кратчайшей дорогой» домой; по-разному гримируясь и переодеваясь, он ухаживает за своей женой, чтобы еще раз пережить поэзию сватовства и медового месяца. Шумное и экстравагантное веселье Смита выглядит, однако, в романе нарочитым и искусственным, несмотря на все старания автора придать ему значительность жизненной программы. Здесь, как и в других подобных произведениях Честертона, особенно заметно его отступление от классических реалистических традиций английского юмора. Комическое начало приобретает по преимуществу формальный характер; оно не вытекает естественно из реальных противоречий жизни, а основывается на произвольном и нарочитом опрокидывании привычных отношений и пропорций. Автор как бы забавляется тем, что на глазах читателя играет жизнью своих героев. Характерно, что в автобиографии Честертон сам сравнил себя с героем одной из своих задуманных, но ненаписанных книг — человеком, который, будучи по видимости преуспевающим

дельцом, втайне с детским увлечением занимается игрой в куклы или в оловянные солдатики.

В романе «Перелетный кабак» (1914), а также в «Возвращении Дон Кихота» (1926) и других поздних книгах Честертон развивает реакционно-романтические, социально-утопические мотивы, отчасти намеченные в «Наполеоне из Ноттинг-хилла». В различных фантастических формах он снова и снова изображает попытки восстановления в Англии средневековых нравов, рисует борьбу новоявленных «рыцарей» и «йоменов» против плутократов и политиканов. Шутовской, юмористический дух этих книг не оставляет сомнений в том, что и сам Честертон рассматривает свою утопию лишь как своего рода причуду, отнюдь не придавая сколько-нибудь серьезного общественного значения подобной игре в «оппозицию». Это особенно резко обнаруживается в финале «Возвращения Дон Кихота»: чудак-библиотекарь Майкл Херн, всерьез вошедший в роль короля Ричарда Львиное Сердце и вообразивший себя борцом за восстановление социальной справедливости на феодально-средневековый лад, обнаруживает, что к делу реставрации средневековья поспешили примазаться заводчики и финансисты, рассчитывающие таким образом укрепить свои привилегии и обуздать недовольных рабочих.

Взгляды Честертоня отразились и в выборе его положительных героев.

Это — одинокие донкихоты, обращающие картонные мечи романтики против обличаемого ими мира реальности. Картонный меч отца Брауна, героя многих новеллистических циклов Честертоня, — религиозное увещание и утешение. Согласно концепции Честертоня, именно он, незаметный и даже смешной провинциальный священник, оказывается великим сердцеведом, посрамляющим своей пронизательностью и преступников, и профессиональных слуг закона. Отец Браун, каким показывает его Честертон, все знает, все понимает, но, в сущности, ничего не может изменить. В распоряжении Хорна Фишера, главного действующего лица рассказов о «Человеке, который знал слишком много», столь же бессильное оружие — иронический скептицизм; зная все тайные пружины и закулисную механику правящих кругов, к которым он принадлежит по происхождению, он не порывает связи с этим миром, хотя прези-

рает его, и занимает в нем унылую позицию вечного отшельника, хранящего про себя свою бесполезную и горькую мудрость.

Новеллистические циклы Честертона, представленные в настоящем сборнике, создавались им на протяжении многих лет его жизни. Первая книга рассказов («Неведение отца Брауна») вышла в 1911 году; за нею последовало еще несколько сборников, посвященных приключениям этого героя; последний сборник цикла («Скандалное происшествие с отцом Брауном») вышел в 1935 году. Сборник рассказов «Человек, который знал слишком много» был издан в 1922 году.

Советский читатель не нуждается в противоядии против беспомощных и наивных предрассудков Честертона — запоздалого романтика, тщетно мечтавшего «спасти» мир и от социализма и от империализма, повернув вспять общественное развитие. Абсурдность его реакционно-романтической программы восстановления средневековья с полной очевидностью доказана самой историей. Но читатель оценит по достоинству остроумие Честертона-рассказчика, неистощимость его выдумки и увлекательность повествования, делающие его новеллы одним из примечательных явлений английской литературы XX века.

А. Елистратова

СОДЕРЖАНИЕ¹

Из сборника

«НЕВЕДЕНИЕ ОТЦА БРАУНА»

Сапфировый крест. Перевод <i>Н. Трауберг</i>	4
Странные шаги. Перевод <i>И. Стрешнева</i>	21
Летучие звезды. Перевод <i>И. Вернитейн</i>	40
* Невидимка. Перевод <i>А. Чапковского</i>	57
Сломанная шпага. Перевод <i>А. Ибрагимова</i>	76
* Три орудия смерти. Перевод <i>В. Хинкиса</i>	96

Из сборника

«МУДРОСТЬ ОТЦА БРАУНА»

* Человек в проулке. Перевод <i>Р. Облонской</i>	114
Лидовый парик. Перевод <i>Н. Демуровой</i>	132
* Странное преступление Джона Боулнойза. Перевод <i>Р. Облонской</i>	149
* Волшебная сказка отца Брауна. Перевод <i>Р. Облонской</i>	166

Из сборника

«НЕДОВЕРЧИВОСТЬ ОТЦА БРАУНА»

* Небесная стрела. Перевод <i>Е. Коротковой</i>	182
* Вещая собака. Перевод <i>Е. Коротковой</i>	208
Чудо «Полумесяца». Перевод <i>Н. Рахмановой</i>	230
Злой рок семьи Дарнуэй. Перевод <i>Н. Санникова</i>	255

Из сборника

«ТАЙНА ОТЦА БРАУНА»

Тайна отца Брауна. Перевод <i>В. Стенича</i>	284
* Зеркало судьбы. Перевод <i>В. Хинкиса</i>	291
Тайна Фламбо. Перевод <i>В. Стенича</i>	315

¹ Знаком * отмечены переводы, публикуемые впервые.

Из сборника
«СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ С ОТЦОМ
БРАУНОМ»

Скандалное происшествие с отцом Брауном. <i>Перевод И. Бернштейн</i>	322
Проклятая книга. <i>Перевод Н. Трауберг</i>	341

Из сборника
«ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗНАЛ СЛИШКОМ МНОГО»

Лицо на мишени. <i>Перевод О. Атлас</i>	356
Причуда рыбака. <i>Перевод В. Хинкиса</i>	375
* Душа школьника. <i>Перевод Г. Головнева</i>	395
«Белая ворона». <i>Перевод К. Жихаревой</i>	409
* Бездонный Колодец. <i>Перевод В. Хинкиса</i>	431
Послесловие <i>А. Елистратовой</i>	451

Ч 51 **Честертон Г. К.**
Рассказы. Пер. с англ. Составл. Н. Трауберг.
Послесл. А. Елистратовой. Худ. Е. Шукраев.
М., «Худож. лит.», 1975.

464 с.

В книгу классика английской литературы Гилберта Кийта Честертона (1874—1936) включены рассказы из лучших сборников писателя; «Неведение отца Брауна», «Мудрость отца Брауна», «Тайна отца Брауна» и др. Всего в сборнике — 24 рассказа.

Ч $\frac{70304-332}{028 (01)-75}$ 177-74

И (Англ)



**ГИЛБЕРТ КИЙТ
ЧЕСТЕРТОН**

Рассказы

Редактор Э. Шахова
Художественный редактор
Д. Ермоленко
Технический редактор
С. Ефимова
Корректор
З. Тихонова





Сдано в набор 25/II 1974 г. Подписано к печати 26/IX 1974 г. Бумага типогр. № 3. Формат 84×108¹/₃₂. 14,5 печ. л., 24,36 усл. печ. л., 24,506+1 вкл.=24,553 уч.-изд. л. Заказ 1873. Тираж 150 000 экз. Цена 88 коп.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Отпечатано с матриц Ордена Трудового Красного Знамени Первой Образцовой типографии имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, Москва, М-54, Валовая, 23, на Киевской книжной фабрике республиканского производственного объединения «Полиграфкнига» Госкомиздата УССР, ул. Воровского, 24.

